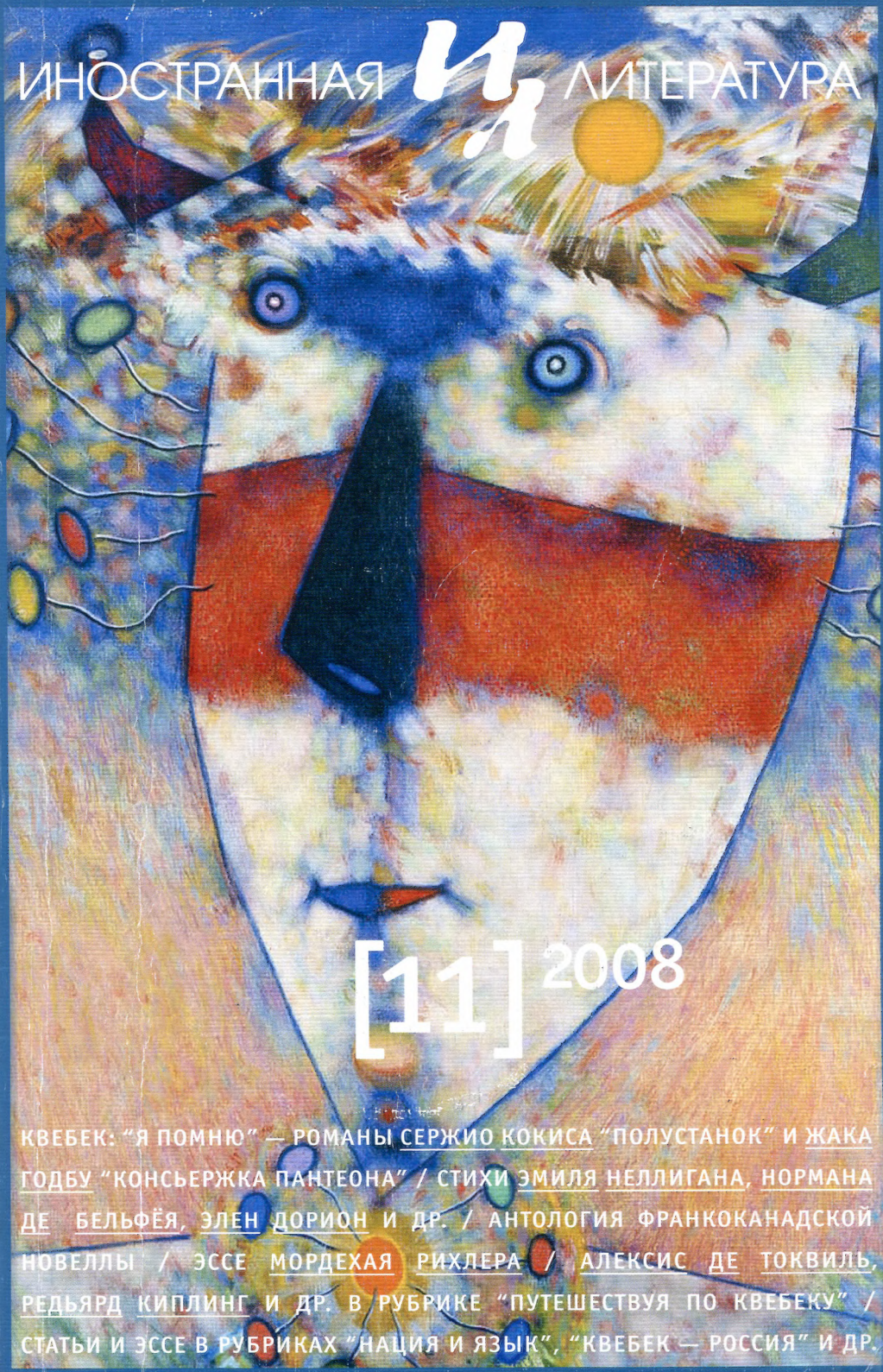
ISSN 0130-6545

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[11] 2008

КВЕБЕК: "Я ПОМНЮ" — РОМАНЫ СЕРЖИО КОКИСА "ПОЛУСТАНОК" И ЖАКА ГОДБУ "КОНСЬЕРЖКА ПАНТЕОНА" / СТИХИ ЭМИЛЯ НЕЛЛИГАНА, НОРМАНА ДЕ БЕЛЬФЁЯ, ЭЛЕН ДОРИОН И ДР. / АНТОЛОГИЯ ФРАНКОКАНАДСКОЙ НОВЕЛЛЫ / ЭССЕ МОРДЕХАЯ РИХЛЕРА / АЛЕКСИС ДЕ ТОКВИЛЬ, РЕДЬЯРД КИПЛИНГ И ДР. В РУБРИКЕ "ПУТЕШЕСТВУЯ ПО КВЕБЕКУ" / СТАТЬИ И ЭССЕ В РУБРИКАХ "НАЦИЯ И ЯЗЫК", "КВЕБЕК — РОССИЯ" И ДР.

Conseil des Arts du Canada
Canada Council for the Arts
Culture, Communications et Condition féminine
Québec

Основан в 1891 году

Журнал "Иностранная литература" впервые представляет специальный номер, посвященный квебекской литературе и названный "Я помню" — ведь так звучит девиз этой провинции. Он выходит в год празднования четырехсотлетия столицы Новой Франции — города Квебека. Тем ответственнее и сложнее задача: ведь нужно наверстать упущенное и успеть рассказать о многом! Рассказать, о чем же помнят квебекцы: об их французском происхождении и разрыве с метрополией, о том, как важно сохранить свою культуру в иноязычном окружении.

Какой была Новая Франция в далеком прошлом? Об этом можно узнать из ее легенд, из сказок североамериканских индейцев и записок известных путешественников, посетивших "Прекрасную провинцию", как назвали впоследствии эту канадскую землю ее жители, сохранившие французский язык и самобытную культуру.

А что стало главным событием XX века? Тихая революция, покончившая с "великой тьмой", засилием в Квебеке консервативного католицизма. С 60-х годов в истории Квебека начинается новая эра. Одним из ее пионеров стал известный писатель Жак Годбу, основавший, в частности, Союз писателей Квебека. Именно к нему обратилась редакция с просьбой рассказать о том, как возникла квебекская литература. А его современники и собратья по перу Юбер Акен и Гастон Мирон, без творчества которых невозможно понять то время надежд, в своих статьях анализируют непростую языковую ситуацию в Канаде.

А что в настоящем? Современной литературе Квебека журнал уделил основное внимание. Это романы "Консьержка Пантеона" Жака Годбу и "Полустанок" Сержио Кокиса, рассказы о литературных впечатлениях детства Мишеля Трамбле, городские зарисовки Моник Пру и сельские картинки Ива Бошмена, очерк англоязычного монреальца Мордехая Рихлера, пьеса Кароль Фрешетт "Кожа Элизы", а также отрывок из культовой пьесы Робера Лепажа "Обратная сторона Луны".

Кстати, герой Лепажа мечтает о встрече с космонавтом Алексеем Леоновым. Когда-то поэт Жиль Виньо написал: "Моя страна — не страна, а зима..." Может быть, в долгих снежных зимах и стоит искать корни той вечной тоски по несбыточному, которая характерна не только для русской, но и квебекской души? Во всяком случае так ощущает это писатель Андре Мажор, признающийся в любви к А. П. Чехову. Татьяна Могилевская, директор центра "Москва—Квебек", объединившего университет Лаваля и РГГУ, рассказывает о сотрудничестве между двумя столицами, основа которого — взаимное притяжение двух культур.

Кроме того, редакция попросила современных квебекских писателей рассказать, что происходит в квебекской литературе сегодня. В их ответах звучит тревога: назревает конфликт между идеологией общества потребления и идеалами гуманизма, которые отстаивает большая литература. Исчезнет ли она совсем? Сведется ли ее роль к обслуживанию отдельных "продвинутых" групп? Или все же ей удастся сохранить свое истинное предназначение: возвышать человеческие души? Этими непраздными вопросами задаются лучшие литераторы далекого и близкого Квебека, которые, как мы надеемся, найдут отклик у читателя журнала.

Людмила Пружанская,
составитель номера

[11]
2008

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

# Квебек: "Я помню"

5 Жак Годбу *Как возникла квебекская литература.* Перевод Людмилы Пружанской

11 Сержио Кокис *Полустанок.* Роман. Перевод М. и Е. Кожевниковых

64 Жак Годбу *Консьержка Пантеона.* Роман. Перевод Людмилы Пружанской

114 Кароль Фрешетт *Кожа Элизы.* Пьеса. Перевод Н. Хотинской

134 Робер Лепаж *Обратная сторона Луны.* Фрагмент пьесы. Перевод и вступление А. Лешневской

Из франкоканадской поэзии

138 Эмиль Неллиган *Из полного собрания стихотворений.* Перевод Романа Дубровкина. Вступление Ирины Кузнецовой

142 Жан-Ги Пилон *Из книги "Как пойманная вода".* Перевод Ирины Кузнецовой

144 Норман де Бельфёй *Из книги "Шествие слепого без собаки".* Перевод Ирины Кузнецовой

147 Жан Прованше *Из книги "Спутанный человек".* Перевод М. Яснова

151 Серж Патрис Тибодо *Из книги "Перемещение льдов".* Перевод М. Яснова

155 Элен Дорион *Из книги "Коридоры времени".* Перевод М. Яснова

158 Жан-Эрик Риопель *Из книги "Строптивые бабочки".* Перевод М. Яснова

Антология франкоканадской новеллы

162 Мишель Трамбле *Из книги "Рогатый ангел с жестяными крыльями".* Перевод Людмилы Пружанской

174 Моник Пру *Из книги "Монреальские рассветы".* Перевод Е. Леоновой

185 Норман де Бельфёй *Из книги "Ваш звонок важен для нас".* Перевод И. Волевич

192 Фредерик Дюран *Мания.* Перевод Е. Леоновой

195 Робер Лалонд *Исчезающие виды.* Перевод Е. Леоновой

202 Жан-Себастьен Трюдель *Замеры.* Перевод И. Волевич

© "Иностранная литература", 2008

| | | |
|---|---|---|
| | 206 | Жереми Ледюк-Леблан *Вальс гусениц.* Перевод И. Волевич |
| | 211 | Ив Бошмен *Ночлег в гостинице.* Перевод И. Волевич |
| Из классики XX века | 223 | Габриэль Руа *Горечь и очарование.* Фрагменты автобиографии. Перевод и вступление Л. Семеновой |
| Фольклор | 245 | Жан-Клод Дюпон *Легенды Новой Франции.* Перевод и вступление Александра Садецкого |
| | 252 | Ивон Кодер *Сказки и тайны леса.* Перевод Екатерины Белавиной. Вступление автора. |
| Нация и язык | 266 | Юбер Акен *Элементарное двуязычие.* Перевод Елены Богатыренко. Вступление Михаила Башкирова |
| | 270 | Гастон Мирон *За деколонизацию языка!* Перевод Елены Богатыренко |
| Статьи, эссе | 275 | Мордехай Рихлер *Что заставляет меня писать.* Перевод с английского Светланы Силаковой |
| Путешествуя по Квебеку | 283 | Алексис де Токвиль *Дневник. Письмо к аббату Лезюэру Олбани.* Перевод Веры Мильчиной |
| | 287 | Пьер де Кубертен *Британская Канада и Французская Канада.* Перевод Нины Кулиш |
| | 294 | Редьярд Киплинг *Письма из путешествий.* Фрагменты книги. Перевод с английского и послесловие Светланы Силаковой |
| Квебек—Россия | 305 | Андре Мажор *Улыбка Чехова.* Фрагменты книг "Улыбка Антона, или Прощание с романом" и "Переменчивое сознание". Перевод и вступление Людмилы Пружанской |
| Анкета "ИЛ" | 310 | *На вопросы "ИЛ" отвечают квебекские писатели.* Подготовила и перевела Людмила Пружанская |
| Наши интервью | 317 | *"Открыть для себя изучаемый мир, добиться взаимного понимания..."* Беседа с Татьяной Могилевской, директором Международного учебно-научного центра "Москва—Квебек" |
| Письма из-за рубежа | 322 | Александр Ливергант *С кем вы, мастера культуры, или Трудно быть писателем в Канаде* |
| Среди книг | 326 | Елена Мурашкинцева *Портрет писателя в юности* |
| Авторы номера | 328 | |


© "Иностранная литература", 2008

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
*заведующая отделом художественной литературы*

О. Д. Дробот
*заместитель главного редактора*

Т. А. Ильинская
*ответственный секретарь*

Т. Я. Казавчинская
*заведующая отделом критики и публицистики*

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

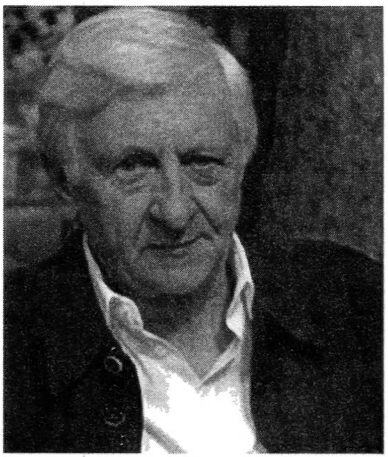
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Н. В. Елисеева
А. Ю. Лешневская
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

# Жак Годбу





# *Как возникла квебекская литература*

*Перевод* Людмилы Пружанской

Подобно тому как литература США смыкается с английской, бразильская — с португальской, а литературные традиции стран Латинской Америки берут начало в Испании, квебекская литература является североамериканской гранью французской литературы. Она многолика и полифонична: в ней наряду со словами, зародившимися в средневековом королевстве Наварра, можно отыскать понятия, возникшие в квебекском городе Шикутими[1], а речевые обороты, пришедшие из дореволюционной Франции, соседствуют с терминами, изобретенными в эпоху компьютера. Она свежа и полна жизни, но для того, чтобы сформироваться, ей понадобилось немалое время. В самом деле, легко ли жителям молодой страны создать словесность на языке, который, как и литература на нем, давно завоевал всеобщее признание?

Французский язык является центральным вопросом нашей истории. В знак нашей верности ему в 1974 году квебекский парламент единогласно провозгласил французский официальным языком. Это решение потребовалось, чтобы навсегда покончить с многочисленными конфликтами, в том числе вооруженными, которые не утихали с тех пор, как в 1763 году на исходе Семилетней войны Новая Франция перешла под власть Англии.

© Jacques Godbout, 2008
© Людмила Пружанская. Перевод, 2008

1. Город на востоке Канады, в провинции Квебек, на реке Сагеней. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Четыреста лет назад, выполняя замысел о расширении французского влияния, молодые переселенцы из парижских предместий и западных провинций Франции прибыли в Новую Францию, создав на берегах реки Святого Лаврентия французский форпост. Колонистам пришлось прорубать дороги в лесных чащах и поднимать целинные земли. Ни тяжкая жизнь, ни суровые и долгие зимы, ни голод, ни враждебность американских индейцев не обескуражили этих колонистов – они создавали семьи и продолжали трудиться на полях. Увы, для полноценной колонизации требовались куда более значительные человеческие и материальные ресурсы, чем те, что предоставил Версаль. В то время как на юге, в районе Бостона – в Новой Англии, – британская корона способствовала росту иммиграции, развитию промышленности и коммерции, власти Новой Франции довольствовались прибылью от торговли мехами и только и делали, что призывали миссионеров обращать дикарей в католическую веру. Прибывавшие в город Квебек из разных частей Французского королевства колонисты говорили на разных наречиях, но для общения между собой им пришлось довольно быстро перейти на понятный всем язык "короля-солнца". Можно сказать, что Новую Францию французский язык объединил *раньше* метрополии. Эти же молодые французы были первыми, кто начал – пешком и на берестяных лодках – исследовать Америку от Квебека до Миссисипи и подножия Скалистых гор. Именем короля Франции они возводили форты и крепости, давали в его честь названия, составляли карты местности. Однако дальше долины реки Святого Лаврентия заселение не продвинулось: колонистам, численность которых была невелика, было трудно оборонять большие территории, а местное правление не проявляло особой заинтересованности.

Как известно, в то время Франция сражалась с Англией на суше и на море. Английские и французские колонисты также не переставали враждовать между собой, нередко привлекая к боевым действиям индейцев. Город Квебек, откуда можно было вести наблюдение за прибывающими с Атлантики кораблями, представлял собой важнейшую стратегическую цель. В 1759 году в решающей битве за город, которая продлилась не более двадцати минут, Англия захватила его, покончив не только с мечтой о Новой Франции, но и с французской колониальной империей в Америке.

Впрочем, французские географы и миссионеры-мистики не только трудились на благо заселения Америки, но и составляли многочисленные документы и реляции, однако до создания собственной литературы было еще далеко. После подписания Парижского договора, по которому Франция уступала свою североамериканскую колонию Англии, французские чиновники и вельможи возвратились в метрополию, оставив в оккупированной англичанами стране 60 тысяч переселенцев, чьи предки прожили на этой земле более ста лет.

Отныне Новая Франция стала называться Province of Quebec[1]. При этом британская корона оставила за франкоканадцами право исповедовать католичество и использовать французский язык. К тому же им бы-

1. Провинция Квебек (*англ.*).

ло разрешено сохранить земли и жилища, обычаи и гражданское законодательство. Опасаясь за свой авторитет, французский король запретил местное книгопечатание, в то время как англичане, напротив, стали ввозить в Квебек первые типографские станки, тем самым открыв путь к определенной свободе слова. И вскоре английские купцы и канадские колонисты начали издавать газеты, где обсуждались насущные проблемы и выдвигались политические идеи. Однако к 1800 году, за первые сорок лет после поражения, канадцы так и не создали ничего, кроме газетных статей. А из художественной литературы они были вынуждены читать лишь те книги, что оставили им в наследство возвратившиеся домой французы.



Потеряв связь с родиной, франкоканадцы стали жить в Квебеке, что называется, "как дома". В их речи появились новые слова, потребовавшиеся, чтобы описать окружавший мир, индейские заимствования и английские технические термины. Они сохранили произношение, бытовавшее до революции 1789 года, которая прошла мимо них. Ждать первого французского корабля в квебекском порту им пришлось почти сто лет. А когда в 1855 году он наконец прибыл, капитан судна "Ла Каприсьез" был приятно удивлен, услышав на берегу родную речь, хотя не мог не заметить существенных расхождений с тем, как говорят во Франции.

Тем временем напряженность между канадцами и английскими колонистами стала усиливаться — спор шел о разделении власти и о статусе французского языка. Под влиянием Американской революции по Канаде прокатилась волна протестов, вылившаяся в патриотический бунт, который был жестоко подавлен в 1838 году. Когда с мятежниками было покончено, один британский лорд составил доклад — образчик неуважительного отношения к национальному меньшинству, в котором франкоязычному населению во имя его же блага предлагалось перейти на язык Шекспира.

Тогда канадцы оказали интеллектуальное сопротивление: были изданы несколько номеров литературного альманаха "Национальный литературный репертуар" и "История Канады" — выдающийся труд Франсуа-Ксавье Гарно. Тогда же в свет вышел его первый роман. Канадский поэт Октав Кремази, уехавший в добровольную ссылку на берега Сены, так описывал состояние квебекской литературы в 1867 году: "Чего не хватает в Канаде, так это собственного языка. Если бы мы говорили на языке ирокезов или гуронов, у нашей литературы было бы больше шансов на выживание. Но, к сожалению, стоит признать, что мы изъясняемся и пишем далеко не лучшим образом на языке Боссюэ и Расина. Что бы мы ни говорили, что бы ни делали, наш удел — оставаться обычной колонией. И даже когда Канада станет независимой и наш стяг будет гордо реять среди других национальных знамен, мы и тогда будем попрежнему литературными переселенцами". Было ли оправдано ощущение неполноценности, присущее канадским литераторам, утверждать трудно. Но ясно одно: в XIX веке во всем мире литературу на французском языке представляли исключительно французские писатели, от Шатобриана до Виктора Гюго и Александра Дюма, и соперничество со стороны канадцев им никак не угрожало.

Положение изменилось только в середине XX века, когда взошла звезда Луи Эмона – французского писателя, современника Жида, Пруста и сюрреалистов. Его книга "Мария Шапделен", в которой описана повседневная жизнь квебекской глубинки[1], приобрела всемирную известность и долгое время считалась образцовым романом.

Канадские писатели разделились. Перед ними открывались два пути: либо следовать традиции регионализма, как это сделали Клод-Анри Гриньон, Ринге, Феликс Антуан Савар, либо – европейской эстетике, пример тому Сен-Дени Гарно. Все же можно было понять сомнения авторов, задававшихся вопросом: составляют ли эти немногие опубликованные в Квебеке произведения самостоятельную франкоканадскую литературу. Следует иметь в виду, что в ту пору интеллектуальная жизнь оставалась под неусыпным надзором консервативного католического духовенства, которое было исполнено решимости препятствовать распространению в Квебеке антирелигиозных идей, охвативших Францию на рубеже XIX и XX веков.

Если одна война – 1760 года – покончила с проектом под названием "Новая Франция", то другая – Вторая мировая – подвела страну к глубинным изменениям. С 1939-го по 1945-й это в целом слаборазвитое государство создало собственную промышленность, производя вооружение для Европы, и разбогатело. На заводы пошли женщины, заменив призванных на фронт мужчин, а после войны к прежнему образу жизни вернулись далеко не все. Традиционный уклад франкоканадского общества начал разрушаться. Послевоенные технологии меняли обычаи и нравы: гражданская авиация приблизила Канаду к Европе, телевидение открыло окно в мир и способствовало обмену идеями, появление в свободной продаже противозачаточных средств ослабило контроль церкви за семейной жизнью. Все эти нововведения свидетельствовали о грядущих переменах, подобно тому как парад планет предвещает скорые потрясения.

В свое время на берегах реки Святого Лаврентия осталось 60 тысяч французских переселенцев, а через двести лет насчитывалось уже 6 миллионов франкоканадцев. Этой нации, росту которой способствовал послевоенный бэби-бум, требовались иные условия сосуществования с англоканадцами, а ее языку – новый статус. Если в Новой Франции мы назывались – *французскими переселенцами*, после поражения 1759 года – *канадскими французами* и затем просто *канадцами* – гражданами единой расположенной между двумя морями страны, то теперь мы стали *франкоканадцами*. При этом выяснилось, что во всех провинциях, кроме Квебека, мы оказались в меньшинстве. Что делать? Чтобы больше не быть французами в Канаде, мы в очередной раз изменили имя и стали *квебекцами*.

Но что это значило на деле? В ходе послевоенной деколонизации в Африке и Азии для самоутверждения народу требовались две вещи – знамя и литература. Флаг с королевскими лилиями у Квебека уже был... Оставалось объединиться издателям, авторам и читателям.

И для того чтобы создать литературу, небольшая группа писателей стала выезжать в Лаврентийские горы. Там, среди озер и хвойных лесов, авторы (в числе которых было немало поэтов, только что издавших пер-

1. Луи Эмон прожил несколько лет в Канаде.

вые сборники стихов) совместно пытались определить насущные культурные и политические задачи эпохи. Как создать новую литературу? Обогащая всеми возможными способами ее роды и жанры: поэзию, песенное творчество, прозу и драматургию. Поэт Гастон Мирон стал издателем, другой поэт — Жан-Ги Пилон — основал литературный журнал "Либерте", из которого затем вышел политический журнал "Парти-при". Идея национального самоутверждения набирала силу. Появились первые романы — "Деревянные комнаты" Анн Эбер, "Один сезон в жизни Эмманюэля" Мари-Клер Бле, "Ближайший эпизод" Юбера Акена, "Привет, Галарно!" Жака Годбу, "Поглощение" Режана Дюшарма — хотя эти произведения ни в чем друг на друга похожи не были, они читались как главы одного национального романа. В концертных залах и на телевидении зазвучали квебекские песни. Наконец, Мишель Трамбле, подобно американским драматургам — бытописателям большого города, начал использовать в своих театральных пьесах народный язык (жуаль), к которому прежде относились с презрением, — то была победа натурализма.

Не все из опубликованного можно было причислить к шедеврам, но увлеченность читателей и читательниц, энтузиазм молодых учителей, у которых впервые появилась возможность обсуждать в школьной аудитории только что опубликованные книги, пропаганда отечественной культуры в средствах массовой информации сделали свое дело — потребовалось всего несколько лет, чтобы квебекцы осознали: у них есть собственная литература. Следом появились свой кинематограф и аудиовизуальное искусство.

А в Монреале, где по-прежнему господствовал английский язык, патриотически настроенная молодежь со всей страстностью митинговала в защиту языка французского. Благодаря монреальской Всемирной выставке 1967 года, которую посетил генерал де Голль, о стремлении Квебека к суверенитету узнали повсюду. Известные своим кротким нравом жители Квебека инстинктивно выбрали "тихую революцию", но на деле она привела к пересмотру прав и обязанностей граждан. Перемены коснулись и мира бизнеса: по мере того как росло влияние французского языка, английские предприниматели стали перебираться в английскую Канаду, а на их место начали приходить франкофоны. Государство постепенно перенимало функции церкви, мало-помалу исчезала литературная и кинематографическая цензура, брак стали воспринимать более свободно, был снят запрет с разводов и абортов.

Переход от поэзии к политике произошел в 1976 году, когда Квебекская партия получила большинство мест в Национальном собрании и стало ясно, что литература, да и культура в целом, покончила не только с вчерашним ощущением неполноценности, но и с зависимостью как от Римской католической церкви, так и от Парижской литературной школы. Пришло время крупных писателей, таких, как Виктор-Леви Болье ("Джеймс Джойс, Квебек, слова"), Гаэтан Суси ("Девочка, любившая играть со спичками"), Моник Пру ("Монреальское сияние"), Жак Пулен ("Фольксваген блюз"). В великолепной автобиографии Габриэль Руа "Горечь и очарование"[1], опубликованной после смерти писательницы,

1. Перевод фрагментов автобиографии опубликован в настоящем номере "ИЛ".

сошлись канадское и квебекское мироощущения. Появились популярные в народе писатели, такие, как Ив Бошмен и Мари Лаберж. К этой когорте присоединились и писатели-иммигранты, среди них — Дани Лаферьер с Антильских островов и кореянка Ук Чанг.



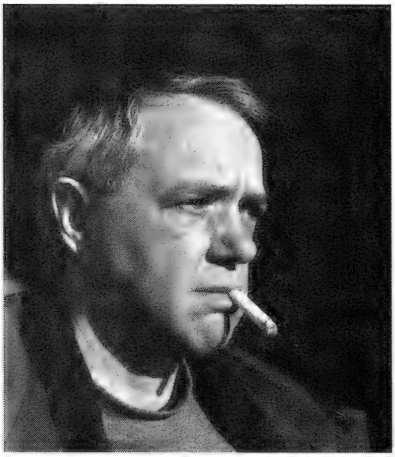
Сегодня, по прошествии пятидесяти лет, нельзя не отметить исключительную роль, которую сыграла литература в утверждении квебекской нации. Сегодня квебекская литература насчитывает тысячи произведений, издание которых неизменно поддерживается канадскими и квебекскими властями, одни книги получают широкое признание публики, другие — пользуются успехом у избранного читателя. Они переведены на многие языки, издаются в Париже и получают порой французские литературные премии.

Что отличает квебекскую литературу от публикуемой на том же языке на берегах Сены? Квебекские авторы черпают вдохновение в природе и мифах Нового Света: у первых жителей Америки они стремятся отыскать некую первородную невинность. Возможно поэтому, главными действующими лицами квебекских романов часто бывают дети и подростки. Героям произведений не сидится на месте, они все время в движении, словно кочевники на бескрайнем континенте. Нередко в центре повествования — любовная коллизия, которая больше походит на кошмарное путешествие, чем на традиционный любовный треугольник, каким он предстает в классической французской литературе.

Более двухсот лет, с тех пор как аристократия покинула Новую Францию, во франкоканадском обществе не существует классовых конфликтов, а установившееся между людьми равенство означает, что каждый может преуспеть в соответствии со своими амбициями невзирая на происхождение, — хватило бы таланта. И это неудивительно: ведь в современном мире, живущем по законам рампы, в иллюзию верят охотнее, чем в реальность, — поэтому и разочарования не избежать. В подобном "североамериканском" мироощущении и состоит особенность квебекской литературы, которая вносит свои собственные краски в великую французскую литературу Европы и тем самым обогащает франкоязычную литературу мирового сообщества.

# Сержио Кокис





# *Полустанок*

Роман

*Перевод* М. и Е. Кожевниковых

## 1

АДРИАН давно заметил, что поезд сбавляет ход, с час назад, наверное, а может, больше — до ссоры с женой уж точно. В воздухе еще висело взаимное раздражение, гнетущее недоброжелательное молчание, а поезд все медленнее постукивал колесами. Их сын, четырехлетний пухлый мальчуган, перемазанный шоколадом, жевал очередную конфету как ни в чем не бывало. Но глаза у него остекленели, уставившись в пустоту, как случалось всегда, когда родители ссорились. Посмотревшись в зеркальце пудреницы, жена успела навести красоту — вызывающе красные губы искривились высокомерной усмешкой, брезгливо поджались и хранили молчание. Жена у него, ничего не скажешь, яркая женщина, чуть за тридцать, стройная, элегантная, даже слишком элегантная, этот ее темно-серый костюмчик не для такой утомительной и долгой поездки. Сидит выпрямившись, отвернувшись к двери купе, готовая поставить на место любого неосторожного, посмевшего сунуться и нарушить напряженный до звона покой ее семейства.

А за окном лениво разворачивается степь — серая, однообразная, насколько хватает глаз, до самого горизонта. Редко-редко унылое однообразие нарушит кучка камней или скособоченная ветрами рощица.

© 2005 XYZ éditeur et Sergio Kokis
© М. и Е. Кожевниковы. Перевод, 2008

Степь обходится без холмов, без людей, самодостаточная, как застывший в неподвижности океан. Веет от нее скудостью и унынием, и так же уныло постукивают колеса. Степь неизвестно почему навела Адриана на мысль о смерти, и он порадовался, что здесь он только проездом, по дороге к себе домой.

Будь Адриан повнимательнее, он бы заметил, что поезд неведомо где свернул и едет другой дорогой, не той, по которой вез их две недели тому назад.

Однообразные дни отдыха в курортном городке на побережье навалились на Адриана сонной одурью, и он думал лишь об одном: стоило ли так далеко тащиться ради столь сомнительного удовольствия. Эта-то мысль, высказанная вслух, и поссорила его с женой. Жена просто упивалась необыкновенной атмосферой модного курорта, которой дышала даже на пляже, она дорожила новыми знакомствами, наслаждалась изысканными вечеринками, на которых ей было так весело. В пылу гнева она назвала его дикарем, который не умеет пользоваться радостями жизни, а пора бы научиться, давно пора! Адриан покивал для вида головой и замолчал, не желая раздувать ссору. Теперь он смотрел на мертвую степь и никак не мог взять в толк, чем же радует его жену светская пустота. Могло бы, конечно, порадовать море, но и море было спокойно до отвращения — ни одной волны, и купалась она не часто, а больше загорала в обществе настоящих зануд. Глаза следили за нескончаемой степью, а думал он о песке, о дюнах, жалея, что так мало побродил по ним. Буквально урывал короткий час одиночества под предлогом похода в соседнюю деревеньку к рыбакам за свежевыловленной рыбой. И уже сожалел о своем недовольстве и о словах, из-за которых разгорелась ссора. Он же знал, как жена устала от долгой дороги, как огорчена внезапным отъездом, прервавшим столь желанный отдых. Но что можно было поделать? Был другой выход? Нет. Только взять билет и как можно скорее возвращаться. Телеграмма тестя о кончине его компаньона ничего другого не предполагала. Тесть доверял зятю, и долг Адриана, как человека признательного, состоял в том, чтобы быть в эту тягостную минуту рядом с директором фирмы. Адриан признавал, что хватил через край, сказав: "За возвращение скажи спасибо своему папочке". Ясное дело, жена разобиделась. Но какая семья обходится без ссор? Все люди ссорятся и даже не замечают этого. Не любить и ссориться — разные вещи. Мелкая нелепая стычка, пустяк, вздор — кому как не ему знать вспыльчивый, обидчивый нрав супруги, особенно когда речь зашла о ее семействе. Да, они наговорили друг другу колкостей, может быть, были излишне прямы и резки, но ничего по-настоящему обидного не сказали, и хотя обоим пока тяжеловато, они, конечно же, скоро помирятся. Адриан даже собрался предложить жене поехать еще разок отдохнуть, как только дела на заводе его отпустят. Предложит, и мир в семье восстановится, жена и не вспомнит, как он съехидничал, назвав мальчика "маменькиным сынком, напичканным шоколадом". В конце концов, рассуждал он про себя, мальчик скоро изменится, от вялости и дряблости не останется и следа, а избыток материнской заботливости объясняется просто: она ощущает в последнее время недостаток его, мужского, внимания. Скорее всего, так, хотя Адриан не чувствовал, что хоть както изменился по отношению к жене с начала их знакомства. С другой

стороны, поди знай, что творится в голове обиженной женщины. Не зря же она говорила, что терпеть не может его витания в облаках, отстраненности, отсутствия у него честолюбия...

Адриан закурил сигарету, хотя прекрасно знал, как относится жена к курению в тесном купе. Сын тут же притворно раскашлялся, как всегда, когда рядом сидела мамочка, хотя и не думал кашлять, если ее рядом не было. Сигарета оказалась последней, Адриан скомкал пачку и кинул в мальчугана, сам не зная хорошенько, хочет, затеяв игру, помириться с сынишкой или обидеть его. Сын предпочел опять ничего не заметить и продолжал жевать шоколадную конфету, уставившись стеклянными глазами в пустоту. Жена даже не шелохнулась. Адриан поднялся с места, подошел к окну и приоткрыл его, опустив сверху раму — скорее для того, чтобы размять ноги, посмотреть, с чего это вдруг поезд замедлил ход, чем для того, чтобы проветрить купе. Так он и стоял возле оконной щели, когда поезд окончательно остановился.

На платформе маленького полустанка ни души. Странно. Ведь остановился поезд дальнего следования. Адриан не заметил, где написано название станции, а теперь не замечал и суеты, которая хоть как-то объяснила бы неожиданную остановку поезда в чистом поле. Покосившийся сарайчик за узкой полоской платформы был, очевидно, зданием станции, возле сарая в цветочном ящике рос пыльный бурьян. Адриан разглядел проселочную дорогу, она начиналась сразу за станцией и терялась в степи, у самого горизонта. Но и на проселке никого не было — ни машин, ни лошадей с повозками, которые поджидали бы возможных пассажиров с поезда. Внимание Адриана привлекла еще одна странность — пустота пустотой, а две двери, расположенные впритык, свидетельствовали, что на станции есть туалет, и для мужчин, и для дам. Приколотая на двери записка, написанная от руки, предлагала пассажирам в случае необходимости требовать ключ от туалета у начальника станции. Между тем обе двери стояли открытыми, и сама пристройка выглядела настолько ветхой, что, казалось, налети ветер посильнее, и она развалится.

День, как назло, был знойным, солнце, хоть и затянутое облаками, раскалило вагон, и в жарком купе становилось все душнее, и все тягостнее казалось ожидание. Томила унылая пустота на станции, угнетала тишина, наставшая после стольких часов мерного стука колес. Однако другие пассажиры ждали отъезда терпеливо, не искали проводника, даже в коридор не вышли. Заснули, что ли? Или остановки среди голой степи — дело обычное? Адриан не мог понять и стоического терпения жены, обычно любая неурядица выводила ее из себя, а сейчас ей сам бог велел возмутиться: столько времени сидеть в шикарном дорожном костюме, застегнутой на все пуговицы, в духоте! Но она сидела, не дергалась и не возмущалась, как обычно.

"Злится, ох, как она злится, — вздохнул он про себя, — вот и не спрашивает, почему это поезд остановился, не высказывает, что она лично думает по поводу беспорядков, царящих на железной дороге". Адриан высунулся из окна и заметил у хвоста поезда человека в фуражке железнодорожника, в руке у железнодорожника торчал флажок. Но вот что странно, железнодорожник совсем не интересовался поездом. Стоял, повернувшись лицом к степи, курил трубку с длинным изогнутым чубу-

ком, словно выглядывал машину или пассажира, которые должны были прибыть по проселку. Но в степи ни души, до самого горизонта — пустыня, и пустыня без всякого движения.



Адриан глаз не мог оторвать от железнодорожника, тот просто завораживал его своим безмятежным спокойствием, а поезд все стоял и стоял. Адриан подумал, что, вполне возможно, их поезд пережидает, пока пройдет встречный, и решил выйти в коридор, чтобы взглянуть на соседний путь. Выходя из купе, лишний раз отметил, что жена на него не смотрит, а делает вид, будто надумала наконец заняться измазанным шоколадом сынишкой. "Да, здорово она на меня разозлилась", — снова вздохнул он про себя, открывая окно в коридоре.

И с этой стороны тянулась такая же ровная, безжизненная до самого горизонта степь. Еще более унылая, потому что здесь не было сарайчика, платформы, утоптанного проселка. Не было даже, отметил он с изумлением, встречного пути с рельсами. Их поезд занимал единственную существующую колею. Адриан глазам своим не верил, он же помнил: когда они ехали к морю, им навстречу шел поезд! И вообще, по его разумению, такое важное направление железной дороги никак не могло обойтись одной колеей. И вот на тебе! Откос, заросший бурьяном, начинался сразу за вагоном, да, их путь единственный, но и за этим единственным путем очень плохо следили, сквозь щебень пробивалась сорная трава.

"Скорее всего, авария", — сообразил Адриан. И обрадовался. Есть повод без всяких там экивоков заговорить с женой. Обычно они так и мирились, он просто-напросто сообщал ей что-нибудь новенькое.

Он еще раз высунул голову в окно, желая найти подтверждение своей догадке. Потом вернулся в купе.

— К сожалению, авария, дорогая, — сообщил он, разводя руками. — Мы на запасном пути, это не настоящая станция.

— Скверно, — уронила жена с недовольным вздохом, даже не взглянув в его сторону.

Сын по-прежнему жевал шоколадную конфету. Жена смотрела на дверь и лишь подобрала ноги, пропуская Адриана. Адриан снова высунулся в окно купе и увидел, что железнодорожник стоит все так же, отвернувшись от поезда, он даже отошел подальше, стоял уже не на платформе, а на земле, в степи, и все так же безмятежно курил. Необычайно странная тишина висела в воздухе, а по платформе шагал черный ворон и поглядывал на поезд.

Адриан поискал в кармане пиджака сигареты и вспомнил, что смял и выкинул пустую пачку. Конечно, можно было бы сходить в вагон-ресторан и купить себе курева, но куда лучше спрыгнуть на платформу и спросить у железнодорожника, не продаются ли сигареты на станции. Глядишь, и узнает, по какой причине они так долго стоят, а заодно и разомнется. Не похоже, что поезд умчится в ближайшие пять минут, а тем временем обитатели купе подобреют.

Дверь вагона стояла открытой. Проводник тоже пожелал воспользоваться остановкой, сидел на ступеньках и курил. Хотя такое точно не положено. Он молча чуть подался в сторону и дал Адриану возможность пройти. Не сказать, что снаружи было прохладнее, зато тихо-то как! Тише, чем в поезде. Адриан вспомнил, как пареньком ходил на рассвете в

лес на охоту. Хрустнешь нечаянно сучком, и замрет вся лесная жизнь, тишина набухнет настороженным ожиданием. Вот как сейчас на платформе.

Он заметил, что в помещении начальника станции темно и пусто, а в зале ожидания спит кудлатая собака. Она даже головы не подняла, когда Адриан проходил мимо. Он спустился с платформы и направился к тому месту, где заметил железнодорожника. Тот прохаживался позади станции и, как школьник на прогулке, сшибал палкой с флажком сорняки, по-прежнему глядя вдаль. Пассажир вне поезда удивил его, лицо у него напряглось и откровенно выразило неодобрение. Крайнюю степень неодобрения.

— Что это вы тут делаете? — осведомился он хрипло и сердито, голосом человека, явно привыкшего распоряжаться.

А на вид был низеньким худеньким старичком с обветренным, как у моряка, лицом и морщинистой шеей. Фуражка, вроде бы, форменная, и надпись на кокарде блестит "Начальник", а вот китель изрядно поношенный, и вместо брюк пижамные штаны, на ногах шлепанцы. Судя по всему, прибытие поезда застало его врасплох — пуговицы на кителе не застегнуты, и вместо футболки или майки видна голая грудь с седыми волосами. Усы у старичка желтые от табака, зато волосы, что выбиваются из-под фуражки и торчат пучками из ушей, белоснежные.

Адриан не ожидал такого грозного приема, он даже ответить не успел, как старик заговорил снова:

— Ни один пассажир не имеет права сходить здесь! Инструкция дает четкие указания! Непорядок! Серьезный непорядок! Вы нарушитель, мсье, настоящий нарушитель!

— Извините, — сумел наконец вставить Адриан, — я и не думал сходить, я еду дальше. Но ведь любопытно: из-за чего эта неожиданная остановка?

— Остановки не вашего ума дело! — буркнул старичок. — Ваше дело ждать в своем купе. Насколько я знаю, билет не дает вам права находиться на этой платформе. Так что вы тут делаете? Ваше присутствие мне мешает! Не хватало только разбираться с нарушителями!.. Научитесь уважать порядок и соблюдать закон, мсье. Извольте вернуться в вагон и не смейте больше меня беспокоить!

Раздражительный старичок заинтересовал Адриана, ему захотелось с ним познакомиться поближе, и он, надеясь его смягчить, зашел совсем с другой стороны.

— Я вышел поискать табачку, — сказал он и кивнул на трубку, которую старичок снова вставил в рот. — Куришь, и ждать легче, а в вагоне-ресторане сигареты кончились.

Старичок, похоже, в самом деле смягчился, пососал трубку, затянулся разок-другой, поглядывая на Адриана, словно на провинившегося мальчишку, на безответственного несмышленыша.

— Могли и кончиться, мсье, меня это не удивляет. Если уж поезд здесь остановился, все возможно. Но поверьте, отсутствие сигарет еще не самая большая беда. Ничто меня не удивляет, день сегодня такой, все шиворот-навыворот. Идемте, — пригласил он по-прежнему без особой любезности и направился к двери с табличкой "Начальник станции", бормоча под нос всевозможные ругательства.

Разобрать, какие именно, Адриану стоило немалого труда. Не дойдя до своей конторы, старик обернулся, на лице его мелькнуло подобие улыбки.

– Хоть какое-то утешение в сегодняшней неразберихе, – сказал он, – у меня в магазине будет покупатель. Редкий случай, скажу я вам. На нашем забытом полустанке не часто удается продать товар. Думаю, сигареты у меня еще есть. Конфеты точно, а вот пирожных давно не держу. Чистый убыток, скажу я вам, одним мышам на радость. Идите, идите, не торчите тут огородным пугалом. Пассажир без поезда – такая беда, что плакать хочется. Идите и не забывайте, что вы поступили не по правилам. Если каждый встречный-поперечный поменяет решение, возьмет да и сойдет неведомо где, как прикажете управлять железнодорожным движением? На этот раз я так и быть закрою глаза, хотя знаю, что это неправильно, и я сам, проявляя преступную халатность, подвергаю себя большому риску. Иду навстречу только потому, что курильщики...

– Спасибо вам, шеф, вы славный человек, – отозвался Адриан, старичок его очень забавлял.

– Не по правилам, совсем не по правилам, это я вам говорю! Но сказать больше не имею права. Неслыханное дело! Немыслимое!

Старичок вошел в помещение конторы, пошарил в темноте, нащупал, как оказалось, свечу и зажег ее допотопной зажигалкой в виде гильзы от патрона.

– Электричества нет, как вы могли заметить, – сообщил он, объясняя наличие свечи, а сам искал сигареты, заглядывая в пыльные коробки, поставленные на полу одна на другую.

– Авария? – поинтересовался Адриан.

– Нет, мсье, не авария. А если авария, ей в обед сто лет. У меня давным-давно нет электричества. Даже поездам, когда они изредка тут проходили, я сигналил керосиновым фонарем. Устарел, скажете? А виден отлично. Электричество, надо сказать, я не люблю. Стоит полить дождю – бац! – и авария, а сигналы в дождь должны быть особенно яркими, должны быть видны издалека. Керосиновый фонарь меня никогда не подводил. А электричество...

– Наш-то поезд не электрический... – с сомнением заметил Адриан.

– Разумеется, нет, у вас дизель. И что?

– Тогда какая авария?

– Какая такая авария? Я же вам сказал: никакой аварии!

– С моим поездом! С нашим!

– А! С поездом... Нет никакой аварии. А вы, значит, все-таки что-то вынюхиваете, выискиваете?! Готовы критику навести, невежественный пассажир! С вашим поездом не случилось никакой аварии, он просто стоит на станции, вот и все. Или, по-вашему, это не станция? Ваш поезд просто-напросто сделал остановку, как делает всякий порядочный поезд, поездам положено останавливаться.

– Но...

– Да, поезд остановился на станции и ждет моего сигнала, чтобы отправиться дальше. Никакой аварии, все в порядке. Немного терпения, вот и все.

Начальник станции встал на коленки, чтобы удобнее было рыться в коробках.

– Сегодня все идет наперекосяк, понимаете? – снова заговорил он. – Сначала ваш дурацкий поезд, которого я не ждал! Потом пассажир-правонарушитель у меня на станции. И в довершение неприятностей, для драгоценного покупателя не осталось сигарет. Ни единой пачечки. Вот уж невезенье так невезенье! Я бы этот день из календаря вычеркнул! – Он показал Адриану пустую коробку. – Хотите конфет? Табака для трубки? Скрутить-то папиросу вы хотя бы сумеете? Интересно, но я совсем не помню, чтобы продавал в последнее время сигареты. Или память меня подводит? Если подводит, плохи мои дела...

Старик, скорбно поджав губы, протянул Адриану измятую пачку табака.

– Пригодится, очень хорошо, спасибо, – Адриан почувствовал неловкость: жаль старика, потратил столько усилий, желая услужить ему. – Можно и скрутить. Как раз то, что надо, – добавил он, получив от старика мятую книжечку папиросной бумаги. – Я уже сто лет не делал самокруток. Скручу. Что ни говорите, разнообразие.

– Разнообразие... – подхватил старик, с трудом поднимаясь на ноги. – Имейте в виду! Табак пересох. Я уж и не помню, сколько времени лежит у меня эта пачка. Не один год уж точно.

– Не страшно, – отозвался Адриан, испытывая еще большую неловкость.

– Положите в него дольку сочного яблока, и будет то, что надо, – старик помял пачку кривыми узловатыми пальцами. – Высох, как мумия, по-другому не скажешь, но яблочный сок оживит его, куриться будет как миленький, вот увидите. Я сам так делаю, когда не забываю. Приятный осенний запах получается, запах падалицы под яблоней. Ну, идемте. Теперь быстренько к себе в вагон и, прошу вас, не причиняйте больше никому беспокойства, мсье. День и так испорчен, а тут еще ваша неуместная суетливость. Имейте в виду, я за вами слежу.

Старик отвернулся и медленно направился к задам привокзального сарайчика, помахивая флажком, будто тросточкой. Адриан остался стоять на платформе, чувство неловкости сменилось раздражением – ну и фрукт этот старикашка! Потрясающее легкомыслие и полное пренебрежение к пассажирам! Не он, Адриан, тут главный нарушитель! Как только вернется домой, тут же подаст корректную, с соблюдением всех формальностей, жалобу, чтобы впредь подобные дорожные происшествия не случались. Однако вся эта чепуха не закончилась, он заметил вдалеке машиниста, тот спустился с паровоза с газетой в руке. Сначала помочился на колеса, даже особо не прячась, потом отошел на несколько шагов, присел на корточки и развернул газету.

"Интересно, чего они все ждут?" – задал сам себе вопрос Адриан с мечтательным любопытством, находя происходящее необычайно странным и даже немного тревожным.

Проводник пересел теперь на последнюю ступеньку лестницы и спокойно жевал большой бутерброд, устремив задумчивый взгляд в степные просторы. По всей видимости, поезд здесь застрянет надолго, хотя обслуживающий персонал не намерен сообщать пассажирам причину остановки. Может, они и сами ничего не знают? Может, подмоги

ждут, что должна прибыть по проселку? Между тем другие пассажиры нисколько не тревожились, и Адриан по-прежнему был один-одинешенек на платформе.

Он уже собрался было подняться в вагон и терпеливо дожидаться, чем закончится происшествие. Проходя под окном своего купе, Адриан заметил перемазанную шоколадом мордочку — сын, прижавшись носом к стеклу, следил за ним. Различил он и жену, она сразу отшатнулась от окна, будто не хотела, чтобы муж узнал, что и она за ним наблюдает. При виде своего семейства Адриан опять почувствовал раздражение и решил, сам не зная почему, до сигнала к отъезду в вагон не подниматься.

"Пусть немного понервничают, — подумал он, — поднимусь в самую последнюю минуту. А пока *сладкая парочка* пусть дуется без меня".

Стараясь, чтобы его не заметил никто из персонала, Адриан направился к мужскому туалету возле здания станции. Ему и в самом деле понадобилось пописать, а мысль, что он сделает это, не обращаясь за ключом к начальнику станции, как предписывало вывешенное на двери строгое объявление, почему-то его веселила. И зачем ключ, если дверь болтается на проржавевших петлях? Ясное дело, для того, чтобы вредный старикашка чувствовал себя на станции полным властелином.

Адриана удивило запустение в туалете: штукатурка на стенах растрескалась, плитка на полу выщербленная. А сам туалет? Дырка в полу за перегородкой, а перед перегородкой табурет, раковина и кран с бородой из ржавчины. Адриан пописал и уселся на табурет, посмеиваясь при мысли, что покурит тайком от старика в туалете, как курил когда-то школьником. Может быть, мысль о веселой шалости заронила в нем пачка табаку и папиросная бумага, напомнив о папиросах, которые он когда-то скручивал и курил тайком? Едва ощутимый запах хлорки тоже наводил на воспоминания юности, такой далекой, беззаботной, полной самых разных возможностей...

Табак и впрямь пересох, под руками превращался в пыль, не так-то просто было соорудить из него самокрутку. Да и навык Адриан потерял. Еще бы! Столько лет прошло. Две попытки кончились ничем: бумага порвалась, табак просыпался. На третий раз удалось слепить жалкое подобие папиросы, закрутив бумагу с обеих сторон, чтобы табак не улетучился. На папиросу мало похоже, скорее косячок с марихуаной. Адриан опять улыбнулся, вспомнив собственные неуклюжие попытки не отставать от приятелей-подростков в освоении наркоты. Адриан почувствовал себя озорным мальчишкой и затянулся с ощущением, словно делал что-то из ряда вон выходящее.

Затянулся он глубоко, и едкий, горький дым от пересушенного табака, обжигая, защекотал легкие. Голова слегка закружилась, словно Адриан и впрямь вернулся в прежние времена и курил свою первую сигарету — легкий туман в мозгах, особая легкость в мускулах. Ничего общего с обычными сигаретами: их он курил механически, даже не ощущая вкуса. Адриан затянулся еще раз, и в памяти поплыли воспоминания, а пальцы тем временем старались свернуть еще одну папиросу, аккуратную, классную, такую, какие получались раньше. Адриану как будто бы снился сон — воспоминания всплывали и расплывались, не соблюдая никакого порядка. Он и не старался выстроить их по ранжиру, наслаждался прошлым, получал его большими порциями, чувствовал умилен-

ную нежность, сожаление, грусть, когда прошлое сравнивал с настоящим. Иногда чуть сдвигал по собственной воле события, пытаясь мысленно пройти ту возможную дорогу, которой жизнь злонамеренно не воспользовалась. Самокрутки получались все лучше и лучше, Адриан курил их одну за другой, наслаждаясь странствиями по воображаемым мирам, уводившими его от житейской рутины.



Сколько времени он пространствовал? Минут пять или целый час? Он и сам не понял, теша себя грезами, видя сны с открытыми глазами. Наконец он вышел на платформу. Поезда на путях не было. На станции по-прежнему ни души, легкий ветерок покачивал высокую степную траву. Адриан отчетливо слышал звонкое теньканье птиц в кустах.

## 2

Отсутствие поезда Адриана ошеломило. Ступор. Полный. Он даже не мог сообразить, где находится и что, собственно, произошло. Без поезда, стоящего у платформы, станция выглядела неправдоподобно убого, а степь казалась еще шире, еще равнодушнее. Не сразу, а только через некоторое и даже немалое время Адриан осознал: поезд ушел. Далеко ушел. Вперед. А он остался. Здесь, на станции. С поездом уехала семья, вещи, соседи-пассажиры, а он отстал и остался в степи на полустанке, растерянный, смешной, нелепый. Охваченный ужасом, Адриан пустился бежать по платформе, вдоль путей в нелепой надежде пусть не догнать, так хотя бы увидеть поезд где-то на горизонте. На бегу он вспомнил, что не слышал гудка паровоза, который обычно возвещает отправление. И почувствовал яростный гнев на несправедливую судьбу, которая посмела так обойтись с ним! Он обрадовался своему гневу, распалял, разжигал его! Гнев был достойнее постыдного и нелепого положения человека, забытого на полустанке. Адриан повернул назад, пробежал бегом по платформе и застучал кулаками в дверь начальника станции. Тишина. Похоже, на этой станции в самом деле никого не было. Исчезла даже собака из зала ожидания. Он заглянул в туалет, там тоже никого. Он снова заколотил в дверь и снова без всякого толка. На глазах у него показались слезы, гнева, конечно, но и отчаяния. Он спустился на проселок за развалюхой-станцией и пустился бежать по нему. Если есть станция, то должен быть и поселок поблизости. Надежда придавала сил подгибающимся от волнения ногам. Он позвонит на соседнюю станцию, заставит остановить поезд, учинит бешеный скандал, он так этого не оставит, пусть даже не думают, черт их всех побери! Бросить по дороге пассажира вот так, без всякого предупреждения, казалось ему тягчайшим из преступлений, он жаждал возмездия. Мысли на бегу путались и сбивались. Адриан потихоньку замедлил бег, гнев стихал, вместо гнева наваливалась тоскливая безнадежность: он наконец ощутил всю тяжесть свалившейся на него беды. Вокруг пустыня, он затерян в неведомом, свет гаснет, надвигается темнота, а вокруг насколько хватает глаз нет ни поселка, ни домика, ни даже признака человеческого жилья.

Адриан остановился. Идти дальше не было никакого смысла. И тут он подумал о жене: сидит себе спокойненько в купе и злится по-прежнему. Почему, интересно, эта идиотка не сообщила о нем проводнику? Не

подняла тревогу? Не дернула в конце концов стоп-кран? Потому что она за ним следила, потому что видела, как он вошел в туалет, знала, что он оттуда не вышел...



— Идиотка! — выругал он жену вслух. — Гадина! Какая гадина! Но она еще пожалеет об этом!

И тут же осознал собственную глупость. Ничего она, конечно, не видела и, конечно, думала, что он в поезде, сидит в вагоне-ресторане или ходит по коридору, разряжается после их дурацкой ссоры. Вот как оно было. И подумав об этом, он почувствовал укол совести и вину. Осталась, бедняжка, одна, переживает, не знает, что с мужем. Адриан задумался, пытаясь себе представить, когда же она поняла, что он исчез, и что тогда стала делать. Конечно, расплакалась, раскричалась, малыш тоже заплакал...

Расстроенный, растревоженный Адриан шел обратно на станцию, решив непременно дождаться следующего поезда. "Главное, уехать отсюда, — твердил он себе, — какая разница, на каком поезде". Всегда найдется возможность свернуть на нужное направление, добраться до своего города. Потом он будет посмеиваться, вспоминая нелепое приключение.

Он устал от беготни, запыхался и от усталости немного поуспокоился, стал уговаривать себя, что ничего особенного не происходит, досадная задержка, не больше, злополучное опоздание, вот вернется домой, и все войдет в свою колею. "В конце концов, — сказал он себе, натужно улыбаясь, — может, будет и польза от происшествия: испуг послужит жене уроком, в будущем она подумает сто раз, прежде чем затевать ссору, злиться и ругать мужа из-за совершенно невинного замечания. Черт возьми! Да и не отстал он вовсе, просто ненадолго задержался на полустанке, дал себе роздых, чтобы немного подумать, как делал дома, уходя часа на два, на три под предлогом, что сгоняет за сигаретами".

Адриан заметил белый дымок из трубы, он вился где-то на задворках станции. Значит, в здании, похожем на сараюшку, все-таки кто-то есть, не иначе давешний старик: видно, вернулся домой с прогулки. Оживившись, с надеждой на лучшее Адриан снова стал стучаться в дверь и опять не получил ответа. Он постучал громче, потом стал стучать ногой, колотя в низ двери, разозлился и заколотил изо всех сил, готовый разнести все в прах, лишь бы его услышали. Хоть бы что. Мертвая тишина. Он обошел кругом скособоченную сараюшку, ища окно. Сквозь мутное, давно не мытое окно, забранное ржавой решеткой, он различил в темном помещении слабый огонек свечи. Адриан постучал в окно и позвал начальника. Он звал его все громче, и ему казалось, что огонек в темноте зашевелился. Он ждал, прижав лицо к стеклу, и все-таки чуть не подпрыгнул от неожиданности, увидев перед собой маленького человечка, тот наконец покинул свое убежище, желая выяснить причину небывалого шума.

— Кто вы такой? — осведомился старичок, занеся над головой топор.

Был он без фуражки, седые волосы встали дыбом — сумасшедший, да и только! Или скорее бомж. Сумасшедший бомж в пижаме, потому как на нем не было сейчас и форменного кителя. Адриан невольно отступил на несколько шагов. Ему стало не по себе.

– Кто вы такой? Что здесь делаете? – допытывался начальник станции, грозя топором. – Отвечайте! Быстро! Кто вы?

– Это же я, – ответил наконец Адриан, не сводя глаз с топора, жилистый тощий старик продолжал держать его наизготовку. – Я! Пассажир с поезда...

– Какого еще поезда? Отойдите или я размозжу вам голову, негодяй!

– Погодите! Ради бога, послушайте, – умоляюще проговорил Адриан. – Помните? Я купил у вас табак... Я пассажир, который сошел с поезда...

– Пассажир... Сошел с поезда? Здесь?! – в голосе старика зазвучало неподдельное изумление.

Адриану показалось, что старик все-таки узнал его.

– Но сейчас-то что вы тут делаете? Господи! Говорите же! Что-то случилось с поездом?!

– Понятия не имею...

– Авария? Вы ранены?

– Да нет. Ничего подобного. Я просто-напросто отстал от поезда...

– Вы... Что?! – воскликнул старик, не в силах вообразить себе чудовищное упущение Адриана.

– Отстал. Поезд ушел. Я остался.

– Как это ушел, а вы остались? Объяснитесь, мсье. Вы, наверно, пьяны? Или чокнулись?

Начальник станции не опускал топора и, по-прежнему держа Адриана на почтительном расстоянии, впился в него взглядом скорее подозрительным, чем гневным. Странный пассажир, который не так давно покупал у него табак, был, похоже, не совсем нормален, точнее, анормален, так как находился не на своем месте, не в поезде, который ушел уже далеко-далеко, а здесь. Вот он стоит у задней двери станционного здания и орет как резаный, а в степи становится все темнее и темнее. Как ни верти, что-то тут нечисто, невиданно и неслыханно, и старику придавал уверенности старый верный топор в руках.

– Поезд ушел, когда я был в туалете, – объяснил Адриан, горестно разведя руками, надеясь, что его горесть успокоит начальника станции.

– Неужели вы хотите сказать, что поезд ушел без вас?

– Да, именно так. Паровоз даже не загудел, а я не видел, как поезд тронулся. Я находился в туалете...

– Что доказывает: вы покинули поезд тайком.

– Ничего подобного! Почему тайком? И вообще я не покидал поезда! Я вышел из вагона, чтобы купить себе сигарет. Надеюсь, вы не забыли меня, шеф? Я же ваш покупатель, я купил у вас табак.

– Ах, вот оно что! Теперь я все понял, – проговорил старик, все еще грозя Адриану топором. – Покупка табака была только предлогом! Вы воспользовались ею, чтобы спрятаться в туалете и дождаться отхода поезда... Чтобы иметь возможность нелегально высадиться на станции, которая не имеет к вам никакого отношения.

– Да нет же! Вы что, прослушали, как обстояло дело? Я не заметил, что поезд тронулся. Пропустил момент, как пропускают трамвай или встречу. По рассеянности, по невнимательности. Вот и все. Вы решили, я хочу здесь остаться? Вот еще! Не волнуйтесь! Я уеду во что бы то ни

стало. У меня билет за полную стоимость и по полной форме, и я сяду в первый же поезд. Вот!

Старик ему не поверил.



— Так значит, у вас есть билет? Покажите-ка его мне, прошу вас! — начальник станции и не думал опускать топор и не подпускал к себе Адриана.

— Есть конечно, но не со мной. Билеты у жены в сумочке. В купе, в поезде. Они уехали вместе с поездом.

— Ах, значит, у жены в сумочке? Великолепно придумано, мсье! Чем дальше, тем интересней. Поверьте, мсье, ваше положение и без того незавидно, не усугубляйте его недостойной ложью.

— Почему это незавидно? Что я такого сделал? Я же объяснил вам, как все произошло.

— Уж я-то вижу, что вы ничего не сделали! А я еще оказал вам снисхождение, посмотрел сквозь пальцы на ваше присутствие на платформе... Какой это было ошибкой!

— Но послушайте...

— Молчать! — рявкнул старик, подкрепляя приказ взмахом топора. — Я допустил ошибку, когда продал вам табак! Нечего вам было делать у меня на станции! Но я вам посочувствовал! А вы? Вы еще и в туалет проникли без моего разрешения, во второй раз нарушив правила! Дерзость вы усугубили неблагодарностью. Не сметь мне возражать! И еще хотите, чтобы я поверил, будто вы упустили поезд! Вы что, меня за дурака держите? Вы даже билет мне не можете показать! Думаю, у вас и нет никакого билета. Вы и в поезд сели незаконно! А здесь высадились из страха перед контролером. Или за вами гонится полиция?

— Да нет же, нет. Ничего подобного, — мягко принялся разуверять старика Адриан. — Билета у меня с собой нет, но зато есть деньги. Посмотрите, — он поднял руку, чтобы достать из кармана бумажник.

— Не шевелитесь, — приказал старик. — Одно движение, и я расколю вас надвое, грязный лгун!

— Помилуйте, мсье, что вы такое говорите? — Адриан отступил еще на шаг. — У меня с собой есть деньги, я заплачу вам за билет, если хотите, заплачу полную стоимость.

— Это невозможно! Думаю, вы и сами прекрасно это знаете. Во-первых, вы правонарушитель. Даже если я поверю байке о билете в сумочке вашей милейшей супруги, вы остаетесь правонарушителем, потому что у меня на станции билетов не продают. Не продают уже добрый десяток лет, а может быть, лет двадцать, а может, больше. Я и помнить не помню, когда их продавали. Потому-то на моей станции никто и не сходит, с билетом или без билета, не важно. Помолчите, не надо мне возражать! Сам я тоже не продаю билетов. Вынюхивая тут все исподтишка, неужели вы не заметили, что у меня на станции и окошечка кассы нет? Да, у меня на станции нет кассы. Вы не могли этого не заметить. И думаю, догадались, что нет ее потому, что я не продаю билетов. Таким образом, положение ваше вопиюще беззаконно, и не в моих силах его исправить. Поэтому лучше чистосердечно признаться, что вам нужно на самом деле.

— Мне? Уехать как можно скорее — вот мое самое горячее желание. Я проворонил свой поезд, это обидно, но у меня не было намерения ос-

таваться у вас на станции. Посадите меня на следующий поезд, любой, мне не важно, под ответственность проводника или машиниста, и я заплачу штраф или куплю дополнительный билет, как только доберусь до станции, где продают билеты. Вот и все! Поверьте же мне наконец! Мне страшно неловко, что я доставляю вам хлопоты, но я всего-навсего отставший от поезда пассажир и прошу вашей помощи. Опустите в конце концов топор и дайте мне возможность показать вам свои документы.

— А они случайно не остались в сумочке вашей жены? — осведомился начальник станции с лукавой улыбкой.

— Нет, посмотрите. Вот мой бумажник, вот визитная карточка. Читайте: Адриан Тром, инженер, проживает в городе С. Я возвращался к себе домой поездом, конечный пункт прибытия которого город С. А вот мое удостоверение личности.

Старик вытащил из кармана пижамы маленькие очочки, надел их и принялся тщательно изучать документы. Адриан стоял в стороне, раздражаясь и нервничая.

— Я заплачу вам, — пообещал он, надеясь таким образом положить конец сомнениям начальника станции.

— Не стоит усугублять свою вину, господин инженер, — произнес старик, устремив на Адриана суровый взгляд поверх очков. — Попытка подкупить служащего железной дороги — провинность куда более тяжкая, чем проезд без билета, можете мне поверить. Ваши попытки обойти закон не делают вам чести! Я не позволю вам этого сделать. Для вашей же пользы, молодой человек!

— Да не подкупить, совсем нет! Я имел в виду, что готов заплатить за билет или заплатить штраф, если вы считаете, что я нарушил правила.

— Я же вам сказал, у меня на станции нет окошка для подобных услуг. Я должен повторять одно и то же сто раз? Эта станция — объезд. Если хотите, станция для сброса балласта, станция-обход, но для поездов, а не для пассажиров. Не мое дело возиться с пассажирами, мсье! Но я знаю совершенно точно одно: полноценный пассажир с полноценным билетом никогда не соскочит с поезда там, где не положено. А всяких проходимцев, имейте в виду, у меня на станции ждет незавидная участь. В мои служебные обязанности входит только забота о поездах, нуждающихся в запасном пути, когда основной путь занят. Забот у меня по горло. А вам, молодой человек, — я это прекрасно помню, — я, любезно снабдив вас табаком, настоятельно порекомендовал вернуться в купе. Не так ли? Так что́ вы делали в станционном кабинете задумчивости, когда в каждом вагоне поезда имеется санитарный узел, специально для пассажиров? Можете вы мне это объяснить?

— Вы мне не поверите, шеф, но я пошел в туалет покурить, — признаваться в этом Адриану было не совсем ловко.

— Покурить? Не сомневаюсь, что косячок с марихуаной!

— Да нет! Выкурить папироску, свернув ее из вашего табака. Глупо, конечно, я понимаю, но именно так оно и было. Потом я чуть-чуть задремал, что ли, а поезд взял и ушел, даже не погудев перед отправлением, — закончил Адриан чуть ли не шепотом.

— Не погудев перед отправлением, говорите? А вы видели хоть раз в своей жизни поезд, который отбывал без сигнала? Вы уверены, что курили именно мой табак, а не какую-нибудь другую травку? Мне-то вы мо-

жете признаться. Я не полицейский, мне дела нет, каким способом люди замусоривают себе мозги. Но я всегда даю сигнал к отправлению флажком, потому как только машинист нуждается в сигнале у меня на станции. А вот пассажиры-подпольщики...

Начальник станции, тщательно сравнив фотографию на удостоверении личности с самим Адрианом, прибавил:

— Когда я смотрю на вас, молодой человек, то нисколько не верю в вашу историю, такая она дурацкая. А вот если верить фотографии, вот этой, на удостоверении личности, должен прямо сказать, вы способны упустить свой поезд из-за курения в туалете на совершенно неведомой вам станции — на фотографии у вас вид дебила. Уж простите мне подобное замечание.

— Не стоит извиняться. Жена мне сказала то же самое и не извинялась. Что поделать? В срочном фото всегда получаешь черт знает что!

— И что же? Неужели все, что вы тут нагородили, правда? — старик недоверчиво уставился на Адриана. — Вы в самом деле упустили свой поезд по чистой глупости и к тому же на моей станции? Признаюсь, не могу поверить, что инженер мог сподобиться на такое!

— Мог, по халатности, уверяю вас.

— Как это огорчительно, голубчик! Сочувствую вашему начальнику, хотя это вовсе не мое дело. Положение у вас, стало быть, хреновое, и думаю, ваш случай не предусмотрен никакими правилами. Вы настолько неправильный, что мне вас, честное слово, жаль...

Начальник станции с озабоченным видом вернул Адриану документы, топором ему он больше не угрожал.

— Я сяду на первый поезд, куда бы он ни шел.

— Помолчите, бедный несчастный рассеянный инженер, — забормотал старик, и казалось, что он говорит сам с собой. — Не мешайте мне думать, ибо вы себе даже не представляете масштабы глупости, какую совершили. Ваше пренебрежение правилами довело вас до настоящей беды. И я вынужден расхлебывать последствия вашего легкомыслия... Кто знает еще, сколько времени?! Курить в туалете! Да проходите же, не стойте пугалом посреди дороги! Пойдемте ко мне в кабинет и спокойно разберемся, как быть. Кстати, почему вы не постучались в дверь моего офиса на станции? Для чего нужно было устраивать неприличный шум на задворках?

— Я стучал, стучал очень громко, но никто не отозвался.

— Так это вы стучали? — старичку, видно, стало смешно, и он улыбнулся. — А я-то подумал, что разыгрался ветер. С возрастом теряешь сообразительность. А ветер у нас — частый гость, бывает, даже двери выставляет. Бедный инженер! Между нами говоря, вы, на мой взгляд, не слишком сообразительны для профессии инженера. Мне всегда казалось, что инженеры — ловкачи, умеют за себя постоять и не витают в поднебесных высях.

Адриан следовал за начальником станции на почтительном расстоянии и готов был мигом отпрыгнуть в сторону, если старику вдруг пришло бы на ум воспользоваться топором. Но старичок, похоже, перестал сердиться. Он даже пригласил Адриана к себе, в жилую свою комнатку, что располагалась позади официального кабинета. В ней было темновато, одной свечки явно недоставало, чтобы хорошенько осветить комна-

тенку, заставленную старой мебелью, ящиками, инструментом, останками неведомых механизмов.

— Погодите, сейчас я лампу зажгу, — пообещал старичок начальник. — С вашей-то прытью вы и здесь мне беспорядков наделаете.

Он не без труда налил керосина в резервуар старой лампы, поколдовал над ней, и в комнате сделалось немного светлее. Адриана поразил хаос, в котором жил старик. Вместо стульев — деревянные ящики, а вокруг — груды старой рухляди, накопленной с незапамятных времен. На стенах выцветшие расписания поездов, разобрать на них, что к чему, нет никакой возможности. Что-то вроде верстака в углу, и на нем инструменты, бухты с ржавой проволокой, здоровенные болты для шпал, телеграфный аппарат прошлого века и огромные неработающие часы. В углу небольшая дровянная печурка и камин, от него-то и поднимался белый дымок, который заметил Адриан. На печурке — кастрюля, и в ней что-то булькает. За занавеской, сшитой из старых полотенец, раскладушка, покрытая туго натянутым одеялом — так, наверное, учат застилать постели в армии.

— Ну вот, теперь садитесь, господин инженер, — сказал старичок и пододвинул Адриану ящик. — Я варил себе суп, когда раздались ваши неуместные крики. Кроме супа мне нечем вас угостить.

— Спасибо, спасибо, — отказался Адриан, грязь вокруг отбила у него всякий аппетит. — Ужинайте без стеснения.

— Не ломайтесь, молодой человек. Я приглашаю вас от чистого сердца. В конце концов, если позабыть о ваших неблаговидных поступках днем, вы как-никак покупатель, который приобрел у меня табак. Суп у меня вкусный, вот увидите. У нас с вами масса времени. Вы, легкомысленно отставший пассажир, пока даже себе не представляете, сколько у нас с вами времени. Но для начала стопку успокоительного, после бучи, которую вы тут подняли, мне оно просто необходимо. Ну, вперед, и без стеснения, как вы сами мне сказали. — Старик достал кувшин, два небольших стаканчика и наполнил их до краев водкой.

— За вашу неудачу, инженер!

— За ваш табачок, начальник станции, — отозвался Адриан, он уже успел немного успокоиться.

В комнате царило приятное тепло, хотя меблировка, конечно, оставляла желать лучшего. Адриан расслабился, не сомневаясь, что очень скоро отправится дальше. Начальник станции поможет ему найти место в ближайшем поезде, если не сегодня ночью, то уж завтра утром наверняка. Все, что он тут городил этим своим официальным тоном, не более чем болтовня, самозащита, старичок хотел придать себе весу, показать, что и он на своем степном полустанке чего-то да стоит.

Адриан свернул папироску и закурил, наслаждаясь крепкой водкой, табак был до того горьким, что водка показалась ему сладкой. Старичок тоже выпил и теперь молча суетился вокруг кастрюли. Адриан думал о жене: еще несколько часов, и она будет дома. Если она все еще не поняла, что его нет в поезде, то очень скоро поймет — как только очутится на платформе. И что же она станет делать? А тесть? Он что скажет? Он же их встречает на вокзале в С., как было обещано. Адриан так и видел их обоих — бегают в тревоге по вагонам, жена плачет и злится. Может, думает, что он погиб, выпал где-нибудь из поезда? Да нет, она же видела,

как он входил в туалет, идиотка... Конечно, как всегда, скажет, что во всем виноват Адриан, его легкомыслие, беспечность, а то еще придумает, будто он сделал это нарочно, лишь бы все поволновались, лишь бы привлечь к себе внимание. Но жена ладно, а вот тесть... Тесть беспокоил его куда больше. Он же начальство. Адриан вынужден был прервать отпуск, потому что понадобился ему на заводе. И нате, пожалуйста, зять исчез! Как тесть поведет себя в такой странной, сомнительной ситуации? Собственно, один день без Адриана не катастрофа, вот бы только придумать, как подать случившееся, чтобы оно не выглядело так нелепо и смехотворно...

Адриан сидел задумавшись, а старичок тем временем поставил две тарелки супа и положил два толстых ломтя серого хлеба на ящик повыше, который служил столом.

— Сначала поужинаем, молодой человек, — сказал начальник станции, — а потом подумаем, как нам избавиться от вашего присутствия. Постарайтесь забыть о вашем нелегальном положении хоть на пять минут, сделайте вид, будто вы случайный гость, что-то вроде дальнего родственника, племянник, например. Мне ведь строго-настрого запрещено впускать к себе пассажиров. Присутствие здесь пассажира, даже случайного, является нарушением правил. Поэтому примите самый непринужденный вид, постарайтесь хоть как-то скрыть, кто вы такой на самом деле.

— Вы ждете кого-то еще?

— Никого, успокойтесь. Если бы ждал, не стал бы вас приглашать. Место пассажира в зале ожидания, а не в квартире начальника станции. Дистанция необходима, иначе задохнешься от тесноты, не так ли? Пассажиры и служащие железной дороги — две категории людей, которые вынужденно соседствуют друг с другом, но никогда не смешиваются, как гласит одна из прекраснейших статей устава. Однако это не основание, чтобы отказаться от минимального соблюдения приличий. Итак, инженер, принимайтесь за суп. И как вы насчет еще одной порции успокоительного?

Они ели молча и выпили тоже молча. Суп оказался картофельным, густым, с луком и салом, вполне съедобным, вопреки опасениям Адриана. С хлебом и водкой ужин оказался хоть куда. Адриан ел без особенного аппетита, но все-таки ел и на десерт выпил еще стаканчик. Скрутив себе еще одну папироску и заметив, что старик с довольным видом взялся за трубку, он добродушно спросил:

— Ну а теперь скажите, что я такого натворил?

— Откуда мне знать, молодой человек, — отвечал начальник, попыхивая трубкой. — Понятия не имею. Учтите, что к вашему теперешнему положению я не имею отношения. Напротив, я хотел вам помочь, давал вам добрые советы. И если я продал вам табак, а теперь угостил супом, то только из любезности и чувства гостеприимства. Вы один в ответе за то затруднительное положение, в которое попали.

— Я с вами совершенно согласен. И очень вам благодарен за все, что вы для меня сделали. Я готов заплатить штраф, купить новый билет, все что угодно, шеф, только бы сесть на поезд. У меня там жена, ребенок, они беспокоятся. И начальник тоже. Я могу испортить себе будущность...

— Так у вас и ребенок есть?

— Да, есть. Мальчик. Сын. И тесть меня ждет, ждет помощи от меня на заводе. Понимаете?

— Понимаю. Это осложняет вашу ситуацию, молодой человек. Обо всем об этом нужно было думать раньше, до того, как вы покинули поезд. Как я вижу, вы не просто беспечный человек, вы человек безрассудный, а быть может, даже безответственный.



— У вас, шеф, я прошу всего-навсего место в поезде. Не луну же! Место в поезде любого направления, и все у меня наладится. Думаю, что я прошу совсем немного.

— Много, не много, что вы в этом понимаете? Откуда я возьму вам поезд?

— Следующий поезд, который здесь остановится, решит все мои проблемы. Если будет товарный, сяду в кабину машиниста и доеду до ближайшей станции, где смогу наконец уладить отношения с властями железной дороги. Я и за вас замолвлю доброе слово, в благодарность за участие, с каким вы помогаете мне выпутаться из ситуации, в которой виноват я один.

Начальник станции снова набил трубку и налил себе немного водки, а потом уж заговорил. Улыбка у него была странноватая, не горькая, а скорее невеселая. Вспоминая ее, Адриан определял ее для себя как печальную.

— Ох, инженер-инженер, бедолага!.. Вы так ничего и не поняли! Не будет поезда, их здесь вообще не бывает, и я понятия не имею, появится здесь когда-нибудь еще поезд или нет! Ваш был первым, который остановился у нас за полгода, вернее, за год, в общем, даже не знаю, за какой период. Вы что же, не заметили, что и рельсы у нас заржавели? Вы-то должны понимать, что это означает. В общем, поезд, конечно, может прийти прямо сейчас, а может через полгода. Точнее сказать не могу. Вам бы лучше, наверное, стоять на платформе и ждать, вернее, надеяться. Ведь у вас нет билета, и я никак не могу вам его обеспечить. Конечно, билет самая пустячная из ваших неприятностей, но и она существует. Теперь вы все поняли?

— Неужели?.. — Адриан не мог поверить словам начальника станции. — Мой поезд...

— Да, ваш поезд. Я глазам своим не поверил, когда увидел перед собой ваш поезд. Я-то был убежден, что мой путь окончательно и навечно остался в стороне. И вдруг ваш поезд потихоньку подходит к моей станции! А все из-за оползня где-то на дороге.

— Ну вот! Никто же от оползней не застрахован, так что поезда опять будут здесь останавливаться.

— Из-за новых оползней? Простите, но вы бредите, мсье инженер. Ремонт всегда производится очень быстро, только ваш поезд и пустили по запасной ветке, и скорее всего, по недосмотру, если хотите знать. Мне сообщил это по секрету машинист вашего поезда. Ему приказали освободить основной путь как раз на то время, которого требует этот крюк, но согласитесь, делать его было очень глупо. График движения нарушился часа на три, а то и больше. Потом движение наладилось, и я прожду не один месяц следующего почетного визита. А может, меня вообще вычеркнут из списка, машинист видел, в каком состоянии пути, и,

безусловно, подаст рапорт, чтобы составы больше никогда не отправляли по нашей ветке. Оно и понятно: вопрос безопасности.

– Но-о в таком случае... как я могу попасть на основной путь, добраться до настоящего вокзала? – оторопело спросил Адриан, чувствуя нервную дрожь.

– Понятия не имею, мсье. Потому-то вас и жалею, хотя ваше присутствие здесь для меня сплошной геморрой, да простится мне подобное выражение.

– Я могу сесть на автобус, могу взять такси, если надо.

– А где у нас автобус, где такси, бедолага? Вокруг нас безбрежная степь, никакой конь не доскачет. До ближайшей станции лье шестьдесят, не меньше. На поезде пустяки, а пешком чувствительно.

– Я попрошу вас тогда хотя бы телеграмму послать, уведомить о случившемся со мной несчастье, пусть там похлопочут, что-нибудь для меня сделают.

– К сожалению, единственный телеграфный аппарат перед вами. Видите? Весь проржавел. Телеграфная линия перестала работать одновременно с электричеством, их за ненадобностью отключили.

– Не верю! Быть такого не может! – вспылил Адриан. – А станция почему осталась, если нет ни в чем надобности?!

– Видите ли, все очень изменилось. Когда не было скоростной железной дороги, здесь ходили паровозы. Они запасались у нас водой и дровами для топки, потом стали запасаться углем. Вот пройдете немного вдоль полотна и увидите, что осталось от водокачки. Она рухнула несколько лет тому назад. Ручеек, откуда мы качали воду, превратился в болото. Перестали расчищать русло, вот его и затянуло. Остатки дров и угля пока еще лежат вдоль дороги кучами. Я ими топлю, обогреваюсь. Но если подумать, сколько начальство погубило топлива, ликвидировав ветку, становится нехорошо. Раззор, да и только.

– Что ж, выходит, вы один-одинешенек затерялись в степи?

– Да нет, дорога ведет в поселок, он примерно в лье отсюда. Ваша единственная надежда, вы туда сейчас и отправитесь. С моей стороны было бы вопиющим нарушением правил, если бы я оставил вас ночевать в зале ожидания. Зал ожидания предназначен для пассажиров, а вы, полагаю, на достаточно долгий срок перестали быть пассажиром. А станция, должен вам заметить, не гостиница.

– Неужели поселок? – переспросил Адриан. – Настоящий поселок? А как называется? – В душе ожила надежда и принесла облегчение.

– Да, совсем небольшой поселочек. Называется просто – Вокзал. Так, собственно, и станция моя называется. Здесь станция "Вокзал", там Вокзал – поселок. Никаких сложностей, и ошибиться невозможно. Дорога там и кончается, другой дороги нет, так что вы не заблудитесь. А за поселком увидите старую дорогу, она идет вдоль старого полотна в две колеи. Но я напоминаю, до ближайшего города не меньше шестидесяти лье, такой путь мало кому по нраву, так что если уж кто, по несчастью, высадился на Вокзале, то уж так при Вокзале и живет, в поселке, я имею в виду.

– Конечно, я немедленно туда отправлюсь. Не сомневаюсь, что решу там все проблемы. Надо же, какая темнотища! Могу я попросить вас одолжить мне фонарь?

— Не можете, драгоценнейший инженер. Вы двинетесь в путь при свете звезд. Ночь светлая, поверьте. Свежо, но не холодно. Пойдете себе по дороге и доберетесь до поселка. Главное, не пытайтесь идти степью, и все будет любо-дорого. Вы окажете мне величайшую услугу, если не будете распространяться, каким образом оказались в наших местах. Моя станция не принимает пассажиров, и если вдруг поползут слухи о благодеяниях, которые я вам оказал, закрыв глаза на ваше беззаконное появление, мне придется сразу же заявить о вас как о пассажире-нелегале перед муниципальными властями.



— Вы уверены, что идти ночью по степи не опасно? — с ноткой тревоги в голосе осведомился Адриан.

— Нисколько. У нас здесь нет людей, а стало быть, нет и опасности. В рощице, которая вам встретится, волков нет уже лет сто. Идите себе спокойно. И потом, у вас выбора нет. Я вас здесь ночевать не оставлю. Но вы будете желанным гостем, если вдруг придете за табачком. Я продаю товар и тем, кто не является настоящим пассажиром, именно им я все и продаю, потому что настоящие пассажиры никогда не сходят на моей станции с поезда. И вот еще что скажу вам на прощанье: я сожалею, что назвал вас, молодой человек, негодяем. Я не знал, кто вы такой, хотя ваша история и сейчас мне не кажется такой уж достоверной. Я приготовился обороняться от преступника. В степи бывает, что убивают без всяких на то причин, вот я и старался вас напугать, ведь вы моложе меня и крепче. Так что не обижайтесь, а впредь ведите себя осторожнее в наших пустынных местах.

Адриану не слишком улыбалось ночное путешествие по незнакомым местам, тем более, что, пробежавшись по дороге, он не заметил ни вдали, ни вблизи ни малейшего признака поселка. Последние слова старика растревожили его еще больше. Однако всерьез он боялся совсем другого и поэтому не хотел расставаться со станцией Вокзал. Пока он был здесь, не все казалось потерянным, — семья, работа, положение в обществе, — все было при нем, он просто дожидался, когда служащие железной дороги помогут ему найти выход. Но вот он ушел, а без него пришел поезд, и что тогда? Отправиться в путь пешком означало согласиться с тем, что он сам и все вокруг изменилось, что он уже не пассажир, ожидающий следующего поезда, а путешественник, свернувший в сторону. Он прекрасно понимал, что его опасения и страхи нелепы, но что он мог поделать, если чувствовал суеверный страх и не мог не считаться с ним. Ведь если вдуматься, старик вполне мог услать его в степь, чтобы только избавиться от него...

— Вы уверены, что поселок неподалеку? — спросил еще раз Адриан. — Может, мне лучше не трогаться с места и подождать следующего поезда здесь? Я посижу в зале ожидания, а завтра с утра пораньше, когда рассветет, двинусь в поселок. Честно говоря, я боюсь заплутать в темноте.

— И не думайте, мсье инженер. Я не позволю вам остаться на станции, иначе получится, что я впустил в зал ожидания бродягу. Как пассажиру вам ждать нечего, я же сказал: поезда не будет. Ваша единственная надежда — поселок. Забудьте прошлое, когда вы были пассажиром нашей линии, так будет для вас гораздо лучше. Но, если вы держитесь за прошлое, возвращайтесь сюда завтра, урегулировав ваш статус на том

Вокзале. В путь, молодой человек, и удачи вам! Вы ведь не боитесь потемок, не так ли? Еще глоток успокоительного, и в дорогу, — сказал старичок и наполнил стаканчики. — Сверните заранее несколько папиросок, а то с вашей-то неуклюжестью просыплете весь табак в темноте. И не забудьте: ни слова о вашем тайном побеге. Люди, конечно, что-то заподозрят, не без этого, но, если лишнего не болтать, тайна будет все равно что похоронена.

Адриан свернул две папиросы, простился с начальником станции и пустился в путь твердым шагом, несмотря на немалую дозу успокоительного.

## 3

Ночь уже спустилась, в самом деле светлая и прохладная, с удивительно яркими звездами на небе. Адриан очень скоро различил темную полосу дороги посреди тоже темной, но совсем другого оттенка степной травы и двинулся вперед. Поначалу ему было не по себе, неведомые потемки пугали, он даже перестал думать о случившемся с ним несчастье. Страх подгонял его, и он шел все быстрее и быстрее, надеясь вот-вот увидеть впереди огни поселка. Шел, чуть ли не бежал, а когда надумал обернуться, не увидел позади станции. Ночь, взяв его в кольцо, сомкнулась у него за спиной. Нескончаемая пустынная степь внушала Адриану ужас, ему хотелось бежать бегом, чтобы как можно скорее оказаться в мирной гавани освещенного огнями поселка, откуда он подаст телефонный крик о помощи и вернется наконец в тот мир, где привык жить.

Сколько времени миновало? От быстрой ходьбы у Адриана заломило ноги, рубашка под пиджаком намокла от пота, а никаких огней, пусть даже на горизонте, не было и в помине. Лье начальника станции оказалось куда длиннее обычного, он шел уже добрый час, а поселка ни вблизи, ни вдали не было видно. Дорога тянулась впереди прямой полосой, освещенная ломтиком луны, забравшейся на небо позади Адриана.

Он почувствовал, что устал, и присел на камень выкурить папиросу. И вот тут-то, когда он сел, на него навалилась щемящая тоска. Сердце щемила не забота о жене или ребенке, с ними все было в порядке. Еще бы! Возле сына мать! Наверняка добрались уже до дома, и тесть, без всякого сомнения, предпринял какие-то шаги, разыскивая зятя-инженера. Адриан хорошо изучил отца своей супруги, президента фирмы и директора завода, ему не составило труда представить себе, как энергично тот взялся за поиски, отрывисто раздавая приказы и мигом поставив на ноги сотню служащих. Так тесть поступал при любой оказии. Как только он поймет, что Адриан исчез, пустит в ход все средства и вернет его в семейное гнездо. Само собой разумеется, хлопоты вовсе не означают, что тесть так уж обожает зятя, что завод не может обойтись без инженера, что жена очень дорожит супругом. С женой они постоянно грызлись. Адриан не забыл их недавней ссоры, не забыл и ощущения, которое порой становилось до боли острым: союз их непрочен, обречен, раз их не сблизил даже ребенок. Однако в его неожиданном исчезновении семья, безусловно, усмотрит странность, больше того, неприличие, почти скандал. Не сразу конечно, сначала им будет не до

упреков. Еще бы! Человек исчез по дороге домой. А что, если он погиб? Надо немедленно все выяснить. Тесть будет его разыскивать, а заплаканная жена делать вид, что всеми силами души жаждет возвращения к семейному очагу главы семейства. Между тем Адриан не обольщался: жена плакала от злости, не сомневаясь, что он сбежал нарочно, лишь бы заставить всех побегать и поволноваться. Вот от этой-то несправедливости жены и защемило тоскливо сердце у Адриана, пока он мирно сидел на камне и курил. Как он объяснит домашним свое опоздание на поезд, когда и себе самому не мог объяснить его толком? Он в самом деле отстал от поезда по рассеянности или действительно хотел, чтобы тот ушел без него, как заподозрил начальник станции? Напрасно Адриан прокручивал в уме различные объяснения, все они выглядели диковато и неправдоподобно. Заснул он, что ли, в туалете на полустанке, затерянном посреди степи? Хорошо, предположим, не услышал сигнала, но как можно не услышать стука колес, когда состав тронулся? Стоило возникнуть сомнению, и почва под ногами Адриана становилась зыбкой. А что поделать? Он ведь и сам сомневался. Даже теперь, когда он понял, что стал жертвой чудовищной случайности, к охватившей его панике примешивалось совсем другое чувство, и сейчас он ясно отдавал себе в этом отчет. Чувство было едва уловимым, совершенно противоестественным и вместе с тем вполне реальным, он ощущал легкое чувство вины и несомненное удовольствие оттого, что наконец остался один, сидит себе в чистом поле и покуривает, выпив водочки с начальником станции. И чем приятнее ему было так покуривать, сидя на камне, тем менее однозначным становилось его отношение к предполагаемым хлопотам тестя, они не столько успокаивали его, сколько смущали и даже немного тяготили. Тесть, принимая что-то близко к сердцу, не отличался деликатностью. Адриану дорого встанут его хлопоты! Ему придется платить и платить. А сколько он услышит упреков от раздраженной жены! В то же время в глубине души Адриан прекрасно знал, что если и была с его стороны какая-то необязательность, то самая невинная и простительная.

Нельзя сказать, что Адриан так уж тщательно проанализировал собственные чувства, что разложил все по полочкам, нет, они набегали, теснились, мешая ему всерьез разобраться, в каком положении он оказался. А это было бы совсем не вредно. И Адриан решил еще посидеть на обочине и выкурить еще одну папироску, потому как до поселка оставалось наверняка совсем уж недалеко и приключение его очень скоро закончится. Адриан хотел приготовиться к телефонному разговору с тестем, он ни за что не будет говорить о своей рассеянности или склонности к авантюрам, а только о несчастной случайности, аварии, ненадежности расписания и железнодорожных служащих.

"Что за чушь мне лезет в голову?!" — возмутился внезапно Адриан.

С чего он вдруг вздумал оправдываться? Никогда он не испытывал тяги к авантюрам, никогда всерьез не хотел расстаться с женой. Ему нравилась профессия инженера, и он никогда не желал для себя ничего другого, как только продолжать работать на заводе и жить со своей женой и сыном. У него были кое-какие интересные соображения, как улучшить производство, и этим соображениям осталось лишь лечь на бумагу, чтобы они могли воплотиться в жизнь. Как только они станут

конкретным планом преобразований и президент их одобрит, Адриан займет завидный пост в совете директоров. А его жена, главный акционер, будет им восхищаться.

Адриан думал о будущем, сидя ночью у обочины дороги, и старался не поддаться счастливому чувству свободы, которое испытывал и на отдыхе, когда жена загорала на пляже, сын спал в тени под зонтиком, а он — изредка — гулял в одиночестве среди дюн. Он вздрогнул — от холода конечно, у него же рубашка влажная. Адриан снова тронулся в путь. Ему стало стыдно, что он так привязался к одиноким нелепым прогулкам, в каком-то смысле даже неприличным для такого солидного человека, как он. Он подумал, что скоро позвонит домой, все уладит, ощутил прилив энергии и прибавил шагу.

Он сказал себе, что знает, для чего ему понадобилась эта нелепая ситуация: преодолевая внешний разлад, он стремится преодолеть внутренний. Старичок начальник не ошибся, Адриан в самом деле оказался на незаконном положении, и это положение требует от него, инженера, технической смекалки, он должен вновь завести механизм прожитой жизни и направить ее по той же колее, что и раньше. Адриан подумал, что, пожалуй, жена была права, когда корила его за мечтательность и даже за инфантильность, как она выражалась, если бывала особенно раздражена. Адриан пообещал себе, что в будущем постарается избавиться от детских привычек и сделает все, чтобы добиться успеха в мире деловых людей. И не мог не улыбнуться, радуясь про себя, что только он один знает о той смехотворной неуверенности, которая одолевает его, стоит ему ослабить контроль над собой.

***

Поселком начальник станции, очевидно, назвал те домишки-развалюхи, что стали наконец появляться перед Адрианом справа и слева от дороги. Кучи кирпича, обломки черепицы, подгнившие балки выглядели в мертвенном лунном свете весьма зловеще. Черные кучи с торчащими досками загромоздили впереди и дорогу. Узкие, темные тропинки огибали их и терялись в потемках. Непросто было решить, по которой идти дальше. Адриан двинулся в ту сторону, где в темноте ему послышался лай собак. Осторожно, боясь споткнуться и упасть, он передвигался среди куч, руин и обломков. И неожиданно выбрался на небольшую площадь, кое-как замощенную неровными плитами. Вокруг старые низкие домики, покосившиеся сараи. В центре — большой круглый колодец. В воде отражается луна. Фонарей нет и в помине. А в мертвенном лунном свете все кажется таким недоброжелательным... В углу площади Адриан заметил дом в два этажа — в нем единственном слабо светились окна, и похож он был на гостиницу. Адриан взглянул на часы и облегченно вздохнул: всего-навсего девять, он шел почти два часа. Нелегко ему было поверить, что добрался он именно до того самого поселка, куда отправил его начальник станции, и все-таки он решил заглянуть в дом с освещенными окнами, надеясь найти там телефон. Толкнул тяжелую деревянную дверь, источенную червем, и оказался в большой комнате с низким потолком, почерневшими балками и плиточным полом. Плиты были такими же неровными, как на площади. Да, это была гостиница,

тускло освещенная керосиновыми лампами и свечами. Табачный дым висел, будто туман. В глубине комнаты в огромном камине потрескивал огонь. Адриан сразу отметил изумление на лице хозяина, стоявшего за стойкой. Все, кто сидел за столами, как один повернулись в сторону вошедшего нежданного гостя, чужака в костюме и галстуке. Адриан на миг застыл на пороге, пригвожденный к месту взглядами и внезапной тишиной, потом, втянув голову в плечи, направился к стойке. Вид посетителей — деревенских мужичков, лохматых, небритых, в грубых рубахах, — не порадовал Адриана. Хозяин разглядывал гостя, насупив брови, и даже не думал поздороваться. Был он крупный, грузный, лысый, в тесной майке, туго обтянувшей объемистый живот. В волосатой большой руке у него блестел стакан, он собрался его вытереть, но остановился, увидев незнакомца.



— Добрый вечер, — поздоровался Адриан, заставив себя улыбнуться хозяину.

— Добрый вечер, — прогудел хозяин в ответ и не тронулся с места. — А вы кто будете?

— Я проездом, — отвечал Адриан все с той же натужной улыбкой. — Меня отправил к вам начальник станции.

— Начальник станции? Старина Кирилл?

— Да, начальник железнодорожной станции. Он сказал, что в поселке Вокзал я смогу переночевать. Так я в этом поселке?

— Ага, вы попали к нам, это Вокзал и есть. А с чего это вдруг вы хотите здесь ночевать? Что вам от нас нужно?

В последнем вопросе звучал вызов, от него даже веяло откровенной враждебностью, можно было подумать, что хозяин оборонялся от нежелательного вторжения. Адриан уголком глаза заметил, что игроки в карты за соседним столиком тоже встревожены, они прекратили игру и дожидались, что он ответит.

— Я опоздал на поезд, — Адриан ограничился только этим сообщением и с сожалением развел руками.

— Какой поезд, мсье? — осведомился хозяин и вновь взялся за полотенце и стал вытирать стакан.

— Скорый, до города С. Непонятно почему он остановился на вашей станции. Я вышел размять ноги, а поезд взял и уехал. Я не успел сесть. Такая глупость... Опоздал. Мне надо сделать несколько телефонных звонков, поговорить с домашними, предупредить, чтобы не волновались.

— Вы хотите сказать, что приехали на поезде? На станцию старины Кирилла? И когда же, скажите на милость?

— Скорым поездом, сегодня во второй половине дня.

— Удивительно! Ваша история из ряда вон, мсье!

— Тем не менее все так и было. Я глупейшим образом опоздал на поезд, а по вашей ветке, кажется, ходит не так много поездов. Начальник станции огорчился не меньше моего, но ничем не мог мне помочь. Он был настолько любезен, что разделил со мной свой ужин и послал меня сюда, пока нет следующего поезда. Завтра я опять отправлюсь на станцию, но сейчас мне обязательно нужно позвонить домой. Неприятно...

— Неужели вы и впрямь упустили поезд? — переспросил хозяин, явно не в силах в такое поверить. — Стало быть, сегодня на станции стари-

ка останавливался поезд, вы вышли просто так, прогуляться, а поезд ушел?

— Да, именно так, — подтвердил Адриан, с трудом сдерживая раздражение. — Поезд пустили по вашей ветке из-за оползня на главном направлении. Я вышел, чтобы купить сигарет, а купил табак. Вот, смотрите, этот табак мне продал старичок на станции. А поезд тем временем ушел, и я не смог его догнать. Такие вот дела.

— Но вы не хотели оставаться на этой станции, я правильно вас понял?

— Именно, именно. Я отстал по недоразумению, и теперь мне непременно нужно позвонить. Могу я рассчитывать на вашу помощь? Телеграф на станции не работает.

Двое из деревенских встали с мест и подошли к стойке, чтобы узнать поподробнее о таком необыкновенном происшествии, в которое верилось с большим трудом.

— Тут какая-то ошибка, мсье! — воскликнул маленького роста бородач в старой военной фуражке. — Скорый не мог пройти по нашей ветке, рельсы бы не выдержали. Вы, похоже, нас баснями кормите.

— Я сказал вам чистую правду, — холодно отрезал Адриан. — Где-то на линии был оползень, наш поезд отправили в объезд. И действительно, вы не ошиблись, по вашим рельсам он полз еле-еле.

— Полз еле-еле, а вы тем не менее от него отстали, — заметил хозяин с насмешливой улыбкой.

— Да, упустил, — кивнул Адриан и отступил на шаг, потому что местный дурачок тянул к нему грязные лапищи, собираясь пощупать пиджак.

— Отойди, Панкрас! — прикрикнул на дурачка бородач в военной фуражке. — Не смей прикасаться к этому господину! Иди отсюда и сядь подальше, иначе не получишь ни капли водки! Что за манеры...

Дурачок отошел, бормоча под нос что-то невразумительное и обиженно поглядывая на Адриана исподлобья.

— Не обращайте на него внимания, мсье, — подхватил хозяин. — Панкрас — идиотик, но не злой. Вы одеты по-городскому, а он такой одежды сроду не видел. Любопытен, как собачонка, ну и привязаться, конечно, может. А вот вы нам лучше скажите, вы что же, один отстали от поезда или другие пассажиры остались на станции старины Кирилла?

— Нет, я один.

— Без багажа, я полагаю.

— Разумеется, без багажа. Чемоданы остались в купе, где я ехал с женой и сыном.

— За это стоит выпить, уважаемый, — объявил хозяин и протянул Адриану рюмку водки. — Случай выдающийся. Сколько я себя помню, никто и никогда к нам не приезжал, и впредь, я думаю, ни один поезд не порадует старика Кирилла. Он сегодня почувствовал себя важным человеком, бедняга. Думаю, напился до чертиков, чтобы успокоиться.

— Вполне возможно, — согласился Адриан и вздохнул с облегчением, заметив, что общее напряжение спало. — Шеф был вне себя и уж как на меня кричал, когда обнаружил, что я стою на платформе! Но делать-то нечего. Поезд ушел.

Посетители озабоченно толковали между собой, обсуждая необычайное происшествие и весьма необычное положение, в котором, с их точки зрения, оказался Адриан. Хозяин между тем налил и себе рюмку, чтобы чокнуться с чужаком, неведомо откуда взявшимся.

— Как вас величать? — спросил он, отхлебнув добрый глоток.

— Тром, — с готовностью ответил Адриан и протянул руку. — Адриан Тром, инженер.

— Приятно познакомиться, — отозвался хозяин, пожимая протянутую руку. — Меня зовут Матиас, я хозяин этой гостиницы и мэр Вокзала. А это сержант Отто, начальник нашей полиции, — прибавил он, указав на бородатого коротышку в мятой фуражке. — Он следит у нас за коровами и овцами, чужих-то здесь нет, так что нет и неприятностей.

Адриан пожал руку сержанту, постаравшись не показать своего изумления. Хозяин гостиницы — мэр, это еще куда ни шло, а вот чтобы коротышка в обносках и деревянных сабо оказался сержантом полиции? Наверное, его разыгрывают. Хотя Вокзал, судя по всему, был забытой Богом дырой, и Адриан всерьез забеспокоился, не понимая, как же ему быть и что делать, чтобы поскорее отсюда выбраться.

— Вы, значит, держите гостиницу, мсье Матиас, — сказал он как можно добродушнее и беззаботнее. — Рад за вас, в добрый час. Как только переговорю по телефону, попрошу у вас комнату, чтобы переночевать.

— А вот это невозможно, милейший мсье инженер, — ответил хозяин все с той же насмешливой улыбкой. — У меня в гостинице всего-навсего одна комната, и занимает ее вон тот мужчина, видите? В глубине зала сидит перед шахматной доской. Он мой единственный постоялец, уважаемый мсье Теодор, удостоивший нас своим присутствием уже много-много лет назад. Вам придется поселиться где-нибудь еще. А что касается телефона, то забудьте о нем. У нас здесь нет телефона. Всякие там нововведения до нас пока не добрались. Если когда-нибудь до нас дотянут электричество, столбы, вполне возможно, пригодятся и для телефонного кабеля. Но сказать по чести, я буду очень удивлен. Да и то сказать, мы всегда прекрасно жили и без телефона. Кому нам, собственно, звонить?

При этом известии вся благожелательная улыбчивость соскочила с Адриана, и он уже не мог скрыть беспокойства и подавленности. И растерянности тоже.

— Как же это так? — спросил он. — Как же можно без телефона?

— Можно и без телефона, — отозвался спокойно хозяин.

— Но в таком случае...

— Именно, мсье инженер, — согласился хозяин, говоря очень мягко, почти по-отечески. — Если вы рассказали нам все, как оно было на самом деле, то вы, скажем честно, попали в серьезную переделку. Остались в голой степи, среди нас, простых работяг, ждать еще одного чуда на станции старины Кирилла. Скажу вам прямо, ждать вам придется очень долго.

— Быть такого не может! Вы говорите что-то немыслимое! Самое позднее завтра я должен отсюда уехать! Я как-никак работаю! У меня семья, дома обо мне волнуются. Я не верю, что вы тут живете в полной изоляции! Не верю!

— А мы и не живем в изоляции, — заговорил хозяин, снова взявшись за полотенце. — Мы живем у себя дома. В изоляции, скорее, вы, потому что оказались вроде как не у места. Но кто ж виноват, что вы вышли на нашей станции? Никто вас об этом не просил. Если только вы...

— Если только что? — переспросил Адриан.

— Если только вы не появились здесь совсем с иными намерениями, инженер...

— С какими намерениями?

— Понятия не имею, и сам все время об этом думаю, мсье. Что может понадобиться инженеру в нашем поселке? Не иначе захотели нам неприятностей. Или, может, вы государственный чиновник? Без серьезных намерений не соскакивают со своего поезда посреди пути. Так легко это не делается. Вы уверены, что не остались здесь сознательно? Чтобы была потом возможность оправдаться?

Несмотря на охватившее его отчаяние, Адриан старался держать себя в руках. Тон хозяина, косые взгляды посетителей внушали ему тревогу, и он как мог пытался всех успокоить и переключить внимание на свою плачевную ситуацию.

— Вы ошибаетесь, глубокоуважаемый мэр, мне и в голову не приходило прерывать путешествие. Прервав его, я оказался в крайне тяжелом положении и очень прошу вас мне помочь. Мое изумление извинительно, я только теперь начинаю понимать, какая беда со мной случилась. Мне совершенно необходимо уехать как можно скорее, иначе меня ждут серьезные неприятности. В С. меня ждет работа и семья, близкие за меня беспокоятся. Уверен, что они уже сообразили, как мне помочь. Не удивлюсь, если за мной уже послан автомобиль. Мне обязательно нужно позвонить им, успокоить, сказать, что я жив и здоров, нахожусь в поселке Вокзал и жду их. Вот и все.

— И все? — переспросил хозяин. — Тогда вам и волноваться нечего, мсье инженер. Если вы полагаете, что они прибудут сюда завтра, вам осталось переждать ночь. Вы сядете себе в автомобиль и уедете, как приехали, живым и здоровым. Пейте спокойно водку и не будем больше об этом говорить.

— Хорошо то, что хорошо кончается, — прибавил сержант Отто и попросил себе еще рюмку. — Извините нас за наше любопытство, мсье Тром. Необыкновенные происшествия вроде вашего появления среди ночи чрезвычайно редко тревожат покой нашего поселка. Вы даже представить себе не можете, какой невероятной показалась нам ваша история, поэтому мы так удивились. Не сочтите за обиду, если я как представитель закона попрошу вас исполнить некоторые формальности. Есть у вас при себе документы?

— Да, конечно, — тут же отозвался Адриан и протянул сержанту удостоверение личности и визитную карточку. — Проверьте, документы в полном порядке.

— Вы совершенно правы, мсье Тром, на первый взгляд документы в идеальном порядке. А позвольте ваш железнодорожный билет, если вас это не затруднит.

— Сожалею, но затруднит. Билеты остались в сумочке у жены, у нас в купе. Я уже объяснил это начальнику станции и сказал, что готов заплатить штраф, как только выеду отсюда и окажусь на следующей станции.

— Прекрасно, мсье инженер, получите ваши документы. Проблема железнодорожного билета в ведении старины Кирилла, меня она не касается. Но я был бы крайне удивлен, если бы вам удалось уехать отсюда по железной дороге. Ума не приложу, как оказался на нашей станции ваш поезд, и меня это беспокоит, хотя поезда не по моему ведомству. С другой стороны, вместе с поездами у нас здесь могут появиться посторонние и нарушить мирную жизнь Вокзала. Ваша история, какой бы она ни была, касается нас всех, даже если вы признаете, что мы непричастны к вашему бедственному положению. Итак, будем ждать помощи от вашей семьи, раз вы уверены, что завтра за вами приедут. Ведь вы уверены, не так ли?

— Вы все правильно поняли, сержант. Я, знаете ли, несколько нервничаю, на меня столько свалилось. Происшествие застигло меня врасплох, и пока я сюда шел, а шел я довольно долго, я надеялся, что смогу позвонить жене. Поставьте себя на мое место.

— Да не волнуйтесь вы так, мсье инженер, лучше выпейте и успокойтесь. Раз завтра утром все уладится, расслабьтесь. Может, хотите в картишки перекинуться?

— Да нет, спасибо, устал до крайности. Даже не знаю, сумею ли заснуть, до того устал. А вы уверены, что в гостинице не отыщете для меня местечка? Я заплачу столько, сколько скажете, и удовольствуюсь чем угодно.

— Нет, у меня никак, — отвечал хозяин. — Но мы непременно найдем, где вам переночевать, ведь речь идет всего об одной ночи. Поселок у нас маленький, возможности невелики. Посидите, пока мы наведем справки. Может, вы хотите поесть? Я приготовлю.

— Спасибо, я поужинал на станции. Но попросил бы у вас стакан пива, слишком долго шел, пить захотелось.

— Я принесу вам воды. Пиво будем пить через несколько месяцев. Водку я гоню из зерна круглый год, она у меня великолепная, а вот сидр и пиво варю только на Рождество.

Адриан взял свой стакан, уселся за пустой столик и уставился на потрескивающие в камине дрова. Изо всех сил он старался казаться спокойным. Не сразу даже решился свернуть себе папиросу, опасаясь, что неловкостью движений выдаст волнение и тревогу. Остальные посетители тоже разошлись по своим местам, за столом стариков возобновилась карточная игра, хозяин делал вид, будто продолжает перетирать за стойкой стаканы. Но куда девалась прежняя непринужденность? Присутствие чужака ощущалось всеми, чужака, который, скорее всего, завтра тоже не покинет Вокзал... Сержант уселся напротив Теодора перед доской с шахматами, но они не играли, а шепотом переговаривались.

Адриану было неуютно, он чувствовал на себе взгляды, которые нет-нет да и бросали на него деревенские, будто бы подсматривая за ним. Стараясь не делать лишних движений, он все-таки свернул аккуратную папироску, хотя пересохший табак так и норовил рассыпаться по столу. Беспокойство его росло с каждой минутой, и все острее он ощущал свое одиночество в этом глухом поселке на краю света. Он прекрасно понимал, что хватил через край, когда минуту назад расписывал беспокойство своего семейства и его готовность прийти ему на помощь. Тесть, конечно, если сочтет нужным, может двинуть на его поиски хоть целое

подразделение среди ночи. Но для начала он должен хотя бы знать, где искать Адриана. Если жена вспомнит о маленьком, затерянном в степи полустанке, все еще может уладиться. А если скажет, что он погиб, вывалился из поезда или, еще того хуже, просто-напросто смылся на одной из попутных станций, меры тестя будут совсем другими. Адриану становилось не по себе при мысли, что жена и ее родители делают самые разные предположения по поводу его непонятного исчезновения. Ощущение, что он – несчастная жертва судьбы, жалкая игрушка в ее руках, усугублялось, как только он воображал семейный совет и себя как предмет обсуждения на нем, мнения жены, тестя, тещи словно бы обезличивали его, лишали возможности быть самим собой. Косые взгляды местных жителей тоже мешали Адриану, ему словно бы навязывали чье-то чужое существование, лишая собственного. Про себя Адриан вновь и вновь возвращался к разговору с полицейским, изысканная любезность коротышки была оскорбительна, он явно считал Адриана подозрительным бродягой.

"В конце концов, я и сам знаю, что я дерьмо", – заключил Адриан, закуривая вторую папиросу после того, как опорожнил стакан. Конечно, я попал в переплет, но верю, что ненадолго. Как только выберусь из этой дыры, опять буду Адрианом Тромом, инженером, работающим на заводе тестя в городе С., а с этим кошмаром будет покончено. О работягах из поселка-развалюхи и думать забуду. Я получил хороший урок, дорогая супруга, признаюсь тебе в этом без стесненья. В будущем – никакого витания в облаках. Полное соответствие реальности – вот к чему я буду стремиться. И никаких отвлеченных вопросов. Памяти о железнодорожном приключении мне хватит надолго.

Время шло, Адриан по-прежнему сидел в не слишком-то дружественной компании в общем зале гостиницы и предавался сожалениям, смешанным с раскаянием. Он мысленно клял судьбу, потом самого себя за то, что назло жене соскочил с поезда, корил себя за то, что был не слишком хорошим отцом, иначе перемазанная шоколадом мордашка сына не раздражала бы его. От усталости Адриана развезло еще больше, он все глубже погружался в пучину горести и готов был заплатить любую цену, лишь бы выбраться отсюда как можно скорее. Захотелось спать, вспомнилась мягкая постель дома, а тягомотное ожидание и грубые работяги вокруг стали просто ненавистными. Мешал запах пота от рубашки, жали городские ботинки, гостиничное тепло казалось не только душным, но и вонючим. Даже если бы ему очень захотелось выйти по своим надобностям, он все равно не встал бы, лишь бы не привлекать к себе лишнего внимания.

Он, скорее всего, задремал, потому что едва не подпрыгнул от неожиданности, обнаружив возле себя сержанта Отто и дурачка Панкраса. Когда Адриан дернулся, все вокруг рассмеялись.

– Просыпайтесь, мсье, – крикнул сержант, ему тоже было смешно смотреть на Адриана. – Коли будете спать за столом, все сочтут вас не инженером, а пьяницей.

– Это я от усталости, – ответил он, растерянно протирая глаза.

– Вам нашли комнату для ночевки. Вставайте. Панкрас вас проводит к старухе Миле. У нее есть комната, она вас ждет. Но предупреждаю заранее, без особого комфорта. Мы люди небогатые, и городских

удобств у нас нет. Но для одной ночи сойдет, тем более что глаза у вас слипаются, вы заснули бы и в коровнике. Мила славная женщина, вы с ней поладите.

Адриан поднялся, новость его обрадовала, а вот дурачок, который стоял к нему слишком близко, вызывал раздражение. Он простился со всеми кивком головы и шагнул вслед за Панкрасом в темноту. Дурачку, похоже, сделали серьезное внушение, и пиджаком Адриана он больше не интересовался. Не отличался Панкрас и словоохотливостью и, пока они шли темными уличками и огибали дома-развалюхи, отвечал на вопросы Адриана невразумительным горловым бульканьем.



Домишко старой Милы был таким же ветхим, как все остальные в поселке. Но Адриан не без удовольствия отметил целую крышу и горшки с геранью на окнах. Мила открыла дверь, не дожидаясь стука, словно сидела и сторожила, Панкрас, не сказав ни слова, тут же растворился во тьме. Мила и впрямь оказалась немолодой, из тех, о которых говорят "без возраста": небольшого росточка, сгорбленная, в платочке на голове — типичная бабушка, каких рисовали на картинках в старых книжках. Прежде чем впустить Адриана в дом, она хорошенько рассмотрела его, быстро мигая близорукими глазками то ли от страха, то ли от излишней подозрительности. Адриан постарался улыбнуться как можно дружелюбнее, назвал себя и поблагодарил за хлопоты, которые она взяла на себя, приютив его на ночь.

— Ничего, ничего, — проговорила она надтреснутым голоском. — Отто за вас поручился. Что же, у вас и чемодана нет?

— Ничего нет, мадам. Я отстал от поезда, и чемоданы уехали вместе с ним.

— От поезда? Какого поезда?

— На станции, мадам.

— Ах, вот как! Поезда наконец-то к нам вернулись? Это радость, большая радость. Я всегда знала, что однажды они опять появятся. Раз уж есть станция, то как не быть поездам, вы со мной согласны?

Передняя комнатка — маленькая, с низким потолком — служила и столовой, и кухней. Излишеств и в самом деле не было: простой стол, два стула, скамья у стены, дровяная плита, эмалированный умывальник. Глинобитные стены хранили смутные следы давней побелки, пол покрывала почерневшая плитка. При свете свечи трудно было понять, насколько здесь заботятся о чистоте, но Адриану показалось, что старушка, по крайней мере, горда порядком и убранством своего дома: аккуратно выстроенными в ряд горшками и кастрюлями на полке и цветами в вазочке на столе. Узенький темный коридор вел к задним комнатам. Старушка подвела Адриана к одной из них и показала дверь на задний двор к туалету. Потолок в светелке был еще ниже, и Адриану пришлось наклонить голову, чтобы не стукнуться о потолочную балку. Почти все пространство занимала раскладная кровать под грубым одеялом, похожим на попону, какой накрывают лошадей после долгого бега. Рядом с кроватью на полу стоял таз с водой для умывания.

Старушка принесла Адриану свечу, пожелала спокойной ночи, и он остался один.

Адриан растянулся на узкой кровати и тут же заснул. Он спал глубоко и довольно долго, а потом ему начал сниться неприятный сон, становясь все неприятнее и неприятнее. Ему снилось, что он плывет к берегу небольшой бухты и никак не может доплыть, гигантское морское животное, похожее на кальмара, вцепилось ему в ногу и тянуло в открытое море. Адриан проснулся, резко сев на кровати, он дрожал от холода и не мог понять, где находится. Его охватила паника, но он тут же все вспомнил, и нельзя сказать, что это его успокоило. Одеяло, в которое он плотно завернулся, было грубым и сильно кололось, Адриан понял, что больше не уснет.

У стены что-то шуршало и потрескивало. Адриан попытался сообразить, что бы это могло быть. Самое простое объяснение — мыши — не очень-то устраивало его. Но чем внимательнее он прислушивался, тем отчетливее слышал возню маленьких грызунов, безнаказанно шныряющих по комнате. Он закрыл глаза и отчетливо представил, как они бегают по полу, — зрелище не для слабонервных. Он завернулся в одеяло еще плотнее, подобрал под себя ноги и укрылся с головой, спасаясь от возможного нападения. Но очень скоро под попоной стало невыносимо жарко, по груди Адриана побежали струйки пота, и ощущение было точно такое же, как если бы по нему бегала мышь. Адриан уселся на кровати, прислонился спиной к стене, подобрал ноги. Что-то подсказало ему, быть может, некий древний инстинкт, что так он будет в безопасности: мыши не любят карабкаться по стенам. И так же инстинктивно он зажег свечу: грызуны предпочитали потемки.

Мыши увели мысли в прошлое. Вспомнилось, как они с друзьями в юности путешествовали, ночевали на сеновалах, веселились и хохотали, когда слышали шуршанье крыс. Он представил себе, что и сейчас отправился в путешествие с рюкзаком на спине, идет куда глаза глядят. Чудесные воспоминания! Они затаились где-то глубоко-глубоко и давным-давно не занимали его, а теперь вот всплыли, и ему стало намного легче и спокойнее в незнакомой комнате. Он даже упрекнул себя, что, повзрослев, так омещанился, обрюзг, изнежился — ничего общего с подтянутым спортивным студентом. Вспомнил, как тащился в темноте по степи, как разболелись у него ноги — да, физическая форма у него никуда. Наплывали воспоминания о других походах, других ночевках, но осязаемая близость чужого, незнакомого поселка мешала уплыть в счастливое прошлое. Адриан не мог забыть, что с ним стряслось, и все время пытался найти выход. Пытался, но не мог — от него тут не зависело ничего. Сон освежил его, мысли прояснились, они больше не метались, как вечером, когда он сидел в гостинице. Теперь он понял, что ему в самом деле ничего не светит, если все, что ему рассказали, правда. Он в тупике. Конечно, и теперь он мог надеяться на тестя, рано или поздно тот разыщет его и вернет в дом. На розыски уйдет не один день, и чем дольше будут его искать, тем язвительнее будут упреки, неприятнее комментарии, дело может дойти и до прямых оскорблений. Объяснения сочтут смехотворными, все будут просто издеваться над ним. Главный инженер, которого пришлось выуживать из степи, как заблудивше-

гося мальчишку! Адриан силился придумать другие оправдания и другие выходы, но ничего не придумывалось.

Так он и сидел, угнетенный тоскливой безнадежностью, и вдруг с улицы послышался шум. Кто-то явно пытался проникнуть в дом. Адриан задул свечу и застыл без движения, настороженно прислушиваясь и стараясь понять, что происходит. Он услышал, как тихонько открылась, потом закрылась входная дверь, как осторожные шаги направились к соседней комнате. Затем неизвестный прошел по коридору и вышел во двор, наверняка в туалет, через несколько минут вернулся, вошел в соседнюю комнату и закрыл за собой дверь.



Светящиеся часы Адриана показывали половину четвертого утра. Кто мог вернуться домой в такой час в этом сонном глухом захолустье? Может, у старой Милы есть другие постояльцы? Но чем мог заниматься этот неизвестный чуть ли не до рассвета? Сидеть в гостинице? Присматривать за лошадьми? Таинственный ночной пришелец занимал мысли Адриана довольно долго, любопытство мешалось с тревогой за собственную безопасность. Но все было тихо, никаких тревожных звуков. Адриан снова зажег свечу и сидел, дожидаясь утра и пытаясь разрешить свалившуюся на него головоломку.

Услышав на кухне шаги и звяканье, Адриан встал с постели и оделся. До чего же неприятно было натягивать несвежую рубашку, а еще неприятнее остаться без прохладного душа, бритья и чистки зубов. Адриан улыбнулся, сообразив, что у него нет даже расчески и что волосы наверняка стоят торчком после всех его злоключений. Он решил обойтись без галстука: только галстука не хватало при мятом пиджаке и грязной рубашке!

Выйдя в туалет, он увидел, что еще не рассветало и на дворе темно. Возле туалета торчал умывальник. Адриан налил колодезной воды в таз и старательно умыл лицо, шею, грудь. Поглядевшись при свете свечи в осколок зеркала, прикрепленный к стене, он нашел, что выглядит настоящим чучелом, и попробовал пригладить волосы мокрой ладонью, чтобы не стояли торчком на макушке. Зловонье выгребной ямы вынудило его сократить свои усилия до минимума, и он снова оказался на дворе и вдохнул свежий предрассветный воздух. Вот тут-то он и заметил развешенное на веревке белье: трусики и лифчики никак не могли принадлежать старушке Миле. Нет, особым шиком они не отличались, но по виду и по размеру принадлежали молодой женщине. Адриана несказанно изумил тот факт, что в поселке Вокзал жила женщина, которой было небезразлично, какие трусики и лифчики она носит. "Я-то, к счастью, скоро уеду, — подумал Адриан, — а она, бедняжка, так и будет влачить здешнее жалкое существование?"

Старушка Мила грела на плите воду и поджаривала хлеб. Сонная, едва передвигающая ноги, она показалась Адриану куда старше, чем вчера вечером. На его приветствие она ответила кивком и пригласила сесть за стол: чайник вот-вот поспеет. Адриан уселся, с удовольствием принюхиваясь к запаху поджаренного хлеба и растопленного масла: "А я, оказывается, голоден, несмотря на все свои неприятности". Мила поставила на стол чайник, толстые ломти поджаренного хлеба, масло и горшочек с вареньем.

— Сахару нет, — сказала она. — Вы можете подсластить кофе вареньем, здесь все так делают.

— Благодарю вас, мадам, я охотно выпью кофе без сахара, а вареньем, с вашего позволения, намажу тартинки. Вы сами варите такое прекрасное варенье?

Адриан повеселел, утро, завтрак благотворно подействовали на его настроение, ему захотелось сказать что-то приятное хозяйке, а заодно и хоть что-нибудь у нее разузнать.

— Сама, из тутовых ягод, — ответила она. — Когда есть время, я и хлеб сама пеку. Этот пекла позавчера, но поджаренный он совсем свежий. Кушайте, не стесняйтесь.

Адриану пришлись по вкусу и тартинки, и чай. Он уписывал за обе щеки, чувствуя, что аппетитом радует хозяйку. Она улыбалась, глядя на него, подкладывала хлеб и кивала, одобряя его застольные подвиги. Когда он наконец свернул себе папиросу и закурил, она спросила:

— Правда, что вы на поезде приехали?

— Да, но не заметил, как поезд ушел и я остался на платформе против своей воли.

— Я всегда знала, что в один прекрасный день поезда снова к нам вернутся. Я потому вас и приютила. Подумать только! Я не стала отказывать сержанту Отто. Еще бы: у меня под крышей первый пассажир!.. Скоро и мой сын вернется. Он обещал вернуться, как только поезда станут вновь проезжать через наш Вокзал. Уж как я рада, и сказать нельзя! Мой Жозеф уехал давным-давно, и я даже стала бояться, что не узнаю его. Говорят, мать не может забыть своего ребенка, надеюсь, так оно и есть. Хочу, чтобы так оно и было, потому что прошла уже целая вечность с его отъезда. Но с возвращением поездов...

Адриан сразу понял, к чему ведет старушка, и постарался не разочаровывать ее.

— Не могу вам сказать, какие поезда будут тут проезжать, — сказал он, — но мой вчера проехал, это точно.

— Они вернутся. Материнское сердце никогда не обманывает. А как вас зовут?

— Адриан. Адриан Тром. А вас мадам Мила, не так ли?

— Старуха Мила, — ответила она с грустным смешком, — так меня все зовут, но мне ни жарко ни холодно. Я ведь и в самом деле старая. Когда-то давным-давно меня называли Людмила, а люди стали звать Милой, чтобы сделать приятное. Милой я и осталась, но сильно постарела. А сына моего зовут Жозеф. Вы спали в его комнате. Вам повезло, что он не приехал вашим поездом, тогда мне негде было бы вас приютить. Может, он приедет сегодня, а может, завтра, а может, и еще попозже. Поездам-то теперь придется наверстывать упущенное, и, если не взять билет заранее, можно на них и не поспеть. Жозеф у меня не деловой. Но как только все снова наладится, он будет тут как тут, вот увидите.

— Разумеется, мадам Мила, я нисколько не сомневаюсь.

— А вы уверены, что он не приехал вашим поездом? Жозеф, высокий такой паренек, один в один его папочка, только без бородки. А может, он за это время и бородку отпустил, чтобы уж совсем быть на отца похожим... Лет ему примерно столько же, сколько вам.

— Я уверен, мадам, что он не приехал. Из поезда вышел только я. Впрочем, я сегодня же утром вернусь на станцию, я ведь допустил ошибку, выйдя не в своем городе.

— Если повстречаете моего Жозефа, не забудьте ему сказать, что я его жду, что комната для него всегда готова. Вы и сами в этом убедились. Скажите, что все его вещи лежат у меня в комоде. Как он их оставил, так и лежат.

— Обещаю, мадам, обязательно скажу. А что ваш муж? — осведомился Адриан, решив, что именно он возвращается домой на рассвете.

— Ах, мсье Тром, муж у меня давно умер. Еще до отъезда Жозефа мы его похоронили. Муж — это моя давняя молодость. Он не был крепышом, бедняга, недолго протянул. А вот Жозеф, наоборот, здоровяк. Мои дети, к счастью, пошли в мою родню. Если бы в мужнину, их бы давно на свете не было. Со стороны мужа все молодыми поумирали.

— А у вас есть еще дети?

— Да, дочь, Мария. Но ей вы не говорите, что поезда снова ходят, ей ни слова не говорите, ладно? А то боюсь, она сразу от меня уедет, на первом же поезде. То и дело об отъезде заговаривает.

— Ждет поезда, чтобы отсюда уехать?

— Ждет. Жозеф ждет поезда, чтобы приехать, а она — чтобы уехать, представляете? Все наоборот. И все жалуется, что возможности нет уехать отсюда. А как начнут опять ходить поезда, боюсь, она сразу же...

— Вашей дочери не нравится Вокзал?

— Не знаю, что ей нравится, что не нравится, но про поезда ей лучше не говорить. Когда Жозеф вернется, может, и ей уезжать расхочется. Все, знаете ли, меняется, чтобы затем стать таким, как прежде.

— Вы сказали, что ваша дочь ждет, когда снова будут ходить поезда? Но если ей так хочется уехать отсюда, почему она не воспользуется дорогой? Может, не так уж она хочет уехать, как говорит? Может, она тоже ждет возвращения Жозефа?

— Может, и так.

— Иначе она взяла бы и ушла по дороге, ведь так? — продолжал настаивать Адриан.

— По какой дороге? Дорога ведет на станцию и больше никуда. Чтобы отсюда уехать, надо дождаться поезда.

— А как же дорога? Мне говорили, что рядом проходит проселочная дорога, по ней можно добраться до других поселков, до городов. В гостинице мне говорили о проселочной дороге.

— Есть, есть проселочная дорога, да кто по ней ходит? Кому, скажите на милость, придет в голову по ней ходить? Пока найдут тебя в раскаленной степи, умрешь от жажды. Чтобы по степи странствовать, нужно подружиться с торговцем Гаспаром. Но приезжает он редко, не один месяц может пройти, пока приедет. Больно мы бедные, не стоим того, чтобы к нам приезжать почаще. Скажу по секрету, Гаспар уже раз Марии отказывал, не взял ее с собой в фургончик. Но он мою дочку любит. Дарит ей хорошие подарки.

— Любит вашу дочь?

— Да. Гаспар ее любит, хотя Мария не очень-то его жалует. Сердцу не прикажешь. И сердится на него, что с собой ее не берет.

— Я чего-то недопонимаю, мадам Мила. Если торговец, который ездит на фургоне, любит вашу дочь Марию, то почему не заберет ее с собой?

Старуха насмешливо улыбнулась, показав обломки черных зубов, и, покосившись в сторону коридора, показала фигу.

— Не хочу, чтобы она слышала, но скажу, — шепотом сказала она и опять показала фигу, — она, гулена, ему только тут нужна, чтоб ждала и наготове была, когда приедет. А в других местах его другие ждут. Может, у него и семья есть, кто ж его знает. Так чего ему Марию с собой забирать? Чтобы она потом на него права предъявляла?

— Да, действительно, — промямлил Адриан. — Раз такое дело, придется вашей Марии ждать поезда. Но девушки ведь и сами о себе ничего не знают, вполне возможно, она и не хочет никуда ехать.

— Может, и не хочет, — подхватила старуха со вздохом.

Узнав, что здесь время от времени появляется фургон торговца, Адриан приободрился. Он сразу представил себе дорогу, по которой катят фургоны, грузовики, повозки, запряженные лошадьми. Не в такую уж глухомань он забрался, зря навоображал себе всяких страстей. Он тут же представил себе лимузин тестя с шофером в форменной тужурке, который на всех парах, в облаке пыли, мчится по дороге к Вокзалу.

— Ну, мне пора, — сказал Адриан, сворачивая себе еще одну папиросу на дорожку. — Пойду на станцию поджидать поезд.

— Потише, пожалуйста, — одернула его старушка. — Не хочу, чтобы Мария вас слышала.

— Хорошо, хорошо, — зашептал Адриан. — Я уйду потихоньку, мадам Мила. А вы не знаете, у мсье Матиаса уже открыто или нет?

— Нет, он открывается во второй половине дня, когда народ возвращается с работы. А зачем он вам?

— Хотел попросить его об одном одолжении. На тот случай, если приедут за мной на автомобиле. Вы скажите им тогда, пожалуйста, что я пошел на станцию. Если кто-то меня будет искать, пошлите за мной, очень вас прошу. Вы ведь запомнили, мадам Мила, меня зовут Адриан Тром, инженер Тром? Хорошо?

— Хорошо, конечно, можете на меня рассчитывать. Но Марии ни слова, очень вас прошу.

Адриан расплатился со старушкой за ночлег, прибавив к ничтожной сумме, которую она запросила, щедрые чаевые. Старушка засияла от радости и стала ему совать тартинки с вареньем. От тартинок Адриан отказался наотрез, попрощался и вышел на улицу. Солнце еще не встало, дул прохладный предрассветный ветерок, он-то, наверное, и развеял заботы Адриана. Незадачливому путешественнику показалось, что этот день сулит ему удачу, что все задуманное сбудется.

Обратно на станцию шагалось легко. Светлело, думать, куда ступить, как это было вчера ночью, больше не приходилось, и шагал он с удовольствием. Утром степь не таила угроз, Адриан слушал щебетанье птиц и смотрел, как на светлеющем небе исчезают звезды.

Гнетущие мысли тоже отступили, и он невольно принялся раздумывать о словах старой Милы и пытался представить себе, как живется в таком поселке молодой женщине вроде Марии. Адриану трудно было себе представить ее внешность, ее возраст, но почему-то он сразу ре-

шил, что она некрасива. Конечно, гораздо моложе Милы, но похожа на нее, а Мила, по всему видно, и в молодости не отличалась красотой. И все же развешенные на бельевой веревке трусики и лифчики то и дело всплывали в памяти, рисуя в воображении молодое женское тело, мягкие неторопливые движения. Мария... Он жалел, что не увидел ее, и представлял, как она в соседней с ним комнате раздевалась в темноте, стараясь не шуметь. Интересно, она знала, что рядом за перегородкой спит он, Адриан, и что он внезапно проснулся? Скорее всего, нет, старушка Мила уже спала, а в гостинице он не видел ни одной женщины. Хотя обычно в маленьких захолустных поселках новости распространяются быстро, люди следят друг за другом, а Мария вполне может работать в гостинице. Мысль, что толстый волосатый Матиас, закрыв заведение, трахает свою служанку, показалась Адриану забавной. Он тут же решил, что ниоткуда кроме гостиницы Мария не могла прийти в такой поздний час. "Из гостиницы или после любовного свидания", — заключил он, улыбнувшись тому, что и в дыре вроде Вокзала есть место чувствам.

Солнце как раз поднялось над горизонтом, когда он добрался до станции. Тут и утром все выглядело таким же заброшенным, как вечером. Трудно было себе представить старичка начальника, который спит в задней, заваленной хламом комнате жалкой станционной сараюшки. Как он ухитряется жить здесь — отшельник, ожидающий гипотетического поезда? Задавшись этим вопросом, Адриан попытался представить себе жизнь старика. У него не было сомнений, что старичок немного того и старушка Мила тоже. Тут он вспомнил, что ждать поезда на станции дело до крайности ненадежное, и его превосходное утреннее настроение мигом улетучилось. Он расстроился, потому что с удивительным легкомыслием понадеялся на успех. Адриан внимательно оглядел рельсы и убедился, что они в плачевном состоянии, кое-где на них проступили даже пятна ржавчины. Между шпалами буйствовала трава. Насыпь — оплот железной дороги — там и здесь осела, оползла, словно помогая степи вернуть себе украденную человеком полоску земли. Вокруг царило запустение, и с трудом верилось, что вчера здесь промчался экспресс. И все-таки это был тот самый, роковой для Адриана, Вокзал.

Контора начальника станции была закрыта, судя по всему, старичок еще спал. Адриан решил подождать, побродив вокруг станции, чтобы не шуметь и не раздражать сердитого начальника. Про себя он решил: если поезд появится, он сядет в него непременно — даже силой, если понадобится. Но с начальником ссориться не хотел, надеясь вытянуть из него еще какие-нибудь полезные сведения. Начав всерьез сомневаться в возможности скоро уехать отсюда, он припомнил слова Милы о торговце с фургоном. Фургон не выходил у него из головы. Адриан уже не сомневался, что старый служака-железнодорожник связан с этим торговцем и, скорее всего, получает через него зарплату или пенсию.

Размышляя, Адриан шел и шел вдоль путей, пока не наткнулся на развалины водокачки, оставшейся со времен паровозов. Еще чуть дальше он обнаружил кучи угля и дров, о которых говорил начальник. И развалины, и кучи поросли травой, став неотъемлемым достоянием степных просторов. Адриан лег на траву и приложил ухо к рельсу, так в каком-то вестерне герой узнавал о приближении поезда. Тихо. Степь и

степь во все стороны, едва слышный шорох травы под ветром, изредка птица в небе.

Адриан двинулся обратно, в ту самую сторону, откуда вчера пришел его поезд, и увидел лишь едва заметные остатки жилых домов и брошенные рельсы. Как ни странно, но Адриан, несмотря на владевшую им тревогу и чувство безнадежности, радовался своей долгой прогулке под знойным ослепительным солнцем.



"Жаль, что я здесь не на отдыхе, — подумал он, направляясь к станции уже не вдоль полотна железной дороги, а прямо по степи. — Наверное, в степи водятся кролики, и при случае жители поселка на них охотятся. А может быть, и куропатки"...

Он стал думать об охоте, опять вспомнил молодость, выезды в поле, блуждания по лесу, ощущение свободы и беззаботности. Он прекрасно понимал, что свобода, беспечность — чувства неуместные в его положении, и это его раздражало, ему казалось, что счастливые воспоминания — издевка, из-за которой его положение становилось еще тягостней.

Что оставалось делать, кроме как не ждать долго и терпеливо? Адриан растянулся на старой скамье возле станционной сараюшки и вскоре задремал на теплом солнышке. Разбудил его старичок в форменной фуражке и пижаме:

— А ну просыпайся, негодник! Живо!

Адриан сел на лавке с сонной улыбкой — худенький старичок на тоненьких ножках просто из себя выходил от гнева, без топора он выглядел смешно, и его почему-то было жалко.

— Пошел вон отсюда! — гневался старичок. Наконец он узнал Адриана. — Вы не можете здесь оставаться, мсье. Устав запрещает спать на скамейках железнодорожной станции, а также прогуливаться по платформе. Вы перешли все границы, мое терпение кончилось! Вы что, окончательно превратились в бродягу?

— Простите, шеф! Я просто немного вздремнул на солнышке, и никто меня не видел.

— Я! Я вас видел, мсье. Вы спали на лавочке и попробуйте это отрицать. А я приказал вам идти в поселок, потому что вам не место на моей станции. Вы злоупотребили моим доверием, мсье!

— Ничего подобного, шеф! Я ночевал в поселке. Только что оттуда, но решил подождать вас тихо и спокойно, а не шуметь, как вчера.

— Правда?

— Конечно, правда. Матиас, хозяин трактира, и сержант Отто нашли мне комнату, я спал в доме мадам Милы. Поселок мне понравился, хороший поселок, вы можете им гордиться.

— Вон оно что! Ну а что же вы делаете на станции?

— Я снова пришел за табачком, шеф. Видите, кисет почти пуст, убедитесь сами!

— Так дело в табаке! И вы, стало быть, клиент? Ну, это совсем другое дело. Это все меняет, мсье... Как вас зовут, простите? Память у меня, знаете ли, не та, что прежде.

— Адриан Тром, инженер, — представился еще раз инженер и протянул руку.

— Доброе утро, мсье Тром, — поприветствовал его старичок, пожимая ему руку. — А я Кирилл Горк, начальник станции. Вы, значит, задремали, пока меня дожидались. Понятно, понятно. Это совсем другое дело. Сегодня я и впрямь пришел на службу попозже. Раньше-то я с зарей был на месте, но с тех пор, как поезда перестали ходить мимо нас, я стал позволять себе иногда поспать, как сегодня. Совершенно пустой полустанок — грустное зрелище. А табак, оно конечно. Думаю, у меня еще остался табак. Подождите еще немножко, сейчас схожу в туалет и буду целиком в вашем распоряжении. А то я, знаете ли, встал и вижу, спит тут какой-то бродяга. Подождите. Я на одну секундочку.

Начальник станции вернулся в самом радужном настроении и пригласил Адриана выпить с ним чашечку чаю.

— Да-да, молодой человек, я настаиваю, — повторял он, подталкивая Адриана к конторе. — Гости у меня очень редко бывают, а уж клиенты и того реже. Прошу вас, располагайтесь, закуривайте, чай будет готов через пять минут. Вы ведь не слишком торопитесь, не так ли?

— А куда ваша собака делась? — поинтересовался Адриан.

— Какая еще собака? Нет у меня никакой собаки.

— Вчера здесь была собака. Хорошая, большая, спала в зале ожидания.

— Это не моя собака, это просто собака, мсье. Старая собака. Раньше она приходила сюда каждый день и смотрела на поезда. Наверняка услышала ваш поезд издалека и пришла посмотреть, как в старые времена. У собаки ностальгия, мсье, она стала совсем старенькой, так я думаю.

Разлив по чашкам чай и положив Адриану такого же, как у Милы, тутового варенья, начальник станции принялся расспрашивать Адриана, ему хотелось разузнать все подробности.

— Так, значит, поселок Вокзал вам понравился? И вы остановились у старой Милы?

— Да, я у нее вчера переночевал.

— Вы и с Матиасом, и с сержантом познакомились, я вас правильно понял, мсье инженер?

— Да, правильно, очень приятные, гостеприимные люди.

— А вы познакомились с мсье Теодором?

— Видел его, но мы не разговаривали, он играл в шахматы.

— Стало быть, я делаю вывод, что вчера вечером вы мне все-таки солгали, мсье инженер, — произнес старик с загадочной улыбкой. — С вашей стороны это не слишком красиво, вы поставили себя в неловкое положение, в ложное положение... Вы это понимаете?

— Я и не думал вам лгать, мсье Горк! — запротестовал Адриан.

— Не стоит лгать и дальше, мсье Тром, вы же делаете себе только хуже. Вы поселились в поселке, Вокзал вам нравится, у вас там есть знакомые, вы сами в этом признались. Так почему же не признались, что тайком высадились на моей станции?

— Потому что я не высаживался на вашей станции тайком. Я отстал от своего поезда! А к пресловутому Вокзалу отправили меня вы! Вы прогнали меня со станции, где я с полным правом мог бы остаться, чтобы дождаться поезда. Вокзал так Вокзал, как воспитанный человек я познакомился там с людьми, попросил оказать мне помощь, и они были на-

столько любезны, что не отказали мне. Но я вовсе не житель Вокзала, и у меня нет никакого желания стать им. Я хочу покинуть Вокзал как можно скорее. И еще раз прошу вас мне помочь, может быть, сегодня вы будете благосклоннее, тем более, что мне опять нужен табак, я куплю табачку и продолжу путешествие.

Длинная речь Адриана погрузила старика в размышление. Он раскурил трубку, налил себе и гостю еще по чашке чаю и спросил:

— И это все? Больше вы ничего не хотите мне сказать?

— Да, все. Я уеду отсюда и сохраню к вам, мсье Горк, чувство живейшей благодарности.

— Хорошо, допустим, что я вам верю, молодой человек. Но почему вы думаете, что я могу вам чем-то помочь?

— Потому что вы начальник станции, а мне нужен поезд. Любой поезд, любой вид транспорта, только бы уехать.

Старичок грустно покачал головой: случай был безнадежным, и он постарался объяснить это Адриану, стараясь говорить как можно мягче.

— Я понимаю, молодой человек, вы очень упрямы и настойчивы. Но я вам уже говорил, что ничем не могу вам помочь. Лично у меня нет поезда, и на этой станции поезда не останавливаются. Ваш поезд был исключением, которое подтверждает правило, понимаете? Даже я, начальник станции, ничего не могу сказать о вашем поезде. Увидев его, я был потрясен, как будто увидел перед собой призрак. И был счастлив, когда он исчез. Я боялся какой-нибудь катастрофы, понимаете? Вы совершили дерзкий поступок, когда взяли и сошли здесь с поезда, но я тут ни при чем. Единственное, что я могу вам сказать: по железной дороге вы никогда не уедете отсюда. Зарубите это себе на носу. Подумать только! Поезд ему понадобился! Да вы осмотрите степь до самого горизонта, есть в здешних местах поезда? Забудьте о поездах, о машинах, повозках! По проселку тоже давным-давно никто не ездит. Если каким-то чудом здесь появится еще один поезд, я так и быть закрою глаза на все правила и позволю вам тайком сесть в него, только бы забыть о вашем экспрессе. Ваше присутствие постоянно напоминает мне о событии, которое я хотел бы забыть. Если бы я мог, можете мне поверить, я сделал бы все, чтобы избавиться от вашего присутствия. Но я ничего не могу поделать. И боюсь, мне долго придется вас здесь терпеть. К своему величайшему сожалению. Я с удовольствием продам вам немного табаку, но, думаю, моих запасов надолго не хватит. Вот кончатся у меня запасы, и вам придется покупать табак у Матиаса, а то и вовсе бросить курить, потому что даже торговцы к нам не приезжают. Вокзал, одно слово. Так что вы у нас надолго, молодой человек, и начинайте понемногу к этому привыкать. Но я тут ни при чем, мсье Тром, вы сами кузнец собственного несчастья, если только не хотели с самого начала у нас поселиться.

Слова старичка начальника, его ласковый прочувствованный тон лишили Адриана последней надежды. Он уже понял, что характер у начальника станции взрывной, не без странностей, но с мозгами у него все в порядке. Адриан заговорил после очень долгого молчания:

— Скажите, господин начальник станции, — обратился он к старичку, — а что вы делаете на станции, если на ней не бывает поездов? В конце концов, ваш Вокзал-обманка затянул меня в ловушку.

— Нет, голубчик. Вас сюда привела собственная безоглядность, а может, беспечность, а может, неосознанное желание соскочить с поезда. Вполне возможно, вы от чего-то сбежали. Признайте же наконец, что ваше поведение с самого начала выглядит подозрительно. Спросите себя, вашу совесть, а не меня. Что же касается меня и станции, могу сказать, раз любопытно: на станции я живу и совершенно доволен своей жизнью, иными словами, меня совершенно устраивает одиночество. Начальнику станции по душе проезжающие, посетители, клиенты. Но те, что вторгаются на его территорию, желают расположиться на ней, внушают ему ненависть. Вокзал не гостиница, он перекрестье дорог, этап, ступенька, если хотите. Когда эта железнодорожная ветка перестала функционировать, я получил разрешение жить здесь до самой смерти, потому что компании нечего было больше предложить такому старому служащему, как я. После моей смерти домишко окончательно развалится, как развалилось все остальное, и степь затянет полотно железной дороги. А пока я остаюсь начальником станции, это звание мне досталось по праву и по факту, на станции я живу. Вот все, что касается меня. А что касается вас, то подумайте хорошенько над тем, что я вам сказал: вокзал — это пересадка, не важно, о чем идет речь, о жизни или путешествии. Так спросите же сами себя, что за путешествие вы затеяли, задумав и осуществив побег с поезда. Вы ведь не пересели на другой поезд, вы осели в поселке под названием Вокзал. Моя станция вовсе не обманка, как вы изволили выразиться, ею соблазнится лишь тот, кто готов соскочить в любом месте, кто уже сошел с пути и жаждет провала. Забудьте о поездах — именно это я стараюсь довести до вашего сознания, — и сосредоточьтесь на поселке Вокзал, вашем настоящем пункте назначения.

— Неужели нет никакого смысла приходить сюда и ждать, вот здесь, на платформе? — спросил Адриан, и в голосе его появилась щемящая нотка. — Если сюда прибыл мой поезд, то, возможно, придет и другой, пусть не сегодня, но, возможно, завтра или через неделю.

— Нет, молодой человек, не придет. Но вы можете навещать меня, как только вам этого захочется. Мне это будет приятно. Мы будем беседовать об исчезнувших поездах, о слепом роке, о тщете сущего. Полустанок вроде моего, на котором никто не останавливается, располагает к неторопливым печальным беседам о прошлом. Я говорю о подобных беседах, имея в виду предположение, что вы всерьез обоснуетесь при Вокзале. Но заметьте, я вам вовсе не советую обосноваться именно там. Мне кажется, вы слишком молоды, чтобы вот так, внезапно, прервать путешествие и погрузиться в сожаления и раскаяние.

— А что вы мне советуете? — торопливо спросил Адриан, ловя проблеск надежды.

— Я ничего вам не советую. Я только заметил, что вы еще молоды. Советы бесполезны, смысл есть только в собственном опыте. И вот еще что... Надеюсь, вы не станете поступать, как эта старая собака? Она одержима несуществующими поездами и приходит сюда встречать давным-давно уехавшего хозяина.

— И все-таки скажите, как я могу покинуть Вокзал? Уверяю, не он пункт моего назначения.

— Даже не знаю, что сказать. Воспользуйтесь им, чтобы познакомиться с здешним краем, немного передохнуть. Может быть, люди вам что-то подскажут, а может быть, обстоятельства, если только вы не будете торопиться. Может быть, в один прекрасный день приедет фургон и хозяин согласится вас забрать. А если нет, то поверьте, шестьдесят лье не такой уж смертельный риск для молодого, здорового человека. Если спустя несколько месяцев вы не найдете здесь своего счастья, у вас, наверное, найдется мужество пуститься в путь. В жизни все вопрос мотивации. В общем-то, вы не один в таком положении. Мсье Теодор, тот самый, что живет у Матиаса, тоже попал сюда случайно. То ли по недосмотру, то ли по другой какой причине, я уж не помню. Он ушел пешком. Так что может вам все рассказать.

— Но он же никуда не ушел!

— Значит, были какие-то соображения. Расспросите его, почему он до сих пор здесь, хотя уходил отсюда. А может, он уже и не здесь, а ушел, пока вы отсутствуете в поселке. Люди иной раз весьма непоседливы, их не устраивает место, где они могли бы сидеть спокойно. Путешествуют, многие путешествуют, мсье инженер... Путешественники — это совсем другая разновидность людей, они сильно отличаются от начальников станций. Мы встречаемся в силу обстоятельств, но никогда не смешиваемся друг с другом. Вот почему мне так трудно что-то вам посоветовать. А вы были бы просто круглым дураком, если бы стали слушать моих советов по части таких важных для вас вещей как путешествия и ночевки. Ну что? Еще чайку? Не хотите? Тогда пойдемте, и я продам вам последние пачки табаку, которые у меня остались. Не забудьте только класть в табак ломтик сочного яблока для увлажнения, папиросы тогда будут душистее, да и скручивать их будет легче.

Слова старины Кирилла оказали странное действие на Адриана. Казалось бы, он должен был отчаяться или загореться желанием во что бы то ни стало отсюда уехать, но нет — он погрузился в задумчивость и даже безмятежность. Не то чтобы он отказался от мысли уехать, нет, он по-прежнему был уверен, что тесть не замедлит послать на его розыски автомобиль. И сообщение о фургоне торговца подтвердило, что по проселку вполне возможно ездить. В общем, отъезд — это вопрос времени, рано или поздно он непременно отсюда выберется. Начальник станции в своих разглагольствованиях затронул другие важные вещи, и Адриан старался понять и вспомнить, что же ему показалось таким значительным и таким важным в словах мсье Кирилла. На первый взгляд, старичок вроде бы не сказал ничего особенного. Но, слушая его, Адриан не мог отделаться от впечатления, что старик, сам того не подозревая, передает ему нечто очень важное, некое послание. У Адриана возникло чувство, что его проблема вот-вот решится, так с ним бывало в детстве, когда он бился в школе над задачками. Обычно решение не имело ничего общего с теми формулами, которые вертелись у него в голове. Его приоткрывала вспышка, проблеск интуиции, который тут же гас, исчезал. Но как только у него появлялось интуитивное ощущение, что все очень скоро решится, на вопрос, который так долго его мучил, мгновенно находился ответ.

В задумчивости Адриан вернулся в поселок. Во время своей, не такой уж короткой, прогулки он все пытался понять, что именно в сло-

вах грустного старого начальника станции показалось ему утешительным.

## 5



При свете дня поселок произвел на Адриана совсем уж удручающее впечатление: он представлял собой что-то среднее между свалкой и помойкой. Ночь придала развалюхам зловещую мрачность, зато беспощадное солнце показало их убогую нищету. Показало размытые дождевыми ручьями дорожки между лачугами, с кучками камней, с навозными лепешками. Домишки были глинобитные, не оштукатуренные, с источенными червем окнами и дверями, покрытые почерневшей неровной черепицей. Под тяжестью собственных крыш их перекашивало набок, раздувало, как бурдюки, деревянные перекрытия лопались, стены давали трещины и в конце концов рушились. Не случайно вокруг было так много обрушившихся домов. Ежевика оплетала развалины, пустыри зарастали травой и кустарником, который, покрываясь цветами по весне, напоминал, что прошлое было куда краше настоящего.

Поддавшись внезапной робости, из какого-то даже суеверия Адриан присел на порог дома-развалюхи. Было еще довольно рано, и Адриан испугался, что на главной площади будет опять совершенно пусто, что он не увидит там автомобиля, который уверенно и спокойно поджидает его. И желание покурить, и необходимость посмотреть, какие он натер мозоли, были только предлогом, позволявшим оттянуть время, а значит и разочарование, которого он страшился. По дороге со станции у него было время подумать и представить свою ситуацию более реально. Скорее всего, ждать так быстро помощи от жены и тестя не стоит, до Вокзала быстро не доберешься. Конечно, он не знал, в каком состоянии находится дорога, но, судя по тому, что творилось вокруг, она могла оказаться попросту непроезжей. К тому же пресловутые шестьдесят лье, о которых говорил старичок Кирилл, могли быть такой же фантазией, как одно лье от станции. Адриан с сожалением посмотрел сначала на стертые в кровь ноги, потом на щегольские ботинки. Их плачевное состояние не сулило ничего хорошего такому же щегольскому автомобилю, если бы тот вздумал проехать по степному проселку.

Вывод напрашивался сам собой. Адриан погрузился в мрачность, которую только усугубил жалкий, нищий поселок. Брошенный, разрушающийся, безжизненный, он напомнил Адриану, как он одинок в этом мире, как далеко находится от цивилизации. Адриан мысленно сравнил свою привычную жизнь с жалким и безысходным существованием здешних жителей, и неприкрытая грубость здешней жизни вызвала у него чуть ли не физическую тошноту. Он-то что тут делает? Нездоровая мысль, что Адриан умышленно сошел с поезда, говорила лишь о непроходимой глупости начальника станции. И душа, и тело Адриана бунтовали против подобной нелепости. Боль в ногах, грязные носки, пропахшая потом рубашка, пропыленный пиджак — разве мог он желать подобного?! Мозоли на больших пальцах, на пятках вызвали у Адриана чувство гадливости, ему стало казаться, что миазмы всеобщего гниения уже проникли ему под кожу. Болезненные бледные пузыри, наполнен-

ные жидкостью, — результат всего-навсего прогулки до станции... Он вспомнил о подозрительной мышиной возне ночью у себя в комнате и, несмотря на отвращение, невольно улыбнулся: все, все подтверждало и делало очевидной неправоту начальника станции.

Между тем в глубине души тень сомнения потихоньку подтачивала, казалось бы, непреложную уверенность Адриана в собственной правоте. Разумеется, мсье инженер не сомневался, что не хочет застрять на всю жизнь в этом призрачном поселке, но вместе с тем, вполне вероятно, он сам и никто другой все-таки позволил поезду уехать без него. А иначе почему бы он сидел, бездумно курил и предавался мечтам в туалете? Слова старика Кирилла все время приходили ему на память, таили подспудное ощущение, что в них прячется разрешение важной проблемы, которую сам для себя он пока никак не может отчетливо осознать. Он призывал на помощь усталость и дурное настроение, чтобы вытеснить эту проблему за пределы сознания. Ему гораздо приятнее было злиться на мозоли, на окружающую нищету, укрепившись в успокоительном ощущении, что он невинная жертва слепого рока. И все-таки избавиться целиком и полностью от беспокойства, рожденного предположением начальника станции, он не мог. От себя не скроешь, насколько неуместной была овладевшая им в туалете мечтательность. Именно она делала всю историю зыбкой и неправдоподобной, а главное, странной и даже смешной. Если честно, то Адриан предпочел бы версию падения с поезда из-за плохо закрытой двери или спасения в туалете от вооруженных грабителей. Невероятные происшествия ложились в историю лучше, скрепляли ее надежнее, но что поделать? Он мог предложить только то, что было. Нелепость произошедшего оскорбляла его до глубины души. Эта нелепость делала теперешнее его положение чем-то безнравственным, превращала его в падение, а падение можно и нужно осудить.

Адриан не уставал задавать себе вопрос: что же с ним произошло? Но не был в силах додумать все до конца и ответить, то ли потому что был слишком смущен, то ли из страха, что его смущение испарится раз и навсегда. Сейчас для того, чтобы выбраться отсюда, ему во что бы то ни стало нужно было чувствовать себя жертвой. А вот выбравшись, он, как бы нелепо это ни было, постарается осознать ту таинственную проблему, решая которую, по мнению старого Кирилла, он соскочил с поезда.

Адриан надел ботинки и побрел по направлению к площади с тайной надеждой на спасение. Надеялся он напрасно. Маленькая площадь была пустынна. Неподвижная вода колодца отражала синее небо, как ночью отражала темноту и луну. Дома и сараи, казалось, спали, гостиница тоже была закрыта, закрыты окна, ставни, двери.

Адриан присел на край колодца и засмотрелся на зеленые разводы мха на каменной кладке. Из задумчивости его вывело приближение овечьего стада, оно медленно двигалось по боковой уличке. Овец тридцать, а то и больше, несколько собак и молоденькая пастушка, закутанная в платок, несмотря на жару. Зрелище идиллическое, но от него Адриану стало совсем тошно, он почувствовал себя в самом деле на краю света, а ощущение покинутости его пугало. Женщина, похоже, намеревалась обойти его как можно дальше, шла, не глядя на него, зато

Адриан, наоборот, собрался с силами, поздоровался и заговорил. Он не мог сообразить, где находится дом старой Милы, в котором ему наверняка придется переночевать еще одну ночь, и принялся расспрашивать пастушку, куда ему идти.



Пастушка молчала, делая вид, будто не поняла его. Адриан настаивал, повторяя имя Милы и называя сержанта Отто. Наконец она махнула рукой в неопределенном направлении, по-прежнему отводя глаза, стараясь избежать его взгляда, словно всерьез боялась чужака, случайно попавшего в их края. Адриан с улыбкой поблагодарил ее. Пастушка погнала стадо дальше, громко покрикивая на собак, она то ли хотела придать себе значимости, то ли показывала постороннему, что у нее есть дела поважнее, чем болтовня с незнакомцами.

Враждебность женщины подействовала на Адриана угнетающе. Он поплелся искать дом старушки Милы. Она одна отнеслась к нему дружелюбно, и он надеялся, что и сейчас она как-то ему поможет.

Старушка узнала его сразу и, по всей видимости, обрадовалась. Пригласила войти в дом, но попросила помолчать, прижав палец к губам и показав кивком на комнатки в конце коридора.

Усадив Адриана за стол в кухне, заговорила тихонько:

— Ну как там поезда?

— Не знаю, — ответил он тоже шепотом. — Сегодня не было ни одного. Может, завтра.

— Ни одного? — переспросила Мила разочарованно.

— Ни одного, — подтвердил Адриан. — Начальник станции, если честно, не думает, что здесь будут снова ходить поезда.

— А вы ему не верьте. Кирилл немного не в себе. К поездам он относится ревниво. И не хочет сказать вам правду из чистого упрямства. Я-то знаю, что поезда теперь будут ходить, но старый скряга не хочет ими ни с кем делиться. Да меня ему не обмануть. Сходите-ка туда раненько утром завтра, и вы поймете, что за птица этот Кирилл. Мой Жозеф наверняка уже в дороге. Сейчас напою вас чаем, мсье Адриан, а потом вы поедите супу. Но о поездах ни слова, Мария-то уже проснулась. Мне пришлось рассказать ей о вас, и у нее уже ушки на макушке.

И правда, не прошло и нескольких минут — Адриан только принялся за еду, — как в кухню вошла Мария. Молоденькая, совсем девчонка, небольшого роста, как матушка, с хорошеньким личиком — зеленоглазая, скуластая, — с ленивой животной грацией в движениях. Она не успела причесать длинные темные волосы и была в старенькой застиранной ночной рубашке, вызывающе обтянувшей грудь и широкие бедра. Адриан был удивлен, что появилась она вот так, прямо с постели, и похоже, кроме рубашки на ней ничего не было.

Она потянулась, протерла глаза, прежде чем поздороваться с ними широкой улыбкой, не выказав ни малейшего смущения от присутствия постороннего. Мать уступила ей свой стул, а сама пошла к печке, чтобы подогреть чайник. Мария принялась расчесывать волосы, наклонив голову вперед, волосы заслонили ей лицо. Адриан делал вид, что продолжает есть суп и не видит тяжелых грудей, которых почти не скрывала ночная рубашка. Присутствие рядом молодой девушки, ее босые ноги, расставленные без стеснения ляжки взволновали его, как взволновала бы близость дикого животного. Ему казалось, он чувствует запах сна,

чуть сладковатый от пота, тепло нагретых простыней, вспомнил старухину фигу, когда она говорила о дочери-гулёне. Но старуха, похоже, побаивалась дочери и вела себя при ней как прислуга, даже слова ей не сказала. Зато издали поглядывала на Адриана, то ли остерегая его, то ли напоминая, чтобы он держал язык за зубами.

— Вы пассажир? — спросила Мария, причесавшись.

— Да, мадемуазель. Меня зовут Адриан Тром.

— Меня Мария. Вы останетесь у нас и на эту ночь?

— Да, боюсь, придется остаться и на эту, если ваша матушка согласится приютить меня.

— Не беспокойтесь, мсье. Мать только рада будет, если вы заночуете. Так ведь, Мила? У нас же так мало интересного. А вы, прямо скажем, уникум.

— Я уникум?

— Да, вы. Вы ведь, кажется, к нам отдохнуть приехали. Так мне вчера сказали.

— Я? Нет, совсем не отдохнуть, мадемуазель. Вы ошиблись. Я оказался здесь совершенно случайно и жду с часу на час машину, которая отвезет меня в С. Не сомневаюсь, что она уже в пути.

— Чтобы увезти вас отсюда? Так быстро? А почему? Вы разочаровались? Вам не понравился Вокзал, и вы раздумали здесь оставаться?

— Да нет, дело вовсе не в этом, уверяю вас. Я не могу здесь остаться, я сейчас не в отпуске. Меня ждет работа.

— Вот оно что, — насмешливо протянула Мария и улыбнулась. — Значит, вы вот-вот уедете? Жаль. У нас редко бывают гости. Говорят, вы сошли с проходящего поезда? Это правда?

— Правда, хотел купить сигарет. А поезд ушел без меня. Признаю, я допустил большую оплошность. Вы смеетесь? Не нахожу ничего смешного. Если я не вернусь в ближайшее время, потеряю работу. Над чем же тут смеяться?

— Я засмеялась, потому как представила вас — бежите со всех ног за поездом. У нас на станции поездов вообще не бывает, а вы — надо же — ухитрились от своего отстать. Согласитесь, такое редко бывает. Неизвестно даже, найдется ли еще один такой поезд, который отважно двинется по нашему пути.

— Согласен, мадемуазель, случай незаурядный, и положение мое из ряда вон выходящее. Вот и начальник станции считает, что другого поезда и ждать нечего.

— Нечего так нечего, и все-таки это не конец света, — Мария ласково коснулась руки Адриана, утешая его. — Придет машина и заберет вас отсюда. А вот жить здесь и знать, что отсюда не выбраться, куда хуже, разве нет?

— Наверное, мадемуазель. Но вы же здешняя, не то что я.

— В том-то и проблема, что здешняя. Когда, вы думаете, за вами придет машина?

— Точно и сам не знаю. Думаю, скоро. Но какое-то время все-таки пройдет. Пока сообразят, что я отстал, пока свяжутся со служащими железной дороги... В общем, сам не знаю. Но рано или поздно непременно придет. Сюда добраться тоже нужно время, мне говорили, от шоссе лье шестьдесят по проселку. Я правильно запомнил или нет?

– Не знаю, – отозвалась Мария, глядя на Адриана все с тем же лукавством, – я по проселку не ездила. Далеко, это точно, и дорога, говорят, очень плохая. А больше ничего не могу вам сказать.

– Ну вот видите, значит, могут и не скоро приехать. Придется набраться терпения.

– Вот именно, – радостно откликнулась Мария и почесала грудь сквозь рубашку. – Вы наберетесь терпения, а я вам составлю компанию. И Мила будет рада такому хорошему постояльцу в комнате ее любимца Жозефа. Правда, Мила?

– Конечно, – отозвалась старушка, – мсье Адриан наш гость и может оставаться у нас, пока не вернется наш дорогой Жозеф.

– Мне, наверное, придется переночевать у вас еще ночь или даже две, мадам Мила. Вряд ли больше. Я вам очень благодарен за гостеприимство. И хотел бы попросить об одном одолжении – видите, в каком состоянии у меня одежда? Багаж уехал вместе с поездом, у меня есть только то, что на мне, а я так хотел бы помыться.

– А вы отдайте одежду Миле, она вам все выстирает, – тут же подала совет Мария. – Правда, Мила? А вам она даст штаны и рубашку дорогого Жозефа, пока ваши не высохнут.

– Я сам все постираю, – возразил Адриан.

– Что вы, мсье Адриан! О чем вы говорите? Мила обожает оказывать услуги.

– Постираю, постираю, мсье Адриан, – закивала старуха. – С удовольствием постираю, мне будет казаться, что сынок вернулся. А от Жозефа и впрямь осталась одежда, у меня в комоде лежит. Вы вполне ее можете пока носить. Вы вроде одной с ним комплекции.

– Но сначала вам нужно помыться, мсье, – засмеялась Мария. – В тазу. Ванной у нас нет. Вы умеете в тазу мыться? В тазу моются, как коты, то лапкой, то язычком. Хотите, покажу? Мила нагреет вам воды, чтобы ополоснуться, а я могу намылить и потереть вам спину.

– Вы очень любезны, мадемуазель, – сухо отозвался Адриан. – Но я вполне способен вымыться самостоятельно.

– А вы не обижайтесь, мсье Адриан, – снова улыбнулась Мария. – Я же шутила, хотела, чтобы вы чувствовали себя попроще, поуютнее. Мы ведь пока не настолько хорошо знакомы, чтобы друг другу спинки тереть, так ведь? Мила до того вам рада, что и мне захотелось сделать вам приятное. Тем более что вы скоро от нас уедете. И еще, не зовите меня мадемуазель, называйте Мария, как все зовут, мне так больше нравится.

Старушка Мила отправилась в комнату за одеждой. Адриан достал кисет с табаком, предложил папироску Марии, и они с удовольствием закурили. Адриан не решался взглянуть на девушку, хотя чувствовал на себе ее изучающий взгляд. Его поразило и даже чем-то покоробило вольное поведение Марии. Он постарался убедить себя, что дело в деревенской простоте нравов, в грубости, неотесанности и смущаться ему нечего. Однако свобода, с какой вела себя Мария, ее улыбки, лукавый взгляд будто подначивали его, манили к особого рода близости, и это пугало Адриана. Близость теплого женского тела, прикрытого одной рубашкой, словно напоказ выставленные ляжки, подернутый влагой взгляд возбуждали в нем чувственность и волновали его. Он не сомне-

вался, что Мария прекрасно знает об этом и делает это нарочно, чтобы подразнить его и помучить.

"В самом деле, что ли, гулёна?" — думал он, пытаясь разобраться, кому предназначен весь этот цирк — ему, чтобы его раззадорить, или старой Миле, чтобы позлить ее. Но Мила, похоже, не обращала на дочь внимания, словно считала, что молодым девушкам и положено вести себя именно так.

***

Кое-как помывшись в большом тазу на дворе за повешенной на веревке простыней, Адриан облачился в одежду, которую принесла ему старушка. Все ему подошло, хотя было чуть широковато. На рубашку из грубого деревенского полотна не налез городской пиджак, а в шерстяных носках больнее заныли мозоли. И все-таки он остался в своих ботинках, отказавшись от старых солдатских сапог, которые принесла ему Мария.

— Эти сапоги один солдат оставил. В прошлом году к нам приходил, — сказала она. — Я их сохранила, думала, придет за ними, но нет, так и не пришел.

— Что же, он босиком ушел? — улыбнулся Адриан. — Выгнали его, что ли, отсюда?

— Он, похоже, из армии сбежал, — задумчиво сообщила Мария. — Мундир тоже у нас остался. Как только переоделся в одежду Жозефа, тут же исчез. А вы не сыграете с нами такой штуки?

— Нет, Мария, я не дезертир. И в доказательство остаюсь в своих собственных ботинках.

— Как хотите, Адриан. Я потом их как следует почищу. А когда они совсем разлезутся, вы и солдатским бутсам будете рады, поджидая, пока придет за вами автомобиль. Ботинки у вас слишком уж деликатные, пойдет дождь, и они не выдержат.

— Спасибо за заботу, Мария, но надеюсь, что в ближайшие дни погода будет хорошая.

— Погода у нас переменчивая, не слишком-то ей доверяйтесь, — предостерегла она, прикусив губу.

Старушке Миле очень понравилось, как выглядит Адриан в одежде Жозефа.

— Ах, мсье Адриан, как же вам все идет! Вы еще больше стали похожи на моего дорогого сыночка! Можно подумать, мой Жозеф взял и соскочил с поезда. В костюме вы выглядели здесь чужаком, и мне при вас делалось неловко.

— Не преувеличивайте, мадам, — отозвался Адриан с явным смущением.

— Так оно и есть, уверяю вас. Мне не по себе становилось, что у себя в домишке я принимаю такого важного господина. А теперь вы одеты, как мы все одеваемся. И кажется, вы из наших, свой, родной. Жаль, что вы от нас так скоро уедете.

— Спасибо на добром слове, мадам. Вы так любезны, так гостеприимны, — повторял Адриан, стараясь не показать виду, как покоробили его слова Милы. — А теперь пойду загляну в гостиницу, узнаю, нет ли у мсье Матиаса или у сержанта Отто новостей для меня.

— Какое счастье, что вы уходите, — заявила Мария и показала ему язык. — Я тоже сейчас буду мыться в том же самом тазу и боялась, что вы будете подглядывать. Жозеф всегда подглядывал за мной.

Адриан предпочел сделать вид, будто ничего не слышал.

— Я оставлю для вас ужин? — спросила Мила.

— Спасибо, не трудитесь, я поужинаю в гостинице.

— Не возвращайтесь слишком поздно, Адриан, — тут же встряла Мария, подначивая его, словно ребенка. — А то мама Мила огорчится. И не пейте слишком много, как ее ненаглядный Жозеф.

Старушка только ласково улыбнулась ему на прощанье, радуясь, что он так схож с ее сыном.

Адриан ушел мрачный, поведение Марии раздражало и напрягало его. Не то чтобы она внушала ему отвращение, нет, совсем напротив, но ее откровенность переходила все границы, которые, по мнению Адриана, должны были соблюдать благовоспитанные люди. Он не сомневался, что Мария заурядная шлюшка, и ему было неприятно, что к нему относятся панибратски, как к какому-то простолюдину вроде Жозефа. Еще он подумал, что Жозеф правильно сделал, вырвавшись отсюда и не подавая о себе вестей. Рядом с такой штучкой, как его сестрица, жизнь была невыносимой, потому, может, он и пил сверх меры, бедняга. Тем не менее Мария не выходила у него из головы. В конце концов, Адриан вынужден был признать, что она обладает своеобразным обаянием. Речь, конечно, не шла о какой-либо симпатии, но в ней была притягательность дикого кусачего зверька. "Вот именно, — сказал он сам себе, стараясь успокоиться, — течная самка, всегда готовая кусаться и царапаться. Конечно, я гуманист и всегда был снисходителен к себе подобным, но должен признать, что эта снисходительность сыграла со мной дурную шутку. В дальнейшем мне нужно будет держаться особняком и подчеркивать дистанцию, иначе старуха начнет в самом деле считать меня сыном".

Приняв относительно будущего серьезное решение, Адриан позволил себе думать о Марии просто как о женщине. "Вполне возможно, она немного придурковата, — рассуждал он про себя, — а то и вовсе дурочка вроде Панкраса, кто ее там знает". Он удивился обилию картинок, что стеснились у него в голове. Мария раздевается ночью, сидит, скорчившись, в тазу и моется, облизывается, как сладострастная кошечка. Он чувствовал то отвращение, то любопытство и убеждал сам себя, что деревенские, с детства живя бок о бок с животными, невольно уподобляются им и становятся такими же бесстыдными и даже порочными. Мысли о Марии развлекали его, но толстого Матиаса, который трахает Марию на стойке, он изгнал из собственного воображения, сочтя это неприличным.

На площади по-прежнему никого не было, но ставни и окна гостиницы были уже широко открыты. Приветствие хозяина показалось Адриану слишком уж громким.

— Добрый ветер занес вас к нам, мсье инженер, — воскликнул Матиас. — Пришли, наверное, выпить водочки, чтобы отпраздновать прибытие поезда? — добавил он с насмешливой улыбкой. — Или автомобиля?

Адриан тоже ответил улыбкой и поприветствовал остальных посетителей кивком головы. Старики за столом продолжали молча играть в

карты. В глубине залы мсье Теодор, попивая чай, сидел, уставившись на шахматную доску. Сержант Отто, стоявший рядом с хозяином, облокотясь о стойку, улыбнулся Адриану, словно в ожидании добрых вестей.

— Ну, так чем же вы нас порадуете, мсье инженер, — настаивал хозяин. — Есть еще поезда? И как самочувствие старины Кирилла?

— Шутите себе на здоровье, мсье, — отозвался Адриан, стараясь не показать ни обиды, ни раздражения. — Несчастье ближнего — наше счастье, так ведь говорят, я не ошибся?

— Вовсе нет, мсье инженер, — тут же откликнулся Матиас.

И повернулся к сержанту, ища у него поддержки:

— Скажи, Отто, мы с тобой целый день высматривали автомобиль мсье инженера. Так оно и было, честно говорю, мсье Адриан. Сержант даже выходил на дорогу, хотел поглядеть, не заблудилась ли машина в степи, может, плутает где, ищет дорогу к Вокзалу. Куда там! Ни облачка пыли вдалеке, ни автомобиля. Может, вам больше повезло на станции?

— Смейтесь, смейтесь, мсье Матиас, и налейте мне рюмку водки, — попросил Адриан. — Мне и сержанту Отто, я хочу угостить его в благодарность за хлопоты. Вы ведь не откажетесь составить мне компанию, сержант?

— Составлю, мсье инженер, с удовольствием. За ваше здоровье!

— Старина Кирилл чувствует себя вполне сносно, — сообщил Адриан. — Он посылает вам приветы, а вот поезда... На мое несчастье, ни один не появился даже на горизонте. Что тут скажешь? Придется набраться терпения. Будем считать, что у меня несколько дней отпуска и я провожу их среди вас.

— Вот и хорошо, — одобрил Матиас, наливая рюмку и себе. — Будьте здоровы, мсье инженер. Хуже нет, чем портить себе кровь, когда приходится сидеть и ждать. Так что вы молодцом. Хорошо устроились у старушки Милы? Ну, теперь и отдохнуть не грех, гуляйте себе по окрестностям. Вокзал для отдыха не самое плохое место.

— Уж что касается спокойствия, то спокойствие у нас полное, — подхватил сержант. — Никаких происшествий, кроме явлений вроде вашего. Но такое редко случается. Так что у вас будет прекрасная возможность отдохнуть, никто вас не побеспокоит, не то что в городе. Это Мила снабдила вас одеждой?

— Да, она оказала любезность и одолжила мне кое-что из одежды, пока моя находится в стирке.

— Рад, что вам досталась такая хозяйка, — сказал Матиас. — Я сожалел, что не смог вас поселить у себя, но раз вам хорошо у Милы, я спокоен. У нее вы заживете по-семейному, гостиница не может предложить домашнего уюта путешественнику. Вы окажете мне честь, если будете приходить ко мне ужинать. Стряпня старушки со временем вам надоест, а мы будем рады, если вы составите нам компанию. Одинокому человеку скучно живется, милости просим в наш, так сказать, культурный центр. Вы играете в карты или в домино?

— Нет, не играю. Вот разве немного в шахматы.

— Наконец-то! — воскликнул Матиас. — Вот и партнер для нашего доброго Теодора! Любопытно, не правда ли, Отто? Путешественники, которые к нам приезжают, непременно играют в шахматы.

– Какие путешественники? – поинтересовался Адриан.

– Вы двое, инженер: Теодор и вы сами. Может, вы отстали от поезда, потому что слишком сосредоточились на шахматах? Мне кажется, я нашел недурное объяснение вашим неприятностям.

– Теодор тоже упустил свой поезд?

– Да, примерно так же, как вы, с год тому назад. Но он не любит вспоминать об этом. Говорит, что это мешает ему сосредоточиться. Он человек замкнутый, молчаливый, не любит выставлять свою жизнь напоказ. Может, он подружится с вами, если только шахматисты...

– И он до сих пор здесь? – с недоумением спросил Адриан.

– Да, – ответил сержант. – Ему хорошо здесь живется. Может, понравился наш воздух, а может, по душе тишина. Кто это знает?

– Если Теодора не трогать, он всюду приживется, – заметил хозяин. – Его мир это шахматная доска, на все остальное он мало обращает внимания. Идеальный клиент, я горжусь им еще и потому, что он человек образованный. Впрочем, как вы, мсье инженер. Я уверен, что вы подружитесь. Кто знает? Может, со временем он согласится разделить с вами свою комнату, если вам покажется тесно у старой Милы.

– Я не собираюсь задерживаться здесь надолго, мсье Матиас, так что вряд ли дождусь этой счастливой оказии. Но я благодарен за ваши добрые пожелания. Что касается ужинов, то я, начиная с сегодняшнего дня, непременно буду у вас ужинать. Обещаю приходить к вам каждый вечер до тех пор, пока не покину Вокзал.

– Вы не пожалеете, мсье... Мсье Адриан, согласны? Вы ведь сказали, что вы у нас не в качестве инженера, а в качестве пассажира. Так зачем нам называть вас так официально? Я думаю, мсье Адриан, что вы останетесь довольны моей стряпней. Нас так немного за столом, что я как будто готовлю для себя. А у меня губа не дура. Жена мне, конечно, помогает немного, но ужинаем мы мужской компанией, так нам больше нравится.

– Очень рад и даже почувствовал, что проголодался.

– Сейчас займусь ужином, а вы пока садитесь и выпейте с сержантом по аперитиву. А я ненадолго отлучусь на кухню, – сказал он и передал Адриану графин с водкой и две рюмки.

Адриан уселся за столик вместе с сержантом. Мужчины сидели довольно долго вдвоем, курили и выпили по рюмке, думая каждый о своем. Без трактирщика полицейский стал куда менее разговорчивым, если не сказать молчаливым. Адриан тоже. Ему хотелось понять, почему деревенские так странно к нему относятся, его это настораживало. Он все отчетливее убеждался: никто из здешних ему не верит, никто и мысли не допускает, что за ним придет автомобиль. Их недоверие казалось ему, с одной стороны, странным, а с другой – внушало тревогу. Кто знает, может, по дороге действительно невозможно проехать? А может, за это время стало известно что-то, о чем не сказали только ему? Но если ему не верят, то объясняют его присутствие, очевидно, престранным образом. Адриан даже представить себе не мог, какого рода могут быть эти их объяснения, и от этого ему становилось еще неприятнее. Он пытался придумать, как успокоить их и расположить к себе, но безуспешно. Время шло, Адриан сидел за столиком напротив молчащего сержанта, и ему страстно хотелось, чтобы все окружающие ему поверили. Ему

даже стало казаться, что от веры окружающих зависит его спасение: если все поверят в автомобиль, то он приедет.

И он начал повторять про себя: "Я сказал чистую правду. Раз это знаю я, этого достаточно. Верят мне эти типы или нет, мне не важно, я знаю, что машина тестя или заводской грузовичок будут здесь завтра, послезавтра или чуть позже, и я отсюда уеду. Мне нечего беспокоиться по поводу того, что здесь обо мне думают. Их мнение никак не влияет на объективный ход событий. Мне плевать на их мнения и подозрения. Главное, что верю я. Если не верить, то нелепая случайность обернется катастрофой".

Но сколько ни убеждал себя Адриан в собственной правоте, он никак не мог избавиться от дискомфорта – ему было неприятно чувствовать себя подозреваемым. Молчание сержанта только усугубляло это ощущение, и Адриан решил завести с ним беседу.

– Скажите, сержант, вам, должно быть, наскучило работать здесь полицейским. Поселок такой спокойный.

– Наскучило, вы сказали? С чего вдруг? Совсем не наскучило. Спокойствие в поселке – свидетельство, что я добросовестно делаю свою работу. Что за странная мысль пришла вам в голову! Неужели Вокзал вам кажется скучным, мсье Адриан?

– Нет, не скучным, но слишком уж спокойным. Я привык к большим городам, там все в движении, и полицейским тоже приходится немало суетиться.

– Вы, конечно, отчасти правы, но не совсем. Здесь полицейский тоже должен быть постоянно настороже, он тоже неустанно исполняет свои обязанности. Никогда не знаешь, что и откуда может возникнуть. Я здесь единственный представитель закона, вся ответственность за общественное спокойствие и порядок лежит на моих плечах. Взять, к примеру, вас. Вы находитесь в моей компетенции, и я должен бдительно следить за вами, не забывая о контроле и за всем остальным.

– Следить за мной? – изумился Адриан.

– Да, за вами. Ваше положение чрезвычайно любопытно, неординарно и, в конечном счете, подозрительно. Вы сами открыто заявили об этом, сообщив, что стали жертвой злополучной случайности, что поезд будто бы ушел без вас.

– Не будто бы, а ушел.

– Такова ваша версия произошедшего, мсье Адриан. Однако подробностей по-прежнему никто не знает. Чтобы обрести уверенность, следовало бы узнать, что думает на сей счет железнодорожное начальство. Пока все покрыто мраком неизвестности. Предположим, к примеру, что вы в самом деле жертва случайности. Но ведь с вами могут произойти и другие случайности, не так ли? И я должен следить, чтобы ваше пребывание среди нас было во всех отношениях благополучно и для вас, и для всех нас. Вы ведь человек для нас посторонний, мы о вас ничего не знаем. Я должен нас обезопасить от всех других нарушений, невольной причиной коих вы можете стать. Стало быть, я, относясь к вам с почтительнейшим уважением, обязан следить за вами ради вашей же собственной пользы и безопасности. Такова моя главная обязанность, ибо я отвечаю за нерушимость покоя, которым вправе пользоваться все.

— Вам нечего беспокоиться, сержант, я очень скоро отсюда уеду.

— Надеюсь, мсье. Но до тех пор, пока вы здесь, порядок в некотором роде нарушен, о нарушении невозможно забыть, оно для нас непривычная помеха. Поселок у нас маленький, жизнь отлажена раз и навсегда, мы не хотим перемен. В неизменности наше счастье, мы им дорожим.

— А мсье Матиаса я, наоборот, веселю. Как он давеча надо мной смеялся, вообразив, что спешащий мне на помощь автомобиль — плод моей фантазии.

— Матиас обеспокоен точно так же, как мы все, мсье Адриан. Но он у нас весельчак, душа общества, он старается разрядить атмосферу. Поверьте, мы все с нетерпением ждем пресловутого автомобиля, так же страстно, как вы, хотим, чтобы он прибыл и, особенно, чтобы уехал. Его появление было бы счастливой развязкой неприятного происшествия, к тому же в наших глазах он засвидетельствовал бы ваше чистосердечие. А пока он не приехал, мсье Матиас шутит, чтобы всем легче было ждать.

— Я уверен, он приедет самое позднее послезавтра.

— Будем надеяться, мсье. А до отъезда вы наш гость и, само собой разумеется, объект моих попечений. Кстати, поскольку вы пробудете еще какое-то время у нас, в нашем поселке, прошу вас оказать любезность и заполнить небольшой полицейский формуляр. Простая формальность, как вы понимаете. — Сержант достал из кармана мятую-перемятую бумажку и стал старательно разглаживать ее на столе. Действительно, стародавняя анкета, с оторванной шапкой, пожелтевшая от времени. Сержант протянул Адриану карандаш и добавил: — Если бы вы уехали вчера или даже сегодня, я бы закрыл глаза на ваше появление, сказав себе, что вы в самом деле у нас проездом. Но поскольку ваше пребывание у нас затягивается, я не могу пренебрегать протоколом. Напишите свое имя, фамилию, адрес, фамилию вашего работодателя, адрес старой Милы, где вы теперь пребываете, не забудьте указать цель пребывания у нас в поселке. Как только вы покинете Вокзал, я сам заполню графу "Длительность пребывания". Все будет сделано согласно правилам, и у нас не будет оснований сожалеть, что мы пренебрегли распоряжениями муниципальных властей. Имейте в виду, что вы должны сообщить о факте вашего прибытия на станцию старины Кирилла на случай, если начальство железной дороги решит расследовать неприятность, которая произошла с вами и вашим поездом. Все это чистая формальность, она займет у вас несколько минут, тем более что мы с вами ждем ужина. Прошу вас, приступайте.

— Все ваши гости заполняют такие анкеты? — поинтересовался Адриан.

— Разумеется. Однако замечу, что туристы чрезвычайно редко посещают здешние места. Мсье Теодор тоже заполнил такую анкету. Простая формальность, уверяю вас. Пусть вас это не коробит, таково правило во всех городах страны. Но если вам придет в голову обосноваться здесь на более долгий срок, то милости прошу ко мне. Тогда я вам приготовлю анкеты, предназначенные для длительного пребывания. Они вам понадобятся, если вы захотите приобрести здесь собственность. Но всему свое время и место. А пока вы ждете автомобиль, заполните эту анкету.

— У меня нет намерения здесь обосноваться, сержант, — сухо сообщил Адриан, беря в руки карандаш и анкету.

— Никто ничего не знает, мсье Адриан. Кто скажет, что готовит нам будущее? Вы молоды, можете еще осуществить любые свои проекты, свои фантазии. Мы могли бы принять вас, и вы перестали бы быть здесь посторонним. Полицейский должен сохранить для вас и эту возможность. Обосноваться здесь — ваше право, если вы вдруг перемените свои намерения, будучи в твердом уме и здравой памяти. Но я должен быть заранее обо всем осведомлен, у меня должны быть все данные, я должен знать, например, что человек не рецидивист. Это я так, к примеру, к вам лично это не относится. Просто я хочу показать вам, как далеко распространяются мои полномочия. У вас будет время подумать обо всем этом, пока вы будете жить у нас в поселке.

Разговор с сержантом вывел Адриана из себя. Он заполнял анкету с раздражением, спрашивая себя: уж не шутка ли это или — что еще хуже — унижение, которому его хотят подвергнуть? Зато у него не осталось сомнения, что обитатели Вокзала считают его появление отнюдь не случайным и не верят, что вскоре ему помогут отсюда уехать.

"Тем хуже для них, — объявил Адриан про себя. — Уехав, я покажу им, чего стою. А пока главное — не поддаваться ни на какие провокации. Постараюсь вести себя с предельной аккуратностью, сохраняя беззаботный вид, чтобы не возбудить лишней подозрительности. Буду тише воды ниже травы, и в будущем ни одного неосторожного вопроса".

— Еще по глоточку, сержант? — предложил он, разливая водку.

— Спасибо, мсье Адриан. За ваше здоровье! Я уже чувствую запах дымка, Матиас нам готовит великолепное жаркое на вертеле. Вы увидите, меню не слишком разнообразное, но к чему разнообразие, когда каждый день ешь такую вкуснятину, правда ведь? Надеюсь, вы любите баранину, здесь вы наедитесь ею досыта.

— Обожаю барашка, сержант. У вас она небось парная, не то что в городе, там она мороженая, а иной раз и переморожeнная.

— Так оно и есть, мсье Адриан. У нас здесь нет электричества, чтобы долго хранить мясо. Мы обычно солим его или вялим. Все натуральное, естественное, как у дедов-прадедов. Хотя Матиас для своих гостей достает часто и свежее мясо. Поживете здесь, убедитесь сами.

— У вас, наверное, и говядина бывает?

— Очень редко. Коров мы держим ради молока, но когда корова совсем уж состарится, ее режут, и мы устраиваем пир, настоящий праздник. А так обычно едим баранину.

Выглянул хозяин, сказав, что сейчас принесет ужин. Сержант составил вместе два стола и пошел приглашать остальных. Три старика, что играли в карты, и дурачок Панкрас отправились ужинать домой, четвертый игрок уселся рядом с Адрианом. Он выглядел необычайно дряхлым и, похоже, очень плохо видел, сморщенный рот его все время двигался, словно он что-то жевал, и от этого длинная седая борода его шевелилась. Сержант представил старика как их пастора Иллариона, но Илларион даже не поздоровался с Адрианом, ограничившись несколькими нечленораздельными звуками.

Шахматист Теодор тоже подошел к столу и поздоровался с Адрианом весьма любезно:

– Добрый вечер, мсье. Добро пожаловать в нашу компанию. Меня зовут Теодор Мерц, профессор на пенсии. Я живу здесь, в гостинице мсье Матиаса.

– Счастлив познакомиться с вами, профессор, – отозвался Адриан, пожимая руку Теодора. – Адриан Тром, инженер. В Вокзале проездом.

Адриан удивился, что Теодор отрекомендовался профессором на пенсии, на вид ему было не больше сорока. Высокий, крепкий, идеально выбритый, в очках с толстыми стеклами. Одет в городскую одежду, но весьма небрежно, во всяком случае, Адриану показалось, что рубашка могла бы быть и чище. Крепкое рукопожатие, серьезный мягкий голос дышали спокойной уверенностью, резко отличая Теодора от остальных обитателей Вокзала. Мсье Теодор не выказал ни малейшего любопытства по поводу появления Адриана в поселке, и Адриан тоже не стал ему ничего объяснять.

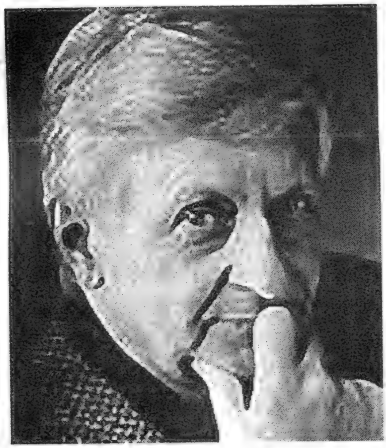
Матиас принес огромное блюдо с мясом и жареной картошкой. Выглядело жаркое аппетитно, хотя, как оказалось, сержант был совершенно прав: это был не ягненок, а баран, и весьма жесткий, но все-таки вкусный. Подслеповатый старик довольствовался тем, что посасывал жирок и жевал картошку, зато все остальные уписывали ужин за обе щеки. Пили кто воду, кто водку. Поначалу Адриана шокировало, что его сотрапезники накалывают куски мяса ножом, обсасывают кости, облизывают пальцы, но вскоре он последовал их примеру, и оказалось, что именно так и нужно есть такое жесткое, вкусное мясо. К концу ужина Адриан совсем забыл про вилку и пользовался, как все остальные, только ножом.

Еда явно пошла ему на пользу. Впервые с тех пор, как он отстал от поезда, Адриан почувствовал себя если не счастливым, то довольным. "Не все еще потеряно, – сказал он сам себе, – в этом глухом степном углу". Водка дала ему ощущение легкости, ему хотелось улыбаться, он не сомневался, что все образуется так или иначе. Жена, сын, тесть почти стерлись из памяти, а все заботы и беспокойства стали казаться пустяком и безделицей. Теодор и хозяин гостиницы уже нравились Адриану, он испытывал к ним подлинную симпатию, а вот неприязнь к сержанту Отто осталась.

После ужина Адриан быстренько проиграл две партии в шахматы Теодору, а потом ушел, сославшись на ранний подъем – завтра уж непременно должны были за ним приехать.

*Окончание следует*

# Жак Годбу



# *Консьержка Пантеона*

Роман

*Перевод* Людмилы Пружанской

Жану Кейролу — мои воспоминания

## *Жюльен в Париже*

Он и не помышляет о новой работе. И не ходит на собеседования. Просто ему захотелось свободы. Но, по крайней мере, он не заявляет: "Я ухожу из IBM, чтобы стать поэтом".

Дж. М. Кутзее

ДЕЛО было так: Жюльену Маккаю предстояло подать документы на соискание новой должности в Министерстве окружающей среды, реструктурированном в духе Киотского протокола, либо уйти по собственному желанию. Мысль о том, что он должен обращаться в отдел кадров и заново, без скидок на возраст и трудовой стаж, проходить весьма сомнительный конкурс, вызывала в нем глубокое отвращение. И Жюльен согласился на увольнение с выплатой выходного пособия. В голове у него уже зрел план, который не требовал ни диплома, ни специальной подготовки, — написать роман. И кто мог бы ему в этом помешать?

В свои сорок восемь лет этот человек, отдавший многие годы прогнозам, расчетам силы ветров и составлению графиков загрязнения окружа-

© Éditions du Seuil, 2006
© Людмила Пружанская. Перевод, 2008

ющей среды, открыл в себе писателя. Ему не терпелось сбросить груз научных знаний и облачиться в "одежды воображаемого" (это была его собственная метафора). Если примерно в том же возрасте Гоген стал живописцем после того, как не один год сбывал современникам облигации и страховые полисы, то отчего же и он, Маккай, не мог оставить след в литературе? А многие ли знают, что, когда Жану Полю Сартру было двадцать пять, его призвали на службу в метеовойска? Так что и Маккаю ныне нечего краснеть от стыда за свое прошлое. Кто хотя бы раз в жизни не испытал желания послать всех к чертям и свалить куда подальше?



Однако Жюльен был не из тех, кто бросается в омут с головой. Попробуй прожить за границей, не растратив все, что раньше накопил! Пребывание в Париже (а где же еще как не там?) требовало финансовой помощи. И в надежде получить грант он обратился в отдел дебютантов Канадского совета по делам искусств.

*Маккай Жюльен. Родился в июле 1948 г. в г. Ришелье, в провинции Квебек. В настоящее время – безработный. До этого не публиковался.*

По какой причине вы обращаетесь за помощью?

*Для написания романа.*

Уточните.

*Я хочу рассказать историю одного канука (т. е. потомка франкоканадцев, эмигрировавших в США в связи с вспышкой фузариоза в конце XIX века). Моим героем я намерен сделать Джерри Дринкуотера, отца которого звали Марк Буало. Он учился в Бостоне, но до этого жил в столице штата Вермонт Монпелье. По возвращении из Вьетнама (где он доблестно воевал), получив, благодаря финансовой поддержке федеральных властей, степень МБА, Джерри Дринкуотер открыл фирму по изготовлению кладбищенских памятников. В "Дринкуотер-Марбл" (так называется фирма) используют гранит штата Нью-Йорк, самый прочный на свете, а также камень из карьеров Мидлбери (Вермонт), нежные оттенки которого хорошо смотрятся на кладбищах. Почему же, вернувшись из Сайгона, Джерри Дринкуотер отказался от имени своих предков?*

Жюльен добавил еще кое-какие соображения, затем набросал план: пять недель на сбор материала в Новой Англии, пять месяцев на написание романа во Франции. Он подсчитал стоимость поездки и дополнительные расходы и внес их в соответствующие графы анкеты. Ответ на его запрос пришел четыре месяца спустя. Отборочная комиссия Совета по делам искусств отказала ему в связи с отсутствием рекомендаций. И действительно, какая могла быть уверенность в том, что задача Маккаю по плечу? Жюльен спорить не стал, однако от своей затеи не отказался. В конце концов все упиралось в деньги. В ноябре он уже летел в Европу, и в голове у него было готовое название романа: "Урожденный Буало".

## *Консьержка*

Я прибыл в аэропорт Руасси—Шарль де Голль около восьми пятнадцати утра. Самолет пролетел над равниной, окутанной обычным для ноября туманом. Взбудораженные чайки закружились вокруг крыльев самолета, как только луч света рассек облако. Вдали угадывался город, внизу мож-

но было различить тщательно обработанные поля, их уже боронили, а в Америке еще только начинали пахоту. Наконец – посадочная полоса, резкий толчок, рев моторов, и самолет покатился по земле как автобус. Я отстегнул ремень, хотя нам еще не дали команды. Нет, я достаточно законопослушен, просто сидеть больше семи часов в алюминиевой сигаре, летящей наперекор встречным ветрам, утомительно и нудно, затекают мышцы ног. Мои ботинки завалились под сиденье, и мне пришлось изогнуться, чтобы их оттуда достать. Глупо путешествовать в обуви. Допустим, самолет потерпел крушение и приводнился: без ботинок в резиновой лодке будет удобнее. Короче, как пишут в инструкциях, лишняя предусмотрительность никогда не помешает. А даже если бы и не писали, я бы все равно охотно путешествовал в одних носках, мне так удобнее. И не зря же я в конце концов каждый день мою ноги!

В девять часов я снял с ленты транспортера свои чемоданы, один с одеждой, в другом – справочники и тома прозы. С тех пор как я решил, что могу написать роман, книги всегда при мне. Их авторы – Воннегут, Капоте, Камю и еще некоторые – и не подозревают, что они самые близкие мне люди.

Я взял тележку и пошел искать пригородный поезд. Мне сказали, что он доставит меня прямо в центр города. Электричка всегда дешевле такси, а я, между прочим, не получаю зарплаты, и представительского счета у меня нет. Когда в голове план вроде моего, каждый цент на счету. Так что, если я собираюсь прожить в Париже намеченный срок, нужно быть поаккуратнее с деньгами.

Мне пришлось оставить тележку наверху эскалатора, который почему-то возьми и остановись. Я споткнулся, но мои чемоданы, к счастью, на колесиках. "Отлично, – подумал я, – первый этап позади". Билет на электричку оказался дороже, чем я думал, но, в конце концов, это не беда. В путешествиях так всегда: приятные сюрпризы случаются нечасто. Когда в последний раз я видел из окна поезда мрачные пейзажи со складами, расписанными граффити на американский манер? Лет десять назад, наверное, когда министерство командировало меня на метеорологический конгресс. Меня уже в тот раз поразила ужасающая архитектура окраин. И вот ничего с тех пор не изменилось, разве что построили какие-то новые здания. Я погрузился в дрему, чемоданы между ног. Вагон был практически пуст, поезд останавливался на каждой станции, но никто не входил и не выходил.

Может быть, я неправильно поступил, что не забронировал гостиницу и никого не предупредил о своем приезде. Да и кого, собственно, предупреждать, если ты – иностранец? Префектуру, посольство, "Американ экспресс", архиепископа Парижского? Я путешествовал инкогнито и не роптал на одиночество. В таком сумеречном состоянии я мысленно разрабатывал план действий.

Я отправился в Париж, стремясь к метаморфозе, к перевоплощению. Теперь, когда была сброшена старая оболочка, я мог обратиться к собратьям по перу. Я был словно марсианин, который, едва выйдя из космического корабля, идет навстречу землянам. Их предводитель меня сразу узнал бы и предоставил все необходимое для успешного выполнения задачи. Несколько месяцев спустя с чувством выполненного долга я вернул-

ся бы к себе на родину. А почему бы и нет? Я нашел в журнале "Магазин литтерер" адрес Общества писателей: "Отель де Масса, 38, Фобур Сен-Жак". Отыскал на карте метро самую близкую станцию — "Пор-Руаяль".

Так воскресным утром я оказался на пустынном тротуаре бульвара Сен-Мишель. Первый же вопрос, пришедший мне в голову, озадачивал: названия парижских площадей и улиц заимствованы из книг или, наоборот, перекочевали в них? "Вот что случается, когда с головой уходишь в литературу", — заключил я про себя. Мне захотелось кофе, но все было закрыто, даже знаменитое "Клозери де лила" на замке. Полуголые деревья, как статуи фонтана, навевали печаль. Вдали маячили спины бегунов.

Я рывком поднял чемоданы, правый показался особенно тяжелым. "Зря я потащил с собой столько книг, — подумалось мне, — но как все предусмотреть, когда пускаешься в подобную авантюру?" Путь до "Отель де Масса" занял целых двадцать минут. Вывески на нем не было, а само здание было окружено высокими стенами и импозантными решетчатами воротами. Я огорчился: это был вовсе не отель, а богатая резиденция. Ни цены, ни звездочек, ни приемной стойки. Я чувствовал усталость, нервы на взводе. Хотя и было прохладно, я вспотел: зимнее пальто было слишком теплым, да еще эти чемоданы, один синий, другой коричневый, купленные в магазине "секонд-хенд". Наконец я поставил их у ворот. Мне ужасно хотелось спать, и, если бы на мой звонок никто не ответил, я вполне мог бы заорать: "Господин президент! Господин президент! У меня нет сил, вы меня, может быть, и не ждали, но я тут! Я хочу стать членом вашего общества, слышите? Проснитесь, господин президент!"

Я был готов поднять на ноги весь район, но похоже, что парижские лежебоки не желали просыпаться.

Навстречу мне вышел садовник, крупный улыбающийся мужчина в голубой рубашке и вельветовых брюках, обутый в сандалии и с метлой в руках. Он удивленно взглянул на меня из-под черной фуражки:

— Доброе утро, мсье, — сказал он мне, бросив взгляд на чемоданы, — здесь, кроме меня, никого. Вы, должно быть, ошиблись адресом.

Я всегда знал, что садовники, сами того не подозревая, играют важную роль в литературе. Они, однако, убеждены: кроме того, чтобы поливать цветы, подметать аллеи и тискать хозяйку в подсобке, у них иных обязанностей нет. Я попытался было рассказать садовнику, кто я и откуда, что сам я прибыл из Америки, с грандиозным замыслом в голове, мечтой всей моей жизни. Он слушал меня, но не понимал. Может быть, виной тому был мой квебекский акцент? Садовник явно не собирался распахивать передо мной ворота.

— В "Отель де Масса", — объяснил он мне, — заседает верхушка писательской ассоциации, у них тут семинары и другие собрания, по поводу авторских прав и так далее — еще со времен Бальзака.

"Не забыть бы пойти к знаменитой статуе работы Родена на бульваре Распай!" — подумалось мне. Короче, я понял, что это было правление писательской организации, а вовсе не место для ночевки.

— Были бы вы бизнесменом, вы бы поселились в отеле, а не в Банке Франции, правда ведь? — добавил садовник.

Пораженный моей наивностью, он приподнимал фуражку, почесывал в затылке, снова опускал ее, а сухие листья сбивались в кучу, как в песне Превера, и садовнику не терпелось заняться клумбами, на которых орудовал ветер. Вид у меня, наверное, был совсем потерянный, еще бы — вступление в литературу не состоялось. Занавес! В этой великой столице словесности никто не был готов распахнуть мне объятья, протянуть руку — ни наставника, ни гуру, ни покровителя на горизонте. Видя мое отчаянье, садовник все-таки предложил:

— Разве что моя старшая сестра могла бы вам помочь. Она наверняка дома. Сегодня воскресенье. Вот ее адрес. Это неподалеку, пешком дойдете...

И я вновь пустился в путь, подхватив чемоданы. Взмыленный, как боксер на ринге, в своем тяжелом пальто. Кривые улочки заставляли меня по десять раз возвращаться на одно и то же место, среди неприступных домов из серого камня попадались здания песочного цвета, двери всех кафе закрыты грязными решетками. По дороге мне встретилось несколько человек, они, должно быть, шли с мессы или из булочной. Силы мои были на исходе. Прибыв по указанному адресу на улицу де л'Эстрапад, я обнаружил там железный мостик, который вел к черному ходу высокого здания, больше всего похожего на церковь с куполом, увенчанным крестом. Стена до половины была затянута строительной сеткой. С тех пор как министр Мальро однажды отдал распоряжение, здание постоянно штукатурят. Ох уж эти писательские прихоти!

На дверном косяке сверкал медью звонок. Я нажал на него со всей оставшейся у меня силой. Дверь открыла сестра садовника от Литературы. Слегка перекошенная от остеопороза женщина весьма приветливо выслушала мой рассказ, квебекцы — милые люди, один из ее двоюродных братьев живет в Шибугамо, но комнаты для меня у нее нет. Ее братец просто пошутил!

— Это правда, что великие писатели с удовольствием поселяются здесь, — добавила она со смехом, — а уж с какими церемониями! Но вам тут не понравится, здесь холодно: не топят.

— Я не привередлив и очень устал, мадам, по нашему времени сейчас пять утра.

— Охотно вам верю, дружочек, — любезно продолжала она, — и разделяю ваши чувства, но по традиции вход иностранцам сюда запрещен.

Подхватив свой скарб, я спросил, как ее зовут. Мне хотелось ее отблагодарить, может быть, когда-нибудь написать ей открытку.

— На самом деле у меня нет имени, — ответила она, — я консьержка Пантеона.

## *Квартирка-студия*

Это здание было, кажется, самым старым и обшарпанным из всех. Штукатурка осыпалась, стены давно почернели от сажи и выхлопных газов. Адрес дома был вывешен в бутербродной, находившейся в двух шагах от гостиницы, где я временно поселился. Мадам Фабрель сдавала одноком-

натные квартиры на улице де л'Арбалет (сама-то она там не жила) и готова была предложить мне за умеренную сумму наличными пятнадцатиметровую квартирку на пятом этаже. Беда, однако, в том, поведала мне она, что квартиру не удается освободить. Если я решу ее проблему, она в благодарность позволит мне один месяц жить бесплатно. Мадам Фабрель была дамой с короткой стрижкой, круглым, изрытым оспинами подбородком и некрасивым лицом без признаков возраста. На ней был костюм, "купленный в Лондоне", уточнила она в ответ на мой комплимент.



Будучи домовладелицей, мадам Фабрель имела право выселить человека, внедрившегося в ее жилище, только обратившись в полицию. Но это означало самой положить голову на плаху: налоги, муниципальные сборы, разрешения, проверки, да и квартирантам аренда обошлась бы дороже, чем так, "по-черному". Канадец очень подошел бы ей, но для этого мне следовало помочь хозяйке.

— А кто там живет? — спросил я.

— Да там одна из Восточной Европы. Я с ней по-крупному влипла. Она мне два месяца не платит и уже дней пять как засела внутри и не открывает дверь. Может, вы попробуете с ней поговорить?

Поговорить? Я был согласен, мне любой ценой (приемлемой, конечно) нужно было найти жилье: все комнаты, на посещение которых я убил целую неделю, стоили безумных денег. Доверив оба чемодана мадам Фабрель, оставшейся ждать меня у консьержки, я поднялся на пятый этаж.

Первая дверь направо. Я осторожно постучал. Внутри послышалось какое-то шевеление, потом раздался женский голос и произнес что-то невнятное. С собой у меня был рюкзак. Я достал из него блокнот и вырвал страницу. "Здравствуйте, меня зовут Жюльен", — написал я и подсунул записку под дверь. После небольшой паузы записка вернулась: "А я — Мишка. Чего вам надо?"

"Я монреалец, квебекец, канадец, — ответил я. Я надеялся, что таким образом она представит себе мое место в мире, хотя, вообще-то говоря, определить его — задача всегда нелегкая. — Я из Америки, а вы?" — "Я — румынка", — написала она. Мы продолжали нашу игру в "вопрос-ответ" через дверь. Оказывается, она учила французский в школе, а еще — русский. Я ответил ей, что нам всю жизнь навязывали английский. Когда мы исписали страницу, я предложил ей поднести ухо к двери и сам сделал то же самое.

Мы принялись тихо переговариваться, старательно артикулируя, как на уроке фонетики, — каждый со своим акцентом. Она не хотела уходить из квартиры.

— Я тут живу и останусь.

Без работы и денег — она понимала, чем это ей грозит.

— Сколько вам лет?

— Двадцать четыре.

Я, досрочно отправленный на пенсию, был в два раза старше. Имело ли смысл ей объяснять, что в наше время метеорологу приходится стоять перед телекамерами, а я уже не соответствовал принятым аудиовизуальным критериям? Я, кстати, грозился подать на министерство в суд, но мне выплатили компенсацию, и вот на эти самые денежки я и собирался выкурить из квартиры мою собеседницу!

— Вы, вообще, чем занимаетесь?

Она ответила:

— Я танцовщица, а вы?

Я оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что на лестнице — никого, и ответил с вызовом:

— Писатель. Я собираюсь в Париже писать роман. А вы любите литературу?

Я изучал листок с нашей перепиской, наши почерки дополняли друг друга: ее — красивый, ровный, с наклоном, как учили когда-то в религиозных школах, и мой — прямой, будто высаженные в ряд сосны.

— Вы — балерина?

Она расхохоталась. Я продолжал:

— Так вы меня впустите?

Румынка была не дурой, она знала, что в ноябре в Париже холодно, и опасалась, что я заслан той, которую она именовала стервой.

— И сколько вы так будете держать осаду?

— Пока не умру.

Я всегда знал, что выходцы из Восточной Европы имеют склонность к трагедии, но в данном случае все происходящее напоминало мелодраму.

— Вы что, готовы умереть от голода ради того, чтобы остаться в квартире?

В стране прав человека для нее это было делом принципа: Франция гарантировала ей свободу, так почему же не кров?

— Мне есть хочется, у вас случайно нет хлеба или куска сыра?

Я чувствовал, что она готова сдаться, и сказал не раздумывая:

— Я приглашаю вас в ресторан.

— А я смогу вернуться к себе обратно?

— Клянусь вам, на улице вы не останетесь.

Дверь осторожно приоткрылась.

Не знаю почему, может быть, виной тому был ее голос, но я представлял себе девочку, юную девушку с ангельским личиком, которая нуждалась в покровителе. Однако у нее оказалось грубое лицо женщины, никогда не ведавшей счастья. Я представлял ее себе блондинкой, а у нее была густая грива черных вьющихся волос. Распахнув дверь, Мишка окинула меня внимательным взглядом. Двумя руками она прижимала к животу зеленый рюкзак. Наверное, ее коньком была "цыганочка", или я в этом ничего не понимал. Квартирка выглядела ужасно, но сейчас мне было не до того! Когда мы проходили мимо стойки консьержки, я сказал мадам Фабрель, что заселяться вернусь позднее. Нам нужно было место, где за умеренные деньги подавали бы что-нибудь сытное: раклет, большие порции жаркого или кускуса. Первым на пути оказался кускус, прямо на углу улицы.

За столом Мишка наворачивала так, словно ее только что выпустили из советского лагеря. Отправив в рот очередную порцию, она улыбалась мне, подхватывая волосы правой рукой, а в левой, словно ружье, сжимала вилку. С того момента, как она вышла из своей засады, мы не сказали друг другу ни слова. Мы обменивались взглядами, знаками, как будто оба были от рождения немы. Но ведь наше общение началось с переписки. А вдруг на бумаге мы были созданы друг для друга? Прихлебы-

вая воду, я не сводил с нее глаз. Тем временем Мишка поглощала мой дневной рацион.

Тогда-то мне и пришла мысль продолжить общение с помощью бумажной скатерти, покрывавшей стол. Я узнал, что три года назад Мишка уехала из пригорода Бухареста в Молдавию, работала официанткой в дешевых кабаках, потом пела в маленьком венгерском ансамбле, который гастролировал по деревням, была стриптизершей в Гамбурге и, наконец, проституткой в Париже. Она подралась с "проксенетом" (это я научил ее этому слову), который ее систематически обирал, поэтому-то она и заперлась в своей комнате, без гроша, без еды, без надежды. Я читал на столе ее исповедь и понимал, что она могла рассказать куда больше, чем канадский отставной чиновник, чья жизнь прошла в бесплодных мечтаниях.

Натуральное молоко и пастеризованное!

На десерт подали приторный лукум, а мы все продолжали исписывать скатерть нашими эпистолярными откровениями. И пока я глядел в ее полные отчаяния глаза, у меня родилась гениальная идея. Я искал замок с разводным мостом и стенами, куда не проникнет ни один сутенер. И нашел! Я расстался с Мишкой в теплой приемной католического приюта прихода Сен-Жак-дю-О-Па. Я все же убедил ее пойти в монастырь, чтобы вернуться на путь добродетели. Я просил ее, раз она верующая, молиться за меня и испросить для меня у Господа творческих сил. Прощаясь со мной, Мишка порылась в сумке и извлекла со дна крошечное бронзовое распятие, которое вложила мне в руку. Она чмокнула меня в щеку и поблагодарила, а я в этот момент ощутил себя доброй феей из дешевых романов, которые продаются в привокзальных киосках.

Вернувшись к мадам Фабрель, я втащил свой багаж в ту самую квартирку и приколол к стене исписанную нами бумажную скатерть. Она, как для путешественника — географическая карта, представлялась мне полной жизненного смысла. Силы мои, и физические, и душевные, были на исходе. Я никогда не верил в Бога и еще меньше в монастыри. Только что я предсказывал Мишке безоблачное будущее, а на самом деле разве можно быть в чем-то уверенным? У меня не было сил, чтобы раздеться, я закрыл дверь на засов и упал на кровать, даже не постелив простыней. Только сбросил с ног тяжелые ботинки.

Посреди ночи — или это было на исходе дня? — попробуй разбери в этом городе с низким небом и изредка выглядывающим осенним солнцем, — запутавшись в своем просторном пальто, в мечтах и непривычном времени, я вдруг почувствовал, что кто-то прилег рядом со мной. Вокруг разнесся запах темных волос и сладких духов. Неужто это Мишка вернулась ко мне из монастыря? Я не пошевелился. Утренний холод прервал мой сон. Я был по-прежнему один, а любовь осталась на бумаге.

## *Блокнот*

Как только Жюльен окинул взглядом полку с блокнотами и тетрадями в магазине "Жибер Жён", без которого трудно представить себе торговлю писчебумажными товарами в Латинском квартале, он буквально запал (как го-

ворят по-английски) на разноцветные обложки марки "Клерфонтен": на них логотип в форме треугольничка modern style (как говорят по-французски), в который вписана женская головка. Эти блокноты – "made in France" (как говорят на всех языках) – напомнили ему любимую французскую песенку, которую в его далеком детстве пела ему мать. Пока из глубин памяти всплывали слова "До чего красив родник на моей дороге"[1], он гадал, выбрать ли ему оранжевый, голубой, зеленый или сиреневый цвет, и в итоге остановился на последнем. Быть может, потому, что сиреневый цвет навевал печаль, а для Жюльена такое состояние было неведомо.

От разнообразия форм и размеров впору было потерять голову, но выбор Жюльена пал на блокнот типа "пюпитр", при виде которого он живо припомнил школьные годы, свой дневник с расписанием уроков и домашними заданиями, сроками сдачи сочинений и телефонными номерами вперемежку с неприличными рисунками, сделанными простым карандашом. "Жибер Жён" – это self (как говорят в Париже), но вначале нужно терпеливо отстоять очередь в кассу, а потом пройти под суровым взглядом охранника. С заветным блокнотом в кармане, довольный Жюльен вышел на улицу и, дойдя до площади Сорбонны, соблазнился видом террасы кафе, согретого теплом газового радиатора.

Какой-то саксофонист – перед ним стояла тарелочка для денег – играл джазовые мелодии, фонтаны на площади выплевывали пенящуюся воду, разложив на столиках между пустыми чашками из-под кофе свои тетрадки, о чем-то щебетали студентки. Жюльена вдруг охватило забытое с отроческих лет желание писать стихи. Когда-то его отец частенько беседовал с ним о поэзии и поэтах, работавших, как и он, в книжном магазине издательства "Фидес". Чаще всего в его словах звучала насмешка, но порой, особенно если кто-то достигал славы на монреальском олимпе, и восхищение. Начинающий романист заказал кофе со сливками, бросил в чашку два кусочка сахару и погрузился в свои мысли. В памяти вставали слова Нерваля о башне разоренной, рифмы Аполлинера, стихотворение Гастона Мирона, одного из тех, кто когда-то работал с его отцом. "Все дело в ритме, – подумал он, – ритме и рифме!" Он пожалел, что странички его блокнота слишком узки для александрийского стиха.

Наступил вечер, а саксофонист все продолжал играть в сгустившихся сумерках. В кафе включили свет. Он поднял взгляд на Сорбонну, и ему явилось видение: не сам ли великий Гастон Мирон пересекал быстрым шагом площадь? Он не удержался и позвал: "Гастон! Гастон!" И ему представилось, что Мирон сразу узнал в нем сына своего товарища по работе. Взрыв его гомерического хохота заставил бы обернуться публику, сидевшую в кафе.

"Уж не юный ли это Маккай! – вскричал бы Мирон. – И что ты здесь делаешь, голодранец? Не оправдывайся, я-то знаю: сидишь в ожидании какой-нибудь хорошенькой мордашки!" Жюльен принялся бы отрицать это и пригласил бы поэта за столик. "Вовсе нет, господин Мирон, никого я не жду, могу я угостить вас кофе?" – "А почему бы не стаканчиком красненького, мой юный друг, мы как-никак в Париже!"

1. Строка из французской народной песни "У прозрачного источника". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Поэту подали бы вино, и Жюльен поспешил бы подчеркнуть потрясающее совпадение. "Я как раз сочинял стихотворение, и тут – вы! Фантастика!" – "И тут ты углядел саму поэзию, которая так прямо и шагала по площади Сорбонны? Скажи лучше, как отец?" – "Он не может мне простить, что я ради поездки в Париж ушел из министерства". – "А что, это было необходимо?" – " Хочу написать роман". – "Но ты только что упоминал стихотворение!" – "У меня в голове идея романа". Повернувшись к официанту, Гастон Мирон поинтересовался бы громко: "Это что за вино?" Из-за стойки бара послышалось бы в ответ: "Мадиран – будешь весел, но не пьян". Потом, наклонившись к Жюльену, он спросил бы: "А не вышел ли ты уже из возраста, когда играют в писатели?" – "А что, есть ограничение?" – "Нет, но имей в виду, это ремесло, на которое не прокормить семью!" – "Вы рассуждаете точно как мой отец". А не смог бы Мирон ему чем-нибудь помочь? Согласился бы прочитать несколько страниц? "Ты сам себе судия, – ответил бы ему поэт, – ты пишешь потому, что тебе самому того хочется, и тогда зачем тебе чужое одобрение?" И Мирон резко встал бы и исчез так же, как появился, растворившись в толпе на бульваре.

Жюльен допил кофе, захлопнул блокнот "Клерфонтен", говоря себе, что, даже если бы Гастон Мирон и вправду шел по площади, никогда бы он не осмелился его окликнуть.

## На лестничной клетке

Одиннадцать утра. Мне известно это потому, что каждый четверг именно в этот час я слышу стук швабры о низ моей двери. В первый раз я ринулся открывать, думая, что кто-то ко мне пришел, но это оказался молодой парень, подметавший лестницу. Орудуя также влажной тряпкой, он толкал перед собой скрежещущее о пол железное ведро. Раз в неделю этот самый парнишка убирает подъезд, начиная с седьмого этажа. Наверное, он откуда-то из Северной Африки, должно быть алжирец.

На самом деле Мохаммед (в следующий четверг я поинтересовался, как его зовут) никакой не консьерж, а служащий компании по уборке и содержанию парижских зданий. Жаль, однако, ведь он мог бы зайти ко мне и починить фрамугу, а то капли дождя стекают по стеклу, окно не закрывается как надо, вода попадает на пол и портит паркет.

Будь я в Канаде, я бы смог сам ее починить, но здесь у меня нет инструментов. За границей писатель оказывается безоружным перед самой ничтожной житейской проблемой. Мохаммед поведал мне, что даже если бы он и мог поправить мою фрамугу, у него на это нет времени, поскольку в их компании множество контрактов, а на нашу лестницу ему отведено сорок минут, после чего он должен мчаться в другой дом.

– Вы не скучаете по солнышку? – спросил я его из вежливости.

Он ответил, не поднимая глаз от ступенек третьего этажа:

– В подъезде солнца никогда не бывает.

Затем он спустился, обтирая тряпкой каждую ступеньку и перенося за собой ведро. Наверное, Мохаммед не понял, что своим вопросом я хотел вызвать его на разговор об Алжире.

Неделю спустя я пошел немного дальше. Заслышав стук швабры о мою дверь, я немедленно открыл, поприветствовал его, поблагодарил за хорошую работу, а потом решился:

— Сегодня восьмое декабря, это День Непорочного зачатия, у вас разве не выходной?

— А я и не знаю, мсье, — отвечал Мохаммед, — это не моя религия.

Тогда я позволил себе добавить:

— И не моя, но поскольку здесь Успение, Вознесение, День Всех Святых, Рождество, Пасха и все прочие — национальные религиозные праздники, я думал, что сегодня выходной и у вас. Франция — *католическая* страна, вам не кажется это странным?

Мохаммед ограничился растерянной улыбкой. Может быть, я отвлекал его от работы?

Захлопнув за собой дверь, я продолжил размышления: чтобы стать по-настоящему светским государством, Французская республика должна была бы превратить День Непорочного зачатия в День искусственного оплодотворения, Вознесение — в День освоения космоса. Пасха могла бы стать Днем продавцов шоколада, а Троица — Днем региональных языков или даже переводчиков, и почему бы не превратить Богоявление в День литературы? Что касается праздника Всех Святых — проблем нет, это давно уже Тыквенный бал. В "Монд" — газете, датированной завтрашним днем и комментирующей вчерашние новости — сообщили, что кардинал и архиепископ Парижский прочитал на Хеллоуин проповедь. Его Преосвященство с опаской относится к языческим обрядам! Католическое духовенство призвано разогнать ведьм! Нет, церковь с места не сдвинешь!

Вчера, когда я услышал стук Мохаммедовой швабры, я поспешил узнать, отмечал ли он в прошлом месяце со своими детьми Хеллоуин и ходил ли по подъездам, где убирает, звонил ли в двери и собирал ли сладости.

— Когда вы были маленьким, у вас в Алжире было принято раздавать детям конфеты? — спросил я его.

Он посмотрел на меня нерешительно, как будто боялся разочаровать, затем пожал плечами и ответил:

— Насчет Алжира не знаю, мсье, вообще-то я турок.

Я пробормотал извинения и осторожно закрыл дверь, говоря себе, что во Франции все труднее узнать, с кем имеешь дело.

## В *кафе*

Чем замечательна французская вежливость, так это словом "бонжур", которое летит к вам навстречу, едва вы переступили порог бистро, а его хозяин уже услужливо протягивает вам руку. Он вас узнает с ходу, не зря он обучался в хорошей школе, где готовят коммерсантов. Величая меня господином Жюльеном, он ведет меня к столику в глубине зала.

— Как обычно? — спрашивает он, вернувшись к стойке.

Ему-то известно, что́ мне нужно по утрам: чашку кофе и вдохновение.

Я открываю свой рюкзак, достаю из него тетрадь и ручки, хозяин возвращается ко мне с большой чашкой кофе со сливками и круассаном.

По его глазам видно, что литературу он уважает: я поделился с ним своими планами, и он счастлив, что я сочиняю свой роман за столиком его кафе, а не какого-либо другого по соседству.

Дринкуотер. Я перечитал то, что написал накануне, получилось както не очень убедительно. Через четыре года после смерти отца мать Джерри Дринкуотера поместили в отдельный номер гостеприимного приюта "Квинси толбэт мемориэл". Замутненное сознание Анжель Буало мешает ей понять, что за мужчина сидит у ее постели: ее сын Джерри, или, быть может, ее муж, или же просто медбрат?

Мадам Буало существует в особом измерении. Между ней и Джерри — глухая ненависть. Чтобы были понятны ее истоки, я собрался сегодня утром описать сцену, которая вчера весь день не выходила у меня из головы, пока я не заснул: одиннадцатилетний Джерри испытывает глубокое отвращение к квебекскому языку, доставшемуся ему от матери (американские однокашники Джерри дружно смеются над ней), и сжигает на гриле в саду те немногие французские книги, что есть в их семейной библиотеке. Отец, говорящий на работе по-английски, не скажет на это ни слова. А Анжель в слезах спрячется в ванной на первом этаже. Но до чего же трудно написать то, что представилось вчера в полусне! Мне хотелось, чтобы в этом мальчугане узнали солдата, который станет жечь напалмом хижины во Вьетнаме. А может, я перебарщиваю?

Заказав вторую чашку кофе, я продолжаю свои размышления. Сочинительство — занятие для терпеливых. Но вот и завсегдатаи кафе! Уже одиннадцать часов, и они с порога приветствуют меня, а я заранее знаю, что будет дальше: они — славные ребята! — угостят меня стаканчиком, от которого я, конечно же, не откажусь, ведь в Париже я один и по натуре застенчив.

Сидя на высоком табурете за стойкой бара, после четвертого аперитива я забываю о моем романе и начинаю прислушиваться к разговорам. Посетители кафе явно держат меня за своего. Для них я авторитет: все же Квебек, Америка! Мне достаточно кивнуть головой, и им понятно, что я соглашаюсь с ними, значит — можно продолжать. Не важно, какой вопрос за бутылью белого обсуждают завсегдатаи кафе: идет ли речь о налогах, породах собак, соревновании по регби, иммигрантах или делах на бирже, у них есть выражение, которым они сопровождают любое высказывание: "Задолбали, сволочи!" А как же мой роман?

Китайцы, в руки которых переходят маленькие магазинчики, тоже "задолбали" и тоже "сволочи!" В Париже, не устают повторять завсегдатаи кафе, официально числится четыреста пятьдесят тысяч китайцев, и ни одного — на кладбище, потому что, когда китаец отправляется к праотцам, его кремируют, прах помещают в урну и отсылают ее вместе с видом на жительство, водительскими правами и кредитными карточками в родную деревню, в какую-нибудь провинцию Поднебесной. А несколько дней спустя на месте умершего появляется его живой двойник. Но хозяин кафе говорит, что китайцы не утруждают себя отправкой праха в Китай, что они из него варят суп. Его озлобление объяснимо: он убежден, что на свете есть лишь две великие кухни, а в его бистро одна из них — французская. "Задолбали, сволочи!"

А вот владельца книжного магазина задолбало то, что Париж пустеет, что клиентов становится меньше, что, если так пойдет и дальше, ему придется закрыть лавочку, что простые люди вынуждены перебираться в пригороды, и все из-за спекулянтов, которые переделывают квартиры под офисы, но потом и сдать-то их не могут. "Задолбали, сволочи!" Он прав, в квартале Ле Маре из-за немыслимой аренды закрылись мастерские художников. Витрины голы, магазины заколочены. Известно, что дела в экономике плохи, если художественные галереи закрываются, едва появившись, словно подпольные лавочки. "Задолбали, сволочи!"

Так они выпивают стакан-другой, а то и пол-литра вина и ворчат, имея на то все основания: действительно, в их стране есть множество прекрасных вещей, которые обидно терять. В глубине души парижане сентиментальны: мужественного вида двадцатилетние ребята идут на свидание с девушкой с цветами в руках. Встречая их в метро, легко угадываешь влюбленных. У нас же цветы приносят только на день рождения или на похороны. Парижане по-прежнему хранят благородные традиции галантности и романтизма. Возьмем хотя бы сочинительство в бистро...

Я не продвинулся ни на абзац. Поэтому на обратном пути я трачу немного, чтобы купить себе цветов. Ясное дело, самых дешевых. Я поставлю их в пластиковую бутылку, заменяющую мне вазу. Шесть тюльпанов, которые завянут через два дня. "Задолбали, сволочи!"

## *Презентация*

> Не так легко взять и начать здесь жить по-новому, и я должен признаться, что с некоторых пор Париж пытается выбить меня из седла, как лошадь — своего наездника.
>
> Райнер Мария Рильке

Гуляя в поисках вдохновения, Жюльен пересек улицу Сен-Жак и, двигаясь своим размашистым шагом по улице Гей-Люссака, случайно обнаружил "Квебекскую книжную лавку", расположившуюся между институтом красоты и магазином деликатесов. Вскоре он стал ее завсегдатаем и едва ли не единственным посетителем. Лишь оказавшись здесь, он осознал, что совершенно незнаком с литературой собственной страны, и изумился разнообразию названий в книжных каталогах. Стоя перед ровными стендами, он ощущал себя "в окружении собратьев по перу". Когда-нибудь, думал он, и я займу место на этих полках, а мой роман будет выставлен на всеобщее обозрение на столике у самого входа. То, что в лавку в поисках нужной книги не заходил почти никто, его не особенно смущало. Жюльен презирал условности.

Работники книжной лавки уже привыкли к его ненавязчивому присутствию и позволяли ему рыться на полках, вытаскивать тот или иной том, громко, словно в театре, читать название и затем погружаться в изучение аннотации на задней стороне обложки. Он ничего не покупал,

только иногда доставал из кармана свой сиреневый блокнот "Клерфонтен", в котором, покачивая головой, делал какие-то записи.

Жюльен, которого еще ни разу не приглашали на презентации, был удивлен, когда как-то во вторник в шесть часов вечера просто так, ничего не попросив взамен, его угостили бокалом вина. Мало-помалу помещение заполнилось тремя десятками гостей, рассеявшихся по первому и подвальному этажам. Похоже было, что все друг друга знали. Присутствовавшие весело хлопали друг друга по плечу и добродушно смеялись. Устроившись у колонны рядом с тарелкой простых чипсов, Жюльен чокался со своими незнакомыми земляками, от говора которых у него становилось теплее на душе. Низкорослый тип на вид того же возраста, что и Жюльен, но с признаками апоплексии, поведал ему, что подобные возлияния были обыденным делом: цель их — заявить об очередной квебекской новинке.

— Мы тут все подряд отмечаем, — пояснил тот тип, — и не имеет значения, гениальная книга или нечитабельная, главное, чтобы в Париж приехал сам автор. Понимаете, идея состоит в том, чтобы действовал некий эрзац культурного центра, открыть который ни одно правительство Квебека, не важно, от какой оно партии, не решается из страха прослыть "голубыми", или интеллектуалами, или и теми и другими вместе.

Он зашелся от смеха по поводу собственного социологического анализа, и лицо его побагровело, затем он продолжил, а Жюльен слушал не прерывая.

— Глядите, оплата и рассылка приглашений лежит на Представительстве Квебека, оно же выставляет гостям вино. Для книжной лавки это реклама, издатели вышлют пятьдесят книжек, которые потом месяцами будут пылиться на складах, ну а авторам лестно, что их презентация состоялась в Париже, во Франции. Короче, все счастливы, и по этому поводу в монреальской "Девуар" появляется статейка, ну а здесь — глухо как в танке.

Жюльен пил и набирался ума. В какой-то момент распорядитель церемонии потребовал тишины, которая, однако, воцарилась, но не полностью. Он начал произносить все мыслимые комплименты представляемой книге, тем более что ее автором была авангардная поэтесса-феминистка. Жюльен еще раз отхлебнул вина. Ему уже были известны подобные речи: не зря он читал тексты на обложках. Он поставил бокал на этажерку и направился сквозь толпу к выходу. Тем временем автор делилась впечатлениями о своей недавней командировке в США, где она работала в университете, известном своими *гендерными исследованиями*. Там вместе со своими *сестрами по перу* она вела борьбу против мужского засилия в культуре. "Язык передается нам от матери и потому принадлежит только писательницам, произведения которых являются сугубо материнским наследием", — успела отчеканить она, как за Жюльеном захлопнулась дверь. Он побрел, захмелевший, в сторону бульвара Сен-Мишель. Новичка в литературе все еще мучила жажда. Чтобы избавиться от привкуса правительственной бурды и охватившей его тревоги, он зашел в пивной бар.

До этой презентации Жюльен верил, что литература — едина и неделима, теперь же ему стало ясно, что прежде он даже не подозревал о существовании интриг и дрязг в писательской среде. Но был ли он в действительности вне процесса? Кто придет выпить к нему на презентацию?

Обязательно ли примыкать к той или иной группировке? Участвовать в коллективном бреду ему явно не хотелось. Вдруг его желудок сдавил спазм. Темное пиво не всегда удачно сочетается с красным вином! Совсем как идеология и литература, — добавил бы он в этот полночный час, если бы его не вырвало в Сену прямо с парапета Моста Искусств.



## *Добрый совет*

Когда я пришел к Гиганту Мысли, было около одиннадцати часов, а может, одиннадцать часов десять минут. До этого я отправил ему два письма: в первом я выражал свое восхищение его творчеством, в другое вложил два коротеньких рассказа. Ответ его на первое письмо был наигранно вежливым, что называется, "простенько, но со вкусом". Он писал, что считает свое творчество весьма поверхностным, а мои восторги представляются ему излишними. Чтобы он смог оценить мощь собственного литературного влияния, я решился отправить ему мои рассказы. В результате я заслужил приглашение на аперитив в саду и на обед в местном ресторанчике за углом.

Плохо рассчитав время, я пришел раньше, чем нужно. Поэтому мне пришлось потоптаться на тротуаре и дважды пройти мимо старинной каменной виллы с выцветшими ставнями. Дважды я предусмотрительно проверял его адрес в записной книжке, не желая выглядеть разбойником с большой дороги, озирающимся в поисках добычи! В Париже можно обнаружить кварталы, утопающие в зарослях и деревьях, прямотаки сельская местность! Меня не удивило, что Гигант Мысли укрылся в подобном уголке. На его доме не было ни звонка, ни почтового ящика. Я собрался было постучать кулаком, как дверь открылась.

— Вы господин Маккай, не так ли?

Писатель явно меня ждал. Может, он заранее меня высматривал? Мы прошли по коридору, пересекавшему дом, и оказались на террасе с видом на сад, посреди которого гордо возвышался крепкий ливанский кедр. "Когда-нибудь и я, — подумалось мне, — вот так же, почивая на лаврах, буду принимать в своем жилище очередного поклонника или верную читательницу".

— Что пить будете?

Пить в столь ранний час?! Не мудрствуя лукаво, я ответил, что выпью того же, что и он.

— Понимаете, я ждал вашего прихода, так как не могу пить в одиночку, — он вручил мне стакан с ракией. — Господин Маккай, письмо, которое вы мне прислали, изысканно. Вы сейчас что-то пишете?

Мы сидели в плетеных креслах, я и не успел ответить, как Гигант Мысли закрыл глаза, отхлебнул и начал свой монолог, а я его внимательно слушал.

— Это воспоминание не покидает меня, удивительный вкус анисовой водки, увлажняющей губы, в то время как в красных лучах заходящего солнца пылает Босфор. Именно благодаря этому божественному напитку я написал книгу, о которой вы сказали столько хорошего! Однако с

тех пор я, кажется, опорожнил тысячу бутылей ракии, но прежнего вдохновения уже нет! Кажется, теперь алкоголь стерилизует мой организм, а раньше-то оплодотворял!

Я осторожно заметил, что, быть может, ему просто не хватает пейзажа и дело не в потреблении спиртного, а в конкретном месте?



– Этим-то и опасны путешествия, – ответил он мне, одним глотком опорожнив стакан, и тут же пошел наливать себе другой.

Он вновь уселся в кресле и спросил:

– А вы много путешествовали?

Затем дождался, пока кубики льда перестали бултыхаться в стакане с мутным напитком, и прикрыл тяжелые черепашьи веки. Хотел ли он спать? Я попытался ответить на его вопрос:

– Метеорологи, – объяснял я ему, – не перемещаются с облаками и воздушными потоками, наше дело наблюдать за изменениями погоды из определенной точки. Нет, я не так много путешествовал по планете – это плохо?

Он не ответил.

Передо мной стояла тарелка с фисташками, и я зачерпнул горсть. Достоинство фисташек в том, что, вскрывая их ногтем, вы сразу добираетесь до зернышка. Недостаток – неизвестно, куда потом девать скорлупки. Не открывая глаз, Гигант Мысли пробормотал:

– Я совершенно не выношу, когда скорлупки оказываются в моих цветочных горшках.

Я подумал, что придется засунуть их в карманы.

– Вы можете разбросать их по дороге к себе домой, как в сказке Шарля Перро, – сказал он, по-прежнему не открывая глаз.

Может быть, ему хотелось услышать рассказ о моей жизни? Я решил дождаться ответа и подлил себе ракии, продолжая поедать фисташки, соленые, поджаренные как надо и вызывающие чудовищную жажду.

Полуденное солнце припекало, с соседнего перекрестка, где находился военный госпиталь, слышались сирены "скорой помощи".

– Бросьте мне в стакан несколько кубиков, подлейте ракии, совсем чуть-чуть воды, тающего льда вполне достаточно. Не волнуйтесь, мы скоро пойдем обедать, нам есть что сказать друг другу. Сколько вам лет, господин Маккай?

Я налил ему, затем себе и уже собирался было ему ответить, как он разом выдохнул:

– Когда я был в вашем возрасте, мне все время хотелось есть, а теперь – выпить.

Нас всего-то разделяли лет десять. Я, вроде ночного сторожа, поздно начал новую карьеру, но мне было ясно, что он интресовался не годом моего рождения. Я отвечал:

– Прежде всего, я испытываю литературный голод.

Я чувствовал себя наивным простаком, к тому же слегка захмелевшим. Гигант Мысли – он был худощав и ростом примерно метр восемьдесят – вытянул ноги, обутые в плетеные сандалии, привезенные, скорее всего, из очередной поездки. Меня поразили морщины, пролегавшие по его лицу, словно ручьи. Мне казалось, что они углубляются у меня на глазах. Время от времени он бросал отдельные реплики, упоминал и своих жен – американку и швейцарку. Но стройного разговора не получалось.

— Литература действительно вызывает аппетит, — ответил он мне несколько минут спустя.

Потом мы с ним заговорили о новых течениях, о любимых и нелюбимых писателях, после чего была откупорена вторая бутылка. Не знаю, кто из нас двоих выпал в осадок первым.

— Литература может вас поглотить, господин Маккай.

Я припоминаю, что он произнес эти слова, заглатывая последнюю дозу ракии. Мы так и не пошли в ресторанчик за углом, и я не смог рассказать ему о своих литературных планах.

Возвращаясь к себе ранним вечером, утомленный беспорядочной беседой, голодный, с взбунтовавшейся печенью и карманами, полными скорлупы от фисташек, я не переставал восхищаться этим великим писателем, поскольку только великие люди могут запросто поведать о своих страхах ничем не замечательным, рядовым собеседникам.

Потом, вспомнив предложение Гиганта Мысли, я последовал примеру Мальчика-с-пальчика и разбросал по пути — на перекрестке, эскалаторе метро, на полу поезда и так вплоть до подъезда моего дома — скорлупу, экологически чистые остатки моего преклонения перед большой литературой.

## *Яйцо вкрутую*

Я часто прихожу на площадь перед Пантеоном, где совершил столь памятную мне оплошность. В конце декабря по указанию парижской мэрии здесь посадили лесок из настоящих елок, которые каждое утро исправно поливают муниципальные служащие. Обсыпанные искусственным снегом верхушки деревьев создают зимнюю атмосферу, а она рождает во мне ностальгические чувства. К консьержке я больше не ходил, а Пантеон стал одним из пунктов моего привычного маршрута.

В тот раз я стоял на ступенях храма великих, задаваясь вопросом, наступит ли когда-нибудь такой день, когда я заслужу благодарность родины, а главное — хватит ли мне денег на очередную экскурсию к маятнику Фуко под куполом здания. Мне нравится смотреть на струящийся песок — доказательство того, что Земля вращается вокруг своей оси, однако это зрелище стоит ровно столько же, сколько сандвич с кружкой пива. Так как обменный курс валюты постоянно меняется, я научился измерять свои расходы в чашках кофе, заказанных у стойки бара. Проезд на автобусе (здесь еще не ввели бесплатную пересадку, как в Монреале) стоит три чашки кофе, пара весьма средних ботинок — больше пятидесяти, новая книжка — от тринадцати до двадцати эспрессо.

Короче, несмотря на то, что я дал себе зарок регулярно посещать маятник, в душе у меня были сомнения. Бледный луч света, едва прорезав грязную, коричневатую вату, укутавшую небо, добрался до ступеней, и я радостно подставил спину теплу. В этот момент один турист, мощным телосложением напомнивший мне игрока в американский футбол, попросил меня сфотографировать его из тридцатимиллиметровой "лейки". Аппарат с солнцеотражателем лежал в допотопном кожаном чехле. Мы перешли на английский: турист (его звали Арнольд) был ро-

дом из Висконсина. Арнольду хотелось, чтобы я снял его голову крупным планом и чтобы при этом был виден фронтон Пантеона. Я крутился вокруг него минут десять — здоровяк не влезал в кадр, — но все же нашел нужный ракурс и щелкнул его четыре раза в надежде, что хоть один из снимков окажется удачным. Японцы вокруг нас не испытывали подобных трудностей — они-то снимали на цифровую камеру.



Арнольд решил отблагодарить меня экскурсией, а я не стал отказываться. Мы очутились в храме и, стоя бок о бок, рассуждали о цикле планет и уходящем времени, понимая при этом, что с возрастом уходим мы сами. Мы переговаривались тихо, как будто в зале похоронных услуг, и наш шепот под куполом придавал экскурсии религиозный пафос. Видно было, что американец, осознававший свою удаленность от родного Висконсина, был особенно взволнован. Когда мы вышли на улицу Суфло, я предложил ему выпить кофе.

Арнольд оказался учителем физики, работавшим в школе для девочек в Медисоне, и к тому же чемпионом по настольному теннису. Он только-только развелся с женой, и посещение Европы было для него вроде поминок по супружеской жизни. Он спросил меня: "Вы женаты?" И когда я объяснил ему, что обитатели Квебека предпочитают совместную жизнь без регистрации, он покачал головой в знак того, что ничего не понимает в нравах Севера. Ему не терпелось рассказать о себе, и я, облокотившись о стойку, заказал кружку пива с крутым яйцом. Пока я очищал яйцо согласно собственной методике, разработанной в эпоху активного посещения таверн (яйцо нужно было крутить на оцинкованной поверхности стола до тех пор, пока скорлупа не треснет), американец поведал мне, что жена ушла от него к водителю грузовика, что троих детей он оставил на попечение своей матери, что дом — бунгало с бассейном — выставлен на продажу и что вообще ему очень плохо.

Я задавал ему сочувственные вопросы, надеясь, что и он в свою очередь поинтересуется, что делаю в Париже я. Мне захотелось откровенно рассказать о том, как нелегко мне дается персонаж Джерри Буало из Монпелье штат Вермонт, который сражался во Вьетнаме, а затем вернулся домой, изменил фамилию и открыл фирму по производству кладбищенских памятников. Съев белок яйца и оставив желток на закуску, я решил выяснить мнение моего собеседника.

— По сути, — сказал ему я, — Джерри Дринкуотер стремится избавиться от памяти рода Буало, как если бы мы хотели стереть следы маятника, стремясь поверить в неподвижность Земли. Я не понимаю своего персонажа: что постыдного во французских корнях?

Опорожнив кружку пива, Арнольд изрек:

— Вообще-то французы — не мужики.

Хорошо, что он сделал это заявление на языке, на котором говорят в штате Висконсин, потому что хозяин бара, поглядывавший на нас из-за стойки, мог бы враз завершить нашу беседу.

— Я вам так скажу, — добавил Арнольд, — в Америке понимать нечего. Моя жена променяла семейный очаг на вагон на колесах, в данный момент она мотается по западному побережью со своим любовником, который работает на заводе, производящем шины "Гудиер". Питаются

они в забегаловках, ночуют в мотелях "Дейс инн", она выбрала простоту, я даже допускаю, что оба ушли в баптисты!

Неужели и мой Дринкуотер пошел тем же путем?



Что я мог добавить к его словам? Я взял еще одно яйцо вкрутую и, положив его на ладонь левой руки, впился в него взглядом. Бежевого цвета с милыми темными пятнышками, оно было само совершенство. "Тебе покоя не дает твой персонаж, но это ничто перед муками человека, мир которого рухнул. Он страдает в реальности, а ты — в вымышленной жизни. И помочь ему ты не в силах. Так что хватит пенять на судьбу, иди домой и пиши!" Я сослался на уже давно назначенную встречу, а Арнольд расплатился за нас обоих.

## *Грязное белье*

Прачечная самообслуживания на улице Гей-Люссака находится между двумя китайскими ресторанчиками. Там, между прочим, можно часто встретить одного из их официантов, который отвечает за чистоту скатертей и салфеток. Старательно сложив чистое белье на столике рядом с автоматом, торгующим стиральным порошком, он унесет его, чтобы погладить в своей комнате. Он приятный, улыбчивый парень, но всякий раз, когда я его приветствую, он лишь кивает мне в ответ. Это тихое создание выполняет свою работу, сознавая всю серьезность порученного ему дела. Он занимает сразу три машины для сушки, включает их, садится напротив в позе лотоса, и кажется, будто он растворяется в колыхании скатертей, а взор его миндалевидных глаз устремлен прямо в иллюминатор стиральной машины.

Когда-то давно на плато Мон-Руаяль[1] в Монреале один китаец держал на углу прачечную. Он, как никто другой, умел гладить рубашки, которые предварительно крахмалил рисовой водой. Моя мать, великолепная хозяйка, завидовала ему. Отец отдавал ей пять белых рубашек, которые она должна была исправно забирать у китайца по четвергам. Среди соседей ходил слух, что прачечная служила сему восточному старцу прикрытием для темных делишек: фальшивомонетчики печатали у него американские доллары, спекулянты торговали опиумом. Азия находится на противоположной стороне планеты, говорили они, и, если выкопать яму в саду, можно было пройти сквозь земную кору и оказаться прямо в Пекине. Теперь этот город называют Бейдзин, а Китай по-прежнему не устает нас удивлять своими чудесами.

Меня восхищает официант, способный даже стирку превратить в дзэн-буддистскую медитацию. Интересно, о чем он думает в это время. Может быть, он — философ в изгнании? Мне никуда не деться от походов в прачечную: каким бы чистым занятием ни была работа за письменным столом, но и у писателя существуют простыни и наволочки, полотенца, носки и трусы, которые в какой-то момент превращаются в грязное белье. Однако я терпеть не могу выставлять личную жизнь на публику, то

1. В прошлом небогатый, а ныне вошедший в моду район в центре Монреаля.

же характерно и для моего творчества. Когда я вываливаю отжатое белье в желтую пластмассовую корзинку, у меня всякий раз появляется ощущение, что я разделся догола. Я осуществляю эту операцию с максимальной скоростью — вот бы мне и сочинять так же быстро! Увы, пишу я со скоростью европейских стиральных машин: легкое колыхание, немного воды, остановка, еще один поворот винта — такой темп наводит уныние. Я уж и не знаю, когда закончу вторую главу моего романа. Неужели в следующем веке?



Завершив стирку, я обычно балую себя комплексным обедом в китайском ресторане слева. В том, что справа, как мне кажется, не так чисто. Я вообще человек брезгливый. Наибольшее отвращение вызывает у меня белье студентов юрфака. Они ходят в ту же самую прачечную. Этим молодым людям жалко денег, и они запихивают в одну машину свои джинсы вперемешку с нижним бельем, кроссовками и спальным мешком. Бывает, что дверца набитой, словно индюшка в День благодарения, машины распахивается прямо посреди рабочего цикла. Мыльная вода выливается на кафельный пол, и посреди него образуется болотце. А престарелая Мари должна вытирать воду своей тряпкой. Мари на пенсии, но, чтобы заглушить тоску, она убирает сразу три прачечные в этом квартале. "За нищенскую зарплату, — говорит Мари, отказываясь при этом назвать имя своего хозяина, и добавляет: — У этого черноногого[1] денег куры не клюют".

Это Мари научила меня пользоваться стиральными машинами. Если вы не родились во Франции, вам никогда не разобраться в инструкциях на стене. При пользовании европейской техникой требуется большое терпение. Все автоматизировано, но из экономии энергии моторы работают в замедленном режиме. Ритмы, спокойные, размеренные, напоминают о проходящем времени. В этом нет ничего плохого: во Франции испокон веку инвестируют в недвижимость, ну а мы, североамериканцы, играем на бирже.

Нужно также иметь при себе монеты, так как машины не дают сдачи. У Мари полно монеток в сумке, а еще она торгует качественным стиральным порошком. Мари овдовела несколько месяцев назад, и ей хочется рассказать свою жизнь каждому встречному. Прачечная — это еще и читальный зал: каждый посетитель приходит со своей книжкой, будь то курс антропологии или просто журнал, но Мари не даст вам возможности спокойно почитать. А жаль!

Действие одной из моих фантазий разворачивается в прачечной. Я только что опубликовал свой первый роман, молодая женщина, по виду бойкая интеллектуалка, как раз читает его. Она, конечно, не знает, что я и есть его автор. Пока она погружена в мою книгу, я созерцаю в окошке машины эротический танец ее нижнего белья. Если она доберется до сорок первой страницы, я подойду к ней, спрошу, что она читает, и скромно представлюсь. Мы познакомимся, может быть, воспользуемся барабаном одной и той же сушильной машины. А если отношения наши

1. Черноногие — прозвище французов, вернувшихся домой из североафриканских колоний.

будут развиваться, я попытаюсь уговорить ее в память о прачечной сбежать вместе на Юг, где сияет солнце, и в его лучах мы стали бы сушить наши простыни, расстелив их в лавандовых зарослях.

Досадно, что вначале мне нужно закончить мой роман, а уж затем думать о его публикации. Я пересказал Мари вторую главу, над которой сейчас работаю: герой открывает крышку машины, в которую он засунул свое грязное белье, и оттуда на него смотрит утонувший зародыш. Зародыш уже сформировавшийся: ручки, ножки, носик, уши, глаза. Мари передернуло, я постарался ее успокоить: младенец — это метафора! То, что видит мой персонаж среди собственных носков, на самом деле страницы моей книги.

— У писателей тоже бывают выкидыши, — настаивал я.

Напрасно. Мари ушла. В китайском ресторане я поперхнулся супом. В нем плавало что-то мягкое неопределенной формы.

— Мари отбила у меня аппетит, — попытался я объяснить официанту. — Она старый человек. Ей недостает воображения.

## *Осел из Люксембургского сада*

— Вы позволите?

С трудом сняв пальто, чтобы легче было протиснуться между столиками, Жюльен наконец отыскивает местечко в углу. Сегодня ресторан "Декарт" полон. Японец, который загородил собой проход, встает, расплывается в улыбке, просит извинения, раскланивается. Жюльен садится напротив него, заказывает дежурное блюдо — кровяную колбасу с картофелем — и четверть литра красного. Любопытство одолевает его:

— Вы приехали из Токио, чтобы посмотреть на Париж?

Заливаясь краской, японец признается ему, что в Токио нет Фоли-Бержер. Жюльен поражен. Фоли-Бержер, Крейзи-Хорс, Мулен-Руж! Вот уже два месяца как он в Париже, и ни разу даже не вспомнил о подобных увеселениях.

— Так вы здесь ради стриптизерок? — спрашивает он.

Японец отвечает:

— Ай! Красивая девушки, музыка, секс, правда?

Жюльен уверен, что перед ним обычный пошляк-турист.

— Я студент, — уточняет собеседник, — и в этом районе беру уроки оперного пения у мадам Габриэль.

Проглотив ложку картофельного пюре, развеселившийся Жюльен не удерживается от вопроса:

— А что, мадам Габриэль тоже выступает в Фоли-Бержер?

Японец хохочет, едва не подавившись утиной котлетой пармантье. Он отдает должное остроумию собеседника и, сделав глоток воды, интересуется:

— Вы — французский специалистка по сексу?

Жюльен отдал бы последнее, чтобы ответить "да". Секс? Однажды вечером в кинотеатре экспериментального фильма во время бесконечно долгого просмотра он осторожно дотронулся до руки сидящей рядом девушки, но та отдернула ее с таким отвращением, что Жюльен мгновенно сжался как улитка. Отныне он весь в своей рукописи, и лишь

изредка в памяти встает Мисс Метео, которой в свое время он каждый вечер приносил в телестудию долгосрочные прогнозы погоды. Они быстро сблизились, и вскоре их головы оказались на одной подушке. Это была весьма странная сотрудница: циклы ее сексуальной активности совпадали с ветрами, дувшими со Скалистых гор, и, когда наступали ее "happy hours"[1], как любила она выражаться, Мисс Метео превращалась в ненасытного спрута. После таких сеансов Жюльен всегда уходил к себе: дело в том, что он имел обыкновение громко храпеть. А Мисс Метео дорожила часами отдыха. "Предсказание погоды требует дисциплины", – любила повторять она, выставляя Жюльена за дверь после их экзерсисов. Жюльен возвращался к своим расчетам и порой на рассвете засыпал прямо у компьютера.



Попивая кофе, собеседники, которым, собственно, не о чем было говорить, достали фотографии своих невест.

– Юкико – двадцать лет, – говорит японец, – она работает во французской парфюмерной фирме в городе Шибуйа и приедет в Париж весной.

– Мисс Метео – тридцать, – сообщает Жюльен, – она специалист по грозам районного масштаба, вероятность которых он мог бы показать на графике.

Их разлука – следствие административного произвола, но она не приедет к нему в Париж, так как канадский доллар на сегодняшний день ниже йены. Японец и квебекец говорят, но не слышат друг друга.

– Вы легко засыпаете? – ни с того ни с сего интересуется Жюльен.

Японец явно не понимает вопроса.

– Простите, – говорит он, – но мой французский далек от совершенства.

Чтобы его подбодрить, Жюльен рассказывает, что здешний французский для него, монреальца, тоже порой как иностранный и случается, что ему бывает трудно подобрать верное слово.

– Может, гулять по Парижу вместе?

Жюльен не против.

Час спустя новоиспеченные друзья оказываются у Люксембургского сада, куда подтягиваются пони и ослы, притягивающие их взоры. Жюльен, почти безвылазно сидящий дома за своим романом, с удивлением отметил, как много здесь зевак и детей.

Незаметно для себя они оказываются за оградой. На горизонте маячит какой-то восточный певец, в белой шапчонке, с тростью с серебряным набалдашником в руке. Жюльен подмигивает японцу: мол, не только сексом знаменит Париж!

– А знаете ли вы, что приехавшая из России Натали Саррот[2] в детстве играла в этом саду?

На лице японца недоумение: он понятия не имеет, кто такая Саррот.

– Чтобы стать писателем, нужно было в свое время бегать по этим аллеям от замка к пруду, плавать на лодочке, купаться в лучах полуденно-

1. Счастливые часы (*англ.*).
2. Натали Саррот (Черняк) (1900–1999) – французская писательница русского происхождения, родоначальница "нового романа".

го солнца, ласкового как материнские объятия, и под сенью каштанов кататься на трехколесном велосипедике. Знаете ли вы, дорогой мой, что Люксембургский сад — это детский сад для будущих писателей?

Жюльен почувствовал прилив вдохновения. Он вдруг ощутил себя писателем.



Японец недоуменно пожимает плечами. Он явно не понимает, о чем речь. Ему вспоминается родной Киото и городской парк, где в палатках ютились местные бомжи, а они с бабушкой приносили им кастрюльки с супом из водорослей. В Золотом павильоне, у китайского феникса, Жюльен сообразил, что тот сейчас запоет: "Каждому свой парк, каждому свой храм". Жюльен закрывает глаза, и ему кажется, что он стоит на горе Мон-Руаяль, но воспоминание о Бобровом озере почему-то его сейчас не радует. К чему все эти разговоры? Восточному человеку никогда не понять, отчего Жюльен всю жизнь мечтал об ином детстве.

— Графиня де Сегюр! Маленький принц! Французская литература — это как ушедшая из-под ног земля, понимаете, она словно крепость, которую нужно брать штурмом, — пытается объяснить он оперному певцу, а тот вдруг начинает извиняться за то, что вынужден уйти: у него урок.

— Послушать вас, — добавляет японец, — мне нужно было бы учиться музыке в Италии!

На континентах, откуда они родом, действует разная логика.

Жюльен остается сидеть один на скамейке. Он уходит в себя. И наступает забытье.

Пока японец спешил по улице Вожирар в направлении к площади Сен-Сюльпис, прохожие наблюдали, как один здоровый детина взобрался на ослика и пустил его галопом по аллеям Люксембургского сада. То ли ноги у него были слишком длинными, то ли ослик слишком маленьким, но ребятня приплясывала вокруг с криками:

— Смотрите! Дон Кихот едет! Дон Кихот!

## Барахолка на холме Ла Бютт-о-Кай

Зачем он вертит в руках распятие? Оно тяжелое и не отличается красотой: прибитый гвоздями к полированному куску орехового дерева металлический Христос корчится от боли. "Сульпицианское искусство, мсье!" — утверждает старьевщик. Жюльен возвращает ему распятие. Вот оно заняло прежнее место на столе среди горы старинных тарелок и весьма сомнительных пейзажей, написанных маслом. Писатель далек от намерения украшать религиозной символикой дверь своей крохотной квартирки. Однако он все же разглядел среди этого хлама крест и даже подержал его в руках. Может быть, он в тот момент ощутил духовный голод?

Прибыв на Ла Бютт-о-Кай, Жюльен обнаружил там армию старьевщиков и окрестных жителей: и те и другие расположились на тротуарах. Профессионалы разложили свой товар под навесами, другие просто выгребли все, что пылилось у них на чердаках: видеокассеты, игрушки и одежда вывалены на клеенки, расстеленные прямо на асфальте.

Разноликая толпа, где толкаются иностранные туристы и эксцентричные буржуа, стекает к подножию холма. "Каждый может найти здесь свое сокровище, – думает Жюльен, – лампу в стиле 'ар-нуво', этрусскую монету, фарфоровую куколку, кофемолку образца тысяча девятисотого года, а я вот откопал распятие!" Рассердившись сам на себя, он засовывает поглубже руки в карманы куртки и идет дальше.



Жюльен ничего не коллекционировал в детстве – ни марки, ни карточки с портретами хоккеистов, ни безделушки с Дикого Запада, он всегда жил скромно, да и сейчас не сорит деньгами. Кто-то склонился над ящиками со старинными открытками, кто-то изучает в лупу золотые часики в футлярах. "Я полный ноль в этом деле и не способен разглядеть среди сотен предметов ничего яркого, уникального, неожиданного. Такого, что могло бы меня поразить!"

На самом деле Жюльену кажется, что он пришел на кладбище безделушек. Ему жаль ушедших в небытие семей, которые когда-то получили на свадьбу или в день рождения кто – гипсовую статуэтку, кто – солонку из зеленой керамики, кто – эти жуткие пепельницы с ныне отбитыми краями. В его восприятии старьевщики – вампиры, грабители старушек, заполоняющие базары своей добычей. "А посетители скупают эти обломки прошлого, чтобы продлить себе иллюзию существования!"

Постепенно писатель замечает, что барахолка становится для него воскресной социологической школой. Возьмем, к примеру, немца, которой торгуется из-за мини-модели американского танка: не надеется ли он заново сыграть во Вторую мировую войну? А эти итальянцы в шубах, которые крутят в руках китайские вазы? Цена их явно не смущает. Интересно, способны ли они сразу выложить сумму, на которую Жюльен живет целый месяц? "И все-таки есть на этой барахолке предмет, который ждет меня, я это знаю, я чувствую!"

Жюльен роется на полках, забитых книжками в кожаных переплетах, ощупывает тома Виктора Гюго, пролистывает руководство по подготовке к исповеди. Но зачем покупать книги, когда ты сочиняешь свою собственную? Стоящий рядом бак, заполненный до краев современными дешевыми романами, вызывает у него презрение. Тем временем начинает моросить, и разочарованный Жюльен прячется под автоматическим зонтиком "made in China".

Запах из блинной, неожиданно донесшийся откуда-то сзади, побуждает его направиться в кафе и заказать стакан сидра и сандвич с сыром и ветчиной. Наконец Жюльен пришел в себя. Еда его успокаивает, силы возвращаются. Нет, он не уйдет отсюда без покупки. Не важно какой. Из принципа. Это может быть старый атлас в память о его прошлой профессии или коллекционная авторучка в честь его нового дела. Он и сам толком не знает.

И вдруг – находка в закутке прямо у входа! Сердце Жюльена отчаянно забилось. Одна пожилая дама в шерстяной шали разложила на белой несвежей скатерти коллекцию военных медалей, среди которых есть советские, бельгийские, французские. Жюльен мгновенно понимает: это – то

самое. Он наклоняется, старательно выбирает трехцветную ленту, на которой болтается бронзовая звезда, и покупает ее едва ли не за гроши.

Гордость переполняет его. Он принес с барахолки сувенир: теперь американскому солдату не уйти от Жюльена.



"Это то, о чем Дринкуотер и мечтать не мог: французская награда, приколотая к его солдатской форме. Что Индокитай, что Вьетнам — одна беда!" По дороге домой, к станции метро, Жюльен даже не бросил взгляда на распятие, которое так и осталось лежать среди фаянсовой посуды.

## *Все относительно*

> Воскресным утром я вышел из дома за булочкой с изюмом. Стояла мягкая погода, в воздухе была разлита легкая грусть, как это часто бывает в Париже по воскресеньям, особенно когда не веришь в Бога.
>
> Мишель Уэльбек

Крыши покрылись инеем, в верхушках деревьев орудовал ветер. Застрявшие в лиственницах воробьи зябко жались друг к другу. Цветы покорно сдались на милость победителя. На сгибах уличных фонарей неподвижными рядами расселись городские голуби. Замерзший собачий помет так и остался на асфальте. Кое-где прорвало канализационные трубы, и вода в них застыла, превратившись в серый лед. Белый, как облако, фонтан Люксембургского вокзала словно мучился отрыжкой. По едва замерзшей поверхности озерца на площади Сен-Сюльпис, которую охраняли каменные фигуры львов, скользили на коньках дети. У старой церкви под порывами ветра под музыку одиноко крутилась освещенная карусель. Вокруг — ни души. Таков Париж в январе.

Потом вдруг пошел снег, мелкий, аккуратный снежок, вежливый, осторожный, интеллигентный. Он залетал под двери и вырисовывал тропинки на мостовой. Было так холодно, что остановившийся на улице Ренн на красный свет автобус не смог двинуться с места. Все, сломался! Жюльен вышел из автобуса. Он продрог до мозга костей, его пальто уже не грело, и почему он не захватил с собой зимнюю куртку и сапоги? Редкие прохожие ускоряли шаг. Что делать? "Я полный кретин, — думал он, — так и бронхит, и плеврит, и воспаление легких заработать можно, да попросту *отдать концы*, зачем поэту в такую погоду выходить из дома, а в квартирке моей холодно, как в гробу!"

И он повторял себе под нос, словно мантру: "Никогда еще мне не было так холодно, никогда!" Но от этих слов ему не становилось теплее.

Жюльен забежал в бистро, заказал большую чашку кофе с молоком, выбрал столик таким образом, чтобы можно было прижаться спиной к теплой батарее, и открыл газету. Ничего обнадеживающего: холод, который обрушился на Европу, не собирался отступать. Из-за гололедицы встали поезда, автомобилисты были вынуждены ночевать в занесенных

снегом машинах, клошары умирали в своих картонных домиках, овощи не попадали на прилавки, потому что замерзли под брезентом грузовиков, возникла угроза взрывов на атомных станциях. Жюльену вдруг стало трудно дышать. Он знал за собой склонность к ипохондрии, но сейчас был близок уже к паранойе, ему казалось, что некая неведомая сила хочет любыми средствами помешать его сочинительству.



В полдень он вышел из кафе и нырнул в кинотеатр. Борьба с холодом, конечно же, поглотит его недельный бюджет, все, что он путем строгой экономии выгадывал на мелкие удовольствия, аперитивы в баре и обеды в китайском ресторане. Но не умирать же теперь из-за этого! Ничего, что кинозал показался ему перетопленным — пар костей не ломит. Он улыбнулся, чувствуя, что жизнь возвращается сквозь окоченевшие пальцы и кровь приливает к кончику носа. Он уселся прямо перед экраном, снял пальто, стряхнул снег, развязал шнурки и, сняв ботинки, с наслаждением пошевелил ступнями. Сеанс только начался, во мраке зала шла реклама духов, машин, мобильных телефонов и замороженных десертов. Он пожал плечами, устроился поудобнее в обитом бархатом кресле и, закрыв глаза, стал ждать начала фильма.

Когда Жюльен проснулся, темный зал уже был полон, повсюду сидели люди, убийца на экране перерезал глотку своей жертве и вытирал нож о пиджак, солдаты расстреливали испуганную толпу, взрывался танк, фосфор и напалм светились ярким цветом. Ему понадобилось время, чтобы сообразить, где он. Во сне он вспотел, его вдруг начала бить дрожь, и сердце наполнилось жалостью к страдающему человечеству. Под музыку пошли титры. Он сгреб перчатки и шарф и направился к выходу вслед за зрителями.

Застегнув пальто на все пуговицы, он натянул на голову разноцветную шапочку, купленную у какого-то перуанца. Холодый ветер не стихал. Он продрог и думал о своей печальной участи. Следующую книгу он будет писать во Флориде! Однажды в интервью радио "Канада" Мишель Трамбле рассказывал, как приятно ему работается под пальмами. Увы, судьба героя, которого создавал Жюльен, предопределена Францией. Ведь то, к чему стремился Дринкуотер в Америке, — это не быть больше Буало, goddam French Canuck[1], и корни этой драмы в нормандской почве, не имеющей ничего общего с пляжами Ки-Уэст.

На углу один африканец в вязаной шапке, надвинутой на глаза, гнал своей зеленой метлой мусор по направлению к сточной канаве. Жюльен вдруг почувствовал себя иммигрантом, оторванным от дома. И тогда ему захотелось позвонить Сильвен, Мисс Метео с гостелеканала, с которой они когда-то переживали любовные бури. Из стеклянной кабины Жюльену удалось дозвониться до канадского оператора, утрясти вопрос об оплате за разговор, соединиться с телестудией, но там сказали, что его милая подружка как раз в эфире, перед телекамерами. По другую сторону Атлантики. Кабина начала запотевать, а к нему, казалось, заново возвращался вкус к жизни.

1. Проклятый французский канадец (*англ. жарг.*).

– И какой у вас прогноз? – спросил Жюльен, не желавший прерывать нить, связующую с родиной.

– Минус двадцать семь, без фактора ветра, – ответил ему техник. Жюльен поблагодарил его, повесил трубку, снял свою шапку, сладкое тепло стало подниматься у него по спине.



# Такси

Автобуса не было видно. Напрасно я вертел шеей: на горизонте пусто. Вот уже полчаса как я один маялся на стоянке, ветер задувал во все щели. Я дрожал от холода и наконец сообразил посмотреть расписание на застекленном панно: оказалось, что по воскресным и праздничным дням автобус не ходит. Я должен был сам до этого додуматься! Ведь известно, что все на свете стремятся сэкономить, и городская компания общественного транспорта в том числе. Может, там избавились от самых старых водителей? Или отправили на свалку автобусы, пережившие войну? Мое министерство спокойно вытурило самых опытных работников, убив их мышьяком выходного пособия. И если я и получил свою долю, то не для того, чтобы околеть от холода на углу бульвара Сен-Мартен! И стоит ли подвергать свою жизнь опасности ради похода на выставку экзотического африканского искусства? Я пересчитал деньги: у меня хватило бы на такси, откажись я от *ланча*.

Как только я поднял руку, передо мной остановилась машина, она словно ждала моего знака. Шофер, низкорослый толстячок, вез рядом с собой здорового пса, тот спал, свернувшись калачиком, проплешины образовали островки на его шее и шли вверх по голове. Толстячок в своей машине с включенной печкой будто парил, не обращая внимания на закоченевших прохожих. "Вы же канадец! Как вам может быть холодно? Я этого не понимаю!" – потешался он. Попробуй объясни ему, что холод в Канаде идет с Аляски, что он сухой и чистый.

– У меня есть один канадский клиент, я регулярно его обслуживаю, вы с ним случайно не знакомы?

Сказать ли ему, что нас – несколько миллионов человек, живущих на обширной территории, что я никого не знаю в Париже, а уж тем более богатого клиента, разъезжающего на такси. Шофер не умолкал. Этот клиент был телезвездой, я, кажется, когда-то видел, как он паясничал в вечерней субботней телепередаче Дрюкера[1].

Я, видимо, его серьезно разочаровал, когда объяснил, что в моей крохотной студии нет телевизора. Он наверняка подумал: "Этот без денег, какие уж там чаевые?.." Мне захотелось оправдаться:

– Я – писатель, и потому мне телевизор не нужен. Понимаете?

– А, это другое дело, – ответил он, – вы пишете детективы? Я обожаю детективы!

Я не хотел его разочаровывать еще раз.

– А по какому принципу вы их выбираете?

1. Мишель Дрюкер (р. 1942) – популярный французский телеведущий.

Толстячок признался, что читает книжки, которые забывают на заднем сиденье его клиенты. Ему приходилось читать и философскую литературу, но чаще детективы.

– А поэзию?

Нет, такого не случалось никогда. "Поэты не ездят на такси, – подумал я. – Да и мне бы не стоило!"

Мы подъехали к Монмартру. Толстячок остановил машину и выключил счетчик. Собака вдруг приподнялась, выпустила газы и вновь заняла прежнее положение. По перегретому салону автомобиля распространился тошнотворный запах, мне сразу захотелось глотнуть свежего воздуха. Толстячок обернулся:

– Кунегунде уже пятнадцать лет, она больна, но я не могу без нее, мы с ней все годы в такси вместе, понимаете?

Я понимал. Кунегунда опять сделала то же самое. Воцарилась давящая тишина.

– Сколько с меня?

Он посмотрел в зеркальце, лицо его было красным.

– Нисколько. Когда вы опубликуете вашу книгу, оставьте экземпляр на заднем сиденье такси и вспомните о Кунегунде, вот и все.

Взволнованный тем, что он поверил в мой талант, я успел лишь погладить голову его спутницы, а затем выскочил на холод. В голове мелькнуло: "У меня хватит денег, чтобы поесть сегодня у китайца". Может, собачатины?

## *Любовь*

Предугадать погоду в Париже труднее, чем в любой другой столице мира. Дождик там часто подкрадывается будто на цыпочках и тихо моросит, затем вдруг усиливается, делается все настойчивей, тяжелей, мокрые фасады приобретают мышино-серый оттенок, и кажется, с небес будет лить бесконечно. Влажные мостовые – словно согнутая спина либо вздувшийся живот. Прохожие идут, пригнув головы: куда им спрятаться от дождя? И лишь разбежавшиеся по подворотням кошки терпеливо ждут, когда в одно прекрасное утро ветер опрокинет садовую мебель, посмеется над открытыми зонтами, расчистит небо и вернет солнышко. Погода в Париже напоминает позиции, на которых стоят здешние интеллектуалы: одни левые, другие правые, и никаких компромиссов, никаких полумер.

Вчера Жюльену было так холодно, что он писал в перчатках, обмотав шею вязаным шарфом, на ногах две пары носков. Потом, около полуночи, внезапно налетевший ветер начал срывать телевизионные антенны, с Азорских островов пришел антициклон, и холод отступил. На следующий день к вечеру Жюльен вышел на улицу, и воздух был уже теплым, как дыхание пустыни. Пораженный необычным освещением, он пошел дальше, оказался на мосту Нотр-Дам, облокотился о парапет, и глаза его увлажнились от окружающей его красоты. Он вздохнул, глядя на оранжевое небо в сиреневых лучах неоновых огней. Жюльен всегда был сентиментальным. Он легко пускал слезу в кино и на концертах и никогда не стыдился своих чувств.

Сегодня вечером Жюльену хочется любви, как голосил когда-то его земляк Шарлебуа, сам при этом не обладающий "сердцем рокера"[1]. Жюльен провожает взглядом идущих мимо влюбленных, он пытается отыскать среди них клонов, заходит в парфюмерный отдел большого универмага, у него голова идет кругом от душных ароматов, а накрашенные лица мумеобразных продавщиц волнуют воображение. И каждый из тех двоих, что обливаются одеколоном или, гримасничая, подносят к носам позолоченные флакончики, чувствует себя при этом единственным и неповторимым. Как, впрочем, и Жюльен.

Глупо терять время в баре в надежде найти родственную душу. Ему некогда разводить нюни, его новый профессиональный путь, похоже, будет тернистым, его роман еще не написан даже вчерне. А кроме того, станции метро предоставляют Жюльену немыслимые возможности: перед ним разноликое человечество, небывалый заряд энергии, целый мир, который нужно постичь. Он расхаживает по многоярусной станции Сен-Мишель, осматривает эскалаторы, лифт, наблюдает за толпами, переливающимися с одной линии на другую, оглядывает перроны, которые словно оживают при появлении поездов. На станциях пахнет жженой резиной.

Сегодня Жюльену хочется любви. Не потому ли он идет на станцию "Шатле", ставшую его излюбленным местом несмотря на то, что по ней вечно снуют тройки полицейских патрулей. В темно-синих формах и начищенных до блеска сапогах, некоторые из них вооружены автоматами. Он останавливает взгляд на сторожевой собаке, которая тянет своего хозяина за поводок. Замечает стариков в стоптанной обуви, младенца, уснувшего на руках отца. Но больше всего его интересуют парочки, которые держатся друг за дружку, как сцепившиеся намертво борцы. Они идут обнявшись и словно шатаются от счастья.

"Они и не подозревают, что я слежу за ними, что я веду наблюдение, что я упиваюсь их любовью, что я поглощен их свободой, страстью, молодостью. Им кажется, что они открывают мир, а они просто начинают все заново у меня на глазах. Она, в черном зауженном пальто с меховым воротником и простых выцветших брючках, он, гордый своей короткой курткой цвета хаки, в просторных джинсах. Она семенит на слишком высоких шпильках, спотыкается и уже давно растянулась бы, если бы его, обутого в кроссовки, не было с ней рядом".

Жюльен идет за ними. Они целуются, она, смеясь, припадает головой к плечу своего спутника, который ерошит ей волосы, так что они разлетаются в стороны. Парнишка под влиянием выброса тестостерона целует ее в мочку уха, прижимает губы к ее щеке, она воркует в ответ, и оба умирают от вожделения. Жюльен опережает их и усаживается на перроне в красную пластиковую ракушку. Они делают то же самое, одно место на двоих, она забирается ему на колени, но быстро спрыгивает: подходит поезд, и они забегают в вагон. Жюльен знает, ради чего они так спешат. Он возвращается в здание станции.

1. Робер Шарлебуа (р. 1944) – популярный квебекский шансонье. "Сердце рокера" – его хит.

Его внимание привлекает блондиночка в зеленом берете, рядом с ней — долговязый нескладный юнец, по виду типичный потребитель апельсинового сока и американских хлопьев на завтрак. Девушка нежно гладит его и поглядывает на Жюльена, убеждаясь, что он за ней наблюдает. Парень поворачивается к Жюльену спиной и не понимает уловок девушки, а та хохочет, пытаясь снять со своего спутника кожаный ремень, и тянет его в кабинку фотоавтомата. Там они и прячутся.

За шторкой парочка переходит к делу, она садится на него, спускает трусики, затем машет Жюльену рукой из-за занавески, а тот спешно бросает монетку в никелевую щель автомата. Электронная вспышка застает подростка в момент, когда тот испускает крик, девушка и парень дружно хохочут — пшик, пшик, пшик! Еще не придя в себя, они кое-как одеваются, выбегают из кабины, а блондиночка на ходу кивает Жюльену, но больше уже не оглядывается.

Взволнованный Жюльен ждет фотографий. Автомат выплевывает полоску из четырех снимков. На ней ничего толком не видно, плечо и очертания берета, размытое лицо засветилось, рот приоткрыт, копна волос, насмешливый взгляд. Но Жюльен счастлив, охота удалась, он нашел сообщницу, давшую ему то, что он искал, — любовный треугольник, как в романах, которые продаются в привокзальных киосках.

## Тепло бумаги

Жюльен имел весьма слабое представление о том, как выстраивается роман. Он и не подозревал, что зачастую вымышленному персонажу, как подросшему юнцу, приходится бороться за свое место под солнцем. Жизнь на бумаге диктует собственную логику, а автор не всегда — Господь Бог.

Когда он решил, что подошел к финальной точке и пора закончить жизнь Анжель Буало, он вообразил вначале, что она могла бы быть похоронена в деревне ее предков, в Пор-о-Персиль, на южном берегу реки Святого Лаврентия. Описав церемонию кремации, он подумал, что доверит урну с прахом ее сыну Джерри. И в этот момент он понял свою ошибку. Джерри отказывался ехать в Канаду. По логике вещей он мог вернуться с прахом матери лишь в Вермонт и захоронить урну с ее прахом именно там, у ворот своей фирмы "Дринкуотер Марбл". Вместо того чтобы описывать морское кладбище и элегантную квебекскую церковь, Жюльену нужно был воссоздавать американский пейзаж. Однако в свое время он поленился навести справки, где именно располагалось католическое кладбище в Монпелье — на возвышенности или в долине. Но должен ли роман вроде того, что он сочинял, быть достоверным во всем?

К тому же идея заставить своего героя ради увековечения памяти матери лично выгравировать имя Буало на граните открывала невероятные перспективы. Ведь у этого самого Джерри Дринкуотера наверняка имелся каталог традиционных эпитафий, но при этом в нем не было ни одной, которая удовлетворила бы сына, всю жизнь стыдившегося своей

матери! Должен ли он был оставить надгробный камень без надписи? Тема заслуживала разработки.

Самое трудное было в том, что чем дальше Жюльен продвигался в сочинительстве, тем больше сомнений обуревало его душу. Он не сумел предвидеть противоречий, в лабиринте которых заблудился его герой. Работа над романом оказывалась столь же непредсказуемой, как раньше многократно описанные им перемены погоды. "Не сбился ли я с пути?" – бормотал он себе под нос. Свободу писателя он раньше представлял себе совсем иначе. Да и был ли он на самом деле свободен? А вдруг им руководил Дринкуотер?

Жюльен брался то за один эпизод, то за другой, затем складывал исписанные листки в маленькие кучки, выраставшие вокруг его кровати. Это напоминало кладбище, увиденное с высоты птичьего полета. Периодически он на время оставлял своего персонажа, а сам шел делать фотокопии, которые потом позволяли ему выстраивать различные гипотезы.

В квартале, где жил Жюльен, было полно копировальных мастерских, расценки в них зависели от изношенности оборудования. По соображениям экономии, он выбрал самое допотопное и в результате сорок минут провозился у трех аппаратов. Другие ксероксы прочно оккупировали две студентки: из старинных, по всей видимости, библиотечных книг они переснимали цитаты для украшения своих курсовых. Жюльен бросил в их сторону рассеянный взгляд. Обе были далеко не красавицы.

Расплатившись в кассе, слегка одурев от дикого шума машин и едкого запаха химических чернил, которые нагревались от света фотоламп, Жюльен наконец собрал свои страницы и удивился исходившему от них приятному теплу. Он двумя руками обхватил пачку ксерокопий и крепко прижал ее к груди: наконец-то литература согревала его. И он вышел на улицу, утопавшую в серой мгле.

## *Ритм*

Есть города, располагающие к хождению в шлепанцах, для иных больше подходят кроссовки. Одни будто созданы для беззаботных прогулок, другие, будто испуганная лань, пульсируют напряжением. Париж живет одновременно в нескольких ритмах. С одной стороны – туристы. Вооруженные картами города, они бродят в поисках старинных улиц, движутся неспешно, сбиваются в гроздья на красный свет, толком не зная, куда идти. Иное дело местные жители, особенно студентки из университетского квартала, бойко стучащие каблучками. Они буквально молотят асфальт и толкают вас в спину, одному Богу известно, куда их несет!

Прогуливаясь по улицам, я часто слышу позади себя шаги, по ритму которых безошибочно определяю парижанку. В ней чувствуется энергия, самоутверждение, ей все нипочем. Тогда я ускоряю шаг, я ведь тоже не лыком шит и не хочу, чтобы она меня обогнала, не могу этого допустить, и так мы соревнуемся, двигаясь наперегонки, а она все время словно подпирает меня сзади. Как она выглядит? Высокая, маленькая, круг-

ленькая, длинная, тощая, сутулая, элегантная, толстая, одета в черное или в яркие цвета? С сумкой через плечо?

Судя по скорости, с которой она несется, трудно предположить, что у нее с собой тяжелый груз. Она толкает меня в спину, тротуар узкий, я еще ускоряю шаг, обхожу строительные леса, которые, по идее, должны помешать ее движению, но не тут-то было: она выскакивает на проезжую часть, я знаю, я чувствую, что она вот-вот меня обгонит. Ну, Жюльен, на что спорить будем? Она блондинка, брюнетка, рыжеволосая?



Вот мы в ожидании зеленого света стоим у перекрестка, у нее от быстрой ходьбы кровь прилила к щекам. Я запыхался и прямо-таки побагровел. Но мы пока что не смотрим друг на друга. Она стремительно трогается с места, я — за ней. А! На ней сапожки со шнуровкой, а каблуки-то что, из мрамора? Иначе, отчего они так громко стучат? Она высокая, со спины я бы дал ей лет двадцать, мелко завитые волосы с каждым шагом взлетают вверх, как конский хвост, а курточка развевается на ветру. Я был прав: при ней только сумка через плечо. Пока я ее разглядываю, она берет новую высоту. Ну просто городской метроном, ей-богу.

Ладно, сейчас я ее догоню, мне хочется увидеть ее лицо, улыбнуться ей на повороте, выразить восхищение ее поступью породистой лошади, но улица вдруг резко идет под горку, она пользуется этим; знает ли она, что я следую по пятам? Она — светлая шатенка, кожа белая, не от рисовой ли пудры? Вот она берет еще одну высоту, ее несет сам черт, вот показалась щека, но взгляда ее я не уловил. Спешит ли она на любовное свидание?

Ее быстрая походка задана ритмом ее сердца, ее женским началом, она лобзает город, я вижу, как зазывно и ритмично движется ее зад. Это нечестная игра, мадемуазель, у меня-то ботинки на тонкой подошве, я иду не спеша, да и вообще я — литератор, а вы, если вам интересно мое мнение, — воображала и стучите каблуками с таким апломбом, будто знаете все лучше всех.

Ладно! Прощайте! Я сдался, игра окончена, мадемуазель, я уложу вас на бумагу, я подарю вам другие движения, я замедлю ваш ритм, я внушу вам, что можно получать удовольствие от неспешной интимной прогулки плечом к плечу, мне не сравниться с вами в скорости. В следующий раз я выберу город, располагающий к тапочкам. А сейчас мне пора домой.

Но что там у меня за спиной? Очередная провокация? Отлично, посмотрим: так-так-так-так-так, это другая юная парижанка, слушай, Жюльен, на сей раз ты не можешь допустить, чтобы тебя обогнали эти каблучки! А если я куплю себе кроссовки, может, я смогу выиграть соревнование? Щиколотки станут подвижней, шаг легче, и я попаду в парижский ритм! Ну в конце концов, пусть обгоняет, если ей того хочется! Для уличных игр у меня уже не те годы. Я каждый день ощущаю, как они уходят.

## Николя

Чтобы меня не посчитали ни жмотом, ни буржуем, я купил у торговца вином Николя три бутылки бурды местного разлива. Коллекционные

спиртные напитки могли бы их отпугнуть. Гуляя вдоль Сены (пока еще не все набережные оккупированы автомобилями), я пристально высматривал своих будущих собутыльников. Я облазил окраины парков и городские задворки и наконец остановил свой выбор на группке клошаров, показавшихся мне вполне симпатичными.

Но как завести разговор? Я начал с места в карьер:

— Привет, вы как насчет выпить? — и продемонстрировал им свой подарок.

Раздалось невнятное брюзжание. Самый старый ответил:

— Мы с кем попало не пьем.

Они сидели вокруг заляпанного матраса, от ветра их защищало самодельное укрытие из картонных коробок, рядом стояли четыре тележки из супермаркета, до краев заполненные надутыми мешками, напоминавшими использованные воздушные шары. Я продолжал:

— Я — канадец, меня зовут Жюльен, я — турист, мне захотелось выпить, и я подумал, что вы будете не против присоединиться, а? — Они просияли.

К моему изумлению, один из клошаров оказался женщиной, рубище, в которое она была одета, надежно скрывало признаки пола. У нее было пунцовое лицо и мутный взор, я не понимал ни слова из того, что она с чувством начала мне втолковывать, из-за алкогольных паров речь ее была неразборчивой. Мы вчетвером выпили из горла, я как можно тщательнее обтер край, — будь я осмотрительнее, мне бы из соображений профилактики нужно было купить четыре бутылки.

Когда самый старый из них, его звали Эрве, с трудом разогнувшись, встал, я с удивлением обнаружил, что едва-едва достаю ему до плеча. Седая борода и всклокоченные волосы делали его похожим на пророка канализационной сети. Он начал декламировать что-то по-немецки, а может быть, это был какой-то славянский язык? Третий бездомный, Дени — он был моложе своих товарищей и потому выглядел посвежее, — вцепился в мой локоть, словно боясь, что я сейчас смоюсь:

— Вы часом не журналюга? Нам тут стукачи не нужны.

Я сказал:

— Не волнуйтесь, я просто хочу побыть в вашем обществе, я пишу роман, действие которого происходит в Соединенных Штатах.

Они не стали говорить со мной о сластолюбце Клинтоне и вояке Буше, они вообще были немногословны. Америка представлялась им слишком далекой. Накануне эта троица расположилась на ночлег у статуи какого-то генерала. А сегодня они заняли вход пустующего здания, но там все быстро пропахло мочой и блевотиной, и было ясно, что им не терпелось выпить. При этом я не испытывал никакого отвращения: разве не они стали моими первыми парижскими друзьями? Я сознательно выбрал их, а раз так — значит, точка.

Меня забавлял их выговор, а их соответственно мой, им хотелось узнать, есть ли у них шансы на лучшую жизнь в Канаде.

— А нам с тобой туда можно?

Я представил их среди снегов, спящими в картонной времянке при температуре минус двадцать под десятью шерстяными одеялами.

– А я уже бывала в Канаде, – глядя на меня в упор, сказала женщина, которая звалась Элизабет.

– Да она дальше предместья Сен-Дени никуда не... Очнись, Бабетта! Ты не на рекламе "Эр Франс". А как там с винцом – больше нет, Жюльен?

Я утвердительно кивнул: "Сейчас!" Заправиться – дело нехитрое. В Париже этих Николя не меньше, чем Макдоналдсов в Вашингтоне. Я не хотел выглядеть жмотом, я знал, что представляю здесь свою страну, и, забежав к первому попавшемуся Николя, я купил в лавке той же самой бурды. На сей раз на одну бутылку больше: глотать их микробы мне больше не хотелось. Мы продолжили чокаться за их иммиграцию в страну льдов.

Трудно одному жить в таком большом городе, как Париж. Здесь так просто не позвонишь кому-нибудь в дверь, и тебя никто не угостит от щедрот тушеной капустой с сосисками. Второй заход оказался потяжелей. Тевтонский пророк не на шутку посуровел, пьяная Бабетта начала тянуть руки к моей ширинке, она хвасталась, что сдала все экзамены по филологии в Клермон-Ферране, Дени спрятался за стенку, натянув куртку на голову. Он плакал.

В итоге их предводитель швырнул пустую бутылку на улицу, попав в колпак "мерседеса", а затем дал всем приказ сматываться. Дени и Бабетта презрительно фыркнули, однако быстро собрали манатки, и мы со своими тележками гуськом, как показывают в вестернах, откочевали с того места. Я был замыкающим, мы пересекли бульвар и протопали по меньшей мере два километра, пока не проскользнули под стальные опоры наземной ветки метро. В то время как мои друзья сооружали себе очередной бастион вокруг какой-то балки, кто-то из них сказал:

– Жюльен, сгоняй за винишком, а?

Пожав плечами, я побежал, руки в карманах, не оглядываясь.

Я уже не чувствовал себя таким одиноким, они угостили меня куском копченой колбасы, мы поговорили о засилии автомобилей во всем мире, они проявили ко мне неподдельный интерес, о чем свидетельствовало их желание поехать со мной в Канаду, но при этом было совершенно ясно, что ни к кому другому Дени, Бабетта и Пророк по-настоящему так не прикипели душой, как к тому, кого звали Николя.

## *Лувр*

Раз в месяц вход в Лувр бесплатный. Самый большой музей в мире (как можно измерить величие искусства?) служит Жюльену убежищем от холода. Ему нравится бесцельно шататься по залам. Он часами бродит по Египту, затем возвращается в средневековую Францию, на какой-то момент заглядывает в Италию. Для него это утонченный способ прикоснуться к Всеобщему, проверить свои познания, порой испытать подлинное волнение.

Сегодня Жюльен заблудился в просторах недавно отремонтированных залов, посвященных французскому искусству. На гигантских картинах кисти великих незнакомцев — какие-то невероятные пейзажи, населенные пастухами, юными нимфами и сатирами. Но такого рода живопись его не волнует, он к ней совершенно равнодушен. Античные трагедии, плоты, терпящие бедствие, отрубленные головы, королевские бракосочетания и знаменитые битвы наводят на него скуку. Зато его по-настоящему трогает печаль в устремленном в пустоту взгляде служительницы музея, которая, словно проглотив аршин, восседает на казенном стуле.

Молодая негритянка окружена шедеврами, но при этом невероятно далека от них. Ее лицо так прекрасно, черная как смоль кожа такая гладкая, черты лица настолько симметричны, что Жюльен готов принять его за классическую африканскую маску. Она не единственная негритянка, зарабатывающая на жизнь охраной французского национального достояния. Можно подумать, что ради безопасности своих сокровищ Французская республика выписала из Африки целое племя. "Что бы стало с этой девушкой, останься она в родной деревне?" — думает Жюльен и представляет, как она толчет просо, подметает вытоптанную землю перед хижиной, на бедрах цветастая юбка, груди, залитые солнцем. Он воображает ее танцующей под звуки барабанов, которыми провожают охотников на львов. Африку он знает по комиксам. "Я — Тарзан, — вспоминает Жюльен, — а ты кто?"

И вот они со смотрительницей остаются один на один в зале номер четырнадцать. Подойдя ближе, чтобы прочитать подпись под картиной, на которой резвятся пухлые ангелочки, Жюльен на мгновение касается плеча этой экзотической статуи, которая тут же оживает и поднимает голову, он извиняется, отступает в сторону, и у него непроизвольно вырывается:

— Можно мне угостить вас кофе?

На лице у нее возникает улыбка:

— В половине первого у меня перерыв, с удовольствием.

— Тогда я вас подожду, — говорит Жюльен и направляется в центр зала к обитой бархатом банкетке.

Банкетка поставлена для того, чтобы облегчить посетителям созерцание произведений искусства, но Жюльен, не скрываясь, созерцает служительницу искусств, она это чувствует, сознает. Она встает со своего стула и начинает медленно прогуливаться вдоль стен. "Купающаяся Диана" несравненного Франсуа Буше следит за плавной походкой Черной Венеры, и ее красота возбуждает в купальщице зависть.

Но тут в зал номер четырнадцать вваливается группа туристов, они разинув рот, словно близорукие, слушают в наушники записанную на пленку экскурсию. Тем временем смотрительница небрежно продолжает свой путь, но ни один посетитель не обращает на нее ни малейшего внимания: все уставились на картины, никто, кроме Жюльена, похоже, не замечает Красоты, шествующей мимо позолоченных рам.

— По какому случаю такое любезное приглашение? — спрашивает Мари-Лор (это имя на ее беджике) Жюльена, у которого слегка трясутся руки.

Кафетерий Лувра слегка смахивает на кафетерий ООН: десятки народностей, столько же языков, посетителей из всех стран, всех цветов и возрастов. Но столики стоят слишком близко друг к другу, так что ешь едва ли не с тарелки соседа. Жюльен понижает голос, чтобы придать обстановке немного интимности, ему выпало сидеть рядом с японской парой, а японцы известны своей деликатностью.



И он решается:

— Мадемуазель, — шепчет он ей, — я хотел вам сказать, что вы — истинное сокровище Лувра.

Сокровище, драгоценность, жемчужина, богатство, украшение, счастье — слова струятся, как ручей. Если смотрительница и заливается краской, этого все равно не увидать. Жюльену немного неловко оттого, что он употребляет выражения из лексикона искусствоведов, но с африканскими женщинами он до этого никогда не имел дела.

— Если бы я был директором этого музея, я бы посвятил вам одной целый зал!

Однако девушка, судя по всему, не разделяет его воодушевления. Может, следовало подарить ей какое-нибудь украшение из подземного бутика?

По правде сказать, Жюльен всегда испытывал трудности в общении с незнакомками, обычно он ухаживал за женщинами из своего окружения: в университете, в министерстве, на метеоканале. И он умолкает, уставившись на свою спутницу и положив руки на колени. Мари-Лор с некоторым нетерпением смотрит на него.

— Вам больше нечего мне сказать? — не выдерживает в какой-то момент Красавица.

Жюльен лишь что-то бормочет в ответ.

— Вы — канадец? — спрашивает она, заинтригованная его акцентом. — У вас там холодно?

"Жюльен — абориген", — вспоминается ему присказка.

Проходит время. Сияя белозубой улыбкой, Мари-Лор маленькими глотками пьет кофе. Французы, мастера флирта, приучили ее к более раскованному общению, перерыв подходит к концу, а канадец ей так ничего и не предложил. Она бы с удовольствием откликнулась на его приглашение пойти в кино, в ее родной деревне кинотеатров не было, а она всегда обожала развлечения, почему бы ему не пригласить ее на американский фильм, Канада — это ведь Америка, не так ли? Она бы и на танцы пошла, ей нравится этот парень, но для нее, парижанки, он слишком застенчив, и потом — чем он занимается?

— Я пишу роман, — говорит, краснея, Жюльен.

— А я охраняю шедевры, — отвечает она вставая.

— Как? Вам уже пора? Мы еще увидимся? — восклицает Жюльен, отказываясь верить, что время их свидания истекло.

— Когда вы вновь окажетесь в Лувре, — отвечает смотрительница.

Покачивая бедрами, она идет между столиками и взмахивает рукой ему на прощание. И Жюльен остается неподвижно сидеть. Похоже, эта поза естественна для писателя, обреченного на поиски Красоты.

Париж, 8 февраля
Господин префект,

вот уже несколько месяцев, как я нахожусь в Вашем городе и собираюсь пробыть здесь до момента завершения своего романа, над которым неустанно тружусь. Но не литературные амбиции заставили меня обратиться к Вам с письмом. Просто я хочу сигнализировать Вам о факте преследования, на которое отказывается реагировать полиция. На прошлой неделе я заходил в префектуру сообщить о таггёре (я использую слово, принятое во Франции, хотя сам предпочитаю "граффитёр", более точное), который, если пользоваться местным лексиконом, меня достал.

Каждое утро на стене противоположного дома я вижу одни и те же каракули: круг, похожий на луну, а в нем мои инициалы — ЖМ. Мне известно, что ряд французских социологов считают такие рисунки произведениями искусства и на этом основании рассуждают о творческом потенциале улицы, но позвольте мне не согласиться с таким мнением. Эта мазня выполнена флуоресцентной краской, которую невозможно ни смыть, ни закрасить, тем более что стена затянута строительной сеткой.

В довершение ко всему полицейский, к которому я обратился с жалобой, пригрозил мне штрафом за то, что я пытался исправить положение при помощи пульверизатора с растворителем. Он утверждает, что этим должны заниматься муниципальные служащие из департамента по уборке Парижа. Я надеюсь, что вы примете надлежащие меры, которые положат конец издевательству надо мной.

Жюльен расписался, заверив префекта округа в своих самых искренних чувствах. Три недели спустя ему пришел ответ.

Вниманию мадам Жюли Макосси.
Мадам,

сообщаем Вам, что нами получен Ваш запрос, но Вы должны понять, что наш округ зависит от мэра Парижа, который из мелких, сугубо личных интересов урезал наш бюджет по уборке округа и содержанию полиции. Этот высокопоставленный чиновник считает, что пальмы важнее борьбы с упадком исторических кварталов. Поэтому мы просим извинить нас за то, что мы не можем должным образом воздействовать на полицейские власти.

Тем не менее примите мадам Макосси, уверения в нашем величайшем почтении к Вам.

Жюльен был удивлен тем, что между властями округа и парижской мэрией существуют какие-то разногласия по поводу украшения города, но хозяин кафе, нередко просвещавший его в отношении местных нравов, объяснил ему, что каждое лето по приказу муниципалитета на берега Сены высыпают тонны песка, превращая набережные в городской пляж, а кроме того, туда завозят здоровенные пальмы, вроде тех, что можно увидеть в Ницце или позади здания Сената.

— В мэрии сидят левые, в округе — правые, и всем им плевать на вашего таггёра, — просвещал хозяин кафе Жюльена, потрясенного столь хамским ответом, не говоря уж о том, что в префектуре не удосужились правильно написать его имя.

Однако хозяин кафе убеждал Жюльена, что к нему было проявлено уважение, и все потому, что он — иностранец.

— Вам повезло, что вам прислали ответ. А по поводу остального удивляться не стоит: письмо писала секретарша, но посмотрите, оно подписано рукой префекта.



Отныне Жюльен больше не решался прикоснуться к граффити, которые постепенно заняли всю стену: он чувствовал, что их загадочный автор идет за ним по пятам. Кто он: прыщавый подросток или озлобленный безработный? На кой черт ему дался Жюльен, он же никого тут не знал и никогда бы мухи не обидел? Это выражение заставило его улыбнуться: зимой в Париже мало мух. Но луна, которую упрямо рисовал его мучитель, все больше напоминала глаз Бога, следящего за Каином.

Десятью днями позже Жюльен снова не выдержал. Он не мог спокойно работать. В голове у него вертелась единственная мысль: поймать злоумышленника и положить конец вредительству. Он опять взялся за перо.

Господин префект,

Вы проявили неуважение в мой адрес, обратившись ко мне как к женщине. Меня зовут Жюльен Маккай, а не Жюли Макосси. Однако Вам не удастся таким способом отделаться от меня. Я повторно обращаюсь к Вам с жалобой на откровенное преследование меня. Поскольку ни Вы, ни полиция не хотите вмешаться, я предупреждаю Вас, что в конце недели (как здесь говорят, в уикэнд) я сам наведу порядок.

В течение трех дней Жюльен выходил на утреннее дежурство, прячась в потемках черного хода. Он специально рано ложился спать и с пяти утра уже был начеку. На рассвете четвертого дня он завидел силуэт человека, который, приблизившись к стене, начал рисовать ту самую злополучную луну. Жюльен на цыпочках подкрался к таггёру. Он схватил его за плечи, дернул за руку, в которой была баночка с аэрозолем, заломил локоть за спину и вдруг увидел испуганное лицо десятилетнего ребенка, который начал кричать и отбиваться, будто теленок на бойне.

— Ты где живешь? Я сейчас отведу тебя к родителям!

Жюльену достаточно было посильнее стиснуть руку мальчугана, как тот сознался, что живет по соседству, на улице Вожирар. Жюльен довел граффитёра до подъезда роскошного здания. Медные дверные ручки сверкали на темно-голубом дереве. Свободной рукой ребенок набрал код, и оба оказались в холле, украшенном мраморными статуями и позолоченными фризами. Обитый красной кожей лифт довез их до лестничной клетки третьего этажа, на которую выходили две обшитые панелями двери. Когда Жюльен нажал на звонок, одна из них открылась. В голове у него уже сложилась настоящая филиппика.

— Мадам! — внушительно обратился он к испуганной женщине, одетой в шелковистый халат, — я привел вам вашего сына. Я мог бы сдать его в полицию. Он слоняется без дела и расписывает стену напротив моего дома, меня нервируют его рисунки. Мальчик ведет себя возмутительно, позвольте мне войти, мне нужно с вами поговорить.

Ребенок не произносил ни слова, не плакал, больше не стонал, не дергался, а лишь смотрел на Жюльена взглядом, полным презрения. Затем он не выдержал:

— Вы можете говорить что угодно, но это служанка, она не понимает по-французски!

— А где твои родители? — спросил Жюльен.

— Уехали в Марракеш, а у меня из-за вас рука болит.

— Зачем ты целый месяц подряд рисуешь луну с моими инициалами?

— Потому что это *мои* инициалы, а когда я увидел, как один придурок стирает мой таг, я решил, что устрою ему! Значит, это были вы?

— Я.

Жюльен отпустил ребенка, который стал изо всех сил растирать затекшую руку. У него было открытое лицо, пострижен он был под английского принца и одет в твидовый костюмчик. Он разглядывал Жюльена, словно представителя другого мира.

— Ну и как тебя зовут?

— Жан-Маркус, — послышалось в ответ.

— А луна?

— Это не луна, а волшебный круг. Но вам этого не понять!

Жюльен заглянул в глаза мальчишки:

— Я знаю, тебе хочется сказать "семейный круг".

Ребенок пожал плечами. Жюльен повернулся и пошел прочь, недоумевая при этом, как ему мог показаться орудием преследований элементарный знак отчаяния, нарисованный на городской стене.

## *Светский ужин*

> Терпеть не могу писателей! Мы существуем вовсе не для того, чтобы выпекать книжки, да и вообще трудно писать просто, правдиво, естественно. Так, как живешь. И до чего же трудно жить!
>
> Блез Сандрар

— Хочу пригласить вас поужинать с моими друзьями, — сказала мне мадам Фабрель после того, как я принес ей квартплату за месяц, — вы сегодня вечером свободны?

Свободен? Все-таки есть чудеса на свете, я уже четыре месяца в Париже, и меня впервые зовут на ужин.

— Вы — писатель, моим друзьям будет интересно с вами познакомиться.

Несмотря на шум, доносившийся с бульвара Распай, они решили расположиться на террасе кафе, поближе к электрообогревателям. На фиолетовом небе, расчерченном золотистыми облаками, вырисовывались крыши домов.



Я стушевался, разговор был вялым и необязательным. Люди за столом едва знали друг друга, у них были разные профессии: литераторы, психоаналитик, арт-дилер и непонятно как затесавшийся в эту компанию военный в форме — один из тех, кто отвечал за ядерные удары НАТО. Он ничего не пил, кроме воды.

Слегка покосившийся стол мы укрепили, подсунув спичечный коробок под ножку с той стороны, слева, где сидела женщина лет тридцати. У нее были темные непослушные волосы. Она все время безапелляционно заявляла: "Это я вам говорю", затем почему-то нервно хихикала и громко сморкалась.

— Но что из твоих утверждений, Жасент, смущает нашего полковника? — спросил арт-дилер, который чуял возможность выгодной сделки.

Жасент глубоко вздохнула, двумя руками двинула стол, спичечный коробок выскочил из-под ножки, стакан воды перед полковником едва не опрокинулся, тот успел его удержать, послышались смешки, подоспевший официант вывинтил ножку до нужной длины, и Жасент вновь принялась рассуждать с прежним апломбом.

— Я говорила полковнику, что юридическая система государства зачастую определяет тип национального романа...

Даже те, кто сидел в конце стола, повернулись в сторону Жасент, которой наконец удалось привлечь всеобщее внимание. Что она собиралась нам рассказать?

— Известно, к примеру, что родина викторианского романа в его идеальной и совершенной форме — Англия, потому что именно там законы неравного наследования оказывались источником несправедливости и семейных драм, питавших этот повествовательный жанр. А, скажем, юридические установления Франции дали жизнь бальзаковским персонажам.

Итак, я был приглашен не просто на светский ужин. Это была демонстрация образованности и интеллекта. Жасент объяснила, что богатые лондонские джентльмены оставляли свое состояние старшему сыну, младший отправлялся за богатством в Индию, а бедняжкам дочерям из благородных семейств ничего не оставалось как заняться поиском мужей, способных взять их на содержание. Браки по расчету приводили к изменам.

— Развратники срывали цветы удовольствий, жены стареющих мужей маялись сплином, юные девы бросались вниз головой с крутых обрывов, юноши погибали в пасти бенгальских тигров, семейный замок служил местом действия романа и иногда даже давал ему название.

Эта гипотеза окрыляла. Во Франции равные наследственные права мешали расцвету романа. Наследством, которого жаждали литературные персонажи, был Париж, доступ в высшее общество и власть. Дискуссия продолжалась, и названия известных произведений сыпались, как из рога изобилия.

— Может, вы и правы, — сказал полковник, — какой из меня судья? Я-то читаю только американские шпионские романы! Когда сидишь за красной кнопкой, любовные истории как-то не идут на ум. Но скажите мне, господин Маккай, применима ли теория Жасент в Канаде?

Настал момент оправдать собственное присутствие за столом. Мадам Фабрель красноречивым взглядом дала мне понять, что я должен сказать свое слово. Что мог я рассказать? Что в прошлом франкоканадские хлебопашцы *отдавались на милость* наиболее хозяйственного из сыновей, который в благодарность за полученную от родителей землю обеспечивал им в старости хлеб и кров? Все изменила урбанизация. В метеорологии я смыслил больше, чем в литературе. Я чувствовал себя неуверенно и на ходу импровизировал.

— Не существует ни установленных правил, ни специальных налогов, наследство в Канаде — дело свободного выбора и форма романа тоже, — сказал я.

Лицо Жасент выразило озабоченность: неужели ее теории годятся только для Европы?

— Вы говорили, что сейчас пишете роман. — Она устремила на меня пытливый взгляд.

— Да, но мой персонаж — американец, и его волнует странная проблема: он стремится отделаться от навязанного ему наследия. Я еще сам не знаю, чем завершится его путь!

— На этом основании я делаю вывод, — встав из-за стола, сказал полковник, — что всякому писателю-романисту вначале стоит окончить юридический факультет!

После этих золотых слов собрание разношерстных интеллектуалов, вдоволь порассуждавших о судьбах мира, упадке традиционной живописи, местах, где стоило бы провести пасхальные каникулы, взаимоотношениях между законом и вымыслом, разошлось, оставив Жасент одну, под винными парами. Судя по всему, подобно героине викторианского романа, она искала себе спутника, но для меня она была слишком образованной.

## Тупик

Жюльену стало не по себе, когда он открыл телефонный справочник Парижа и пробежал глазами раздел издательств. Десятки названий, из которых многие были овеяны славой, запросто заявляли о себе на желтоватой бумаге. В какое из них обратиться? Он еще не закончил свой роман, но чувствовал себя готовым к бою и стал задумываться, а не обратиться ли куда-нибудь за советом. Но как выбрать?

Он решил начать с самых знаменитых. "Галлимар", "Лаффон", "Ле Сей", "Минюи". Каждый раз секретарши по телефону спрашивали, с кем именно он хотел бы поговорить.

— С издателем, — отвечал не моргнув глазом Жюльен и слышал в ответ:

— Какой серии?

Жюльен понятия не имел ни о каких сериях, ему просто надо было поговорить с литконсультантом.

— Как вас представить?

Его имя не вызывало никакой реакции, ему советовали написать литдиректору, который дал бы ход его письму. У Жюльена это вызывало сомнения: если с ним не хотели говорить по телефону, его письмо уж точно пойдет в корзину для мусора.



Внизу третьей страницы его внимание привлекло маленькое объявление: издательство приглашало к сотрудничеству новых авторов и предлагало присылать рукописи. "Это как раз мой случай!" — подумал он и решил безотлагательно ехать в издательство "Гелиос".

Дом 12 в тупике Регентов был старым. Пройдя пахнущий сыростью коридор, Жюльен поднялся по скрипучей лестнице на третий этаж, где обнаружил надпись: "Позвоните и входите". Он так и сделал.

За серой стойкой какая-то девушка разбирала почту. Вид у нее был измотанный. Не успел он поздороваться, как девушка выпалила:

— Мы рукописи не возвращаем, такова политика издательства, да и вообще вы слишком поздно пришли, я разбираю почту раз в неделю!

Жюльен ничего не ответил, а девушка, оказавшаяся при ближайшем рассмотрении не первой молодости, добавила с раздражением:

— Я уже два месяца как без зарплаты, а директор, господин Коллес, уехал в Египет и от него ни слуху ни духу, а если вы думаете, что его интересуют романы, то сильно ошибаетесь.

Секретарша меж тем продолжала распаковывать бандероли, распечатывать стопки конвертов, вытаскивать из них рукописи, пробегать глазами названия и пожимать плечами. Неожиданно остановив свой конвейер, она закурила и, не выпуская сигареты изо рта, заявила:

— Вы представить себе не можете, мсье, до чего велико литературное честолюбие этого народа! Можно подумать, человеку необходимо родиться дважды: первый раз в родильном доме, а второй — опубликовав свой шедевр, подробный отчет о своих сексуальных пристрастиях, семейную сагу и интеллектуальные разглагольствования. Только не подумайте, что господин Коллес читает рукописи! Он рассылает типовые письма, требует в них приличную сумму на типографские расходы, выпускает тираж в триста экземпляров, за которым просит прийти на склад. И представьте себе, *они приходят*!

"Волосы у нее крашеные, — подумал Жюльен, — это-то меня и сбило с толку".

— А кто приходит? — спросил он, чтобы доставить даме удовольствие.

— Писаки! Авторы! Честолюбцы, неугомонные гордецы, беспокойные натуры, нарциссы! Только и знают: "Вы меня читали? Вам нравится? Меня покажут по телевизору? Меня пригласят на радио?" Помогите мне спустить все это во двор. Вдвоем будет быстрее.

И Жюльен сгреб побольше рукописей. Он держал их как связку дров, а секретарша подхватила то, что осталось, и дала приказ следовать за ней. Мусоросборник в глубине двора оказался огромным метал-

лическим баком, такие иногда выставляют за ресторанами, и уже был полон до краев выброшенными рукописями.

– К тому же Коллес смылся, прихватив с собой выручку. Зачем я прихожу на работу, сама не знаю. Я двенадцать лет жизни отдала этой мрази!

С усилием закрывая крышку чана, секретарша издательства "Гелиос" облегченно вздохнула.

– Но не одна я оказалась в дураках. Вот, они тоже свое получили! Тщеславные бездари! – И добавила, будто только что заметила Жюльена: – Спасибо, чем я могу вам помочь, мсье?

– Вы мне уже сильно помогли, мадам, – ответил Жюльен. – Это вам спасибо.

## *История*

Вопреки прогнозам случилось чудо, и дождь уступил место облакам, которые, теснясь на небе, иногда позволяли солнцу добраться до набережных Сены. Жюльен гулял по набережной, и на сей раз ничто его не тревожило.

Он даже застрял на какой-то момент у витрины магазина электроники, заинтересовавшись документальным фильмом, который показывали по телевизору с плоским экраном: у берегов какого-то сонного озера полуголые бразильские индейцы, сидя в своих джонках, ловили мелкую рыбку, отчаянно бившуюся в вершах. Телевизор без пульта управления – это пытка. Может быть, арендовать телик на неделю? "Может, популярные передачи дадут мне возможность понять этих французов", – подумалось ему.

До сих пор он обречен был на общение исключительно с официантами в кафе, а все остальные, с кем ему доводилось сталкиваться, были в большинстве своем, как и он, приезжими. Вообще же, если прислушиваться к телефонным разговорам парижан, которые они ведут во весь голос, не понижая его даже в автобусе, то порой возникало ощущение, что находишься в сумасшедшем доме. Как в наше время отличить душевнобольного, который говорит сам с собой, от того, кто общается по мобильнику? Да и здоров ли я сам?

Этот вопрос так и остался без ответа, потому что, войдя в Квадратный дворик Лувра, Жюльен впервые в жизни увидел гильотину – в натуральную величину, с огромным ножом, висящим на плетеном канате. Он сообразил, что это декорация, а телевизионщики, которые привезли ее, ушли на обед. На металлическом ящике сидел охранник. Он в задумчивости курил. Жюльен попросил у него разрешения подойти поближе к этому устройству.

– Руки в карманах, ничего не касаться, это не нож для разрезания сигар, это собственность Министерства по охране памятников.

Жюльен медленно обошел вокруг, поражаясь простоте системы, качеству дерева, раздвижному отверстию для затылков, плите для стока крови, коричневой плетеной корзине. Французский гений нашел простой способ покончить с безнаказанностью аристократов и принцев. Ответ был радикальным, рациональным, бесповоротным.

Он представил себе, как корабль с гильотиной на борту покидает Дьеп в 1789 году, пересекает Атлантический океан, поднимается по реке Святого Лаврентия до города Квебека ради того, чтобы поставить на место представителей короля в Новой Франции, которую, он, впрочем, сам сдал Англии тридцатью годами раньше! Он подумал, что настоящей причиной исторического разлома была не столько победа англичан, сколько Французская революция, которая не коснулась канадцев. Результат? Они и поныне живут в королевстве.



– И на кой эта игрушка? – спросил Жюльен у охранника.

– Для трехсерийной "Марии Антуанетты", – ответил тот, старательно загасив ботинком окурок.

Телевизионщики вернулись и взялись за работу. Они установили рельсы для камеры, электрики протянули длинные черные провода, которые подключили к прожекторам. За несколько минут все наполнилось гомоном актеров в париках. А что Жюльен? Он чувствовал себя случайным свидетелем ссоры в чужой семье.

– Наша история пошла по другому пути еще до того, как этот изящный нож доктора Гильотена был одобрен Национальным собранием, – сказал он охраннику, который ни черта не понял в его рассуждениях.

Случается, что и между двоюродными братьями[1] возникает непонимание.

Ветер во дворе взметал клубы пыли, Жюльен прижался к стене и впервые после приезда во Францию почувствовал непреодолимое желание вернуться в Америку.

## *Никому ни слова*

> И здесь, возможно, возникает самый важный вопрос современности: кто я такой, чтобы писать? И кто есть другие, чтобы меня читать?
>
> Энрике Вила-Матас

В одном рассказе Хулио Картасара (он в свое время переселился из Буэнос-Айреса в Париж) я прочитал, что людей, ежедневно спускающихся в метро, больше, чем тех, кто оттуда выходит. Куда исчезают остальные? Когда-то Анн Эбер[2], романы которой я откопал в Квебекской книжной лавке, задавалась тем же вопросом. С тех пор я боюсь проникать в кишки чудовища, которое, словно удав, извивается в городском подземелье, пожирая при этом пассажиров.

1. Французы называют квебекцев двоюродными братьями.
2. Анн Эбер (1916–2000) – квебекская писательница и поэтесса.

Я знаю также, что за мной следят. Неизвестные при моем появлении подают друг другу знаки. Они передают по рации: "Вот Жюльен Маккай выходит из дома, он ни с кем не общается, он просеивает слова, как горох, с ним явно не все в порядке, прием!" Вначале я искал спасения в церквях, но распятый Христос не успокоил душу, он сам был в незавидном положении. Я кинулся в библиотеки, но тишина, царившая среди нескончаемых полок с дорогими книгами, одетыми в кожаные переплеты с золотыми обрезами, показалась мне зловещей. Я метался по городу в надежде обрести покой и, похоже, нашел его в Зоологическом саду, но, ради бога, об этом никому ни слова.

В этом саду редко встретишь цветущий розовый куст, а зимой клумбы напоминают могилы. Сухие листья, вовремя не выметенные с платановой аллеи, превращаются в труху под кроссовками бегунов, что проносятся мимо, пыхтя словно паровозы. Сидеть с книжкой у пьедестала Бюффона, который в своем каменном кресле служит насестом для окоченевших от холода чаек, сейчас не слишком приятно.

И все-таки я нашел местечко: я забираюсь в Отдел эволюции музея, становлюсь *экспонатом*. Чтобы подняться на второй этаж, обхожу скелеты китов, приветствую змия-искусителя, сбившего с пути истинного Еву, погружаюсь в прошлое. Скамейка, на которую я нацелился, стоит рядом с белым носорогом. Я сажусь, застываю не моргая, как будто вышел из рук изготовителя чучел. Группы детишек плетутся за своими наставниками, я им неинтересен. Случается, что какой-нибудь озорник соберется дернуть меня за ухо, но тут же раздается окрик охранника: "Животных не трогать!"

Мизансцена совершенно библейская. Палеонтологи расположили в ряд и по росту слонов, жирафов, зебр и несколько десятков изысканных щеголих-газелей — все они ждут прибытия Ноева ковчега. Животные стоят в очереди, как парижане в булочной за хлебом. Все — от гиен до цесарок — смирились: жизнь застыла, остановилась, но судно патриарха еще не приплыло. Мы ждем. Я среди себе подобных в день сотворения мира. В Зоологическом саду я представляю "человеков".

Во время обеда, когда зал пустеет, я беседую со своими собратьями. "И кто же нас создал?" — спрашивает буйвол. "Человек, — отвечает гиппопотам, — вначале он лишил нас жизни, а потом сделал из нас чучела. Вот у меня, например, в кишках одна солома, под кожей — железная проволока, глаза стеклянные, а задний проход забит!"

Вопрос стоит серьезно. В восемнадцать часов мне нужно отсюда уйти. При этом я втайне надеюсь, что когда-нибудь сторожа случайно забудут обо мне, и я, оставшись здесь, смогу поговорить с животными о сложностях сотворения мира, с которыми наверняка столкнулся Господь Бог.

В нашей жизни не всегда делаешь, что хочется. Велика роль случая. Например, вначале Бог создал антропофагов, которые пожирали друг друга. Но Создатель этого явно не желал и потому дал им понять, что они должны поедать животных, тех, у кого нежная плоть — само собой, но также и змей, съедобных, как и млекопитающие. Увы, не все прислу-

шались к гласу Божьему, и с тех пор эти антропофаги захватили парижский метрополитен.

Раз это сказал писатель, значит это истина, даже если это неправдоподобно. Бог — писатель, поскольку он существует благодаря продиктованным Им книгам. Обладает ли писатель божественной силой? Мне все сложнее разобраться в реальной действительности. Я — в кризисе. Я не понимаю того, что пишу. Одна просьба: об этом никому ни слова.



## *Сквер*

Закутанная в серое пожилая дама слышала, как, сидя в одиночестве в сквере Фер-а-Мулен, Жюльен тихо бормочет себе под нос:

— Не нужно мне твоих похвал, ты только меня послушай! Во-первых, перестань танцевать ча-ча-ча! Прекрати клевать все подряд, остановись ты в конце концов! Стой, я тебе говорю. Вопрос простой: зачем мне так нужно быть писателем? И потом, что значит *быть писателем?* Молчишь?

Ну что ты заранее киваешь головой, будто поддакиваешь? Это противно, ей-богу. Можно ли проснуться ранним утром и заявить: *я буду святым?* А чем это абсурднее, чем писателем? Я сейчас не о статусе писателя здесь, во Франции, это долгая история. Ни один из ваших политических деятелей и мечтать не может о высших постах, если он не написал книгу, ни одной вашей звезде не выжить, не опубликуй она свою автобиографию.

А если я хочу просто *быть, будучи писателем,* и точка? И не смотри ты на меня так. Мол, ты что, больной? У тебя, кстати, покраснели глаза. Я согласен с тобой, что этот город — словно учебник по истории литературы: улица Корнеля, улица Расина, проспект Виктора Гюго, не говоря уж о памятниках Декарту, Мольеру, Бальзаку или Дидро. Попробуй встреться с ними лицом к лицу, достаточно заглянуть в мои тетрадки, черновики, записи, наброски, черт побери!

Послушай, я тоже окольцован. Мало этого, а что бы ты сказал, если бы я тебя привязал за лапку, что бы ты сделал, а? Ты бы стал крутиться, как чумной, вокруг колышка на лужайке. Слушай, а я вообще-то с тобой говорю или с себе подобным? Ты сам-то где? Вы просто банда клоунов, клонов, один чуть потемнее, другой потолще, и кругом перья, перья...

Я был вполне благополучным холостяком, со стабильной работой, моя подружка улыбалась лучше всех на телевидении, мои коллеги, если им верить, относились ко мне с уважением, правильно? И не отводи глаз, когда я с тобой разговариваю! И нечего ворковать, хватит этих дурацких смешков. Мне просто надоело видеть перед собой это начальство, но оказывается, и хочешь — верь, хочешь — нет, быть писателем гораздо труднее, чем служить чиновником.

На самом деле, мне ужасно трудно с моим американским персонажем. Он все время самоутверждается, он резок, а если вспоминает свое прошлое, то лишь для того, чтобы напомнить, что Джек Керуак[1] жил

1. Джек Керуак (1922–1969) — американский писатель и поэт-битник квебекского происхождения.

рядом с домом его родителей. Он уверяет также, что, когда он был маленьким, Керуак регулярно за ним присматривал. Короче, он твердит мне о свободе и, в частности, о праве поменять фамилию. Буало или Дринкуотер, Буавер или Гринвуд, ему все равно, представляешь?

Я не знаю, зачем я тебе это все рассказываю. Ты всего лишь жалкая птаха, которая ждет кусочка хлеба, ты уродлив, твои глаза слезятся, как у алкашей, ты всего лишь клошар и при этом думаешь, что свободен, как ветер. Я так тебе скажу, дружище, когда мне исполнилось двенадцать лет, отец установил на балконе для твоих собратьев-путешественников вольер, и я всовывал им в лапки свои стихи. О, это были важные птицы! Не хухры-мухры! А мне сегодня нужно выговориться, но тебя-то волнуют горбушки, которые кинут прохожие. Все вы негодные создания, и мозги у вас куриные, а в общем-то, я это подозревал!

— Этот господин, — рассказывала потом дама в сером, — сидел к улице спиной, он был в длинном пальто с капюшоном, закрывавшим лицо. — Улыбаясь, она добавила: — Он сам немного смахивал на неприкаянного сизаря.

## *Синдром*

Итак, Жюльен отправился в Париж за вдохновением. Испокон веков поколения писателей со всего мира верили, что этот город в мгновение ока любого сделает поэтом и что достаточно прогуляться по его улицам, чтобы почувствовать себя творцом. Откуда же пошло такое убеждение? Этот миф возник еще при королевском дворе, и с тех пор любой французский писатель мечтал быть принятым в Академию. Ради престижа, красивого костюма и привилегий. Французский язык был окружен почестями и требовал услужения.

В районе, где снимал квартиру Жюльен, сотни издателей конкурировали друг с другом и тысячи авторов искали славы. Последние статистические данные, опубликованные в газете "Монд", сообщали сенсационную цифру: сорок две тысячи бумагомарателей жили надеждой, что Городсветоч обратит их в литературных гениев. Жюльен повторял себе, что в отличие от живописцев, вынужденных продавать свои произведения через галереи Нью-Йорка, куда ежегодно в надежде на успех прибывает по пятнадцать тысяч новых художников, писатели могут писать где угодно — в Сент-Адель провинции Квебек, например, или в арканзасской глубинке. А раз так, то почему именно Париж? Не потому ли, что писатели или желающие ими стать встречались здесь так же часто, как будущие банкиры на Уолл-стрит?

Всякий раз, когда Жюльен обнаруживал на стене какого-нибудь дома мемориальную табличку с именем известного писателя, он убеждался в том, что сделанный им выбор был правильным. В этом отеле, например, в мае 1952 года останавливался Блез Сандрар, там был дом Андре Жида, автора "Яств земных", дальше находилось место, куда, согласно молве, забредали Рембо и Верлен пропустить по стаканчику, а потом

выясняли отношения. Но к этому ли он стремился? Хотел ли он им подражать? Посещение старых зданий, столетних парков, перекрестков, над которыми разносился запах жареных каштанов, вид старинных башен, узких переходов, романских церквей — находил ли он во всем этом источник вдохновения? Дидро, Гюго, Ламартин, Рильке, Элюар, Вийон, Бодлер писали за столиками этих кафе, курили на террасах. Не шаркающую ли поступь паломников, направлявшихся в Компостелу, различал он, напрягая слух на улице Сен-Жак? Или это метро, грохочущее под бульваром Сен-Жермен?



Прибыв в Париж, Жюльен воздал должное молодому божоле, но урожай этого года не удался, в результате его одолели желудочные колики. Белое вино, которое он стаканами поглощал в кафе, кружило ему голову. Его скромная цена позволяла Жюльену не ограничивать себя. Правда, с некоторых пор его видели в одиночестве в глубине бара с газетой и стаканом бельгийского пива то одного, то другого сорта. Ведь зачем, собственно, ждать вдохновения, когда в прессе можно найти факты один удивительнее другого? Генетики вырастили мозговые клетки в головах мышей, с помощью генов белого медведя они ради повышения морозоустойчивости модицифировали клубнику, ревнивый любовник хранил у себя дома в морозильнике сердце своей Дульсинеи!

Жюльен больше не был уверен, что поступил правильно, его американскому персонажу плохо дышалось в этом городе. Его героя явно привлекал Новый Свет, а не Старый, а Париж-то был не первой молодости! Жюльен начинал задаваться вопросом: а что, если ядром его романа была некая метафора, зашифрованный рассказ о его неожиданном уходе из министерства? Кто в действительности — Джерри Дринкуотер или Жюльен Маккай — хотел раствориться в плавильном котле Новой Англии? И откуда взялась фамилия Маккай? Не от шотландского ли наемника, который когда-то спалил дотла поселения ирокезов? До чего же было трудно оказаться один на один со всем, что скрывалось за именами, словами, фразами, сочинительством!

Он приобрел в магазине "Жибер Жён" новую пачку бумаги; он попросил пачку *листов*, и продавщица заметила, что листы растут на деревьях. "А листы папируса, на которых писали египтяне?" — размышлял он, оплачивая покупку.

Жюльен неделями ждал, когда его посетит вдохновение, задаваясь вопросом, почему его жажда писать оборачивалась кошмаром, его усилия — жалкими потугами, а фразы выходили тяжелыми, словно гири. В тот вечер он достал из ящика, где лежали ножи и вилки, треснувшую тарелку и водрузил ее посередине рабочего стола. Вытащив лист бумаги из пачки, он смял его в шарик, который затем положил на тарелку. Окинув взором эту композицию, он пошел за спичками, лежавшими около газовой плиты, зажег одну из конфорок и поднес к ней бумажный шарик. Тот сразу же вспыхнул, озарив всю комнату. Жюльен пришел в восторг от яркого света и начал подкидывать в огонь оставшуюся у него бумагу. Все быстрее и быстрее.

Огонь побежал по висевшим рядом синтетическим занавескам, потом по обоям, кое-где отклеившимся от стен, затем по коричневому ков-

ровому покрытию, от которого пошел черный, густой дым, удушающий всякое вдохновение. Да, по правде сказать, Жюльен уже едва дышал.



По звонку одного из соседей прибыли пожарные и за несколько минут потушили пламя, а буйного писателя спустили на носилках вниз. Напишут ли когда-нибудь на стене: "Здесь Жюльен Маккай чудом спасся от смерти" или же: "С помощью искусственного дыхания пожарный Гюстав Бертоле спас канадского писателя"? Жюльен лежал в карете "скорой помощи" с закрытыми глазами и улыбкой на губах, его веселили звуки сирены, которыми, как ему казалось, был заполнен весь город, он думал о водителях машин, почтительно пропускавших его вперед, и о встревоженных пешеходах, смотревших, как некий писатель во весь опор мчится к литературным высотам. Сегодня вечером, объяснил он осматривавшему его врачу, он ощутил не позыв к смерти, а неодолимое желание, чтобы Париж наконец принял в нем участие.

Конец фразы насторожил доктора.

— Не нужно быть светилом, чтобы понять, что этот парень страдает синдромом Пантеона, — шепнул психиатр своей секретарше, — сегодня вечером пусть побудет здесь, а завтра приведи его ко мне в кабинет.

Этот доктор, врачеватель душ, год назад присутствовал на лекции одного монреальского ученого-коллеги в гостинице на озере Саккакоми, после чего была организована совершенно незабываемая поездка на санях в собачьей упряжке. Он тогда узнал, что культурный шок, который возникает в Париже, красота города, тонкости правил общения, многочисленные ловушки, таящиеся в этом спесивом языке, интриги в литературных кругах и особенно одиночество доводили некоторых земляков квебекского психоаналитика до того, что, как он выразился, "у них ехала крыша".

Пантеон оказывался в каком-то смысле символом недосягаемого. Этот храм духа был для них закрыт подобно тому, как желание постичь Париж вдруг оказывалось несбыточным. Понимая, что они обречены на провал, некоторые закрывались в своих гостиничных номерах, а в предвоенном поколении были даже зафиксированы случаи потери речи. В последнее время синдром проявлялся в настойчивом желании размахивать на каждом углу флагом с королевской лилией и громко разглагольствовать на архаичном языке, на котором говорили в XVIII веке.

Тот квебекский специалист восхищался символикой фонтана на площади Квебека в Сен-Жермен-де-Пре, нагромождение бронзовых блоков которого означало весенний ледоход на реке. "Чаще всего, — объяснял он, — жертвы синдрома Пантеона терпят нечто вроде психического краха, который может толкнуть их на совершение поступков, опасных для них самих или их окружения". Монреальский специалист советовал отправлять этих неосознанных жертв как можно скорее домой, чтобы излечить их от тоски.

— У вас есть в Париже друзья? — спросил врач во время осмотра.

— Да, в общем-то, нет, — ответил Жюльен, — понимаете, я здесь всего лишь пять месяцев и в основном был занят своим проектом.

– Каким проектом?

Жюльену не хотелось давать объяснения.

– Вот вам рецепт, выписываю вам антидепрессанты, и – домой.

– Домой?

– Но у вас же есть домишко в Канаде[1]? Моя секретарша забронирует вам билет на самолет.



Жюльен был не вполне уверен, что понял слова доктора. Однако было ясно как божий день, что его роман останется недописанным. "Я раз двадцать брался за Буало. Еще больше возился с Дринкуотером, хватит с меня!" Он вернулся в свою квартирку, запихнул одежду в синий чемодан, а второй – с книжками и рукописями – решил не брать. В комнате стоял запах лесного пожара. Почерневшее от пламени стекло фрамуги заменили картонкой, закрывавшей свет.

Перед отлетом Жюльен пошел в отель "Рамада" на Монпарнасе. Бесшумный лифт вознес его на этаж, где в залитом светом просторном номере стояла поистине королевская кровать с упругим и одновременно мягким матрасом. Современная мебель, картины "под Дюфи" на стенах и ванная, более просторная, чем вся квартирка мадам Фабрель, показались ему преддверием рая. Он почувствовал, как начал оживать под упругими струями воды. Завинтив кран, он увидел в запотевшем зеркале какое-то смутное отражение. Ему показалось, что он теряет очертания.

Кинотеатры напротив башни Монпарнас сверкали неоновым светом, словно им хотелось быть похожими на Таймс-сквер. Вдали, по направлению к горе Сен-Женевьев, освещенный купол Пантеона пронзал парижскую ночь. В тот вечер метеоролог мирно спал, антидепрессанты сделали свое дело, но, в конце концов, комфорт стоил литературы.

Жюльен был уже в Америке.

1. "Домишко в Канаде" ("Ma cabane au Canada") – название известной во Франции песни (1947).

# Кароль Фрешетт

# *Кожа Элизы*

Пьеса

*Перевод* Н. Хотинской

Действующие лица

Элиза

Молодой человек

Элиза сидит и обращается к публике. Чувствуется, что она немного встревожена. Неизвестно, как давно она здесь и как долго говорит.

Элиза. Так о чем я говорила? Ах да. Это было в Сен-Жиле, когда я носила перуанские брючки и пояса вот такой ширины с колокольчиками. Я каждый день встречала его в полдень на улице Гласьер. Серая улица, унылая такая. Он был небольшого росточка и не сказать чтобы красавец, но что-то в нем... Не знаю... Он был непохож на других. Мне тогда было семнадцать лет, может быть, восемнадцать. Я носила широкие пояса с колокольчиками, которые звенели, когда я шла. Вы слышите их? Слышите колокольчики? Он тоже одевался броско: пиратские рубашки, широченные штаны, пестрые куртки. Мы с ним как будто соревновались — кто кого перещеголяет в экстравагантности. Встречаясь, мы искоса поглядывали друг на друга и про себя подсчитывали очки. Иной раз его локоть задевал мой, и тогда мгновенная вспышка озаряла улицу Гласьер, такую серую и унылую. А потом мы расходились, я — в свою школу, он — в свою. Вот и все. Наша жизнь текла своим чередом, мы были молоды, легкомысленны. Позже я перешла в его

© Leméac Éditeur, 1998
© Н. Хотинская. Перевод, 2008

школу; мы оказались в одном классе и подружились. Чего мы только не вытворяли вдвоем! Ходили ночью купаться в частные бассейны. Однажды он автогеном срезал крышу со своей машины: нам хотелось открытую, как в кино. Когда шел дождь, приходилось ведерком вычерпывать из нее воду, как из шлюпки. Сколько мы смеялись! Он был безумец, Зигфрид. Его звали Зигфрид. Нам было весело, но любовь еще не пришла. Мы не любили друг друга... То есть... Я хочу сказать, кожей, и губами, и все такое. (*Она умолкает.*) Извините.



Достает зеркальце и внимательно рассматривает свое лицо. Обводит пальцем губы, потом, спохватившись, продолжает.

Так о чем я говорила? Ах да. Его звали Ян. Он был безумец. Однажды мы шли с ним по площади Сен-Жери. Там была огромная яма за фасадом, который держался на стальных опорах, ну, представляете? Здесь вообще много ям, вы замечали? Всюду что-то сносят, что-то строят. Стояла жара. Это было летом. Я была в легком платье и в туфельках на высоких каблуках. С ним я носила платья. Потому что... Нет, подождите. Лучше я расскажу с самого начала. Ну вот, впервые я увидела его на вернисаже. Я смотрела по сторонам, знаете, чтобы освоиться, пусть все думают, что у девушки назначено свидание. Когда я увидела его — он стоял, прислонившись к стене, — я перестала дышать. Он был красив, понимаете? Красив той красотой, от которой подкашиваются ноги и хочется плакать. Кто-то сказал мне: "Его зовут Ян", но я не решилась к нему подойти. Через несколько дней меня пригласили поработать на съемках одного фильма. Когда я приехала, он был там, на площадке. Как по волшебству. После съемочного дня мы поехали всей группой пить к одному осветителю. Я была очень грязная. Мы работали весь день. Я спросила, можно ли принять ванну. Поднялась наверх. Через некоторое время дверь открылась. И вошел он. Не сказав ни слова, разделся и лег ко мне в ванну. Так все и началось. Он вошел. Лег в ванну и посмотрел на меня.

Она умолкает и рассматривает свое лицо в зеркальце.

В то время я не очень любила свое тело. Все потому, что у меня от рождения таз... У других бывает от рождения нос, уши, подбородок... А я вот родилась с тазом... средиземноморским, понимаете? Я носила широкие блузы, чтобы это скрыть. Его звали Ян. Он проник в мою ванну и в мой таз. Так все и началось. И потом с ним я носила легкие открытые платья, в которых были видны мои бедра, плечи, шея...

Она умолкает и незаметно трогает свою шею.

Извините. Так о чем я говорила? Ээ... да. Его звали Зигфрид, так? Когда шел дождь, приходилось вычерпывать воду из его малолитражки. Мы дружили. Однажды он сказал мне: "Через десять минут я тебя поцелую, и ты влюбишься в меня". Я, смеясь, ответила: "Ты безумец, Зигфрид!" Через десять минут он поцеловал меня в губы. Так все и началось. Мы поселились на площади Сен-Жан, в крошечной квартирке. У нас ничего не было. Даже холодильника. На стенах он нарисовал тысячи маленьких рыбок. Такой он был выдумщик, Зигфрид. Вы представляете себе? Он с заляпан-

ными краской руками, я с колокольчиками, и моя любовь звенит среди рыбок.

Она умолкает, внимательно смотрит на свои руки, ощупывает их.



На чем я остановилась? Было холодно, да? Это случилось, кажется, ноябрьским вечером. Мы были в кино, потом прошлись пешком до Иксельских прудов. Ее звали Жинетта, она была такая пышечка. Я был тогда совсем еще мальчишкой. Ходил, засунув руки в карманы. (*Она принимает мальчишескую позу.*) Я теребил свои щеки, запускал руку в волосы. Я пялил глаза на девушек. На лекциях в университете, на улицах, в парках — пялил глаза на девушек. Ее звали Жинетта. Я сам толком не знаю, почему меня так тянуло к ней. Что-то в ней было, она казалась такой маленькой. Боялась всего на свете. Но она волновала меня. В тот вечер в кино я ощущал ее запах в темноте, совсем близко, целых два часа. Мы шли пешком к Иксельским прудам, и я говорил, уже не помню о чем. Наверно, о фильме. Я интересничал изо всех сил, а сам думал только об одном — как бы дотронуться до ее кожи. Мы сели на скамейку. Она сказала: "Мне холодно". Это был мой шанс. Я взял ее руки в свои и принялся тихонько их растирать, потом придвинулся ближе, а потом я... я поцеловал ее. Вы чувствуете ее, эту тонкую ниточку счастья, которая тянется от моих губ до низа живота, когда я ее целую? И сразу же после этого — я хочу сказать, после поцелуя — она сказала мне удивительную вещь. Сказала, что давно этого ждала. Нет, вы представляете? Она ждала, чтобы я поцеловал ее в губы у Иксельских прудов. Давно ждала, так она сказала. Я опомниться не мог. Когда я пялился на нее в классе, когда я тайно мечтал о ее коже, о ее коленках, когда я говорил ей о математике и о кино, стараясь выглядеть умным, она ждала, чтобы я ее поцеловал! И это было прекрасно. Знать, что она хотела того же, чего и я. Почти так же прекрасно, как сам поцелуй. И тогда я погладил ее щеку, запустил руку ей под пальто. Я — мальчишка, не забывайте. Вы чувствуете нежную кожу молоденькой пухленькой женщины под моими чуть похолодевшими пальцами?

Она умолкает. Смотрит на свои руки.

Можно вас кое о чем попросить? Вы не могли бы посмотреть на мои руки? Пожалуйста. Посмотрите на них хорошенько. Как по-вашему, они изменились? Посмотрите на кожу моих рук. Скажите мне, она... ее стало больше? Вы не знаете? Вы не заметили. Ладно, не важно.

Так о чем я говорила? Было очень жарко, да? За полдень. Мы шли. Я в платье, облегающем мои бедра и мой таз. Это было время, когда мы занимались любовью постоянно, во всех углах и во всех позах. Он был такой, Ян, он любил разнообразие. Даже когда мы не занимались любовью, мы все равно ею занимались, вы понимаете? Когда читали, ходили в магазин, готовили — мы занимались любовью. Мы могли печь блинчики, не отрываясь друг от друга ни на мгновение. Доставали яйца, муку, молоко, смешивали все в большой миске вместе, его рука держала мою руку, его грудь прижималась к моей спине. Мы вместе переворачивали блинчики, роняли, жарили новые, потом мы их ели, не отрываясь друг от друга, я сидела у него на коленях, его руки обнимали меня. Мы ели, и целова-

лись, и смеялись. Все кругом было в сиропе. Потом мы выходили на улицу, в июльскую жару. В тот день, может быть, в тот самый, когда жарили блинчики, не помню точно, мы вышли прогуляться. И на площади Сен-Жери он затащил меня в яму. Он был такой, Ян. Если чего-то хотел, то немедленно. Взял меня за руку и потащил. Это был глубоченный котлован — для строительства банка, наверно, или министерства. Ян спускался бегом. Я следовала за ним, не задавая вопросов. С ним всегда так было. Я готова была последовать за ним куда угодно, даже на дно котлована. Он тащил меня за руку и ничего не говорил. Скат был почти отвесный. Я в своих дамских туфельках спотыкалась. Боялась сверзиться. Я говорила: "Ян, постой, не беги так быстро!" Я обливалась пóтом, висла на руках.



Она умолкает, снимает жакет и смотрит на свои локти.

Вы не могли бы посмотреть на мои локти? Пожалуйста. (*Поворачивается спиной, чтобы показать локти.*) Представьте себе, что вы видите только эти локти. Два локтя на свету, а все остальное в тени. Представьте себе, что они на витрине, лежат на черном бархате. Вы смотрите на них. Что вы можете о них сказать? Даже не об их форме, ладно, но о коже, покрывающей их? Как по-вашему, ее слишком много или в самый раз? (*Поворачивается лицом.*) Вам нечего сказать? Ладно, не важно. Я понимаю. Может быть, вам плохо видно или просто неинтересны какие-то локти... Я понимаю.

Ну вот... О чем я говорила? Ах да... Я сняла комнату в квартале Мароль. Я только что приехала в город и никого не знала. Я оставила свою страну, работу, друзей, чтобы начать, как говорится, с чистого листа. Я представляла себе дни, полные новых лиц, встреч, незнакомых доселе чувств. Я представляла себе, что стану другой — но я осталась все той же, в точности той же, робкой и одинокой, в моей комнатушке в квартале Мароль. Через некоторое время я услышала, как над моей головой кто-то ходит. Прошло еще несколько дней, и однажды я спустилась заплатить за комнату на первый этаж, к парикмахеру. Он был там. Он тоже принес деньги. Я поняла, что это он ходил над моей головой. Сумрачный человек с глубоким взглядом. С того дня я стала прислушиваться к его шагам над головой. Я слышала, как он идет к столу, от стола к окну, от окна к умывальнику. Неделю за неделей я по звукам его движений представляла себе, что он делает. Я так и видела его: вот он сидит за столом с озабоченным видом, лежит, развалясь, на кровати, стоит у окна, наблюдая за прохожими. Когда текла вода, я представляла, как он бреется. Бреющийся мужчина — меня это всегда волновало, не знаю почему. Мыло на щеках. Движение руки: вот так. Очень красивое зрелище, очень интимное. Я была пеной, я была бритвой, скользящей по щеке...

Она умолкает, смотрится в зеркальце, трогает свою щеку.

Извините, я только хотела кое-что проверить.

Я продолжаю.

Я так любила Зигфрида с его машиной, из которой надо было вычерпывать воду. Но бывало, он бил меня по щекам. Мы дрались. Он был страшен в гневе. Говорил мне: "Уходи!" Выбрасывал мою одежду в окно. Мои блузки, чулки, исподнее летали над площадью

Сен-Жан. Он кричал, я кричала, потом он поцелуями осушал мои слезы. Вы понимаете? Я хочу сказать, вы слышите, как бьется кровь у меня в висках, когда он кричит? Вы видите нас? Зигфрид размахивает руками, бешено вращает глазами, я дрожу у окна, глядя, как падает мое исподнее на площадь Сен-Жан. Я точно все это описываю? Извините, что настаиваю, но это важно. Во всяком случае, так сказал молодой человек... что это важно... (*Пауза.*) Можно спросить вас кое о чем? Если бы вы были женщиной в кафе... женщиной озабоченной, измотанной даже, потому что с ней произошло нечто несуразное... Предположим, вы женщина, сидите в кафе и украдкой плачете. (*Плачет, потом перестает плакать.*) Вдруг вы поднимаете глаза — и перед вами стоит молодой человек.

Молодой человек тем временем вошел и стоит перед ней.

Вы не видели, как он подошел. Он уже здесь и подсаживается к вам, не спрашивая разрешения. (*Молодой человек садится. Она плачет. Пауза.*) Он и не думает вас утешать, сидит и смотрит, как вы плачете. (*Плачет. Он смотрит на нее.*) Будь вы этой женщиной, что бы вы сделали? Встали бы и ушли, да? А я... я осталась. Понимаете? Я продолжала плакать, даже не пряча слез. Потом я расстегнула верхнюю пуговицу на блузке и сказала (*поворачивается к молодому человеку*): "Пожалуйста, вы не могли бы посмотреть на мою шею? Что вы можете о ней сказать, о моей шее?"

Она снова поворачивается к публике. Молодой человек исчезает.

Так о чем бишь я говорила? Ах да. В тот день наша группа собралась на вечеринку в Схарбеке. Но я неважно себя чувствовал и скоро ушел. Податься было некуда, и я сидел в кафе в конце улицы Буше. Я был молодым человеком лет двадцати, не больше, робким и замкнутым. Всегда немного сутулился. Вот так, видите? Это было давно, очень давно, задолго до того, как улицу Буше заполонили туристы. В год большой забастовки, когда думали, что все рухнет и жизнь изменится. Я был в группе активистов. Днем подрабатывал где придется, даже жареную картошку продавал на Гран-Пляс, а вечером мы собирались и спорили до хрипоты. Это было потрясающе. Там, в нашей группе, я с ней и встретился. Ее звали Анна. Я сразу на нее запал. Женщина умная, тонко чувствующая и с тайной. О ней говорили, что она бежала из своей страны, даже вроде бы скрывается... Мы виделись на собраниях, на вечеринках, разговаривали, но... как бы это сказать?.. для меня она была совершенно недосягаема. Во-первых, замужем, двое детей... Я знал, что в ее семье не все ладно, она даже комнату снята — но, как ни крути, замужняя... И потом, она была так прекрасна, а я... я был такой... замкнутый. Надо сказать, что в то время я... ну... я еще ни разу по-настоящему не был с женщиной. Пробовал, с одной или двумя, но... в общем, ничего не вышло. Когда я видел ее, это было такое счастье, что почти больно делалось, вот здесь.

Она показывает на живот. Умолкает. Отворачивается, чтобы посмотреть на свой живот. Приподнимает блузку, щупает кожу на животе. С растерянным видом снова поворачивается к публике.

В тот вечер все наши собрались на вечеринку, а я ушел. Никому ничего не сказал, смылся по-тихому. Вы хорошо меня видите? В

старом кафе в конце улицы Буше сижу один, уткнувшись в кружку пива, час, второй, третий. И вдруг поднимаю глаза — а она здесь, за стеклом витрины, точно видение. Она смотрит на меня. Входит, садится рядом. Спрашивает: "Где ты был? Я весь вечер тебя искала, по всем кафе на улице Буше". Она меня искала, меня, понимаете? Ушла от всех и искала меня. Потом она говорит мне такие вещи... которые каждый мечтает услышать: что она давно меня любит, что хочет быть моей. Она говорит мне это в кафе, она говорит это мне... Вы чувствуете тепло, разливающееся у меня в животе от ее слов? Я достаточно подробно рассказываю? Подробности — это важно, так он сказал. Я имею в виду молодого человека. (*Пауза.*) Я хотела вас спросить... Представьте себе, вы сидите в кафе, и молодой человек подсаживается к вам, когда вы плачете. Представьте, что вы не уходите, остаетесь, показываете ему свою шею. И представьте, что он начинает с вами говорить.

Молодой человек входит.

Молодой человек. Это случилось очень давно. Мне было шестнадцать лет. Ей немного больше. Ее звали Сара. Из красавиц красавица. Черные волосы, роскошные, точно развевающаяся на ветру грива. Вы видите?

Элиза (*плача*). Да, но...

Молодой человек. Пронзительные глаза, кожа янтарная, идеально гладкая, а бедра... как бы это сказать?.. Женские бедра, представляете? Нет, вы их видите, эти бедра?

Элиза (*плача*). Да-да, женские бедра.

Молодой человек. Принцесса пустыни в моей школе в Икселе. Я тенью ходил за ней по коридорам. Ночами мечтал о ней, представлял, как моя голова лежит на ее бедрах, мои руки забираются ей под юбку... Вы меня слушаете?

Элиза поворачивается к публике.

Элиза. Начни молодой человек рассказывать вам такое, когда вы плакали в кафе, я думаю, вы сказали бы: "Замолчите! Мне нет дела до вашей принцессы пустыни". А потом позвали бы хозяина, чтобы тот выставил его вон. Так ведь? Вы были бы правы, конечно, но я... сама не знаю почему... я его слушала.

Молодой человек. Принцесса пустыни, абсолютно недосягаемая. И вот однажды я, с высоты моих шестнадцати лет, все-таки начал ее кадрить. Я пригласил ее в центр. Она была из Икселя, понимаете ли. Центра совсем не знала. Я повел ее на Гран-Пляс, потом в окрестные улочки. Вы видите нас в толпе людей, туристов, жующих жареную картошку, видите меня, такого гордого, ее — великолепную, с этими ее бедрами и гривой? Отвечайте.

Элиза. Да. Да, я вижу вас в толпе людей. Я вас вижу.

Молодой человек. Теперь уже не я ее преследую, теперь она следует за мной. Вы понимаете? Я все время чувствую ее рядом, любопытную и воздушную. На улице Эперонье я показал ей рисунки Эшера[1] в витрине. Вы видите нас? Принцесса пустыни и шестнадцатилетний мальчишка, рассказывающий ей об Эшере. Отвечайте мне.

1. Мауриц Корнелиус Эшер (1898–1972) — нидерландский художник-график. (*Здесь и далее, кроме оговоренного случая, – прим. перев.*)

Элиза. Да, я думаю, да. Я вас вижу.

Молодой человек. Она не знала Эшера, понимаете? Теперь уже я принц, а она — маленькая восхищенная девочка. Вы чувствуете озноб, пробегающий по моей коже в эти минуты? Чувствуете?



Элиза. Ну да, думаю, что я чувствую... но я... Пожалуйста, вы не могли бы посмотреть на мои колени?

Она поворачивается к публике. Молодой человек исчезает. Она снимает чулки, показывает публике колени.

Вы не могли бы посмотреть на мои колени? Они изменились? Я хочу сказать... вот сейчас. Посмотрите хорошенько на кожу. Вам не кажется, что ее стало больше? Вы не знаете? Ну ничего. (*Ощупывает свои колени.*) И правда, это не так уж и заметно на коленях.

Извините. Ну вот. О чем я говорила? Ах да. Маргарита. Ее звали Маргарита. Мы работали в одной газете. Поначалу я считала ее несносной и претенциозной. Но мало-помалу я стала ловить себя на том, что все время думаю о ней. Маргарита. Полненькая, не сказать чтобы красавица, но сила и ум в ней чувствовались незаурядные. Я не знала, как к ней подойти. Робела перед ней. О ней ходили всякие слухи: будто она якшается с террористами, балуется наркотиками, сидела в тюрьме. Это притягивало меня и пугало одновременно. Однажды вечером я пошла за ней до ее дома. Она поднялась к себе, а я осталась на улице, стояла и смотрела на ее окно. Я повторяла про себя: "Полюби меня, Маргарита, полюби меня". Как заклинание. Сотни, тысячи раз. И потом, в другие вечера, я снова твердила ту же молитву под ее окном. "Подумай обо мне, Маргарита. Обрати на меня внимание, взгляни на меня, Маргарита". Я простаивала там часами, порой под ледяным ветром. Вы чувствуете, как дрожат мои губы, когда я шепотом взываю к ней? Я так отчаянно молила, столько вечеров подряд, что она в конце концов пришла ко мне и почти два года меня любила. Маргарита... Мы назначали свидания в парке Иосафат или в кафе на улице Луи-Бертран. Гуляли, шлялись по злачным местам, ночевали то в шикарных гостиницах, то в самых грязных клоповниках. Мы пили, курили, глотали всякую дрянь. Она делала запретные вещи, Маргарита. Опасные вещи. Она не боялась, понимаете? Так мало людей, которые ничего не боятся. Она встряхнула меня, дала толчок, окрылила. Вы видите нас, видите ее и меня, двух охваченных пламенем женщин, ночью под ивами в парке Иосафат?

Она умолкает, снова смотрит на свои колени, ощупывает их, потирает.

Так о чем я говорила? Ах да. Парк аббатства Камбр, послеполуденный час. Его звали Эдмон. Я в то время уже десять лет была замужем. Десять лет, знаете, за такой срок муж успевает прискучить. Когда дети были в школе, я становилась другой женщиной. Попробуйте представить себе. Послеполуденный час, я надеваю легкое платье, серьги, тихонько подпеваю радио. Прежде чем закрыть за собой дверь, делаю два или три танцевальных па, просто так, хочется, чтобы взлетела и закружилась юбка. Я иду к аббатству, мне вдруг становится стыдно, потом я говорю себе: "Это чтобы не умереть. Иначе я не выживу". Кому-то требуется, чтобы выжить, переливание крови или пересадка органов, а мне необходим мужчина в парке аббатства Камбр. Он ждет меня у часовни Святого Бенедик-

та. Порой мы долго ходим вокруг пруда и разговариваем. Так хорошо — идти и разговаривать. Он говорит, что ему со мной хорошо. А иной раз мы ищем уединения, забираемся в дальний уголок парка. И тогда я на целый час больше не женщина, которой скучно с мужем. Я тело, трепещущее под легким платьем. Я юбка, липнущая к коже, я кожа под юбкой, я соскользнувшая с плеча бретелька, я шелковистое плечо под тонким ситцем, я растрепавшийся узел волос на затылке, я затылок под пальцами мужчины. Вы хорошо меня видите? Я хочу сказать, хорошо ли я рассказываю? Достаточно ли подробно? Вы слышите шелест листьев под легким ветерком, слышите первый негромкий смешок и внезапно севший голос? Вас хоть немного трогает все, что я рассказываю? Я спрашиваю вас, потому что это важно. Так сказал молодой человек.

Она умолкает. Ненадолго задумывается.

Если бы вы были женщиной, плачущей в кафе, женщиной, показывающей свои колени молодому человеку, который на них не смотрит... Который продолжает говорить, как будто вы и не плачете вовсе...

Появляется Молодой человек.

Молодой человек. Ее звали Луиза. Мы с ней вместе работали; часто мы оставались вдвоем, она и я, в тесном кабинетике. Потом у меня умер отец. Мне пришлось уехать за границу на похороны. И вот там-то, в скорби и слезах, я понял, что люблю ее. Мне ее не хватало. Ее присутствия, ее запаха, близости ее тела. И было так хорошо чувствовать, что мне ее не хватает. Когда я вернулся, однажды вечером мы заработались допоздна, и, уходя, в подворотне, я поцеловал ее. Так все и началось. Вы видите его, этот поцелуй, никак не кончающийся в сырой подворотне?

Элиза. Послушайте, я хотела вам сказать...

Молодой человек. Отвечайте мне. Вы чувствуете на своих губах сладость этого поцелуя?

Элиза (*трогая свои губы*). Да-да, я чувствую, но...

Молодой человек. Я любил ее как безумный, понимаете? Но у нее был другой. Мы были вместе, потом она меня бросила, потом мы сошлись опять, потом она снова ушла. Однажды я написал ей письмо на шестидесяти четырех страницах! Вы представляете их себе, эти шестьдесят четыре листка, исписанные моим мелким, убористым почерком, и мою кожу, которая истекала пóтом, пока я писал, — вы ее видите?

Элиза. Да, вот именно, про кожу... Я хотела вас спросить... (*Элиза поворачивается к публике.*) Если бы вы были той женщиной, с молодым человеком, который говорит вам про свою втиснутую в шестьдесят четыре страницы любовь, когда вы пытаетесь показать ему вашу кожу, вы, думаю, крикнули бы: "Выслушайте меня! Мне нет дела ни до вашего поцелуя в подворотне, ни до вашего отчаянного письма! Выслушайте меня!" Наверно, так и надо было поступить. Но я, сама не знаю почему, продолжала его слушать.

Молодой человек. Однажды женился один из моих друзей. Это было вскоре после шестидесяти четырех страниц. Мы с ней не виделись уже довольно давно. Мне так не хватало ее, Луизы. Но это

было иначе, чем на похоронах отца, не та отрадная пустота, которую хочется лелеять, потому что она еще может заполниться. Это была дыра у меня в груди, вот здесь. Вы запросто могли бы сквозь меня увидеть город. Вы представляете себе мою продырявленную грудь и деревья, дома, жизнь с той стороны?

Элиза. Да, я представляю ее... вашу грудь...

Молодой человек. На свадьбе моего друга фотограф сделал традиционный снимок на балконе ратуши. Знаете, все гости вокруг сияющих молодоженов. Прямо под нами, внизу, на Гран-Пляс, была другая свадьба. Туда все прикатили на мотоциклах. Фотограф отступил, щелкнул — и мы пошли праздновать. Через несколько дней друг показал мне готовые снимки. И тут я увидел ее. Она была там, клянусь вам, она была там, на снимке, среди гостей на мотоциклах. Фотограф заснял обе группы, понимаете? Вы видите мои руки, видите, как они дрожат, когда я вижу ее так близко, в трех сантиметрах? У вас кружится голова, как у меня... у вас... извините.

Он умолкает, смотрит на свои руки, ощупывает их. Элиза поворачивается к публике.

Элиза. Если молодой человек сбивчиво рассказывает вам, как объектив фотографа свел его с возлюбленной, и если этот молодой человек от волнения вдруг осекся и замолчал, думаю, вы бы воспользовались этим, чтобы потихоньку уйти, и пусть остается со своими шестьюдесятью четырьмя страницами горячечной страсти и соленых слез. Но я не ушла — я заговорила. Мне так нужно было выговориться. (*Поворачивается к молодому человеку.*) Ваша история печальна, но я... Со мной произошло нечто куда более ужасное. Выслушайте меня, прошу вас. (*Пауза.*) Это началось однажды утром, не так давно. Я надела свой красный свитер, облегающий, с довольно глубоким вырезом, и посмотрелась в зеркало. Чтобы удостовериться. Этот свитер я надеваю, когда у меня есть тело, понимаете? Когда у меня только голова, я надеваю черные блузки или серые, я бы хоть саван надела, если б могла, все равно что. Вы понимаете?

Молодой человек. Да-да, я понимаю.

Элиза. Ну вот, я посмотрелась в зеркало, чтобы убедиться, что тело у меня действительно есть, и тут увидела... За ночь что-то случилось с моей кожей. Как бы это сказать?.. Ее стало больше. На шее, вокруг губ, вокруг глаз кожа за ночь разбухла, понимаете? Сначала я подумала: "Ничего страшного, наверно, какой-то вирус, пройдет". Но на следующий день ее стало еще больше. И так с тех пор каждый день — все больше и больше. Посмотрите на мою шею. Я клянусь вам, еще месяц назад она не была такой. Посмотрите. Можно взять кожу двумя пальцами. (*Кладет руку молодого человека себе на шею.*) И еще локти, посмотрите на них. Вы же видите, как много кожи на моих локтях. (*Она кладет руки молодого человека на свои локти.*)

Молодой человек. Да, вы правы, ее слишком много.

Элиза. Я боюсь, вы понимаете?

Молодой человек. Да, я понимаю, прекрасно понимаю, что́ вы чувствуете.

Элиза. Нет, я уверена, что вы все-таки не понимаете. Я боюсь, что она теперь всегда будет расти. Ее станет так много, что она будет свисать у меня с шеи, с рук, с живота до земли. Я боюсь, что однажды утром не смогу подняться под ее тяжестью, от всех этих складок, так и буду лежать, придавленная ее весом. Я боюсь, что меня уже не будет видно, останется только кожа, расползающаяся во все стороны.

Молодой человек. Да, я все это знаю.

Элиза. Да нет же, ничего вы не знаете. Я прочла уйму журналов, искала, хотела узнать, можно ли хоть что-нибудь сделать. Нашла одну статью, там говорилось, что можно сделать надрезы на животе, на руках, ногах, щеках и через эти дырочки втянуть кожу внутрь. Как в вязанье, когда кончики шерсти торчат наружу, представляете? Втянешь такой кончик между петлями на изнаночную сторону — и все, больше его не видно. Но я не хочу, чтобы вся эта кожа висела во мне. Я боюсь, что она займет слишком много места, что она станет гнить внутри, что она окажется преградой между мной и моим сердцем, окутает его так, что я перестану его слышать. Я боюсь, что не буду больше знать, есть ли у меня сердце, бьется ли оно, когда я чувствую на себе руки мужчины. Вы понимаете? Я не хочу, чтобы моя кожа скапливалась у меня внутри. Но что я могу сделать? Сил больше нет смотреть, как она растет. (*Поворачивается к публике.*) Если бы у вас повернулся язык сказать такое молодому человеку, который вас не знает, думаю, вы бы устыдились и сразу же ушли, забыв пальто, сумку и чувство собственного достоинства на стуле в кафе. Но я не ушла. Хотя и устыдилась, клянусь вам, но не могла двинуться с места. И я сидела и ждала, сама не знаю чего: чтобы он меня утешил или, может быть, высмеял. Но я никогда бы не подумала, что он скажет мне то, что он сказал. Сначала он взял мои руки в свои.

Молодой человек берет ее за руки.

Молодой человек. Я знаю.

Элиза. Что? Что вы знаете?

Молодой человек. Я знаю, что нужно сделать с вашей кожей.

Элиза. Правда? Скажите мне, пожалуйста. Скажите, что́ вы знаете.

Молодой человек. Хорошо. Но вы меня выслушаете до конца, не возражая.

Элиза. Да-да, я вас выслушаю.

Молодой человек. И ни разу не скажете, что это безумие.

Элиза. Да, я не скажу, что это безумие, обещаю. (*Поворачивается к публике.*) И тогда он подсел ко мне вплотную, близко-близко. Отодвинул мои волосы и приблизил свои губы к моему уху. (*Молодой человек приближает губы к ее уху.*) И заговорил. (*Молодой человек говорит ей на ухо.*) Он сказал, что... что я должна рассказывать истории про любовь.

Элиза с недоверием смотрит на молодого человека. Он слегка отодвигает ее голову и продолжает говорить ей на ухо.

Он сказал то, что было на самом деле, от чего пробирает озноб, когда рассказываешь.

Она снова поворачивается к молодому человеку, как будто хочет возразить или задать вопрос. Он рукой закрывает ей рот, поворачивает ее голову и продолжает говорить.

Он сказал: воспоминания о любви, когда они, поднимаясь изнутри, проходят через горло и через губы, выделяют особое вещество, которое, распространяясь по коже, мешает ей расти. Тут я чуть было не закричала: "Нет, это же безумие!" Но прикусила язык. Я обещала. (*Молодой человек говорит ей в ухо.*) Он сказал: рассказывать надо предельно точно, описывать места, обстановку, чтобы рождались зрительные образы, чтобы слушателей пробирала дрожь. Затем надо заострить внимание на телесных подробностях: пот, озноб, пульсация крови. Именно эти детали активизируют вещество. Я чувствовала ухом его дыхание. Не могу вам рассказать, что́ со мной творилось от этого. Потом его губы придвинулись еще ближе. (*Молодой человек придвигает губы ближе.*) Я... (*Она в смятении.*) Он говорил так тихо... Я не все слышала. Только обрывки. Он, кажется, говорил о себе, о своей коже. Он сказал... Я почти готова поклясться, он сказал, что тоже этого боялся. Сказал, что и с ним такое случилось, его кожа тоже росла, и добавил... Я почти готова поклясться, он добавил: вот потому-то я и рассказываю каждый день истории о любви в кафе... Потом он взял мою руку и положил ее себе на шею.

Молодой человек берет руку Элизы и водит ее ладонью по своей шее, по груди, по лицу.

Как будто показывая мне, что с его кожей все в порядке. Что ее у него в самый раз. Меня это успокаивало. Хотелось так и остаться, жить, ходить, спать с рукой на его шее, на его щеках. Но это не продлилось долго.

Молодой человек кладет руку Элизы на стол и возвращается на свое место напротив нее.

Молодой человек. Вот. Вот что нужно делать. Ничего трудного. Можно делать где угодно и с кем угодно.

Молодой человек встает, чтобы уйти.

Элиза. Постойте! Я... я не смогу... У меня слишком мало воспоминаний.

Молодой человек. Воспоминания есть у всех.

Элиза. Да, но я... Нет, правда, у меня бывали истории, но я даже не знаю, была ли это на самом деле любовь, понимаете? И потом, подробности я забыла.

Молодой человек. Тогда берите чужие.

Элиза. Как это — чужие? Чьи?

Молодой человек. Других людей, ваших друзей, прохожих с улицы — все равно. Слушайте их, а потом берите их слова, их чувства, их бьющиеся сердца. Рассказывайте так, будто они ваши.

Молодой человек удаляется.

Элиза. Вы думаете? Вы правда думаете, что это может помочь? Постойте!

Молодой человек уходит. Элиза поворачивается к публике.

Так он и ушел. У меня было еще множество вопросов: когда, как часто, каким образом. Надо ли рассказывать долго? С паузами или без? Лучше ли делать это утром? Вечером? Ночью? Надо ли смотреть людям в глаза? А если подробности забылись, можно ли их выдумать? Поможет ли, если немного присочинить?

Если бы вы были женщиной в кафе, женщиной, которая боится за свою кожу, и если бы молодой человек сказал вам то, что он сказал мне, — вы бы ему поверили? (*Пауза.*) Нет? А я уверена, что да. Если бы вы боялись, как я, и ощутили бы пальцами его идеальную кожу, я клянусь вам, что вы бы поверили. И принялись бы заимствовать чужие воспоминания... с подробностями, от которых пробирает дрожь. И попробовали бы рассказать... Хотя бы попробовали. (*Она рассматривает кожу на своих коленях, локтях, ладонях.*)

Бывают минуты, когда я чувствую, клянусь вам, чувствую, как это вещество растекается в моей коже. Вроде как мурашки. Или как электрический ток. А иногда мне кажется, что ничего этого нет. Может быть, я плохо рассказываю. Может быть, у меня мало жизненных подробностей, недостаточно зрительных образов. Он сказал: "Надо, чтобы слушателей пробирал озноб". Пожалуйста, выслушайте меня внимательно, а потом вы мне скажете, чувствуете ли вы что-нибудь. Договорились?

Я был робким молодым человеком в кафе в конце улицы Буше. Анна пришла ко мне, она вошла и сказала, что любит меня, и мы ушли вместе. И эту ночь мы провели вместе, она и я, вдвоем, в ее комнатушке. Я был так счастлив, что смеялся без остановки. (*Смеется.*) Это было в первый раз, понимаете? Она касалась меня здесь (*показывает на свои руки*), потом здесь (*показывает на шею*) и вот здесь (*показывает на живот*). Мне казалось, что я таю под ее ладонями. Меня больше не было, не было щуплого тела, сутулых плеч, неловких движений, а лишь лоскут кожи между талией и мужским органом, лоскут кожи, тающий под женской рукой. Назавтра я пошел на работу. Вернее, остальное тело пошло на работу. А мой живот остался с ней, он был с ней весь день. Никто этого не заметил. Я хорошо ее спрятал, пустоту в этом месте, под моей полосатой рубашкой. В пять часов, когда я вышел с работы, она уже ждала меня с моим животом в руке. Как описать вам, что́ я тогда почувствовал? Я мог бы сказать: блаженство, счастье, упоение, — но этого мало. Я мог бы сказать, что готов был закричать или потерять сознание, — нет, тоже не то. Тогда что? Не знаю. Как выразить радость, когда тебе возвращают твой живот, если весь день ты жил выпотрошенным?

Она умолкает. Ощупывает кожу на своем лице, на руках.

Ну что? Я достаточно подробно рассказываю? Мне показалось, что я почувствовала на щеках... но я не уверена. Постойте. Я попробую еще.

Зигфрид. Он выбрасывал мои одежки на площадь Сен-Жан. Мы дрались. Он осушал поцелуями мои слезы. Зигфрид... В нем все было слишком, понимаете? Слишком бурно, слишком свободно, слишком поспешно. Он рисовал слишком много рыбок на стенах нашей квартирки; он пил слишком много пива, у него было слишком много планов, слишком много замыслов, слишком много

шумных друзей. Но это я в нем и любила, понимаете? Это его "слишком". Есть столько людей, которым дано недостаточно, вы понимаете? Надо искать не один день, чтобы найти в них хоть одну смелую мыслишку, крошечную, чахлую, скрытую под горами сомнений и страха. А у него идеи стекали с пальцев, вылетали изо рта, как голуби из шляпы фокусника. Однажды, когда я вернулась домой к ужину, он встретил меня в возбуждении. Сказал мне: "Закрой глаза, у меня для тебя сюрприз". И повел меня в нашу спаленку в мансарде. "Что ты еще затеял, Зигфрид?" — думала я, поднимаясь по винтовой лестнице. Наверху он уложил меня на нашу кровать и сказал: "Вот так. Теперь можешь смотреть". Я открыла глаза и увидела... я увидела над собой небо! Он проделал дыру в крыше, понимаете? Сделал с квартирой то же, что когда-то со своей машиной. Он сказал мне: "Это небо, я тебе его дарю". Я была ошеломлена. Головой думала: "Но ведь дождь, но холод, но ветер, Зигфрид, это безумие, из спальни придется вычерпывать воду, как из утлой лодочки". Но моей коже нравился летний ветер, врывавшийся в комнату, мои глаза не могли наглядеться на красоту обрушившегося на меня неба, мои руки хотели его потрогать, мое нутро плакало. Он был безумец, Зигфрид. Настоящий безумец. Я это знала, но разве можно не любить человека, который проделал дыру в крыше, чтобы подарить вам брюссельское небо? (*Она умолкает. Ощупывает свою кожу.*) Ну что? Озноб вас пробрал? Нет? Еще нет? Вы уверены? Когда я говорила про обрушившееся на меня небо... Мне показалось, что я почувствовала, как это вещество подступает к моим щекам. Но это могло быть и что-то другое. Постойте. Дайте я еще попробую.

Было жарко. Ян тащил меня, не говоря ни слова. Я спотыкалась в своих туфельках. Внизу, когда мы добрались, он лег на меня. В три часа пополудни в котловане на площади Сен-Жери он задрал мое легкое платье. Он вошел в меня, приподняв мои бедра и мой таз. Рррразз — и я наполнена, завершена, обновлена. У меня в животе, в груди, в мозгу нет больше опустевших строек, снесенных зданий, брошенных подъемных кранов, нет пятидесятиметровых котлованов между сердцем и желудком, где что-то строят и никогда не достраивают. Я восстала из руин, понимаете? Лежа в земле, в недрах площади Сен-Жери, я стала городом, оживленным, людным, плотно застроенным, с рядами домов, башнями, лесом небоскребов, афишами, которые светятся, словно улыбаются. Я стала Манхэттеном в брюссельском котловане, вы понимаете? (*Умолкает.*) На этот раз я уверена, что вы что-то почувствовали. Хоть чуть-чуть. Хоть жар в щеках. Скорее, надо продолжать. Ну вот... Жинетта, такая пышечка у Иксельских прудов... Я уже рассказывала про Жинетту? Ладно. Сейчас. Вот... Маргарита ждет меня в кафе на улице Луи-Бертрана... И про это я уже говорила? Руки Эдмона на моем затылке... В квартале Мароль его шаги над моей головой. Я представляла себе пену на его щеках... Тоже говорила? Ладно. Сейчас.

Она умолкает. Ищет в памяти нерассказанную историю. Вполголоса перечисляет имена из своих воспоминаний.

Зигфрид, Ян, Анна, Эдмон, Маргарита...

Я не знаю, что со мной. Кажется, у меня не осталось больше историй. А ведь я накопила их так много. Сколько же я говорила, с ума

сойти! Но мне непременно надо продолжать. Это важно. Вы сами знаете, как это важно. (*Пауза.*) Я не знаю, как вас об этом попросить. У вас не найдется... Вы не могли бы прямо сейчас одолжить мне какое-нибудь воспоминание? Что-нибудь трогательное или волнующее, что когда-то произошло с вами. Пожалуйста. (*Ждет.*) Хотя бы совсем коротенькую историю. О руке, коснувшейся вашего бедра в ресторане, о взгляде, который вас преследовал. Пусть даже это будет мужчина, которого вы и не любите по-настоящему, у него масса раздражающих вас привычек, он угрюм и беспокоен, но с ним вы познали наслаждение. Ваш первый крик страсти в сорок лет. Как гейзер. Понимаете? Все сгодится, лишь бы пробирала дрожь. (*Ждет. Рассматривает свою кожу.*) Вы не готовы. Я вас понимаю. Вам нужно подумать, припомнить вашу жизнь, все ваши любови. И потом, вам некогда. Вас, наверное, ждут. Я понимаю. (*Ждет.*) Послушайте. Вот что я вам предлагаю. Вы знаете площадь Же-де-Балль? Там есть скамейка, у церкви Непорочного зачатия. Справа от входа, прямо под мемориальной доской павшим на войне. Я буду там каждый день с пяти часов, готовая слушать. Приходите, садитесь рядом со мной и рассказывайте. Хоть пять минут, хоть весь вечер, как захотите. Вы расскажете и уйдете, а я все сохраню: биение ваших сердец, ваши влажные ладони, ваши нервные смешки и ваши глаза, наполняющиеся слезами, когда вы говорите мне, что все еще его — ее — любите. (*Ждет.*) Скажите об этом всем вашим знакомым. Скажите им, что они могут прийти. На мне будет белый шарф, завязанный на груди на манер жабо. Скажите им, что я славная, улыбчивая, что я возьму все, что они захотят мне дать, но давить не стану. Меня зовут Элиза. Легко запомнить. Да и все равно они меня ни с кем не спутают. Я единственная женщина, которая слушает истории о любви каждый вечер с пяти на площади Же-де-Балль. Но, пожалуйста, скажите им, пусть поторопятся. Это срочно, понимаете? Скажите им, что это ради моей кожи.

Она встает и собирается уйти, потом возвращается.

Если вдруг у женщины в белом жабо на скамейке кожа будет свисать отовсюду, если у нее окажется множество морщин и столько кожи во рту, что нет места для зубов, скажите им, пусть все-таки подойдут. Это буду я, под складками кожи. Если даже просижу слишком долго, ничего не рассказывая. Но это все равно буду я, та же чуткая женщина, которая так боится исчезнуть. Так что, пожалуйста, скажите им, пусть все-таки поговорят со мной. Как знать? Может быть, хватит одного воспоминания, по-настоящему трогательного или волнующего, чтобы изничтожить всю эту лишнюю кожу и начать жизнь заново? Вы обещаете?



## *Свободное место*

### *Короткая история "Кожи Элизы"*

Я ехала в поезде Париж—Брюссель. Часы показывали десять двадцать. Время прибытия на Южный вокзал — тринадцать шестнадцать.

С тетрадью "Клерфонтен" на коленях я смотрела на французский пейзаж. Было начало октября. Погода, помнится, была солнечная. Я нервничала. Мне предстояло участие в творческом проекте под названием "Напиши город"[1]. Провести неделю в бельгийской столице и написать текст, навеянный этим пребыванием. Таково было условие участия. Просто — и не так-то просто. У меня оставалось ровно два часа пятьдесят шесть минут, чтобы найти подход к решению задачи.

Я открыла тетрадь, вывела на первой странице: "Брюссель — город и я". Потом записала несколько воспоминаний. Первое посещение города — на бегу, наспех, в 1971-м. Мой тогдашний друг несся на всех парах по узким улочкам, а я, сгибаясь под тяжестью рюкзака, кричала: "Подожди меня!" Молодежная гостиница на улице Верт. Жареная картошка в пакетиках, которую мы ели с майонезом. Гран-Пляс. Брейгель — подлинники Брейгеля! — в музее. Мы очарованы старушкой Европой. Двадцать два года спустя: я робко выхожу из поезда на Южном вокзале, прибыв, словно коммивояжер, продавать четыре смерти некой Марии[2]. Кто-то говорит мне: "Как раз сегодня вечером в культурном центре 'Сенгор' состоится чтение вашей пьесы". — "Моей пьесы, вы уверены?" Автобус до Ваврского шоссе. (Господи, куда я попала?) Студенты, встречающие меня со словами: "Мария, это мы!", чтение "Четырех смертей Марии" в этом странном месте, счастье, что я оказалась здесь — почти случайно! — первая встреча с Матье, Мари-Франс и Вероникой, мне так тепло от всего этого. А через несколько дней: я сижу в своем номере без ванной в отеле "Гранд Клош" с чувством, что меня бросили одну, как Мальчика-с-пальчика в лесу. Что еще? Через год: нечаянная встреча у старого Фламандского театра, в двух шагах от Биржи..С парижским режиссером, которого в принципе не могло там быть. Он буквально свалился с неба аккурат в тот момент, когда я о нем вспоминала. И сказал мне, что лично займется мной, моей пьесой, моей дальнейшей судьбой. Это было все равно, как если бы небожители взяли меня в свои руки. Ухватившись покрепче, я взмыла над улицей Антуан-Дансар. Но нельзя доверяться небожителям. Не во всем, не до конца... Про себя могу сказать, что если они и поднимают меня над землей на краткий миг упоения — личного или профессионального, — то потом приходится больно падать. И все же в тот день я воспарила очень высоко и любила их за это. Что же еще? Ресторан под названием "Маленькая собачка" на улице Таннер, где актеры ужинали в два часа ночи и травили театральные байки — те же, что и у нас, они везде одни и те же. Пивная около Гран-Пляс, где я в одиночестве съела целое блюдо мидий в яично-масляном соусе и написала в своей тетради "Клерфонтен": "Мне сорок четыре года, и я невидима".

Я подняла глаза, чтобы немного полюбоваться прекрасной Францией, проносившейся мимо окон поезда Париж—Брюссель. Который от-

1. Организованный совместно Обществом драматургов в Монреале и "Ателье Сент-Анн" в Брюсселе проект ставил целью культурный обмен, который не сводился бы просто к представлению уже существующих текстов и непосредственно побуждал бы к творчеству. Таким образом, осенью 1995-го три монреальских автора, в том числе я, порознь провели каждый по неделе в Брюсселе, а три бельгийских автора — по неделе в Монреале. Мы должны были проникнуться городом, а затем написать текст — пьесу, новеллу, путевые заметки, стихи, что угодно, на выбор, — навеянный нашими впечатлениями. (*Прим. автора.*)
2. "Четыре смерти Марии" — пьеса Кароль Фрешетт.

правился в десять двадцать. "Так, — подумала я, — несколько воспоминаний у меня есть, а дальше что? Что они мне дадут? Это трогательные сценки, имеющие смысл только для меня. Нужны другие идеи, более "урбанистические". "Напиши город" — это подразумевает бурную жизнь, злачные места, трущобы, насилие, нищету. Ищи, Кароль. Ищи краски почернее, тон пожестче, сиречь чернуху и жесть. Но как назло ничего не приходило в голову. Ни единой сумрачной мыслишки. А потом, сама не знаю почему, я уставилась на пустое место рядом. И мне вдруг стало грустно. Пустое место рядом со мной в поезде Париж—Брюссель. Во всех поездах, не помню уж с каких пор.



— Простите, мадам, место рядом с вами занято?

— Нет, свободно.

— А в вашей руке, мадам, место занято?

— В моей руке?

— А в вашей груди, между ребрами и мышцей, качающей кровь, занято место? А в ваших губах?

— В моих губах?

— Да, и в щеках, местечко для мурашек, и во рту, в горле, место для вкуса другого человека, — занято оно?

— Нет.

— А в животе вашем, место прудов, откуда бьют ключи, — оно занято?

— Нет.

— А в вашем мозгу, между составляющимися фразами, между синапсами и заботами — место занято?

— Нет, свободно.

— Стало быть, вы путешествуете одна?

— Да. Одна как перст. Впрочем, с тетрадью. С моей тетрадью "Клерфонтен" в линейку. "Легкость письма, глянцевая обложка".

Я подняла голову. За окном стремительно уносился назад однообразный сельский пейзаж. "Вот чего я хочу, — подумала я. — Отыскать по следам на улицах Брюсселя те благословенные минуты, когда место в поезде, в руке, в губах перестает быть пустым. Короткие мгновения наполненности". Мое сердце забилось чаще. Да, вот что нужно делать. Сидеть с людьми и слушать их. Пытаться вычленить из их рассказов крупицу этой вечной тайны, что на время заполняет все пустоты — и в теле, и в жизни. Узнавать ее очертания, ее трепет, ее вкус на языке. Созерцать ее, измерять, взвешивать, трогать пальцем, тереться об нее кожей, пока я не... сама не знаю что.

Тринадцать шестнадцать. На Южном вокзале координатор проекта ждал меня, кутаясь в серый плащ. Прямо с поезда он повез меня обедать. Я сразу взяла быка за рога: "Я хотела бы, с вашей помощью, найти таких людей, которые согласились бы посетить со мной те или иные места в Брюсселе, связанные у них с воспоминаниями о любви". — "Вот как?" — "Да, мне бы хотелось услышать от них воспоминания на месте, на том самом месте, где это произошло". — "Ээ... хорошо". Прощаясь с ним, я подумала: "Не смешная ли это затея?" Но отступать было поздно. Из отеля я обзвонила друзей. "Алло, у меня к вам довольно странная просьба..." За два дня все было устроено. Человек десять согласились, не зная меня, на мое почти непристойное предложение. Мне остава-

лось только назначить встречу каждому. Я сделала несколько глубоких вдохов — и пустилась в эту авантюру.

Первый, который и сломал лед, оказался довольно молодым человеком и по дороге к Иксельским прудам успел задать массу вопросов о моих намерениях и конфиденциальности всей затеи. Он казался встревоженным. У меня сложилось впечатление, что он собирается поведать о какой-то запретной связи — что-нибудь со скандальным душком. Отнюдь. Он рассказал мне буквально в нескольких фразах трогательную и наивную историю. О поцелуе на скамейке в парке ноябрьским вечером. Он говорил, уставившись на свои ботинки. То и дело шутил, но был сильно взволнован, это бросалось в глаза. Я спросила: "Это всё?" Он засмеялся. И рассказал еще немного. Мы зашли выпить кофе. Я бегом вернулась в отель, чтобы все записать в свою тетрадь.

Следующая встреча — в старом бистро в центре города с совсем молодой женщиной. Она вошла, сразу опознала меня, села и сказала: "Это, конечно же, вы". Живые глаза, одухотворенное лицо — прелесть. Она стала рассказывать об отце и матери, о своем детстве, и впрямь необычном. Почти два часа, прежде чем добралась до своей страсти к красавцу Яну. Я только вставляла "Ах!", "Ох!" и "Не может быть!" Я была совершенно покорена ее обаянием, чувством юмора и тем, как она обнажала самые страшные раны с этакой трехъярусной улыбкой, которая означала одновременно: да, мне было очень больно, но не беспокойтесь, все уже почти зажило; и наконец, правда, я хорошо рассказываю, и правда, вы меня полюбили за это? Разговор продолжался пять часов! Из кафе мы вышли почти подругами. Между бистро и площадью Сент-Катрин, где находился мой отель, потерялись кое-какие подробности всех этих перипетий, но эпизод с любовью в котловане на площади Сен-Жери и глаза этой молодой женщины, когда она говорила: "С ним я спала как младенец", я запомнила.

Несколько часов спустя: мужчина лет под шестьдесят, тихий и сдержанный. "Я, знаете ли, никому не рассказываю своих любовных историй. Стесняюсь". — "Вот как, почему же вы приняли мое приглашение?" — "Потому, что вам это нужно для работы. Вроде как художнику позировать голым. Это не считается". Он начал исподволь, с контекста: шестидесятые годы, богема, надежды на лучший мир, его всевозможные подработки, потом перешел к сути: Анна, живая, жившая в нем все эти годы. Он показал пальцем на витрину, за стеклом которой она появилась тогда. Я посмотрела — и почти увидела ее, прекрасную Анну в окне кафе на улице Буше. Я вернулась в свой номер вымотанная, около одиннадцати, и все, что могла, записала в свою тетрадь.

Назавтра в полдень: улица Луи-Бертран, встреча с очень уверенной в себе женщиной. В глазах намек на вызов. Она словно говорит: охов и вздохов от меня не ждите. И сразу объявляет масть: "Все мои любови — к женщинам". Начала с первого воспоминания, странноватого, мутного — что-то вроде садомазохистского опыта, меня оно слегка ошеломило; потом перешла к следующему, светлому, полному радости, желания и свободы. Я была взволнована. Сразу после нее — совсем другая женщина. Смешливая и ранимая. С тонкой, как шелковая бумага, кожей. Большие глаза увлажняются, когда она вспоминает прошлое. Мы заказали по пиву, пока она эмоционально рассказывала мне о своем Зигфриде-бе-

зумце. Октябрьское солнце припекало, как в июле. Нам было хорошо. Вдруг она посмотрела на часы. "Боже, уже пять! Я опаздываю!" В центр мы мчались как угорелые. Она высадила меня у отеля, и мы разбежались — я поспешила к своей тетради, а она, на всех парах, к своей новой любви.

Время летело. Мне было некогда обдумать, проанализировать, понять. Я только смотрела, слушала, а потом записывала в тетрадь. И это еще не конец. Завтра, в субботу, предпоследний день этой волшебной недели — четыре встречи!

С утра — мужчина под тридцать с еще заспанными глазами. Он выглядел робким и на сближение шел неохотно. Во втором по счету кафе он решился наконец приступить к главному: поцелуй в подворотне, страсть, череда разрывов и письмо на шестидесяти четырех страницах! Чем дальше он рассказывал, тем больше воодушевлялся. Он повел меня на Гран-Пляс выпить последний *пунш*. А когда я уходила, сказал встревоженно: "Я так и не сумел объяснить вам, почему я ее любил. Надо же, я ведь не сказал вам, что она была красивая. Как глупо. Забыл. Так вот, теперь говорю: она была красивая. Очень, очень красивая". Я ушла, унося с собой эти три слова, в которые уместилась вся его любовь.

В два часа — другой мужчина, примерно того же возраста. "Воспоминаний у меня много, по всему городу", — заявил он. Но огонек в его глазах говорил: "Не берите в голову. Никакой я на самом деле не сердцеед. Просто притворяюсь". Он заказал белое вино, я — светлое пиво. Свои пикантные истории он рассказывал с блеском. Ни дать ни взять сцены из фильмов — саспенс, искрометный юмор, поцелуи за дверьми, эротика в полумраке. А потом он вдруг посерьезнел. Рассказывая о девушке, которую любил по-настоящему, он растерял все слова и эффектные приемы. И тогда заговорила я. О моих взлетах и падениях в любви. Время пролетело незаметно!

В пять часов я помчалась в аббатство Камбр. Дама лет пятидесяти выдала мне свое воспоминание, короткими, робкими штрихами, между рассуждениями о городе и справкой по истории аббатства. Она была скупа на подробности, но, когда я слушала ее рассказ, мне казалось, что это обо мне. Я видела все как на ладони, даже то, чего она не описывала: послеполуденные свидания тайком от мужа, волнение, трепет, сдерживаемое желание, будто снова семнадцать, тайна, муки совести, невозможность отказаться. Под конец она повела меня в одно из самых старых брюссельских бистро: с ним у нее тоже были связаны воспоминания. "Видите, какой я была ветреницей", — сказала она на прощание.

Двадцать тридцать. "Гаспи". Старое кафе, годов семидесятых, которое как раз в этот вечер было закрыто. Здесь устраивали вечеринку для завсегдатаев. Когда я вошла, хозяйка разливала по бокалам пенистое шампанское и раскладывала на блюда печенье для гостей. Потом они начали приходить — мужчины, женщины, дети, мэр коммуны Шербеек со своей принаряженной супругой. Я странно чувствовала себя среди них, чокаясь за прошлое, которое не было моим. Наконец пришла и она. Женщина сорока шести лет. Фламандка, довольно строгого вида, невзирая на мини-юбку и крашеные волосы. Она повела свой рассказ о временах, когда была активисткой группы экологов и часто приходила в "Гаспи" на стихийные диспуты. "Живое было место. Хорошо здесь бы-

ло". А потом, когда я собралась задать вопрос, она вдруг густо покраснела. "Да, я знаю, вам нужно интимное воспоминание. Сейчас". И выложила мне историю — так ныряют рано утром в ледяную воду озера. Это была даже не совсем история, скорее признание, откровенное и без прикрас, о первом мужчине, доставившем ей наслаждение. В нескольких словах сказано было все. "Вот, — заключила она, по-прежнему пунцовая. — Вам надо было рассказать о любви. Я рассказала о любви". Она оторвала кусочек своего сокровенного и протянула его мне — резким решительным жестом, как повязку содрала. Я поблагодарила — "спасибо за подарок" — и ушла.

Я вышла из "Гаспи" еле живая от усталости. Моя гонка подходила к концу. Еще одна встреча — и все, финиш. Мне хотелось остановить время. Чтобы длилась и длилась эта странная жизнь.

Воскресенье. 11 часов. Встреча с женщиной моего возраста на площади Гран-Саблон. Было тепло, это радовало. Мы позавтракали на террасе, а потом прогулялись по кварталу Мароль, старейшему в Брюсселе. Воркующим голосом она рассказывала мне о комнате, которую сняла, приехав в город, и о шагах молодого человека над головой. Потом она затащила меня в бистро, отвратительную забегаловку на улице Самаритэн. Там было темно и грязно, а стены оклеены портретами: невероятно уродливые люди таращились в объектив, глупо улыбаясь. Хозяин и его жена — такие же безобразные, как фотографии на стенах. Freak-show[1]. Она рассказала мне, что приходила сюда несколько раз со своим любимым, чтобы увидеть неприглядность рода человеческого без прикрас. Однажды они стали свидетелями невообразимой сцены: один мужчина засунул руку в штаны своего соседа и достал оттуда пригоршню дерьма. Я поспешно выпила кофе и попросила: "Давайте уйдем". Это было уже слишком. Слишком насмотрелась, слишком много всего пришлось проглотить и переварить. Закрома моего мозга были переполнены, не осталось даже крошечного местечка. Мы вышли, направились к рынку. По дороге говорили о том о сем. Потом она ушла.

На площади Же-де-Балль я присела на скамейку у церкви, сидела и смотрела на торговцев, которые убирали свой товар. Ко мне подошла старая, вся в морщинах женщина, и я заговорила с ней. Это не в моих правилах — заговаривать с незнакомыми людьми. Но не знаю, что со мной случилось, это была не совсем я. Она рассказала мне о своей жизни, немного, по крупицам: о муже, славном человеке, о киоске на рынке, который они держали много лет. Посреди разговора она вдруг зажала рот ладонью и воскликнула с сильным брюссельским акцентом: "Боже! Я забыла дома зубы!" Мы посмеялись. "Меня зовут Элиза", — сказала она, улыбаясь беззубой улыбкой.

Потом я долго бродила без цели по улицам. Итак, "Напиши город" позади. Я закончила. И впервые спросила себя: что я стану со всем этим делать? С тетрадью "Клерфонтен", полной историй о чужой любви. Что вообще можно сделать из них? Рассказать конечно же, но как? Образ возник сам собой, образ женщины, которая сидит перед публикой и говорит: это было в Икселе, когда я был еще мальчишкой... в Сен-Жиле, когда я носила пояса с колокольчиками... Да. Женщина обращается к

1. Парад уродов (*англ.*).

людям, все просто. Оставалось найти причину: почему она рассказывает? Но это пришло позже, дома, в моем рабочем кабинете, когда эйфории у меня поубавилось, да и солнце сияло не так ярко.

На обратном пути я заново, час за часом, мысленно пережила всю эту неделю. Можно ли представить более приятное посещение чужого города? Каждое утро получаешь записки на стойке портье, слышишь новые голоса по телефону, с радостным удивлением видишь тех, кому эти голоса принадлежат, а потом — контакт, искра, проскакивающая от слова, шутки, откровенного взгляда, тот главный момент, когда возникает эмоция и воспоминание оживает в блеске глаз. Вы бы отказались всю жизнь прожить так — в череде интимных свиданий с неизведанным?



Я вернулась домой счастливая: десять маленьких историй трепетали правдой жизни на страницах моей тетради. Я читала их и перечитывала, ощупывала, гладила, терлась о них кожей, отыскивая в каждой детали, которые отозвались бы у меня в груди и ниже. Я пропустила их через свои слова, свое дыхание, свои чувства и теперь уже не могу отличить то, что принадлежит мне, от того, что мне было подарено. Но одно я знаю наверняка: они все здесь, эти подлинные истории, здесь, в самой сути "Кожи Элизы".

Я надеюсь, что те, кто доверил мне несколько нот своей внутренней музыки, будут рады узнать отсвет своих любовей в рассказах Элизы. Я благодарю их от всего сердца за то, что впустили меня, постороннюю, на несколько шагов в свой тайный сад. Пусть они не заполнили все пустоты вокруг меня и во мне, но их признания дарили мне тепло и отраду еще много дней. К моим собственным воспоминаниям о Брюсселе прибавились отныне и навсегда их сказочно прекрасные истории.

# Робер Лепаж

# *Обратная сторона Луны*

Фрагмент пьесы

*Перевод и вступление* А. Лешневской

Спектакль Робера Лепажа "Обратная сторона Луны" стал главным событием прошлогоднего, VII Международного театрального фестиваля имени Чехова в Москве. Мало того что ему достался главный приз в номинации "Лучший зарубежный спектакль, показанный в России", еще и критики наперебой восторгались увиденным. С кем только не сравнивали квебекского драматурга, режиссера, сценариста и актера. С титанами Возрождения — ведь в его творчестве сплавлены почти все жанры (от цирка до кино). С Вуди Алленом — находя тексты Лепажа не менее ироничными. С рижским режиссером Алвисом Херманисом, "маленький человек" которого, потрясенный масштабом научно-технических открытий, так же остро чувствует свое одиночество в мире. С Евгением Гришковцом, наконец, — из-за полюбившейся многим сентиментальной интимности монологов. Чем же Робер Лепаж так привлекает и даже, наверное, завораживает зрителей, если они готовы сидеть в зале три, а то и шесть часов кряду?

В театр Лепажа не зайдешь вечерком часа на два, в нем придется пожить: спектакли, нередко длящиеся полдня и не отличающиеся динамичностью, полностью выходят за рамки привычных систем, техник и методов. "Обратная сторона Луны" — не исключение. Если попытаться пересказать содержание пьесы, то получится примерно следующее: похоронив мать, главный герой, Филипп, осознал, насколько он одинок и неприспособлен к жизни — даже с родным братом никак не может наладить отношения. Он перебивается случайными заработками, а в перерывах пишет диссертацию о влиянии научных открытий (в области космо-

© Robert Lepage, 2007
© А. Лешневская. Перевод, вступление, 2008
Редакция благодарит автора, издателя L'instant Scène и театральную компанию Ex Machina за право безвозмездной публикации.

навтики, которой увлечен с детства) на культуру. Защиту Филипп проваливает, а когда его приглашают выступить с докладом о Циолковском на московской конференции, забывает перевести часы и безнадежно опаздывает... Единственное дело, успешно доведенное героем до конца, — послание внеземным цивилизациям. На любительскую камеру он записывает все, что составляет будни простого землянина, и даже выкладывает из разноцветных камней и апельсина на гладильной доске модель Солнечной системы, дабы объяснить дружественным обитателям галактики, где находится наша планета. Рыхлая событийная канва пьесы перемежается фантазиями героя — воспоминаниями о матери, мечтами о встрече с русским космонавтом. Вот, собственно, и все.



А теперь о главном. По сравнению с другими проектами возглавляемого Лепажем театра "Ex Machina" этот спектакль сыграл в жизни автора особенную роль. Идея моноспектакля возникла и была реализована в 2000 году после смерти матери, — события, глубоко потрясшего Лепажа. В театральной постановке все роли — Филиппа, брата и матери — Лепаж исполняет сам. От Филиппа следовало бы ждать филиппик, но вместо них в спектакле один за другим звучат остроумные и пронзительные, почти исповедальные монологи, один из которых приведен ниже. Устами своих героев Лепаж говорит обо всем: о детских мечтах и о смерти, о героях и неудачниках, о бытовых ссорах и о космосе, о любви и зависти, о философии и деньгах. Самое удивительное, что все эти идеи и смыслы, облеченные в многослойные лепажевские слова, каким-то причудливым образом не противоречат друг другу, но сливаются в одну трагикомическую тему — "Человек", со всеми потаенными и оборотными сторонами его сущности.

Место действия: Jealousy bar[1].

Филипп. Простите, а ваши часы не спешат? Нет? Спасибо. А этот бар что, единственное место в отеле, где можно выпить? Или тут есть заведения поприличнее? Так, значит, постояльцы обычно собираются именно здесь? Да я тут встречу кое-кому назначил на десять вечера, но, судя по всему, приглашенный не явится. Нет, я не из Монреаля, я из Квебека, а тот, кого я жду, вообще из заграницы. Просто это единственное место в Монреале, которое он знает, иначе я бы сюда не пришел. Да не то чтоб меня здесь что-то не устраивало... Его-то я сразу узнаю – он очень известный человек. Ну да, я жду Алексея Леонова. *Алексея Леонова.* Нет, он не хоккеист, он русский космонавт. Знаешь, зачем он приехал? Его пригласили на выставку советских космических программ в "Космодоме"[2], на открытие. Да-да, и они летали в космос. Ну, примерно тогда же, когда американцы. Откуда я знаю? Да об этом все знают! Да нет же, никакой я не космонавт, я занимаюсь философией культуры. Вот написал диссертацию о влиянии научных открытий на массовую культуру в XX веке! Вот. И хотел дать ему прочесть. А если мои мысли покажутся ему разумными, я попросил бы его написать отзыв. Он помог бы мне защититься.

1. Бар "Ревность" (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Научный центр космических исследований в Монреале.

Конечно, я расстроился! Еще бы: не каждый день выпадает возможность пропустить стаканчик с космонавтом! А Леонов к тому же человек хороший. Мало того что наукой занимается, он еще и картины пишет. А как интересно рассказывает об освоении космоса! Правда-правда! В молодости я им восторгался. Ну, потому что он совершал всякие подвиги. В смысле много раз в космос летал. И это он впервые вышел в открытый космос. А еще он участвовал в стыковке "Союза" с американским "Аполлоном". Тот здоровый русский, который откинул знаменитый трап и протянул американцу руку, помнишь? Это же он. Как? Ты не видел? И потом, если бы в "лунной гонке" выиграли русские, то и по Луне первым прошелся бы именно Леонов. Только представь, как ему было обидно! Думаешь, мы знаем, что такое задетое самолюбие? Ни черта мы не знаем. Это ж какую выдержку надо иметь!

Да нет же, не астронавт он, а космонавт. А это не одно и то же. Астронавт — это американец, а космонавт — русский. Нет-нет, это совсем не одно и то же. Если разобраться, слово "астронавт" означает "мореплаватель, ищущий звезды", а "космонавт" — "мореплаватель, ищущий космос". Нет, уж извини, между ними нет ничего общего. Ведь слово "космос" очень конкретное, это антоним хаоса. Мы часто слышим: "хаос-космос, космос-хаос". Космос значит порядок, система. А древним грекам это слово служило для описания красоты, потому что для них гармоничная упорядоченность вселенной была синонимом красоты. Вот слово "косметика", к примеру, того же корня, что и космос. Но из этого вовсе не следует, что космонавты — "мореплаватели, ищущие косметику". Нет! Они "ищут красоту". Чего именно ты не понял с самого начала? Я только хочу сказать, что, исходя из такого определения, космонавт — это тот, "кто работает по вдохновению", тогда как астронавт — это тот (*подыскивая слово*)... "кому очень хорошо платят".

Конечно, я хочу с ним встретиться! И не только из-за всей этой затеи с рекомендательным письмом! Больше всего мне хотелось бы поговорить с ним не о научных проблемах, а просто расспросить... ну не знаю, ну-у, как он живет. Как у него получается самые банальные, самые мелкие хлопоты сочетать с самыми важными, первостепенными делами? Или, например, как он находит в себе силы продолжать жить, если после всего того, что он сделал... в истории он останется только под номером "два", словно неудачник какой-то. Вот что было бы полезно узнать. Понимаешь, обида — главное препятствие на пути к примирению. Ведь из-за этого горького чувства не то что народы, даже люди не могут понять и простить друг друга.

Ну да, меня это волнует. Потому что я тоже все никак не научусь жить в согласии. Да, как и все, собственно. Да нет же, не со всеми, а с кем-то! С булочкой? Ну, вот есть у меня брат. Нет, младший. Правда, порой всем кажется, что он старший. Ведь он у нас во всем добился успеха, к тому же говорит как настоящий француз! Выпятит губы — и все думают, он культурный. Брат — единственный родной мне человек на всем белом свете. Наверное, поэтому мне и хочется помириться с ним, но в то же время я никак не могу сделать первый шаг навстречу. Ну, никак, и все тут! Да потому что он болван. Законченный буржуа, который не умеет быть искренним. Он же беспрерывно говорит о деньгах. И амбиции у не-

го зашкаливают: обзавелся здоровенной машиной, огромным домом за городом, где он резвится со своим небезызвестным дружком. Нет-нет, ничего личного. Мне абсолютно плевать, какой он ориентации! Но, как большинство геев, которых я знаю, он беззаботен, богат и чертовски везуч. Чем он занимается? Ведет "Прогноз погоды". На телевидении. Тот, что с бородкой, с козлиной такой. Ага, козел в метеобюро! И конечно, все это с пафосом, с па-фо-сом! Вот он подходит к изображению со спутника, ни чуточки не сомневаясь, что из космоса Земля выглядит именно так: с пунктирными линиями, стрелочками и границами! Что мир был таким всегда! Здесь тебе Косово, а там — Сербия, а это — Южная Африка, а тут — сектор Газа. А вот здесь — провинция Квебек и другие канадские провинции! Все на своих, специально отведенных местах! Ну а худшее, что может с нами произойти, — это мокрый снег или град, чтоб ему! Ему, видать, и в голову не приходит, что бывают вещи посложнее, в которых не так-то просто разобраться, и что Земля, когда на нее смотришь из космоса, похожа на огромную пиццу. Что на этой планете живут люди, и они никак не могут помириться друг с другом!



Еще бы, конечно завидую. Причем мне плевать на всю эту наличность и загородный дом, я завидую тому, что у него нет способности мыслить глобально, нет культуры, нет настоящего образования, нет любознательности. Все, что делает меня несчастным, вроде способности мыслить глобально, сочувствовать людям, да, сочувствовать, — все это для него пустой звук, понимаешь ли! И точка!

Что я всем этим хочу сказать? Что тут у нас? Половина первого ночи, ну, тогда по последней? Выпью залпом, чтоб не задерживать персонал. Ну да ладно. Я вот что хочу сказать: Монреаль, он все еще в Квебеке или из-за всех этих слияний мы в английскую Канаду переехали? Тогда почему вы так рано закрываетесь? Потому что я зануда? Нет уж, ты прямо скажи. Значит, со мной скучно? Слушай, вот уже сорок лет мне все вокруг говорят, что я зануда. Да знаю я, что громко говорю, ей-богу, но так ведь нет никого! Нет уж, позвольте, я громко говорю, но я не смешон.

# Эмиль Неллиган

## *Из полного собрания стихотворений*

*Перевод* Романа Дубровкина
*Вступление* Ирины Кузнецовой

В Квебеке поэт тоже "больше, чем поэт", а Эмиль Неллиган (1879—1941) и вовсе фигура знаковая. Восемь миллионов человек — таково население Квебека — воспринимают свою литературу, и поэзию в особенности, как некое интеллектуальное знамя нации, сохранившей в Северной Америке французский язык. Жители Квебека считают свою провинцию — кстати, самую большую в Канаде — государством в государстве, а девиз Квебека "Я помню", помещенный под его гербом на здании парламента и выбитый даже на номерах автомобилей, означает примерно следующее (хотя об изначальном смысле спорят даже сами квебекцы): "Я помню нашу историю и наше французское происхождение, но мы — сами по себе, мы — не Франция и не Канада, мы — отдельная страна".

В этой ситуации, очень непростой, а временами и острой, Эмиль Неллиган стал одним из главных символов самодостаточности квебекской культуры. Это их Байрон, их Блок, их Рембо. Литературная судьба Неллигана и правда отчасти напоминает судьбу Рембо — бурный поэтический выплеск в юности, затем молчание. Все стихи Неллигана написаны им за пять лет — с шестнадцати до двадцати одного года. В 1899 году он попал в лечебницу для душевнобольных и провел там больше сорока лет, до самой смерти, так и не излечившись от тяжелого психического недуга.

Его отец, ирландец Дэвид Неллиган, был почтовым служащим, говорил дома только по-английски и требовал того же от семьи. У матери, квебекской пианист-

© Les Éditions Fides, 1991
© Роман Дубровкин. Перевод, 2008
© Ирина Кузнецова. Вступление, 2008

ки Эмилии Аманды Юдон, родным языком был французский, его же выбрал для себя и сын.

В школе он учился кое-как, интересовала его только поэзия. Сначала увлекся романтизмом — Мюссе, Ламартином, — потом, став старше, открыл для себя Рембо, Верлена, Бодлера, усвоил их ритмику, стиль и, разумеется, темы. В шестнадцать лет он стал самым молодым членом Монреальской литературной школы, представив на суд приемной комиссии несколько ранних стихотворений. Монреальская литературная школа, созданная Лувиньи де Монтиньи и Жаном Шарбонно, объединяла тогдашних новаторов, поборников свободы творчества, и здесь триумф Неллигана был полным. Стихи, которые он читал на собраниях школы, вызывали изумление и восторг у признанных поэтов.

Дома, однако, обстановка была невыносимая. Считая сочинительство пустым занятием, отец устраивал тяжелые сцены из-за того, что Эмиль бросил учебу. Он настаивал на том, чтобы сын приобрел "полезную" профессию, и со скандалом отключал ему по ночам газовое освещение. Тогда Неллиган писал при свечах.

Задумав большую поэму, которую он называл главным произведением своей жизни, Эмиль несколько недель не выходил из дому, лихорадочно работая у себя в комнате. Отец периодически рвал написанное. Тогда у Неллигана и открылось психическое заболевание. Когда его увезли в клинику, пол вокруг стола был усеян сотнями исписанных листков бумаги. Кое-что он успел переписать в тетрадь, но в больнице все это вдруг утратило для него смысл, показалось детской забавой. Больше Неллиган стихов не писал и неохотно вспоминал те, что сочинил в юности.

До болезни он успел напечатать лишь несколько стихотворений в периодике. Первый его сборник, вышедший в 1904 году, очень быстро принес ему известность в Канаде, Франции и Бельгии. И почти сразу же после смерти, в 1941 году, Эмиль Неллиган превратился в культового персонажа квебекского пантеона. Гениальный безумец, вдохновенный творец-изгой, мятежный поэт в конфликте с грубой прозой жизни — таков его образ в глазах соотечественников. После него не осталось ни писем, ни дневников. Все его наследие — две сотни стихотворений.

## У *огня*

Задиры, сорванцы, в ту пору, помню, мы
Ходили в платьицах и до вечерней дремы
Листали толстые шершавые альбомы,
Пылая жаром щек, румяных от зимы.

И старших бойкими вопросами засыпав,
Считая, что весь мир служить нам присягнул,
Смотрели, как в седле берут на караул
Драгуны дедовских смешных дагерротипов.

Давно ли мы кружком сидели у огня!
Увы, ничто теперь не радует меня:
Один смотрю в очаг, как с братьями когда-то.

К решетке прислоню озябшие ступни,
И молодость мою рисуют головни,
Разбитую, как шлем наемного солдата.

## *Старый рояль*

Расцветший бальзамин
ты больше не поставишь
На крышку черную,
на скорбную плиту:
Старинный клавесин оплакивает ту,
Чьи пальцы некогда касались
этих клавиш.

Катюль Мендес

Погасли клавиши, отпели навсегда,
Не зазвенит струна под крышкою закрытой:
В обиде на людей молчит рояль забытый,
Гремевший в прежние, счастливые года.

Играла мама нам, беспечна, молода,
И комната плыла воздушною сюитой:
Мечтал о чем-то Лист, и буйствовал сердитый
Бетховен, требуя Последнего суда.

Рояль, отраден мне твой профиль крыловидный,
Мы родственны с тобой судьбою незавидной:
Ты музыканта ждешь, мне дорог Идеал!

Эбеновый мой друг, таинственный и хмурый,
Ах, кто бы завладел твоей клавиатурой
И для меня концерт торжественный сыграл!

## *Разрушенная часовня*

К утру холодные осенние дожди
Обезобразили простор, еще зеленый,
Иззябнув, тороплюсь к часовне отдаленной,
Сквозь ветки вижу крест высокий впереди.

В полузаглохший парк мечтателя веди,
Аллея верная, туда, где гнутся клены,
Где слышен крик совы, надрывный, исступленный,
А сердце — сердце пусть колотится в груди!

Колокола веков минувших отзвонили
Среди забвения и сырости, и гнили,
Но золотистая мечта парит дрожа.

И, словно на земле я каждого виновней,
Колени преклонив, рыдаю о часовне,
Где ожил в сумраке обломок витража.

## На *безлюдье*

Деревья с тощими стволами полутрупов
Торопятся вконец закоченеть к утру
И гнутся под бичом, сдирающим кору,
Цепляясь за края заснеженных уступов.

Вслед за зимою Смерть пришла, тропу нащупав:
К стоянке лагерной, к приютному костру
Спешат охотники, продрогнув на ветру,
И белый пар идет от лошадиных крупов.

Давно спустилась ночь на мертвенную стынь,
Как вдруг в безмолвии арктических пустынь
Возникла вдалеке волков голодных стая.

Навстречу всадникам запрыгали они,
И жутким призраком над снегом вырастая,
Повисли желтых глаз жестокие огни.

## В *духе* Вергилия

Октябрьские спустились вечера,
Туманом горы опоясав.

Отчаявшись перекричать ветра,
Хрипят свирели козопасов.

Вот самый старый среди них умолк:
Он шум шагов моих услышал.

В полночных бденьях понимая толк,
Он поболтать со мною вышел.

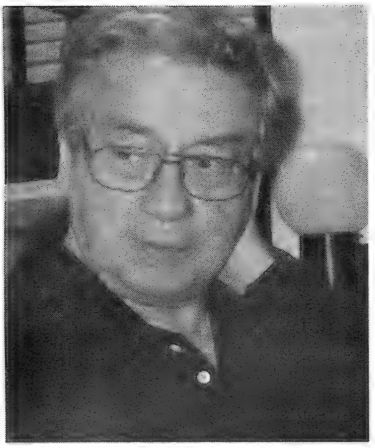
Я старца разговорчивого чту,
Обычая мы не нарушим:

Он буколическую простоту
Печальным возвращает душам.

Его советы выслушать не прочь
Рожок луны в тумане мглистом,

И древней серенадой дышит ночь
Над одиноким остролистом.

# Жан-Ги Пилон



## *Из книги "Как пойманная вода"*

*Перевод* Ирины Кузнецовой

### *Подвесные мосты*

Где покоятся
Те подвесные мосты
Что от ран повседневных
К надежде остаться в живых
Перекинуты были когда-то

Я же помню я помню мосты
А мосты означали что берег
Где-то есть и не может вода
Затопить одиночеством остров
Были легкими запахи
Всюду новые игры искал
Детский взгляд ненасытный и острый

Не твердите мне снова я знаю
Что вернутся дождливые дни
С тихой матовой радостью
И все тяготы сложатся вдруг
В небывалое равновесие

В глубине моего существа
Обитают печальные лица

© Les Éditions de l'Hexagone, 1968
© Ирина Кузнецова. Перевод, 2008

И подобия странных картин
То ли призрак невзгоды над ними
То ли власть мандрагоры кровавой

Исчезают ночные виденья
Где ж рассвет
Знаю завтрашний день
Скоро встанет над нашими масками



## И *сгорят корабли*

Когда обессиленное лето
Устанет петь над нашим сонным царством
Мы забудем дорогу из дома на улицу
Забудем ответить на рукопожатие
Взглянуть на зябкие плечи женщин

Спасти утопающего
Укрыть невиновного
От так называемого правосудия

Страдая от голода
Не захотим наклониться
К горячей земле
Где созрели колосья пшеницы

Мы застыли на мертвой точке
Отступились от жизни
Мы ждем от кого-то спасенья
А двери закрыты мы даже не смазали петли

Но однажды под окнами дерево
Закричит о своей чистоте
Оно сбросит покровы
И мы устыдимся если способны еще стыдиться

## *От зимы к зиме*

Снега
Это цепи у нас на ногах
Зима как тюремная ночь

Голову в плечи втянув
Мы ждем
Безучастно и молча
Что придет избавление
Само собой

Снега или зеркало
Льды оковали душу этой земли

# Норман де Бельфёй

## *Из книги “Шествие слепого без собаки”*

*Перевод* Ирины Кузнецовой

***

Мне хочется
как когда-то
давно
думать только об оранжаде
и Монтеверди
особенно о “Вечерне”
особенно о “Suscepit Israël”

но теперь я всего лишь
система черных страстей
все драконы детства
вернулись
и я превратился
в *систему страстей*
в настоящую программу агонии

я дефект
материи
я тот кто знаком
с девушкой которая была поплавком
она пила вермут

© Éditions Québec Amérique inc., 1999
© Ирина Кузнецова. Перевод, 2008

героиня
сидевшая в раме окна
своей комнаты
точно посередине
между *системой страстей*
и *ресурсом отчаяния*



***

Я целовал тебя на краю твоих мыслей
с привычной изысканностью краснобая
я, безвольно цеплявшийся
за надежду понять
печальное уравнение
где мои робкие притязания
остаются единственным неизвестным
между *крушением* и *мелодичной мечтой*

и как раз в этот миг
я опять
услышал
безумные звуки
своего извечного марша:
я знаю что буду
всегда
старше чем моя смерть

а что до тебя
то возможно однажды
ты вспомнишь об этом —
я имею в виду о реальности
и я очень желаю тебе тогда
этой встречи
ну в смысле, с реальностью.

***

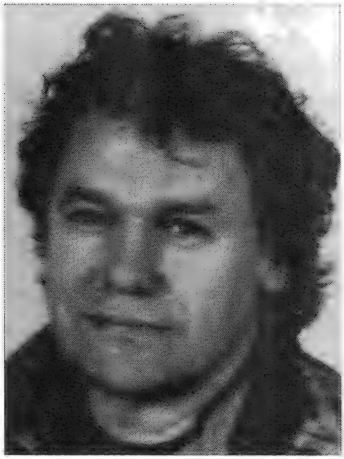
Девушка которая была поплавком
берет руку Уолта Уитмена
там живет струение
и ритм струения
она водит рукой Уолта Уитмена
по *Тетради ритмов*
заставляя вычеркивать слова
*теология* и *благочестие*
и повторять вслед за ней:
*На небе смерть мне что-то шепчет*
еще разок
последний раз
и наконец
совсем-совсем последний

***

Любовь это просто
беспорядочный гул
ее натиска
невидимая швея
и вертикаль
платья на женском теле
верхний ярус стихотворения
и его проступающий очерк
и его композиция
со всеми фанфарами

ты сразу же стала
моей предысторией
и моим разбитым окном
предсмертной песней
всех этих зверей
которых не будет на свете
никогда никогда

# Жан Прованше





# *Из книги "Спутанный человек"*

*Перевод* М. Яснова

## *Это матери*

Это матери, неизменные матери, то нежные, то изнуренные. Матери-моря, высохшие до срока. Матери-горы под изматывающим солнцем. Матери-жертвы собственного обожествления.

Это отцы, ветви, простирающие руки, блистательные и смутные обломки прошлого. Океанская зыбь и эхо тени. Солнце их отягчает.

Это дети, тянущиеся к свету. К тому, что наперекор. Готовые к жизни.

Если их столько объединяет, откуда приходит исчезновение?

© Écrits des Forges, 1996
© М. Яснов. Перевод, 2008
Редакция благодарит издательство "Les Écrits des Forges" за право безвозмездной публикации стихов на страницах журнала.

## Река

В детском моем сознании вода низвергается сверху, жаркая, точно печь.

Фиорд и живая река. Обрывистые берега.

Я лезу в пещеру. Под ногами знакомо хлюпает глина.

Где-то там стремнина, пучина, море.

Острова, внезапные, мимолетные, вызревающие под солнцем.

А речка моя мелеет, берега осыпаются. Сердце ее черствеет. Кружится голова. Стреляет в пояснице. Рубцы каменеют.

Я кричу. Мой крик улетает в небо, молит хотя бы о капле влаги. Тщетно. Чем утолить мне жажду этих жестоких гор? Пустыня все поглощает.

И вдруг — воздушный мост. Текучие грезы. Река, встающая на дыбы. Возрождение. Тело реки, ставшее жестом, движеньем. Прыжок. Мое детское тело, растворенное в этой прозрачности. Рот открыт. И по мне стекают пот и слезы небес.

Дождь становится тоньше и тоньше, легкий, свежий, хрустальный. Вот и все. Все, что помню: снова гладь на воде, будто и не тронутая дождем. Тонкая кожа. Синяя вена. Таинственный путь.

Детская моя память запечатана отпечатком льда. И она ждет не дождется ледохода.

## Взлет

Всякий раз, когда птица меня застает врасплох в этом саду, скрытом от досужих глаз, я протягиваю к ней ладонь ароматов и цветущих красок.

Всякий раз я сам застаю себя врасплох из-за этой тишины, тянущейся ко мне в поисках глотка кислорода.

Всякий раз дыханье и шепот, и зябкая песнь поднимаются к ней с моих иссушенных губ.

И тогда уплотняющийся хаос моих слов воскрешает мое желанье взлететь — туда, в бескрайнее поле.

## *Граница*

Не останавливайся при виде издохшего пса, гниющего на влажной земле.
Не останавливайся, проходя сквозь покинутый город, наполненный ревущими львами.

Игра в лабиринт еще не началась.

Не забывай свое имя при свете едва наступившего долгожданного дня.
Не забывай о сестре, покинутой вдали от пиров грядущей ночи.

Игра ведет тебя в глубь холодных сердец.

Не избегай того, кто предложит тебе подняться на вершину холма.
Не избегай уединенья при закрытых дверях на границе хаоса.

Игра уведет тебя с легкостью — туда, в подполье, как в зазеркалье.

Туда, куда путь заказан под глухими коврами.

Но там найдется колодец, по которому можно подняться. Он ведет прямо в сонное око, отяжеленное сном, и к нёбу с привкусом гроз.

## *Страсть к путешествиям*

Если тянет меня в дорогу, туда, за пески и за ледники, вослед облакам, к другим материкам,

Если игра в чужедальность заставляет меня трепетать,

Если слюной на моих губах проступает желанье пути,

Я стряхиваю с век моих это видение, эту тяжелую тень. И возвращаюсь к будням и призываю их вновь, как губы мои призывают любовь.

Я вновь возвращаюсь в глину и прах смертного, первого встречного.

Я вновь отмечаю в душе место борьбы и краха.

Я вновь предаюсь геометрии неизведанного, вычисляя грохот морского прибоя.



## *Под ночным небом*

Человек — это темная оболочка, сама себя сдувающая. Прерванные порывы.

Человек — это неизвестный в шрамах: их можно увидеть, но невозможно прощупать.

Человек — это город в кованых решетках.

Под хаосом звезд я стою — прохожий, бродяга, чужак.

# Серж Патрис Тибодо

## Из книги "Перемещение льдов"

*Перевод* М. Яснова

***

сны
стекают один за другим
перед моими глазами,
оживают,
моей наготой
заполняют будущие страницы.
так со стоном, без лишних слов
я являюсь на свет.

***

облака — заслонять колокольни,
растворяться в пространстве,
камень — его кроить.
под веками ничего, кроме забвения, —
с грустью его исторгать.

© Écrits des Forges, 1999
© М. Яснов. Перевод, 2008
Редакция благодарит издательство "Les Écrits des Forges" за право безвозмездной публикации стихов на страницах журнала.

***

наброски сумерек,
оцепеневшее море чернил,
твои запотевшие губы,
разбросанные вещи;
высохшие морские звезды,
свешиваясь с потолка,
с жадностью пьют
спертый комнатный воздух.

***

на столе — забытые книжки стихов.
на дымчатом стекле моих стаканов — капли чернил.
что за ерунда:
на улице —
сиплый крик,
а у меня на лице — изнанка голубого:
кровоподтек.

***

лестницы лицом к лицу с окнами.
на улицах палые листья,
серые, подобные калекам.
пусто; даже тень твоя исчезла.
порой возникает твой профиль,
мимолетный, как дождь.
и все зеркала пытаются выговорить твое имя.

***

ожидание нас истощает.
я рассматриваю твое лицо, тревожное, незавершенное, как рисунок.
и ладонь твоя на моих губах подобна эху зимы.

соль и камень
слезы твои.

***

мы знаем:
теперь снегопад не кончится никогда.
он падает, этот снег, он шуршит у меня в ушах,
втихомолку бьется в моем сердце —
глухие шаги хромого.

***

даже днем темно.
на лестнице ни души.
тишина. по-волчьи подкралась зима,
незаметно, крадучись, на снегу оставляя следы.
я продрог до мозга костей.
и покуда небу грожу кулаком,
тени, дрожащие, ропщущие,
заслоняют луну.

***

чрезмерность отсутствия, пустыня привычек:
вот оно, преимущество быть жертвой.
одним повелительным взглядом
все, подступившее к горлу,
смиряется.

до следующего приступа самопожертвования.

***

вычерненная пеной, сверху глядит луна:
высвеченный склон городских окон,
насыпь, откос —
все исписано чернью и кровью.

***

ночные слова, потерпевшие кораблекрушение.
на пороге дома
я выламывался исключительно ради тебя.
мои бедра тяжелели от твоих взглядов,
и, чтобы в этих игрищах бросить тебе спасительный лучик радости,
ночь скрывала обманы
и мою пустую постель.

***

запах улицы, влага,
неизбежность, необычность, яркий, вздрагивающий огонь —
это я пишу тебе.
о мои окна, мои средневековые любови,
вы превращаете зиму в судорогу признаний.

***

о слово,
оно делает твое присутствие таким достоверным,
что я исчезаю.

# Элен Дорион

## Из книги "Коридоры времени"

*Перевод* М. Яснова

### Приступить к забвенью

(фрагменты)

Я смотрю на тебя
и пытаюсь выбросить за борт
образы этой любви
с которой неясно что делать
поскольку в тебе
столько спасательных шлюпок
не верящих в кораблекрушенье

*

Четыре стены стулья
пара столов большая кровать
ты сдвигаешь и возвращаешь на место
день за днем этот видимый мир
но декорации никогда не похожи
на жизнь

© Écrits des Forges, 1991
© М. Яснов. Перевод, 2008
Редакция благодарит издательство "Les Écrits des Forges" за право безвозмездной публикации стихов на страницах журнала.

*

Пытаюсь остаться
взгляд которым ты меня одариваешь
готов стереть все прежние

*

Нескольких шагов до тебя
никогда не будет хватать
для того чтобы я согласилась
оставаться поодаль

*

Воздух врывается в тело мое полное твоей тишиной

*

Утро синие чернила
на желтой бумаге я получаю
любовные письма
они возникают по мановению
твоей руки которая запинается
и все множит и множит скобки

*

Буду жить не живя
уйду за тобой туда
в то пространство где можно
еще с тобой говорить

*

Говоришь нас ничто не должно разделять
но в тебе ничто
не движется мне навстречу

*

Пора приступить к забвенью
никогда меня не касайся

*

Поговорим о жизни
которую я разрушаю
между нами разрыв
который порой мне ближе
чем наша близость

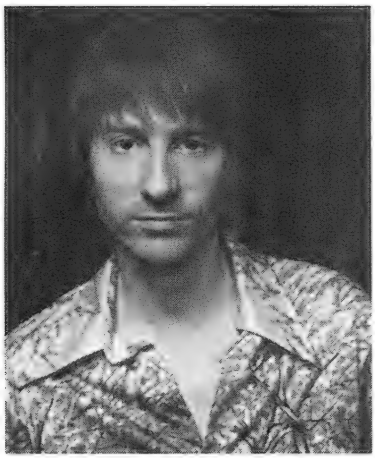
*

Десять вечера больше не жду
призыва плоти
которая онемела

*

И вдали горизонт прекратит походить на тебя.

# Жан-Эрик Риопель



## *Из книги "Строптивые бабочки"*

*Перевод* М. Яснова

***

твои глаза
в моих ладонях
долгий пейзаж
побежденного мира

губы твои
жаркое слово
мякоть
древесного сока

город простерт
у моих ног
палое платье
аэропорт
моего бытия

© Écrits des Forges, 1999
© М. Яснов. Перевод, 2008
Редакция благодарит издательство "Les Écrits des Forges" за право безвозмездной публикации стихов на страницах журнала.

ты я надеюсь там куда я
стремлюсь где горы
стиснуты как река берегами

кожа твоя
моя пустыня
я должен ее пересечь

***

ты ведешь за собой не отдавая себе отчета
пересекая поля обнаженные ноябрем
путь проясняется по мере того как
ты погружаешься в туман
как погружаешься в себя

*так погружаешься в себя*

***

гордость жить
бросать украдкой
взгляд на соседку
ни больше ни меньше
караулить ночи
выслеживать утра
редкая четкость
видеть твердое в темном
легкое в распахнутом
верить в низкопоклонство теней
на кирпичных стенах

поджигать кинотеатры
чтоб ощутить
истинность образа
ладонь опускать на камень
камень прижимать к губам
губы к устам
из уст выдыхать образ
населять его втайне
видеть твердое в благоуханном
слизывать распахнутое
верить в низкопоклонство теней
на кирпичных стенах

***

глаза твои грозы
назови мне
цветок исцеленья
от кровоточащих ран
кальций бальзам
сжигающий наши грудные клетки
мы брошены
как авто вдоль дороги
мы забыли наши обещания
мы их никогда не исполним

вспомним
уходящие улицы
и метро и автобусы
шквал промчавшийся
по нашим жизням

сетка кровати скрипит
тело твое бессильно
перед дыханьем смерти
ты больше не можешь сказать
на что поставить
холод сковал одиночество
осталась всего лишь память
внезапно уставшая быть

*ждать ждать*

мы превратились в птиц
с бесцветными перьями

в гортани твоей металл
слов раскрошившихся от мороза
медленно бьющихся о стекло
все остается на запотевшей
поверхности
град костей с изнанки молчания

вместе
на том исходе слов
где рвется
девственная плева ночи

в нашей подержанной плоти
таится окаменелость
в ладонях останутся борозды
под кожей пульсирует кровь
мы обрели жесты
вечного мира

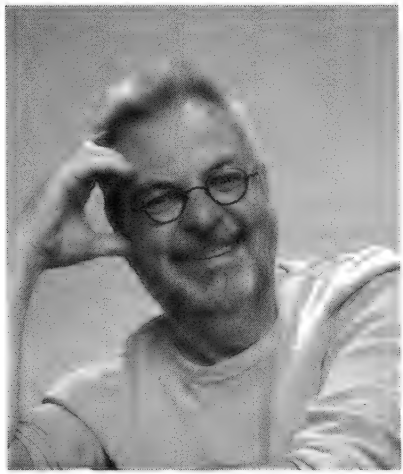
***

Обесцвеченность неба отрезанного от мира
глаза горят как угли в каминах глазниц
синеет слоистый рассвет
утро трепещет листвой
в тумане пустынных улиц
тело взыскующее покоя ежится в парáх
медленных словно души просачиваются сквозь рамы
ночь с трудом выдирает из земли свои члены
свет затмевает зажженные лампы перебирающие
детали комнат
кровь бесплодно потягивается за кулисами сопротивления
что за шум
это музыка бьется ссадина на твоей щеке ухом припасть
к газону
что ты чувствуешь за стеклом окна
если ты там лежишь

***

Ты еще не ложился а уже пора подниматься со стула
и идти на работу
хотя никакая реальность не значит для тебя меньше той
что за окном
ты вновь ощущаешь руки вдоль этого горячего тела ты с ним
в доле сверкающие кометы проигрывают горизонту
вы стоите лицом к этой тягучести
день отделяет цвета один от другого
пустота крадется на четвереньках и вас окружает
что же вам делать этим утром
если не заниматься любовью
не спать
ни о чем не говорить
что же вам делать с тем претерпевшим что от вас остается?

# Мишель Трамбле



## *Из книги "Рогатый ангел с жестяными крыльями"*

*Перевод* Людмилы Пружанской

### "Бюг-Жаргаль" Виктора Гюго

НАЗОВЕМ его братом Леоном, так как я забыл его подлинное имя, или просто не хочу его вспоминать. Брат Леон был моим учителем французского в десятом классе средней школы Сен-Станисласа, которая славилась на весь Квебек своим кадетским корпусом и духовым оркестром (в течение трех лет я промучился в кадетах!) Брат Леон относился ко мне с большим вниманием: он считал меня талантливым и потому предъявлял повышенные требования. Он не прощал мне ни малейшей слабости и за самую ничтожную ошибку в сочинении или диктанте карал строже, чем любого другого ученика из трех параллельных десятых классов. Всякий раз, когда я выражал недовольство его придирчивостью, брат Леон отвечал:

— Учитывая ваш талант, Трамбле, за каждую ошибку в спряжении глагола или описку я должен был бы ставить вам ноль!

Он поощрял меня к сочинительству, догадывался, что я балуюсь пером, и был явно недоволен, что я скрываю от него первые плоды литературного труда.

© Leméac Éditeur, 1994
© Людмила Пружанская. Перевод, 2008

— У вас выходят отличные сочинения, но мне очень интересно, что вы там еще пишете у себя дома, — говорил он.

Я заливался краской. Я молчал, мне совсем не хотелось обсуждать с ним волновавшие меня темы: не признаваться же ему, что я только что написал роман о гомосексуалистах или фантастическую новеллу, вдохновившись "нюрнбергской девой"[1]! Действие происходило в Средние века, и некий барон заковывал в железо женщин, поджаривал их на огне, а потом съедал! При этом, читая на моем лице плохо скрываемое смущение, брат Леон продолжал меня обоснованно подозревать в сочинительстве.

Дома я не знал, куда спрятать мои рукописи. Их число росло не по дням, а по часам. "Красный атлас" моего брата, в котором я долгое время хранил свои первые стихи, перестал служить надежным местом: он был единственной незапыленной книгой в нашем доме, а это означало, что моя мать регулярно "заглядывала" в нее. Также бессмысленно было использовать один из трех ящиков письменного стола Жака и мою прикроватную тумбочку — эта мебель досталась мне от Бернара с тех пор, как он женился на красавице Монике, о которой моя мать всегда говорила с улыбкой: "Надо же! И досталась же такая нашему дурачку!" Туда мог запросто залезть любой член семьи, который пожелал бы пройтись по дому с банкой "Пледжа"[2] или влажной тряпкой.

Но к тому моменту, когда произошла эта история, я нашел место для тайника не хуже того, которое было описано в "Украденном письме" Эдгара По. Мне довольно скоро стало ясно, что на самом деле Жак не читал книг, которые приходили из "Эдисьон Ранконтр". Он просто пролистывал их, пробегал глазами несколько строк, а затем ставил в книжный шкаф, и если бы не мой интерес к чтению, их страницы так и продолжали бы желтеть, оставаясь при этом неприкосновенными.

Несколько месяцев назад по примеру того же Эдгара По, а также Жана Рэя и Нерваля с Лавкрафтом я начал писать серию фантастических рассказов. Лавкрафт был американским писателем на рубеже веков. Мне втайне хотелось считать его своим дедом; где-то я прочитал, что в начале XX столетия он посещал бордели Провиденса. В то же самое время, если верить молве, в этом городе моя бабка по материнской линии "выбивалась в люди"... В моем воображении Лавкрафт знакомился в борделе с Марией Дерозье, безумно влюблялся в нее, просил ее не соблюдать меры предосторожности во время любви, в результате на свет появлялась девочка, которой впоследствии суждено было стать моей матерью. Таким образом, я оказывался внуком Лавкрафта и с гордостью перенимал у него эстафету фантастического рассказа. Я прятал свои новеллы в книгах "Эдисьон Ранконтр". Между страницами четырехтомника "Братьев Карамазовых", двухтомника "Идиота", подарочных изданий "Тэсс

1. Средневековое орудие пытки, своего рода железный саркофаг, напоминающий женскую фигуру, внутрь которого помещали пытаемого. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Марка чистящего средства для мебели.

из рода д'Эрбервиллей" и "Западни" лежали свернутые вчетверо листки с моими опусами, и я был убежден, что никто туда не полезет.



В один прекрасный день брат Леон решил выступить перед нами с резкой критикой "нежелательных" книг. Это было весьма странно, поскольку, кроме меня, никто из нашего класса всерьез не интересовался чтением. Наш десятый был "естественно-научным", искусство вообще и литература в частности мало кого волновали. Его речь рассмешила меня: я подумал, что, бичуя неблагонадежных авторов, брат Леон на самом деле представляет нам список рекомендуемой литературы. Например, он сказал:

— *Весь* Виктор Гюго, вы хорошо меня слышите? *Весь* Виктор Гюго под запретом. Этот распущенный писатель, заявлявший о своей близости к Богу, на деле был революционером. Не прикасайтесь к его книгам, ограничьтесь коротким открывком из "Тружеников моря", который входит в вашу программу по французскому. И не надо читать его поэзию! И романы тоже! Это опасные книги!

После таких речей даже у самых отпетых бездельников, которые в жизни не открыли ни одной книжки, должно было появиться желание почитать Гюго. А может быть, в этом и заключалась цель брата Леона? Я заканчивал "Собор Парижской Богоматери", изданный в серии "Нельсон", но не мог взять в толк, что предосудительного он нашел в этом романе. Я наслаждался рассуждениями автора по поводу типографского станка, который, после колеса, Гюго считал величайшим изобретением человечества; я зачитывал их вслух моему отцу, и у того от волнения наворачивались на глаза слезы; мне хотелось обнять трогательного Квазимодо, а Эсмеральда с ее козочкой и другом-красавчиком казалась мне такой глупой!.. После этой книги я решил уехать из Монреаля, чтобы припасть к стенам собора Парижской Богоматери, представлявшегося мне открытой книгой и в то же время неприступной твердыней, в которой скрывались средневековые тайны. Как католический священник мог клеймить подобное произведение?

Наверное, причиной были свободные нравы Гюго, о которых упомянул брат Леон. В конце концов, Эсмеральда была *цыганкой,* и можно было легко себе вообразить, что она, давно распрощавшись с *девственностью,* легко вступала в связь с мужчиной. Я видел, как мои товарищи по классу, записывающие за братом Леоном, внимали его речам. Это затхлое лицемерие и изощренный метод пробуждения интереса к чтению — даже если в нем и скрывалось истинное намерение брата Леона, в чем я лично сомневался, — казались смешными! Почему не сказать, что роман "Собор Парижской Богоматери" читается легко, что он увлекательнее любого вестерна, и самое главное — благотворен для души? Почему нельзя было подчеркнуть все положительное, что в нем было, и этим поощрить чтение, вместо того чтобы привлекать запретным плодом?

Пока брат Леон продолжал посылать гневные стрелы в адрес "нежелательных" книг, я впервые осознал, что, может быть, и я тоже занимаюсь "опасным сочинительством". Так что Достоевский, Толстой и Золя, которые наверняка были в списке, служили тайниками для других запретных текстов! Я прыснул от смеха, и это рассердило учителя французского.

— Трамбле, встаньте и объясните нам, отчего вам так смешно! Не слышу! Встаньте, чтобы все увидели ваше красное, как помидор, лицо! Значит, список нежелательных книг — это, по-вашему, весело? Может, вы считаете, что к вам он не относится? Может, вы кое-что из него почитываете? А? Почитываете, я спрашиваю? Вы читаете книжки из этого списка, да или нет?

Я ответил, не раздумывая:

— Я прочитал "Собор Парижской Богоматери", но не знал, что он в списке...

Послышался возмущенный шепот, брат Леон вытянулся в струну. Я подумал: вот, готово, сам себе подписал приговор, какой же я дурак! Он подошел ко мне, лицо его было пунцовым. В руках он держал указку, которой, казалось, готов был меня ударить.

— Вы прочитали "Собор Парижской Богоматери"?

— Ну да.

— Целиком?

— Ну да.

— Вы после этого исповедались?

— Я уже сказал, что не знал, что эта книжка в списке...

— Молчать! Опустите глаза! Вы должны покаяться в грехе!

— Я не могу покаяться, я не знал, что эта книжка в списке, я не совершал греха!

— Он еще и упирается! Сейчас же идите к директору и попросите специального разрешения для срочной исповеди. Скажите ему, что это чрезвычайно важно!

— Он подумает, что я кого-нибудь убил...

— Я сказал вам: молчать! — Он повернулся к классу: — Видите, к чему приводит чтение Виктора Гюго. В результате вырастают вот такие нахалы! Вы сильно расстроили меня, Трамбле! Я думал, что вы разумный человек и добрый католик! И я уже всерьез задумываюсь: а так ли мне интересно, что вы сочиняете по секрету от всех?

Несколько минут спустя об этом уже знала вся школа. Трамбле из десятого класса "С" прочитал Виктора Гюго и обязан срочно исповедаться! Я был настолько унижен, когда входил в церковь (директор, как только я признался в совершенном мною проступке, позвонил священнику, чтобы тот немедленно выслушал мою исповедь), что был готов умереть на месте, провалиться сквозь землю, рискуя оказаться в аду, коль скоро я совершил смертный грех. Но вскоре глупость всего случившегося развеселила меня, и я поклялся за себя отомстить.

***

Это была самая смешная и нелепая исповедь за то недолгое время, что я был правоверным католиком. У дверей церкви Сен-Станисласа меня ждал священник в предвкушении моего рассказа о грехопадении. Я следовал за ним по боковой аллее по направлению к исповедальне и наслаждался шелестом его сутаны. Он казался мне таким красивым! Собираясь на каток, он подпоясал ее ремнем, отчего можно было разглядеть его брюки, но я старался отвести от них взгляд. Не признаваться же ему

в истинном грехе! Тем более если шла речь о грехе, имевшем прямое к нему отношение!

– Что же вы такого совершили, прости Господи, чтобы нам пришлось прервать наш традиционный хоккейный матч по средам?

– Я прочитал Виктора Гюго.

Он вдруг замолк и повернулся ко мне.

– Как-как?

– Я прочитал "Собор Парижской Богоматери" Виктора Гюго.

– И только?

– Угу. Но, похоже, этого достаточно!

– Директор школы беспокоит меня ради исповеди из-за того, что вы прочитали "Собор Парижской Богоматери"?

– Ну да.

– Боже, какой глупец!

– Но эта книжка – из списка.

Он тряхнул головой. У него была красивая шевелюра.

– Неужели "Собор Парижской Богоматери" в списке? Я этого не знал.

– Так точно.

– А вам это было известно?

– Да нет же. Если уж вы этого не знали...

– Но, если вам это было неизвестно, это не грех. А вы не совершали греха во время чтения?

– Не знаю... Мне кажется, что нет...

– Какой глупец! Немедленно ступайте в класс, я поговорю с вашим директором. Впрочем, на всякий случай все-таки повторите несколько раз "Аве, Мария..."

Мы с ним так и не дошли до исповедальни.

Я вернулся в класс. Брат Леон смотрел на меня глазами, полными ненависти. Должно быть, пока я шел обратно, священник-хоккеист уже донес до них с директором свое мнение. Брат Леон хотел преподать мне урок, а в результате сам оказался в дурацком положении, а заодно с ним и директор.

Но он и предположить не мог дальнейшего хода событий. Как, впрочем, и я. А мне пришлось заплатить немалую цену за один из самых смелых поступков моего отрочества.

У моего брата, не один год преподававшего французский, имелась бесценная "книга для учителя" – известная публикация Отдела государственного образования, в которой содержались ответы на все упражнения по французскому с первого по двенадцатый класс и в которую я никогда не заглядывал – из приниципа. Я часто видел книгу для учителя на столе Жака и мог бы не раз воспользоваться ею для выполнения особенно трудных упражнений, но, будучи по натуре честным, что могут подтвердить все, кто меня знает, и к тому же упрямым, я предпочитал действовать самостоятельно. Найти ответ, а если нет, то мучиться от бессилия.

Но в тот день у меня было основание заглянуть в эту книгу, и тут брат как раз вернулся домой.

– С каких это пор ты роешься в книге для учителя? – спросил он.

— Клянусь, я никогда до этого в нее не заглядывал, но мне кое-что нужно посмотреть, и я хотел спросить у тебя разрешения...

— А что ты ищешь? Я могу тебе помочь.

— Я ищу список нежелательных авторов.

Он громко расхохотался, запрокинув голову.

— Это просто: все, что тебе не терпится прочитать, скорее всего, в нем содержится.

— Я не шучу! Я хочу узнать, как быть с Виктором Гюго.

— Я же дал тебе возможность прочитать "Собор Парижской Богоматери" и ничего при этом не сказал, так что не перегибай палку...

— Но сам-то Гюго в списке?

— Скорее всего, да, но вряд ли ты найдешь эти сведения в книге для учителя...

Ему самому стало любопытно. Он вытащил какую-то толстую книгу. Это был "Перечень", под редакцией достопочтенного Сажома. Брат пролистал его поспешно привычными движениями, а затем испустил победный крик:

— Вот оно. Ну, и что я тебе говорил?

Целая страница была посвящена Виктору Гюго. Я был в отчаянии: "Собор Парижской Богоматери", "Отверженные", "Девяносто третий год" — все было под запретом. Я уже собирался в ярости закрыть книгу, как вдруг остановил взгляд на небольшом абзаце внизу страницы. В нем говорилось, что первый роман, "Бюг-Жаргаль", который Гюго написал в возрасте шестнадцати лет и экземпляр которого, по счастью, хранился у нас дома (он был издан в той же маленькой и симпатичной серии "Нельсон"), *не входит в список!* Наступал мой час.

Брат забрал у меня книгу.

— Что-то ты больно радуешься, а я бы поостерегся!

На следующий день я явился в класс, настроенный воинственно, что вообще-то мне совсем не свойственно. В руках у меня был мой экземпляр еще не читанного "Бюг-Жаргаля". Я хорошо помню, что последний урок, который начинался в три часа двадцать пять минут и заканчивался в пятнадцать минут пятого, был у нас "свободным": в это время мы могли читать и делать домашние задания. Я был, пожалуй, единственным в классе, кому нравился свободный урок; остальные ребята терпеть не могли "дополнительных занятий". Думаю, что на этом основании они считали меня величайшим занудой.

Тот день стал для меня особенным: моя непопулярность (я, отличник, слыл любимчиком брата Леона) не помешала одноклассникам наброситься на меня с расспросами о том, что же произошло накануне. И я во всех подробностях рассказал им о своем посещении церкви. Затем ровно в три часа двадцать пять минут я торжественно извлек из ящика парты "Бюг-Жаргаля" так, чтобы брат Леон, бывший еще и нашим классным надзирателем, мог ясно увидеть мою книгу. Опустив голову и нахмурив лоб, я стал делать вид, что погружен в чтение.

Брат Леон "клюнул" быстро и уже несколько минут спустя стоял у моей парты, стараясь из-за моего плеча разобрать название романа, который был у меня в руках.

— Виктор Гюго! — выкрикнул он.

Двадцать девять учеников нашего десятого "С" подскочили с мест, раздались возгласы изумления; никогда раньше брат Леон не орал так громко. Все взоры устремились в нашу сторону.

Брат Леон побелел от гнева. Он выкрикнул название "Бюг-Жаргаль" так, словно получил удар под дых, после этого он будто лишился дара речи, и мне показалось, что он сейчас рухнет на наших глазах, умрет от апоплексического удара рядом с моей партой.

Он схватил меня за шиворот, тряхнул со всей силой и потащил к выходу. Расстояние от класса до кабинета директора было преодолено в рекордное время. Когда мы вошли в кабинет, я держал мою книжку в руках.

Объяснение было долгим, тяжелым, бессвязным и, в конечном итоге, унизительным. Впрочем, систематическое унижение учеников было любимым занятием и главной силой братьев из организации "Христианское образование", и в тот день я еще раз смог в этом убедиться. Я был победителем, так как располагал доказательствами, что "Бюг-Жаргаль" не входил в список запрещенных книг. Зато у них была неограниченная власть, которой они могли распорядиться как хотели. Они обзывали меня воображалой, выскочкой, дураком, упрямцем, они грозились выкинуть меня из школы. Я уже представлял себе умирающую от стыда мать: она-то привыкла гордиться моими школьными успехами. Мне было заявлено также, что я оказываю дурное влияние на других учеников, в то время как я общался только с Реалом Бастьеном, которого знал с шестилетнего возраста, и Жан-Клодом Амелем — это был один из немногих симпатичных ребят в классе. Потом меня заставили, опустив взгляд, встать на колени, а сами принялись осыпать оскорблениями.

Я осмелился бросить им вызов. На самом деле я осмелился защитить правду, вопреки им всем — и за это мне мстили. Несмотря на осознание своей правоты, я вышел из кабинета директора ошеломленным, подавленным, взбешенным. "А что, если меня выгонят из Сен-Станисласа?" — вертелось у меня в голове.

И все же, хотя они могли и дальше издеваться надо мной, им не дано было помешать мне читать "Бюг-Жаргаль", и я читал его в классе, по несколько глав в день. И так дочитал до конца под ненавидящим взглядом брата Леона, который, по его словам, не мог прийти в себя от моей черной неблагодарности, а он-то до недавних пор считал меня образцовым учеником!

Нужно ли говорить, что эта история отразилась на моих оценках, несмотря на невероятные усилия, приложенные мной, чтобы писать сочинения и диктанты безупречно.

Они вволю насладились данным им правом творить бесчинства. Впервые за многие годы я был вычеркнут из лучших учеников класса. Глядя в мой табель, мать хмурила брови. Она подписывала его, не задавая вопросов. Я знал, что огорчаю ее. И снедаемый чувством вины, прятал стыд в глубине сердца. Но не идти же мне было теперь в школьные стукачи!

Зато, прочитав всего Виктора Гюго, я обрел почву под ногами.

# “Ночной полет” Антуана де Сент-Экзюпери



ПРЕЖДЕ чем приступить к истории, по силе воздействия на мою душу сравнимой лишь с открытием древнегреческой трагедии, я хотел бы рассказать об одном эпизоде, который, помнится, вызвал во мне приступ сильной зависти. Случилось это лет двадцать назад.

Как всегда, каждый вечер после спектакля мы ужинали с друзьями у Джузеппе, державшего отличный итальянский ресторанчик на улице Нотр-Дам, где какое-то время, а точнее, с конца шестидесятых до середины семидесятых годов, собиралось монреальское театральное братство.

В тот вечер мы (“мы” означало шумную компанию не слишком утонченных, зато всегда готовых веселиться неисправимых гуляк) — Брассар, который с осторожностью начинал есть что-то, кроме гамбургеров; разделявший мою страсть к спагетти алла карбонара Клод Ге; восхитительная Дениз Фильятро (как всегда, проглотив что-то наспех, она мгновенно упархивала в собственный ресторан, за которым требовался глаз да глаз); Кристин Оливье; мой тогдашний дружок Роберт Л.; заботливый, словно мама родная, Джон Гудвин и Камилла, которая не уставала повторять: “Не переедай, Мишель, не то всю ночь тебе пить диовол[1]”, — так вот, в тот вечер мы приняли в свою молодую разбитную компанию поэта и драматурга Мишеля Гарно, пришедшего с актрисой Мишель Россиньоль, которая опять стала блистать в роли Пьеретт Герен в моих “Золовках” (дело было в 1971 году).

Мы предались воспоминаниям детства: Брассар провел его в Монреале на улице дез Эрабль, Дениз — на улице Картье, Джон в городе Квебеке, Камилла в Шикутими, я тоже в Монреале, на улице Фабр, которая уже тогда была бесценным источником моих литературных упражнений. Вдруг Мишель Гарно поведал нам, что, когда он был маленьким, к его родителям в Квебек приехал один французский господин. И этот французский господин усадил его к себе на колени и стал рассказывать о книге, которую писал; это была история маленького принца, жившего на крохотной планете вместе с цветком, змеей и лисом... От удивления у нас отвисли челюсти: сам Сент-Экзюпери пересказывал ему “Маленького принца”! Мишель — на коленях у Антуана де Сент-Экзюпери! И какой он был? Приветливый? Нет? Надменный? Простой? Держался как великий писатель или вел себя непринужденно, подобно всем истинно великим?.. Так ли много пил, как об этом судачили? И действительно ли, будучи под мухой, развлекался тем, что срезал галстуки у своих собеседников?

После того как Мишель Гарно завершил свое подробное темпераментное и, как всегда, убедительное повествование — а он был и впрямь великолепным рассказчиком, — воцарилось всеобщее молчание. Затем я объявил, что единственная знаменитость, с которой мне довелось по-

1. Лекарство от изжоги.

встречаться в детские годы, была Жинетт Рейно[1] (так писали ее фамилию до тех пор, пока она не начала именовать себя Рено). В ту пору она уже творила, что хотела, чем шокировала весь наш приход церкви Непорочного зачатия, где она была весьма заметной фигурой, и поэтому, хоть я и сталкивался с ней там время от времени, заговорить не решался.

Как обычно, я пытался скрыть досаду рассказом, выставлявшим меня в смешном виде. На самом же деле мне хотелось подавить зависть, элементарную зависть, от которой сжимается сердце и сосет под ложечкой.

Помню, у меня была сильная простуда, ватная голова и заложен нос, который я без устали вытирал носовыми платками, мягкими от многократной стирки вручную. Стоял весенний солнечный день, но я толком не мог ничего разглядеть, так у меня слезились глаза. Помню также надоевший до чертиков куриный суп, приготовленный мамой, и распахнутую книжку на кровати.

Это произошло несколько месяцев спустя после инцидента с романом Андре Белана "Ненастьем во плоти". Едва придя в себя от унижения, я начал скупать книжки в дешевых переплетах, чтобы больше не маячить перед теми, кого я отныне звал "моими мучительницами". Отныне третья полка снизу была моей, чем я немало гордился. Я заполнял ее произведениями, в которых мне явно отказали бы в муниципальной библиотеке: Уайльд, Пруст, Жене, "Сатирикон"; из предосторожности я перемежал эти книжки другими, дабы не привлекать внимание брата или матери. Моя стычка с ведьмой из муниципальной библиотеки пошла по большому счету мне на пользу, ведь я научился ценить книги, принадлежащие мне лично. Я любовался моей полкой и думал при этом: "И это все — мое, ничего библиотечного". Почти все книги были подержанными, ни одной в твердом переплете, зато мои собственные!

Написанные мною самим тексты сменили место жительства и отныне, сложенные в восемь раз, были надежно замаскированы среди заманчивых страничек "Портрета Дориана Грея", язвительных диалогов "Служанок" или внутри знаменитой оргии "Сатирикона".

Я наткнулся на "Ночной полет" на антресолях магазина "Братья Дюпюи", роясь в куче старых уцененных книжек. Десять центов штука, три — за двадцать пять. В детстве мне очень понравился "Маленький принц", но других вещей Сент-Экзюпери я не читал, может быть, потому, что его очень высоко чтили благочестивые братья из центра "Христианское просвещение"...

И в то утро, свалившись в гриппе, я выбрал эту книжку потому, что она была набрана крупным шрифтом, да и страниц в ней было немного... Быстро прочесть и дело с концом — что может быть лучше, когда тебя мучает простуда? Я и представить себе не мог, чем завершится эта встреча. Не подозревал, что к исходу того дня все во мне перевернется.

В тот день я трижды прочел "Ночной полет". Вернее, два раза полностью, а в третий перечитал наиболее поразившие меня места. Я под-

1. Жинетт Рено — квебекская певица и актриса.

черкивал целые страницы, делал пометки на полях и загибал уголки страниц, чтобы легче было их найти.

Впервые в жизни я прочел роман, в котором не было сюжета в привычном понимании, и вначале это меня смутило. Три самолета вылетели из трех местечек, затерянных на просторах Южной Америки, чтобы доставить в Буэнос-Айрес письма, адресованные в Европу. Дотошный начальник, инспектор, мягкотелый и угодливый, разразившаяся гроза, — да, о'кей, а сюжет-то где? Но затем открывалась красота описываемых пейзажей; в первой главе герои не пересекали Патагонию, как в "Детях капитана Гранта", а пролетали над ней, и у меня возникло реальное ощущение, что это я парю над Кордильерами и Андами. И день угасал где-то за мной, и его сменяла грозная, полная тайны ночь. Повествование с его осязаемой, какой-то чувственной атмосферой дарило возможность пережить то, что ощущали герои Сент-Экзюпери, — отчаяние, которое превозмогал Фабьен, в то время как его самолет терял высоту; любовь двух женщин к своим мужьям и страх потерять их, ведь те, пионеры ночной грузовой авиации, постоянно подвергались опасности; потрясающее мастерство, с каким автор сумел проникнуть в души своих персонажей, словно вместо пера у него был хирургический инструмент; необычный стиль, а главное — эта его ни с чем не сравнимая игра со словом и фразой буквально приковали меня к роману. Я и забыл о своем недуге. Книга, словно я ухватился за воздушный змей, стремительно уносила меня к высотам, о существовании которых я не подозревал.

Я уже давно начал проявлять характер на уроках французского. Меня бесил примитивный стиль, которого требовали от нас в сочинениях: подлежащее, сказуемое, дополнение, иной порядок слов не допускается. И, пожалуйста, пореже меняйте местами главные члены предложения, это может нарушить его смысл, и вводных оборотов тоже поменьше. Если и возникнет необходимость выделить какое-то словосочетание запятыми, то только потому, что оно не на *своем обычном* месте.

Все это, полагаю, вполне устраивало учеников, большинство из которых терпеть не могло сочинений. Но я-то обожал писать! Уединившись, я сочинял фантастические рассказы, в которых находили место мои сомнения и душевные колебания, и втайне мечтал быть опубликованным. И меня раздражали эти дурацкие правила и иссушающие воображение требования, ведь они мешали жить и сочинять так, как требовала душа.

Мои преподаватели — даже грозный брат Леон — разрешали мне небольшие отступления: они признавали за мной дар так называемого "верного обращения с французским языком", но, когда, с их точки зрения, я переходил все допустимые границы, мне возвращали письменные работы, исправленные красным карандашом и с замечаниями на полях: "Нужно переписать, это ниже ваших возможностей", "Не в горячке ли вы это состряпали?", "Вместо того, чтобы тратить время на чтение "Собора Парижской Богоматери" или "Бюг-Жаргаля", почитайте лучше Феликса Леклера!", "Кто ясно мыслит, тот ясно излагает!" Они, однако, должны были догадываться, что как раз после инцидента с "Бюг-Жаргалем" мои мысли утратили ясность, но меня это вовсе не смущало!

Сент-Экзюпери был, конечно, не первым писателем, чей стиль привлек мое внимание, но его рубленые фразы и смелость в их построении распахнули передо мной двери, которые братья из "Христианского просвещения" держали наглухо закрытыми. Например, он писал: "Робино по-прежнему стоял рядом, уставившись на карту; он понемногу приходил в себя". Или вот еще одна фраза, особенно понравившаяся мне: "Он спал в своей мирной постели, как в гавани, и, чтобы ничто не тревожило его сон, она расправляла пальцем складки, словно прогоняя тени, словно разглаживая легкую зыбь и успокаивая постель; так прикосновение божества смиряет море[1]".

Сомнения жены военного летчика, которая не решается разбудить мужа, потому что ее охватывает страх всякий раз, как он вылетает с европейской почтой, были выражены не только подбором слов, но и самой структурой предложения. Его части сталкивались друг с другом, запятые сменяли одна другую, рассекали мысль: и все это передавало беспокойство и нервозность женщины, считавшей, что лучше не будить мужа среди ночи ради того, чтобы он летел через Атлантический океан в кромешной мгле...

Если бы я позволил себе выстроить подобную фразу, брат Леон, наверное, написал бы мне на полях: "Без этого нельзя было обойтись? Переделайте это предложение! Тут впору голову сломать!" Но почему Сент-Экзюпери было дозволено обходить строжайшие правила французского языка, а мне нет? Мне тоже хотелось вывернуть все наизнанку, перевернуть все вверх дном, найти свой собственный способ самовыражения, используя при этом каноны, которые мне внушали с десяти лет! Признавая их большую пользу, я, однако, не испытывал потребности применять их буквально, превращая хорошо выстроенные, но унылые, как дождливый воскресный полдень, фразы в бесконечное мурлыканье!

"Ночной полет" оказался также первой из прочитанных мною книг, к главному герою которой я в конце концов почувствовал неприязнь: он был слишком прямолинеен, отвергал любой компромисс, не прощал малейшей слабости. До этого ни один персонаж не вызывал у меня столь бурных эмоций, как Ривьер, при том что мотивы его поведения были мне понятны. Право Ривьера на несправедливость и его самооправдания представлялись мне двумя волнами, с одинаковой силой меня захлестнувшими, и даже после того, как я трижды прочитал книгу, я не знал, ни как их примирить, ни как заставить одну поглотить другую. Мне был понятен отказ Ривьера от человеческих чувств — симпатии, жалости, — в ином случае ему пришлось бы идти на поводу у подчиненных, но я не понимал, почему директор сети воздушных сообщений лишен способности восхищаться и полностью отвергает дружбу. Ведь он руководил людьми исключительно ради того, чтобы поднять их до недоступных высот совершенства.

Постепенно я стал понимать, отчего братья из "Христианского просвещения" так боготворили Сент-Экзюпери: гуманистический посыл его книг приближался к некоторым христианским догмам. Однако между великим писателем и моими выспренними наставниками было кардинальное различие: герой Сент-Экзюпери был беспощаден к людям из

1. Перевод М. Ваксмахера.

любви к человечеству, из стремления разглядеть в человеке, летящем над морем в *ночном* небе, способность превзойти себя самого, в то время как жесткость святых братьев из "Христианского просвещения" объяснялась исключительно потребностью унизить нас, преподать "уроки", сделать из нас "примерных" учеников, превратить нас, вопреки нашей воле, в правоверных католиков, привить нам это отвратительное чувство, которое, словно гангрена, разъедало католицизм, — чувство вины. Постоянно. За все. Везде и всегда.



Я достал свои тексты, запрятанные среди книжек, и с жадностью бросился перечитывать их. Я вовсе не собирался сравнивать себя с Сент-Экзюпери, у меня и в мыслях этого не было. Но мне хотелось убедиться, не слишком ли я переусердствовал, выполняя указания моих наставников, не слишком ли стандартен и подчинен правилам мой стиль, не слишком ли он скучен из-за боязни отступить от нормы, боязни, которую мне внушали с раннего детства.

И как только прошла простуда, я стал переписывать заново свои фантастические рассказы, несмотря на облегчение, которое я почувствовал, перечитав их: они показались мне не столь уж плохими. На сей раз я полностью отдался на волю воображения. В словарь "Гревисс" я старался по возможности не заглядывать.

И всякий раз, когда у меня возникало желание написать что-то еще, я доставал "Ночной полет" и клал его рядом с собой на письменный стол. Я не открывал этой книги, и я не собирался списывать у Сент-Экзюпери, но это укрепляло меня в мысли, что мои наставники были не правы и что со мной — мой бесстрашный товарищ.

Так я овладел двумя совершенно разными стилями — одним для школы, поскольку мне хотелось по-прежнему получать высокие баллы, тем более что в моих интересах было вести себя хорошо после истории с "Бюг-Жаргалем". Другим — более замысловатым, гораздо более индивидуальным — на радость самому себе.

В результате получилось то, что получилось. Но по крайней мере в этом отражение моего собственного "я".

# Моник Пру

# *Из книги "Монреальские рассветы"*

*Перевод* Е. Леоновой

## *Серое и белое*

Я пишу тебе, Ману, хоть ты и не умеешь читать. Я надеюсь, что ты живешь хорошо и скалы в Пуэрто-Кепосе гордо высятся над тобой, когда ты плаваешь в море. Мы уже устроились. У нас есть диван, новый матрас, четыре крепких стула почти одинакового цвета и чудесный холодильник, в нем можно хранить много всякой всячины. Я сплю на диване, рядом с чудесным холодильником. Все хорошо, вот только я часто просыпаюсь из-за того, что холодильник гремит. Но это ничего, на пути к богатству и должно быть много разного шума, а смелому все нипочем. За окном везде асфальт и серые дома. Мимо туда-сюда ездят машины, и, представляешь, Ману, это не одни и те же машины, а всегда разные — только не подумай, что я хвастаюсь.

Это место называется Монреаль. Оно северное и очень культурное. Все машины обязательно останавливаются на красный свет, и поздно вечером нельзя громко смеяться. На улицах почти не видно жандармов и очень мало собак. Слово "северное" означает, что здесь так холодно, что ты и представить себе не можешь, хотя еще только ноябрь. Сейчас на мне целых три шерстяных свитера, а мама греется возле печки — печка тоже большая и красивая. Но мы привыкнем, обязательно привыкнем, на пути к богатству и должно быть холодно.

© Les Éditions du Boréal, Montréal, 1997
© Е. Леонова. Перевод, 2008

В этом месяце тебе еще нельзя приехать, но ты не огорчайся. Каждый вечер, прежде чем заснуть, я воображаю, что ты рядом, и я глажу тебя по голове, я даже нарочно двигаю рукой, как будто и вправду тебя глажу, — мне так легче мечтать. Я представляю, как мы вместе ловим ящериц на песчаном берегу в Тарментасе, и море страшно ревет, я просыпаюсь — но это не море, это холодильник.



Здесь тоже есть море, один раз я был там с моим другом Хорхе, но оно совсем не похоже на наше. В Монреале море серое и такое современное, что и морем-то не пахнет. Я рассказывал Хорхе о тебе, даже слегка приврал — сказал, что ты весишь килограммов на десять больше, чем на самом деле, уж очень мне хотелось произвести на него впечатление.

Вот как проходит мой обычный будний день. Утром я встаю, ем, вечером ложусь спать — много чего повторяется изо дня в день, я этого почти не замечаю. На улице Мон-Руаяль есть два бакалейных магазина — месье Дроманна и месье Палоза; я работаю в них, разношу покупки по домам. Я уже знаю много английских слов: fast, fast[1], например. Остальное время я в школе, она большая, серая, во дворе серый асфальт и одно-единственное дерево, однажды я влез на него и сломал. Конечно, в школе мне совсем не нравится, я стараюсь запоминать только то, что может потом пригодиться.

По воскресеньям мы с Хорхе курим сигареты и гуляем — куда только мы не забредали. В Монреале можно идти и идти, но горизонта так и не увидеть. Однажды мы всё искали горизонт, заблудились, и жандармы вежливо так посадили нас в новенький автомобиль и отвезли домой. Я вспомнил о тебе, старина Ману, ты ведь любишь бегать за новыми машинами и пугать туристов.

Я не хочу, чтобы ты думал, будто жизнь здесь плохая, это совсем даже неправда, я столько всего увидел здесь впервые, и запах богатства уже начинает понемногу проникать в нашу квартирку. Вчера, Ману, мы ели здоровенные куски мяса, такого нежного и сочного в Пуэрто-Кепосе не найдешь, я оставил кусочек, хорошенько завернул и посылаю тебе. Сказать по-честному, а я ведь не хочу тебе врать, больше всего мне не нравится, что здесь очень холодно, и еще этот серый цвет, он тут повсюду. А маме не нравятся туалеты в магазинах, она там работает, убирает, ей за это платят. Видел бы ты эти магазины, Ману, это не магазины, а целые деревни, и такие современные, в них чего только нет, ты можешь бродить по ним часами и все равно не успеешь рассмотреть все эти прекрасные вещи. Мы их обязательно купим, вот только немного разбогатеем.

Но главное случилось сегодня вечером — и я должен тебе об этом рассказать. Мама чистила холодильник и случайно взглянула в окно. Она первая его увидела. Она вскрикнула, и я подбежал к ней. Мы оба долго стояли и смотрели на улицу и смеялись, как сумасшедшие.

Какая красота, Ману! Прямо с неба сыпалось белое чудо, и все, что прежде было серым, стало белым, совсем белым. Ах, Ману, живи подольше, пусть твоя собачья жизнь продлится до того времени, когда я смогу забрать тебя к себе, и мы вместе поиграем в снегу.

1. Быстро, быстро (*англ.*).

# Поиграть с кошкой

Он идет, и солнце светит ему, женщины улыбаются, он улыбается детям, и на каждом шагу его ждет новая встреча, какое-нибудь приключение. Здесь ему хорошо. Он в роскошном саду, где люди собирают урожай знакомств, как садовник плоды с деревьев. Только что он пил кофе с итальянцем, до этого — рецину с греком, здесь у него повсюду братья, даже если он с ними и не знаком, и все хотят одного — плакать и смеяться вместе с ним. Род людской и этот город, Монреаль, относятся к нему с любовью, а когда он смотрит издали на внушительную оснастку стадиона, то чувствует, что защищен, что его ждут и встречают, как в сельской местности встречает путника церковная колокольня. Малышка живет где-то вот там, неподалеку от Ботанического сада. Вечером он ей позвонит. Он уже предвкушает, как она будет изумленно молчать в трубку, когда он скажет: "Это я, Пьеро".

На углу улиц Сент-Юбер и Мари-Анн, по винтовой лестнице до самого верха — тут теперь его дом, вот уже два дня, но ему кажется, что в этой квартире он живет давным-давно и будет жить еще много лет; он поднимается туда бодро и так сердечно приветствует пожилую даму, вытряхивающую на соседнем балконе тряпки, что та растерянно ему улыбается.

Кошка дремлет посреди залитой солнцем гостиной — старый Будда, видящий во сне свои прошлые жизни. Она приоткрывает глаза, и два ослепительных зеленых луча следят за перемещениями Пьеро по квартире. Стоит ему сказать всего пару слов: "Привет, Толстушка...", как она тотчас вскакивает, несмотря на свою тучность, и со смиренным обожанием долго трется о ноги Пьеро своей головой маленькой львицы. Потом покусывает его и даже царапает в наказание за то, что он оставил ее одну, или за то, что проводил время вне дома, и наконец лижет его, громко урча, ведь он вернулся, он принадлежит ей, и она опять может с ним поиграть.

Их отношения — это долгая история, и элемент обольщения их только подогревает. Обольщает, разумеется, она, ибо испокон веков дело кошек — приручать людей. И удерживать их подле себя, мудро чередуя пылкое обожание с холодной отстраненностью. Это действует, это называется искусством любви и войны, и кошки владеют им куда более виртуозно, чем женщины. Кстати, за тринадцать лет Пьеро много раз менял женщин, но ни разу не поменял кошку.

Мир снаружи полон сокровищ и дурманящих запахов, порой они проникают в квартиру. Сегодня Толстушка с интересом принюхивается к тому, что Пьеро принес с собой: плюшевого кота для Малышки, а папиросная бумага, в которую он завернут, — это для нее, Толстушки... Но рвать ее она не желает и снова погружается в сон царицы египетской — тоже гораздо менее предсказуемой, чем обыкновенная женщина.

Пьеро, усевшись напротив окна, пьет пиво; в окно видна винтовая лестница, постепенно погружающаяся в сумерки; Пьеро ужинает — так, словно у него есть сотрапезник, одиночество его не тяготит. Он смотрит на спящую кошку и думает о женщинах — о тех, с кем был близок. С женщинами приятно, они нежны и воплощают красоту мира, но уж очень беспокойны, так и ищут повод для волнения. А где беспокойство, там упреки, оно убивает любовь, от него угасают самые пылкие чувства.

"Ты меня еще любишь? О чем ты думаешь? Почему ты не звонишь?" Эти дурацкие вопросы превращают фантазии в жутких чудовищ.

Имея возможность парить в облаках, женщины роковым образом предпочитают ходить по земле.



Пьеро думает о Малышке, и рука сама тянется к телефону. Это ради нее он решил обосноваться в Монреале, он мог бы переехать куда-нибудь еще или вообще никуда не переезжать, ему это безразлично. Не город ведь важен, а человеческое тепло и ощущение, что все время движешься вперед, даже если годами не трогаешься с места.

Малышка не станет сразу вешать трубку — ее мать уверила его в этом. Малышка уже почти обрела душевный покой, говорит ее мать, благодаря усилиям врача и группе анонимных наркоманов, которую она посещает. Какие непреодолимые препятствия могут разделять их? Он заставит ее улыбнуться, несмотря на заграждение из колючей проволоки, которое она упорно воздвигает между ними. Убрать колючки и получать удовольствие от общения — это всегда удавалось ему лучше всего.

После четвертого гудка в телефоне раздается голос Малышки. "Алло?" — говорит она, с трудом переводя дыхание, в ее голосе слышится сожаление и недоверие, как будто в действительности она хочет спросить: "Ну, какого черта вам от меня надо?" Пьеро вдруг замешкался: поток ассоциаций, вызванных в его сознании сердитым голоском Малышки, сразу сделал трудным то, что обещало быть простым и радостным. "Алло? — повторяет Малышка и в ту же секунду догадывается, кто там молчит на другом конце провода: Это ты, ты, Пьеро?" Он смеется, ему хочется обратить свое молчание в игру. "Откуда ты знаешь? — весело спрашивает он. — Откуда ты знаешь, что это не любовник звонит?" Малышка, похоже, даже не улыбнулась. "У меня нет любовника, — говорит она. — И потом, я уже два дня жду твоего звонка".

Малышке двадцать пять лет, это значит, что ему сорок семь. Но можно подумать, что ей все сто, у нее всегда был взгляд старушки, слишком долго наблюдавшей изнанку жизни и оттого разучившейся наслаждаться ее приятными сторонами. С людьми ее склада небезопасно вести шутливые беседы, но Пьеро мало чего в жизни боится. Он идет в атаку, вскоре захватывает инициативу в разговоре, и вот уже все, о чем бы ни зашла речь, воспринимается как уморительная шутка. В голосе Малышки исчезает настороженность, она наконец-то дышит свободно. Внезапно перебив его, она спрашивает, чем он в данный момент занят и почему бы ему не приехать к ней, вместо того чтобы вести эти бредовые разговоры по телефону. "Ты же в двух шагах от Мон-Руаяля, так вот, садись в метро, — дотошно объясняет она, словно глупенькому ребенку, — едешь по оранжевой линии в сторону Кот-Вертю, выходишь на Бери-ЮКАМ, пересаживаешься на зеленую, едешь по направлению к Оноре—Богран и выходишь на Пий IX. Запомнил?"

В метро детей мало, а взрослые, что сидят там, будто пришибленные, мало что помнят из детства. На огромного плюшевого кота, лежащего у Пьеро на коленях, никто не обращает внимания. Быть может, усталым в конце дня людям он кажется видением, галлюцинацией? Пьеро подумал о том, что не любит метро и автобус. В метро и автобусе человек подвер-

гается опасности, там каждый за себя в ожесточенной борьбе, ведущейся в тесном пространстве. Вот, к примеру, сидящая напротив женщина в очках упорно делает вид, что не замечает адресованной ей улыбки. Пьеро выбрал ее как мишень, у женщин ведь всегда найдется брешь в обороне. Он пристально вглядывается в ту часть ее лица, где у нее много морщин, взглядом ощупывает дряблую кожу вокруг рта, смотрит так, будто хочет поцеловать ее именно туда, куда ее уже так давно не целовали, и женщина смущается, тревожится и томится. Она бросает на него быстрый испуганный взгляд. Он улыбается. Она смотрит куда-то в сторону, но ее взгляд возвращается к нему, она растерялась, у нее нет сил сопротивляться настойчивому призыву, так волнующему ее увядающее тело, и она устремляет на него вспыхнувшие молодым блеском глаза.

Выйдя из метро на улицу, в пахнущие свежестью сумерки, Пьеро любуется Олимпийским стадионом, который эти странные монреальцы безропотно содержат на свои средства уже много лет. Это сооружение, похожее на отлетавший свое спутник, наполняет его душу острым чувством радости, это целый город, куда он обязательно проникнет, точно видавшая виды крыса, он пойдет туда смотреть матчи, увидит вблизи крышу, о которой пресса сложила целую сагу, простую и сентиментальную. Но сначала Малышка. Она никогда не любила хоккейных и бейсбольных матчей, она вообще не любила. Малышка живет в нескольких минутах ходьбы отсюда, и, будто строгая родительница, она ждет его.

Это не совпадение: дом, выбранный Малышкой или выбравший ее, удивительным образом напоминает тот, где они когда-то недолго жили все вместе — та же кованая железная лестница до третьего этажа, прилепившаяся к красной кирпичной, изъеденной временем стене, а в маленьком ухоженном палисаднике, вызывающем ностальгические мысли о том, что подлинная жизнь возможна лишь там, где нет бетона, растет базилик и почти зрелые помидоры, точь-в-точь как те, которые нужно было оберегать от белок, уховёрток и от Малышки. Она уже тогда терпеть не могла всяческих запретов, в особенности запрет рвать с веток плоды. Воспоминание пронзило его, как других поражает амнезия, и Пьеро опустился на колени перед помидорами, священными символами быстротекущего всеразрушающего времени, и хотел было сорвать один, как сверху донесся голос:

— Не надо, хозяин не любит, когда трогают его растения.

Малышка висит в пустоте над ним, ее распущенные волосы напоминают соцветия чахлого ломоноса. Будь он великаном, одним из тех мифических отцов, рядом с которыми дети забывают о всяком страхе, он мог бы коснуться ее лица, увидеть выражение глаз, но все, что он сумел разглядеть, это черная тень, глухой выступ, и, подняв к нему голову, он произнес слабым и каким-то даже нелепым голосом лилипута:

— Привет.

— Привет, — повторил Пьеро, очутившись с ней лицом к лицу в раздражающем свете галогеновых ламп и светлых стен.

Он протягивает ей плюшевого кота. В ее облике — ни грана нежности, мягкости, ничего приглушенного, она стоит посреди пустой гостиной точно партизан, встретивший на лесной поляне врага и уверенный, что враг только впереди и никто не нападет на него сзади из густого подлеска. Она берет в руки кота, и тень улыбки пробегает по ее

изможденному лицу. Даже не рассмотрев игрушки, она кладет ее на пол и говорит таким же усталым голосом, как и у ее матери:

— Ты никогда не повзрослеешь.

— Никогда, — отвечает Пьеро.

Он обнимает ее за плечи, она отворачивается, и он целует ее в волосы; он хочет прижать ее к себе, но она выскальзывает у него из рук, тоненькая и гибкая, словно ивовая ветка.

— Хочешь чаю? — спрашивает она, убегая на кухню.

Малышке угрожала смертельная опасность, но она уцелела, и теперь в ее глазах зажегся стоический огонь — он появляется у тех, кто привык сражаться со своими внутренними врагами. Она села рядом с ним на белый диван, едва заметный на фоне светлых стен гостиной, диван строгой формы, с прямой спинкой, будто специально сделанный для того, чтобы сидящий на нем ни на минуту не забывал о ловушках, которые расставляет ему жизнь. Малышка сдержанна и молчалива, сосредоточенно пьет зеленый чай, но он чувствует, что внутри у нее что-то горит, тлеет и вот-вот рухнет, рассыплется как кучка пепла. Как подобраться к ней, где найти ключик, с чего начать?

— Со мной все в порядке, — заговорила она, прежде чем он нашелся, что сказать, — мне гораздо лучше, я уже полгода веду совершенно трезвый образ жизни.

У нее такие же волосы, как у него, черные и густые, в их обрамлении бледное лицо выглядит как-то по-особенному, оно светится, точно камея на темном фоне. Она проводит по волосам рукой с растопыренными пальцами, будто расческой, совсем как он, перед тем как сделать волнующее признание.

— Я рада тебя видеть, — не глядя на него, говорит она, и растроганный Пьеро кладет на ее руку свою, но холодные пальцы Малышки спокойно отстраняют его руку, — я рада тебя видеть, потому что мне нужно тебе кое-что сказать, — говорит она твердым голосом, требующим внимания и соблюдения дистанции.

Он слушает ее с серьезным видом, приятно удивленный, даже обрадованный тем, что Малышка, всегда замкнутая, вдруг так разговорилась, и слова-то произносит какие-то непривычные, для него так даже странные. По-настоящему он не говорил с ней пять лет, разве что мямлил что-то по телефону, Малышке всегда хотелось поскорее закончить эти разговоры. За пять лет много чего может произойти, но, сказать по правде, мало кто способен за это время коренным образом измениться.

— Я стала совершенно другой, — говорит Малышка, — алкоголь и наркотики делали из меня человека, на себя не похожего. Теперь я учусь мириться с тем, что мне чего-то не хватает в жизни, и не ищу никаких подпорок, — добавляет она, скривив губы и передернув плечами, и жест этот, словно сигнал боли, заставил ее замолчать.

В наступившей тишине, исполненной неутоленных потребностей, Пьеро вдруг обратил внимание, что спина у Малышки стала какая-то хрупкая и выгнутая, точно шейка у птички, и именно эта перемена бросилась ему в глаза и поразила его: бедная Малышка, ребенком была такая упитанная, кругленькая, а теперь похожа на ощипанного воробышка.

— Мне всегда не хватало отца, — вдруг твердым голосом проговорила она, будто решившись, наконец, высказаться. — Переживания по поводу

отца живого, но безответственного, гораздо тяжелей, чем по поводу отца умершего. Мой отец никогда обо мне особенно не заботился. Никто не заботился, — заключила она, на этот раз глядя ему прямо в глаза, почти ласково, так что Пьеро даже попытался улыбнуться ей в знак согласия.

Он готов был и дальше слушать, что он слишком беспечен и не годится на роль заботливого родителя, но она молчала и в упор смотрела на него, ожидая ответной реакции, бурных возражений обиженного человека, которому сказали, что это он во всем виноват. Пьеро помешал ложечкой холодный чай, у него было неприятное чувство, что его приняли за кого-то другого. Того, чего она ждет от него, он не в силах ей дать, этого в нем попросту нет.

— А теперь мне ничего от тебя не надо, — вздохнув, сказала Малышка. — Давно уже ничего не надо.

Чай остыл, пожалуй, самое время обнять друг друга и пойти встряхнуться, взглянуть на жизнь веселыми глазами. Пьеро обхватил Малышку за острые локотки и оторвал от пола.

— Давай потанцуем, — предложил он.

Малышка подняла изумленное личико, посмотрела на Пьеро взглядом жалостливым и проницательным одновременно, каким Мудрость смотрит на Детскость, и спросила:

— От чего ты все время хочешь убежать?

Снова она среди развалин, стоит на четвереньках и роется в обгоревших обломках. Чего только он ей не обещал, когда она была ребенком: съездить с ней в Нью-Йорк, побывать на Ниле, подарить лошадь — никогда не выполнявшиеся обещания воспринимались как удары ножом, много раз повторяемая убийственная ложь.

— Однажды я всю ночь прождала, что ты мне покажешь лунного человечка, всю ночь не спала, ждала, а ты так и не пришел... Ты пообещал мне, что мы будем приручать синичек... А однажды ты поклялся, что в ванной плавают раки...

Ее будто прорвало, и из всех трещин и разрывов наружу полез отработанный шлак, потекла кровавая лава. Он внимательно слушал, старался понять. Разумеется, все дело в словах: с тех пор как они разъехались по разным городам, они стали говорить на разных языках, она упорно называет обещаниями то, что было всего лишь совместными мечтаниями, она обвиняет его во лжи, а он просто-напросто играл в такую игру — выдумывал то, чего в действительности быть не может. Но он не успел осознать, что она свернула куда-то в сторону, она закрыла задвижки, задраила клапаны, а теперь — здрасьте, пожалуйста, — открывает их заново.

— Когда ты сажал меня к себе на колени, — говорит она, — ты всегда делал так, чтобы твое колено находилось у меня между бедрами.

Пьеро, замерев и насторожившись, ждет, что́ она скажет дальше. Но она говорит, что это ничего, это бессознательно, она имеет в виду эдипов комплекс, она рассказывает ему об эдиповом комплексе как о личном враге, которого надо побороть, и он внимательно слушает. Время от времени он пытается вставить что-нибудь безобидное, какие-то слова в свое оправдание, говорящие о том, что он переживает вместе с ней, потому что ему небезразлична ее судьба, но она его не слышит, и он в конце концов замолкает: что бы он ни сказал, все будет невпопад. Она, в сущности, не ждет от него ни извинений, ни оправданий — ей нужно,

чтобы он тоже страдал, ей это необходимо, чтобы не так сильно страдать самой.

Почему в этих ее бесстыдных признаниях, которые она высказывает ему без тени смущения, нет ни слова о любви? Как можно в двадцать пять лет не пылать страстью, не жаждать чьего-то тела?



И, словно догадавшись, о чем он думает, она вдруг внимательно и как-то по-новому посмотрела на него, глаза ее заблестели, в голосе появились нотки вожделения.

— Я нашла его, — с улыбкой сказала она. — Мне понадобилось время, чтобы признать его существование, но теперь я знаю, что он есть, и я люблю его. Если не верить в Высшее существо, жизнь без подпорок невозможна. Он может все, надо только довериться ему, надо, чтобы он вел нас по жизни.

Пьеро опустил взгляд. Блеск в глазах Малышки причинил ему боль, он словно обжегся. Он вспомнил, какой острый ум был у Малышки, вспомнил, что в ней рано поселился дух отрицания. Пьеро вдруг явственно ощутил, что страдает — да-да, больше, чем от любого другого признания, страдает, слушая, как Малышка, озаренная, пылкая, рассуждает о Всевышнем:

— Только Всевышнему подвластно все.

Он поднялся первым. Когда он уже был у двери, она осторожно спросила его о нем самом, стараясь не ступать на опасную территорию:

— А ты нашел работу в Монреале?

Он ответил, что нашел, с понедельника будет работать в городской администрации. Она пристально посмотрела на него, будто дивясь той легкости, с какой ему удается, благодаря своему везению и обаянию, находить работу.

— Я тоже работаю в городской администрации, у меня контракт на два месяца, — сказала она и принялась кусать губы.

— Может, еще окажемся в одной команде, — со смехом предположил он и замолчал, его поразило неожиданно открывшееся сходство: у обоих черные волосы, миндалевидные, вечно ненасытные глаза, оба равнодушны к карьере. Как жаль, что она не унаследовала от него главное — легкость характера, без этого люди барахтаются в жизни, будто в сточной канаве: как жаль, что способность быть счастливым не передается по наследству.

В белой пустоте гостиной Пьеро и Малышка стоят друг против друга, точно два диковинных растения, два родственных кустика, пересаженных в почву, на которой они не могут прижиться.

— Завтра вечером у нас в группе анонимных наркоманов праздник, — слабым голоском говорит Малышка, — отмечаем мои полгода без наркотиков, у нас это называется "Раздели мою радость". Мне хочется, чтобы ты пришел.

Боязливо взглянув на него, она добавляет, что праздник начнется в восемь вечера.

— Ну конечно. В восемь вечера. Я приду, — отвечает Пьеро.

Он подыскивает нужные слова, те, должно быть, которые врач Малышки говорит ей, чтобы унять ее тревогу, но не находит. Вместо них произносит самые банальные:

— Я рад, что у тебя дела пошли на лад. Клянусь, я действительно рад.

Она смотрит на него, и все то насмешливое и злобное, что еще мгновение назад ей хотелось бросить ему в ответ, так и умирает в ней, и только уголок ее рта ползет вверх. Она кидается к нему и принимается лупить его кулачками, а он обнимает ее, этот маленький комочек любви и ярости, и долго прижимает к себе, раскачиваясь из стороны в сторону, и какое-то новое счастье, прежде ему неведомое, переполняет его.

На следующий день была пятница, последняя свободная пятница перед тем, как работа на благо города станет отнимать у него много сил. Он встал рано, желая сполна насладиться всем, чем одарит его наступающий день. Больше всего он любил праздно шататься по городу, заходить в кафе, где он еще не был, и мечтать — одному или с кем-то вместе, погружаться в мечты, как в сон, пока жизнь без его участия готовит для него чудесные повороты. Однако прежде чем выйти из дому, прежде даже, чем выпить кофе на кухне, куда уже пробились первые яркие лучи солнца, он почувствовал, что в это утро его последней свободной пятницы ему чего-то недостает. Он стал озираться кругом, ища, чего же именно. Кошки. Куда подевалась кошка — исполненная достоинства, голодная, несносная, встречающая его с исступленным восторгом, не дающая ему прохода своими бурными ласками? Он позвал ее: "Тушка-Толстушка!" Никакого отклика. Пошуршал папиросной бумагой — она всегда лежала на полу, издавая при малейшем движении умопомрачительный шорох. Ничего.

Он нашел ее в гостиной за диваном; она сидела, вся подобравшись, приготовившись к вялой атаке, чем-то напоминая испорченную пружину. С недовольным видом она проследила за его рукой, потянувшейся к ее голове. Когда он принялся чесать ей лоб — это был любовный ритуал, во время которого она блаженно растягивалась на полу, — она неожиданно отстранилась. Пьеро убрал руку. Он оставил в нескольких, раз и навсегда определенных, уголках миски с водой и ушел. У кошек, как и у женщин, бывает такое настроение, когда их лучше не трогать.

День выдался замечательный. Пока Пьеро наслаждался одним приятным мгновением, его уже поджидало другое; он слонялся по старой части города, ел мидии и креветки, фланировал по бульвару Святого Лаврентия, напевая что-то себе под нос, присаживался везде, где у него был шанс познакомиться с женщинами. Он любил их всех, сильно-сильно, в течение пятнадцати минут; он литрами поглощал кофе и вино, обмениваясь банальными фразами с официантами, купил для Малышки жемчужное ожерелье — быть может, оно хоть немного развеет мрак в ее душе. Когда он вернулся домой, было шесть вечера.

На ковре в гостиной он увидел пятна — круглые, красноватые, они тянулись одно за другим, точно камешки в сказке про Мальчика-с-пальчика. Пятна вели в спальню, прямо под кровать. Кошка была там. Весь пол был испачкан: кошку рвало. Он немного поругал ее, больше для вида, страшась мысли о том, что случилось что-то серьезное. Взгляд у кошки был тусклый, в уголках пасти выступила красная пена: кошка умирала.

Тяжелые сумерки пробрались в комнату и путали мысли. Пьеро несколько раз с удивлением заглядывал под кровать. Кошка всегда была такой живой, гладкой, не было ни малейших признаков того, что она скоро умрет. Что с ней приключилось? Что делает под кроватью это вялое существо с тусклой шерстью и выпачканной кровью мордочкой, отвра-

тительное, как ноющая боль? Кому понадобилось испортить ему прекрасно проведенный день? Почувствовав нарастающее раздражение, Пьеро принялся энергично отчищать ковер. Вдруг он замер, стоя на коленях. Из-под кровати медленно показался великолепный, пушистый, точно султан, трехцветный кошачий хвост и встал кверху, похожий на восклицательный знак. Может быть, все, что происходит, всего лишь игра или продолжение какого-то сна? Ему ведь нравится играть с кошачьим хвостом, и кошка всегда ему это позволяла с великодушием куртизанки, всем своим любящим существом безраздельно принадлежащей ему. Пьеро быстро поднялся, схватил телефон и принялся звонить ветеринарам; очень немногие в преддверии субботы, которую работающая без выходных смерть во внимание не принимает, откликнулись на его зов, и один из них сказал: "Приезжайте". Пьеро поехал, полетел, умирая от нетерпения, и приземлился на улице Сент-Юрбен, в самом начале китайского квартала, где его ждал кудесник-ветеринар, и понес ему на руках старую больную кошку, чья жизнь теперь зависела только от него.

У ветеринаров есть множество приемов, чтобы скрывать от непосвященных свою чудодейственную науку. Пьеро увидел невысокого роста нервного человека, явно не страдающего от избытка клиентов. Он сразу же пригласил Пьеро в кабинет величиной с клетку, в глубине которого настоящая черная птица прыгала в клетке поменьше. "Это майна, восточноазиатский скворец, говорящий", — пояснил ветеринар и посмотрел на майну, словно ожидая, что в подтверждение его слов птица что-нибудь скажет. Майна молчал.

Ветеринар тщательнейшим образом осмотрел Толстушку, ругнулся, узнав про ее почтенный возраст — тринадцать лет. Сделал ей укол — для поддержания сил. Временного, с сожалением пояснил он, ибо она неизлечимо больна, у нее целый букет болезней, включая лейкемию, прибавьте еще солидный возраст, перед которым только и остается, что низко склонить голову. Он заморгал, смутившись под пристальным укоризненным взглядом Пьеро.

— Этого не может быть, — проговорил Пьеро. — Еще вчера она была в прекрасной форме.

Ветеринар прокашлялся и что-то ласково сказал майне.

— С кошками так бывает, в особенности со старыми, — ответил он. — Только что в хорошей форме и вдруг — бац! — умирает прямо у вас на руках.

Свое "бац!" он сопроводил режущим жестом ладони по горлу. Выразив на лице дежурное сочувствие, он вручил Пьеро таблетки, велев давать их Толстушке каждые шесть часов, чтобы она была хоть немного пободрее; он даже предложил оставить ее у себя на несколько дней, в его тесном кабинете-клетке, но, увы, вылечить ее он бессилен; Пьеро, в душе возненавидев его, взял таблетки.

На обратном пути кошка лежала у Пьеро на коленях, привалившись к его животу, спокойная и расслабленная после введенной ей сыворотки; каждая встречная машина заставляла ее ошеломленно приоткрывать зеленый глаз — создавалось впечатление, что по дороге домой к ней мало-помалу возвращались силы. Не зажигая света, Пьеро вошел в гостиную и осторожно положил кошку на диван; слабо помурлыкав, она заснула.

Пьеро выпил несколько кружек пива, включил радио и вскоре вместе с Нейлом Янгом оказался в мире простых чувств и протяжных любовных напевов. После, размышляя о происходящем, он пришел к выводу, что все в конце концов встает на свои места. Животные — существа симпатичные, но они не вечны, и вовсе не обязательно испытывать к этим примитивным созданиям чрезмерную привязанность. Вредно и даже как-то ненормально питать к животным те же чувства, что и к людям. Когда кошка умирает, вместо нее берут другую кошку или собаку — собака даже больше подходит человеку на его нелегком жизненном пути.

Тринадцать лет... Когда он нашел ее возле заброшенного сосняка — скорее, это она нашла его тринадцать лет назад, — у него еще не было ни одной седой пряди, ни одной морщины на лице, и ему казалось, что молодость будет длиться вечно. Пьеро вдруг ощутил душевную боль. Живые существа незаменимы. Такую потерю восполнить невозможно. Ему надо было прожить сорок семь лет, чтобы сделать это удручающее открытие.

В пять утра Пьеро проснулся. Он вспомнил. Вспомнил, что в волнениях вчерашнего вечера забыл о Малышке, о ее празднике, на который пообещал прийти. Он заставил себя успокоиться. Теперь, когда они снова обрели друг друга, она поймет, поймет, что не каждый день смерть напоминает нам о себе. Он дождался восьми часов, чтобы ей позвонить. Тем лучше, если он разбудит ее: они встретятся, вместе позавтракают, она поможет ему забыть о смерти. Она взяла трубку после второго гудка. Она не спала. Быть может, она никогда не спит. Некоторое время она слушала, как он сбивчиво рассказывал ей о драматических событиях вечера, потом неторопливо прервала его и совершенно ровным в отличие от его собственного голосом, с олимпийским спокойствием сказала, что не хочет больше выслушивать всю ту ложь, без которой он шагу ступить не может, и не хочет больше его видеть — никогда. И повесила трубку.

Прошла вечность.

Пьеро опустился на пол, зашуршала разбросанная на ковре папиросная бумага.

Внезапно он ощутил рукой мягкое прикосновение. Толстушка сидела возле него и пыталась схватить его за пальцы, держащие обрывок папиросной бумаги. Глаза возбужденной дьяволицы, глаза кошки, готовой на все, лишь бы поиграть. Без сомнения, это действуют таблетки, вызывая временный прилив сил, о котором говорил ветеринар. Пьеро принялся шуршать бумагой, все сильней и сильней, и кошка обезумела: она прыгала вокруг него, позабыв даже убрать когти, смешная и великолепная, она набрасывалась на бумагу, рвала ее, сражалась с ней, точно с врагом. Пьеро не мог сдержать смех, он включился в игру, победившую страдание, он играл с ней долго, пока действовало лекарство. Завтра она умрет, но сегодня жива, завтра они умрут, все, а сегодня играют — играют в беззаботную жизнь, пока она подыгрывает им.

# Норман де Бельфёй

# *Из книги "Ваш звонок важен для нас"*

*Перевод* И. Волевич

## *Крестики-нолики*

Я люблю иногда поесть в одиночестве, и не только в знаменитом "Розати де Рома". Признаюсь, эти мои одинокие трапезы, даже в "Монреале", – одна из мелких и безобидных причуд бывшего "старого холостяка". Моей жене Рафаэль это хорошо известно, но она никогда не позволит себе упрекнуть меня в столь невинном развлечении.

В такие дни, как правило в час ланча, я прихватываю с собой какой-нибудь старый глянцевый журнал – он служит мне прикрытием. Разумеется, я не прочту в нем ни строчки, просто он создаст заслон, ширму, из-за которой можно наблюдать в свое удовольствие нравы и обычаи жующих соплеменников. Особенно, если это пары. Ничто меня так не радует, как наблюдение за парами в ресторане. Хотя некоторые вещи и коробят: бывают такие, которым нечего сказать друг другу, которые не ведут беседы, более того, даже игнорируют друг друга, иногда прямо-таки демонстративно, бывает, один из сотрапезников приходит в сильнейшее смущение. Да, мне противны такие пары, которые усаживаются за ближайший ко мне столик, чтобы поесть в МОЕМ ресторане (только не поймите буквально, это просто фигура речи...), и упорно держат рот на замке, безмолвно пялясь друг на друга. Всему есть предел...

© Éditions Québec Amérique inc., 2006
© И. Волевич. Перевод, 2008

Нынче в полдень обстановка складывалась идеальная. Я зашел в один из моих любимых ресторанов — "Маленький итальянец" — и спросил столик, хотя обычно, когда прихожу один, предпочитаю расположиться в баре, чтобы перебросится словцом с Кариной или Паскаль, смотря кто из них в тот день работает за стойкой. Однако сегодня, сам не знаю почему, я сказал Жан-Пьеру, который обслуживал зал, что хочу обедать за столиком. Был понедельник, в этот день наплыва посетителей не наблюдается и свободных мест сколько угодно.

Не успел я сесть на диванчик у левой стены, откуда был прекрасно виден весь зал, как вошедшая пара устроилась прямо напротив меня, в секторе, полностью открытом для обозрения, которое я уже предвкушал. Жан-Пьер тотчас послал мне издали заговорщицкую улыбку, и я подумал: уж не догадался ли он о моей постыдной, пусть и вполне невинной забаве, при этом сам я подозревал, что он развлекается... ну, словом, куда менее пристойным образом... хотя, конечно, не в рабочие часы.

Едва они вошли, как мне стало ясно, что на сей раз слежка доставит мне горькое разочарование. Женщина — заурядная, полноватая, бесцветная — явно робела и чувствовала себя не в своей тарелке, в общем, особа вполне ничтожная, больше и сказать нечего. Он же, напротив, важничал, изображал "раскованность", оглядывал зал, проверяя, все ли его заметили, и шумно прочищал горло, словно намеревался обратиться к нам с речью, хотя сигнал этот, разумеется, имел лишь одну цель — возвестить о его драгоценном присутствии среди нас.

Она беспомощно листала меню, зато он, рассеянно заглянув туда, сразу же поднял руку и щелкнул пальцами, подзывая этим вульгарным жестом Жан-Пьера, который торопливо подбежал к их столику, бросив на меня по пути взгляд веселого соучастия. Мужчина заказал обед за них обоих, и ей не осталось ничего другого, как вернуть меню, хотя она явно предпочла бы изучить его получше. Тем не менее улыбалась она — а, впрочем, она улыбалась с самого момента их появления — чуть глуповатой улыбкой, заискивающей, извиняющейся улыбкой, ясно говорившей о ее приниженности.

Она и на него глядела с той же улыбкой, жалкой, просящей. "Поговори со мной, скажи что-нибудь, все равно что, только поговори, прошу тебя..." Эта улыбка молила о снисхождении, но он так ни разу не удостоил взглядом эту драматическую улыбку. Развалившись на стуле вполоборота (что опять-таки позволяло ему не смотреть на нее), закинув ногу на ногу так, что узкий проход между столиками оказался загороженным, опершись правым локтем на спинку своего сиденья и небрежно свесив кисть руки, он с мерзкой презрительной гримасой водил глазами из стороны в сторону, озирая весь зал, — ни дать ни взять монарх, оценивающий настроение черни перед тем, как огласить суровый и очень важный указ.

Растерявшись вконец, женщина порылась в сумке и достала оттуда фломастер с жирным, очень жирным кончиком. Затем она перевернула лежавшую перед ее прибором бумажную салфетку (тут мне вспомнилось, что в некоторых ресторанах детям приносят игры и карандаши, чтобы они не скучали в ожидании еды), старательно провела на ней вертикальные черты и пересекла их горизонтальными той же длины. Потом, все с той же подобострастной улыбкой, протянула фломастер своему визави.

Едва взглянув на салфетку, он быстро поставил крестик в правой верхней клетке и вернул ей фломастер. Эта игра явно стала для них ритуалом. Она неумело ответила на этот вызов, вписав нолик в нижнюю левую клеточку. И тем самым заранее обрекла себя на поражение. Высокомерный взгляд, с которым он добавил крестик в верхнюю левую клетку, уже предвещал его решительную победу. У нее не оставалось выбора, она могла только отсрочить этот триумф с помощью нолика в верхней средней клеточке. Его следующий крестик — в правой нижней — подготовил ему сразу два пути к неизбежной победе. Она заблокировала было правую среднюю клеточку, но тут он с идиотской театральной медлительностью начертал крестик в центральной, стратегической клетке, произнеся торжественно и неприлично громко для ресторана:

— Партия!

Она притворилась пораженной, убитой, изобразила поистине детское восхищение. Ибо если этот первый проигрыш можно было приписать обыкновенному неумению или рассеянности, то аналогичные результаты трех последующих схваток не оставляли никаких сомнений: она попросту приносила себя в жертву, более того, проявляла удивительную ловкость, каждый раз меняя сценарий своих проигрышей. Но он ничего не замечал, он ликовал, обливая ее презрением после очередного триумфа и все громче и громче возглашая свое дурацкое:

— Партия!

И я не стерпел. Жан-Пьер только что поставил передо мной закуску — прошутто со свежими фигами, — и я намеревался мирно вкушать этот деликатес. Пятая схватка близилась к неизменной развязке, когда я в три шага одолел расстояние до их столика. Он уже готовился вписать крестик в решающую клетку и успел выговорить первую часть своего любимого словца, венчающего его победу. Но тут он поднял голову и взглянул на меня. Мой правый кулак обрушился на центральную "клетку" его физиономии, и я не отказал себе в удовольствии сопроводить удар громогласным:

— ПАРТИЯ!

Он не вскрикнул, не возмутился, всего лишь уставился на меня с бессмысленно-изумленным видом, еще более потешным оттого, что теперь его нос висел на лице под весьма необычным углом. Нет, я так и не дождался от него никакой, вообще никакой реакции. Зато раскричалась она. И это она осыпала меня ругательствами. И опять-таки она же набрала номер 911.

На следующий день я получил вызов в суд. И жалобу подала именно она...

## *Человек, который говорит "нет"*

Изабель Лонпрэ, Анне-Мари Вильнёв и Люку Робержу

Я — заведующий отделом рукописей. По крайней мере так указано в моей визитке. В каждой из тысячи моих визиток. Вот они все, совсем новенькие, лежат в верхнем левом ящике моего письменного стола. Я никак не привыкну носить их с собой, поэтому, если кто-

нибудь — чаще всего из чистой вежливости — просит у меня визитку, я никогда не нахожу их при себе. Так они и покоятся — уже больше восьми лет, но по-прежнему новенькие, надежно закатанные в пластик, — в левом верхнем ящике моего широченного письменного стола.

Я возглавляю отдел рукописей в одном престижном монреальском издательстве, чья штаб-квартира — а этот термин вполне уместен, если принять во внимание годовой оборот нашей фирмы, — расположена в роскошном месте, на одной из самых респектабельных улиц старого города, почти у самой реки, с таким видом из окон, что закачаешься!

Да, уже больше восьми лет... Удивительное дело! Мне ясно помнятся тяготы первых месяцев работы. Все эти стопки рукописей, подписанных чаще всего неизвестными именами, все эти тексты — тысячи текстов! — валявшиеся здесь месяцами, а то и больше года, — нужно было просмотреть, некоторые даже прочесть, чтобы затем отказать авторам, почти всем; да-да, поверьте, именно так: около тысячи опусов получили отказ. Вы только представьте себе, легко ли тысячу раз сказать "нет"? Сказать "нет" многим тысячам лет труда и тщетных надежд. Ох, как ясно мне помнятся тяготы этих первых месяцев!

Но, разумеется, была в моей работе и *светлая сторона*: та крошечная, не более десятка, кучка авторов, ликующих, изумленных, благодарных до слез авторов, с которыми мне предстояло работать дальше, которых я должен был вести по тернистому пути литературного творчества, поддерживать в их титаническом труде, ободрять, терпеливо перенося их страхи и депрессии, — словом, тех, чьи рукописи обещали стать наконец книгами, настоящими книгами, обыкновенными книгами среди множества других книг.

И если по возвращении домой мне хотелось плакать при мысли об обманутых надеждах авторов-неудачников, об отчаянии, в которое их повергли мои стандартные письма с отказом, то по прошествии всего нескольких месяцев я впадал в ярость, думая о ничтожной горстке писателей, чье *творчество*, в конечном счете, обещало всего лишь загромоздить и без того катастрофически забитые полки книжных магазинов нашего города. Таким образом, во мне медленно, но верно вызревало теплое чувство к моим многочисленным, но отвергнутым "претендентам", которого я не питал к нашим единичным и, как правило, чванным "избранникам".

Итак, отныне я решил не изничтожать это подавляющее большинство с помощью нескольких стандартных фраз, написанных устоявшимся, суконным издательским языком, с выбранными наудачу штампами типа: "политика нашего издательства", "трудные условия книжного рынка", "рост конкуренции". Хватит с меня этих низких уловок! Неужели наши авторы — пусть и недостаточно умелые, пусть и более косноязычные, чем *другие*, — не заслуживают тактичного отзыва, убедительной аргументации, без этой обидной снисходительности, без этих примитивных шаблонов?! Нет, я должен был в этом разобраться!

И вот, еще не дождавшись конца своего второго литературного сезона, я решил, что нам негоже так безоглядно отвергать не понравившиеся нам рукописи, а следовательно, и их несчастных авторов. Я уведомил сотрудников, ответственных за переписку, что отныне "отказные" формуляры №№ 1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 3, 4-а и б, 5, 6-а, б, в, г, д,

7 и 9 (незадолго до этого мы упразднили № 8 как совсем устаревший) изымаются из употребления, что я намерен лично рассматривать каждый случай отклонения рукописи и что все наши письма, без исключения, должны быть обращены к *конкретному* человеку. Тем же порядком я объявил в секретариате, что буду сам беседовать с авторами, явившимися за своим сиротливым детищем, а тем, кто захочет узнать о судьбе своего опуса по телефону, следует назначать встречу со мной.

Разумеется, в дирекции тут же встревожились. Я чувствовал, что на меня поглядывают с любопытством, удивлением, даже с каким-то недоумением. И, конечно, теперь мне приходилось вкалывать без передышки полный рабочий день; к счастью, только моя подруга стала свидетельницей моих вечерних и порой даже ночных бдений, посвященных вдумчивому чтению всех этих рукописей и написанию ответов, отнюдь не формальных, даже сочувственных. И уж, конечно, авторы книг, принятых к изданию, начали жаловаться на мое равнодушие, когда наступало время оценивать их труд. Да, конечно... во всех кабинетах злословили на эту тему. Я все прекрасно понимал, но ведь я дал себе клятву не отступать, так что о капитуляции не могло быть и речи, — миссия мне предстояла трудная, зато сколь благородная!

Я уже думал, что дни мои в этом издательстве сочтены, как вдруг с некоторым изумлением узнал о странном парадоксе: оказывается, репутация нашей фирмы никогда еще не была так высока. Если "избранные" авторы по-прежнему забрасывали руководство фирмы давно уже знакомыми и надоевшими жалобами на плохое распространение их книг, на слишком малый тираж, на скверную рекламу, не говоря уж о деликатной проблеме авторских прав, то МОИ авторы, отвергнутые в свой черед, неустанно нахваливали человечный, уважительный и такой достойный стиль моих рецензий, содержавших отказ от публикации. Поистине чудеса — мир словно перевернулся с ног на голову.

Фабрика слухов заработала вовсю, и вот уже ежедневные газеты начали печатать в рубриках "Культура" открытые письма, посвященные нашему уникальному стилю работы с авторами; за один год количество присланных рукописей удвоилось, выросла и когорта сочинителей, непременно желавших узнать точную причину отказа в личной беседе со мной... на которую они являлись с сияющими улыбками и заранее благодарным видом; похоже было, что я, сам того не желая, выпустил на волю нового, невиданного доселе джинна — литературную аномалию, мазохистское удовольствие услышать от издателя слово "нет".

Я догадывался, в какое тяжелое положение поставил издательство: с одной стороны, у меня не оставалось ни минуты свободной, чтобы выполнять работу, для которой меня и наняли, с другой — моя почти апостольская миссия стала веским вкладом в имидж издательства... не считая того, что размер государственных субсидий возрос весьма ощутимо, ибо выделявшие их комиссии специально подчеркивали в своих заключениях наш "безусловный профессионализм, выражающийся даже *в самых неожиданных аспектах* издательского дела..." — в общем, смысл был понятен: *мы выделялись из общей массы*!

Тем не менее последовал вызов к начальству. Шеф принял меня с улыбкой, сравнимой по ширине лишь с подлокотниками его президентского трона.

— Симон, дорогой, мы тут вот о чем подумали, — это его "мы" было, разумеется, всего лишь демократическим прикрытием "я", — отныне ты будешь посвящать всю свою энергию отказам... а работу с одобренными авторами мы поручим твоему заместителю... но зарплата у тебя, конечно, останется прежняя... и должность тоже.

Иными словами, мне не придется менять свои все еще новенькие визитки, в количестве тысячи, мирно покоившиеся в левом верхнем ящике моего письменного стола.

Уж не знаю, какой реакции он от меня ожидал, но, когда я горячо обнял его в знак благодарности, вид у него был до странности довольный... довольный, хотя, конечно, чуточку удивленный моим восторгом и этим фамильярным жестом.

*

Я обожаю свою работу. Каждый отказ неизбежно устанавливает между мной и автором странную связь, дает начало обильной переписке, а то и целой череде встреч, которые в отдельных случаях переходят в настоящую прочную дружбу. Я обожаю говорить "нет".

Однако спустя какое-то время фабрика слухов заработала снова. Теперь передо мной стали закрывать некоторые двери. Моя юная хорошенькая заместительница, которой досталось сотрудничество с нашими редкими и капризными "принятыми" авторами, иногда бросает на меня взгляды, в которых сквозит не то упрек, не то тревога. И верно, вот уже несколько месяцев мне чудится, что она как-то растеряна, озадачена нехваткой работы, сбита с толку...

Все сферы нашей деятельности уподобились богослужениям в катакомбах. Но поскольку некоторых из нас всегда отличала прискорбная склонность к нарочитой демонстрации *преданности делу*, мне вдруг стало ясно, что и сам я, возможно, проявляю неуместное рвение в своей особой миссии — отказе. Иными словами, распаленный возрастающим энтузиазмом при исполнении своих обязанностей, я, кажется, слегка увлекся и перешел ту тонкую грань, за которой уже не видно разницы между пшеницей и плевелами. Короче говоря, слишком часто стал говорить "нет"...

Какая неприятность! Значит, на меня жаловались? Кто бы это мог быть?.. Неужели я настолько бестактно излагаю свои доводы, выражаю свои мысли? А ведь я заботливо составляю каждое письмо, тщательно продумываю беседу с каждым "отказником"! И потом, разве они не отвечают мне — почти все?! Да еще как отвечают с такой любезностью, с таким понимающим, даже, я бы сказал, состраданием... Разумеется, не все подписывают свои послания, ведь речь идет об их репутации, о манере их речи — литературной, — но я все равно мгновенно распознаю их стиль, уж его-то не замаскируешь; недаром наш бравый старик Барт писал: "Стиль не выбирают, выбор стиля невозможен, стиль в том и заключается, что у писателя нет выбора"; так что они могут хитрить сколько угодно, со МНОЙ этот номер не пройдет! Взять хоть тех авторов, которые, получив мое письмо с отказом, наговаривают ответное послание на мой автоответчик, не называя своего имени: это же смехотворно, я прекрасно узнаю их по голосам, недаром же наш бравый старик Деррида утверждал: "Голос — ВОТ стиль"... Так что они могут сколь-

ко угодно менять голос или намеренно шепелявить, СО МНОЙ ЭТОТ НОМЕР НЕ ПРОЙДЕТ!

Ведь меня именно потому и наняли, неправда ли (уже больше восьми лет прошло... надо же, целых восемь лет, удивительное дело!), наняли как раз потому, что я умел различать стили, голоса, манеру писать, манеру говорить. И ведь именно за это мне так хорошо платят, а мои визитки — ШУТКА ЛИ, ТЫСЯЧА ВИЗИТОК! — еще почти новенькие, надежно закатанные в пластик, лежат в левом верхнем ящике моего широченного письменного стола!

Так что все эти выходки совершенно бесполезны! Пусть развлекаются, скрываясь под псевдонимами, искажая голоса, — я все равно сумею сорвать с них маски, я всегда твердо знаю, КОМУ ГОВОРЮ "НЕТ"!

И ведь не так уж они плохи — последние рукописи Дюшарма или Годбу, — хотя этим литераторам невредно было бы слегка осовременить свой стиль, весьма типичный для шестидесятых годов прошлого века, я подчеркиваю: именно *прошлого*! Вот Феррон, тот куда слабее — достаточно было услышать его по телефону, — он и вполовину не так претенциозен, этот милый доктор! Что касается Акена, тут я лучше промолчу... из уважения к былым творческим заслугам; надеюсь, вы со мной согласны?

Другие, напротив, как будто хорошо понимали мотивы моего отказа. Как пылко, например, меня благодарила наша юная Нотомб, на самом деле очаровательная, а отнюдь не противная; мне ужасно нравится ее надутое, нарочито обиженное личико. И мог ли я не распознать Жардена, когда он пообещал осчастливить меня шестнадцатым вариантом своего романа, который я никак не решусь порекомендовать для издания?! А возьмите Нелли Аркан (ну что за дешевый трюк — говорить по телефону хриплым басом!), она даже призналась мне, что, прочитав мой отзыв, решила сейчас же уничтожить свою рукопись, дабы ее не обнаружили когда-либо впоследствии, — ничего себе!.. Зато с Мари-Клер и Виктором-Леви малой кровью не обошлось... да и насчет Габриэль и Анн[1] предпочитаю вообще не высказываться... в литературном мире есть такие обидчивые натуры, что... но я же должен соблюсти определенную конфиденциальность, разве нет?

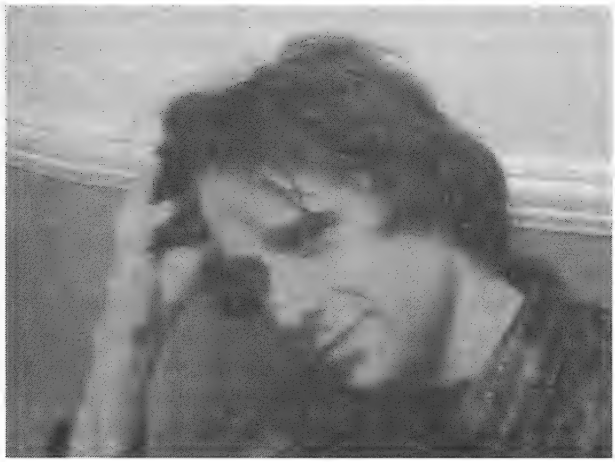
Однако по большому счету все обстоит не так уж плохо. Тогда почему же они все на меня в обиде? Нет, нужно поставить все точки над "i", выяснить, в чем проблема. "Ты наслаждаешься отказами" — вот в чем меня упрекнули. Да, верно, именно это я и делаю, ну и что же? Только не вздумайте просить меня снизить критерии, уровень требовательности, постараться-понять-что-некоторые-рукописи-если-над-ними-немного-поработать-дали-бы-поразительный-результат-захоти-я-взять-на-себя-труд... КАКАЯ ЕРУНДА! Даже не заикайтесь об этом, не то я вам устрою такое... всю оставшуюся жизнь будете мастерить оригами из моей тысячи визиток!

Словом, заявляю раз и навсегда: Я ЗНАЮ, КОГДА НУЖНО СКАЗАТЬ "НЕТ", потому что... потому что... да потому что ЭТО Я — ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ГОВОРИТ "НЕТ"!

"Дорогой Альбер Камю, я внимательно прочел рукопись, которую Вы нам прислали; к сожалению, должен Вам сообщить, что..."

1. Имеются в виду канадские писатели Мари-Клер Блэ (р. 1939), Виктор-Леви Болье (р. 1945), Габриэль Руа (1909–1983) и Анн Эбер (1916–2000). (*Прим. перев.*).

# Фредерик Дюран



# Мания

*Перевод* Е. Леоновой

ДВАДЦАТЬ три часа! Уже! Габриэль погасила неоновую вывеску, на которой прохожие могли прочесть: "Бакалея Адриена Киприани".

Сегодня вечером покупателей мало, но Франсуа Делармье пришел, он бывает здесь каждый день. Этот наголо обритый парень явно неравнодушен к Габриэль. Продавщицу немного смущает его юный возраст, и потому она делает вид, что эти визиты лично ее не касаются, хотя давно уже разгадала своего горе-воздыхателя. Покупатель как покупатель, думает Габриэль, ну и что, что берет всего-то плитку шоколада или бутылку колы? Просто ищет предлог, чтобы подольше поболтать...

Всякий раз, приходя в магазинчик, Делармье говорит обо всем и ни о чем, хмурит густые брови, придает лицу задумчивое выражение и поглядывает на Габриэль украдкой. Женщина ведет себя так, будто не замечает взглядов своего обожателя, будто ей вообще нет до него никакого дела. Видя сдержанное к себе отношение, молодой человек через пять-десять минут нехотя уходит. Это, однако, не мешает ему назавтра явиться опять.

Габриэль теряется в догадках, чем вызван его интерес к ней. Женщина она застенчивая, чуть что — заливается краской, словом, она не считает себя такой уж привлекательной. Из-за этого она накладывает на лицо толстый слой макияжа и иногда забывает причесать черные, густые, коротко стриженные волосы. Она не привыкла, чтобы за ней ухаживали.

Он, наверно, считает, что я похожа на проститутку, размышляет Габриэль, дома, небось, листает порножурналы и думает о том, как было бы хорошо затащить меня в постель. Наверно, считает, что у меня развязный вид, но напрямую предложить не решается.

© XYZ éditeur, 2007
© Е. Леонова. Перевод, 2008

Через несколько минут Габриэль будет уже дома, в маленькой однокомнатной квартирке, где много пыли и насекомых. Сорокалетняя женщина тяжело опустится на пестрый матрас, лежащий прямо на полу. Она заснет беспокойным сном и, часто просыпаясь, будет прислушиваться к ночным звукам: уж не бандит ли какой, не вор ли — эти умеют орудовать бесшумно. Утром она снова пойдет к Киприани, тот всегда приходит первым. Хозяин, бывший боксер лет шестидесяти, — изуродованное лицо, красноречивое свидетельство многочисленных боев, делает его старше, — встретит ее холодно. Жизнь для него — вечная борьба. Покупатели, поставщики, Габриэль — столько недругов, и со всеми воюй, всем угрожай, от всех требуй...



Все-таки странно, что Киприани купил магазин. Ему бы тренажерный зал содержать или устраивать боксерские поединки, думает Габриэль, направляясь с ключом в руке к выходу, предварительно погасив яркие светильники на потолке.

Набрав на панели цифровой код и включив сигнализацию, она выходит из магазина. Пухлой рукой вставляет ключ в замочную скважину. Дважды тянет дверную ручку на себя, проверяя, хорошо ли закрыто. Делает то же самое в третий раз. Последняя попытка окончательно убеждает ее в том, что магазин надежно защищен от воров.

Теперь продавщица идет по улице Мари-Кастель. Она живет километрах в двух от работы и всегда возвращается домой этой дорогой.

Пройдя несколько метров, Габриэль останавливается. Ежевечерняя мука начинается. Один и тот же тревожный вопрос не дает ей покоя: что, если дверь плохо закрыта?

В волнении она поворачивает назад, к магазину, поднимается по скрипучей деревянной лестнице. Останавливается на железном крыльце. Пробует. Дверь заперта.

"Вот видишь, закрыто на ключ, никто не войдет!" — говорит себе Габриэль.

Но в этот момент существо ее раздваивается, и она снова, в тысячный раз, заводит сама с собой один и тот же диалог:

— А если все-таки заявятся воры? Хорошо ли я все проверила?

— В любом случае сработает сигнализация.

— Да, но, если полиция установит, что взлома не было, значит, дверь была не заперта...

— Хозяину выплатят страховку. Выяснят, что воры ловко действовали отмычкой. Меня ни в чем не обвинят.

— У Киприани увеличатся страховые платежи, и он запросто пойдет на то, чтобы вычитать эту часть из моей зарплаты. А что, если хозяин сам нагрянет ночью, как он иногда делает? Да он просто помешался на кражах и, если обнаружит, что я проявила беспечность, придушит меня, вот и все.

Габриэль снова потянула за ручку, но закрытая на замок дверь не поддалась.

В следующий миг у нее возникло новое опасение: а вдруг она забыла включить сигнализацию, неправильно набрала код?

Ее воображение живо рисует воров. Их пятеро, все в полосатых костюмах. Лихие ребята, с такими Киприани когда-то сражался на ринге. Один из них, узколобый, небритый, курит толстую сигару. Другой, косматый горбун с выбитыми зубами, говорит, ухмыляясь:

— Ну и кретинка! Оставила дверь открытой, да еще и сигнализацию забыла включить!

Множество вещей исчезает в мрачной утробе их пикапа: светильники, мебель, касса... Магазин опустошен...

Охваченная тревогой, вся в поту, женщина делает шаг назад, одной рукой опирается о лестничные перила, другой держится за сердце.

Выбора нет: нужно открыть дверь, войти и проверить, включена ли сигнализация.

– Пожалуй, тебе надо сходить к психиатру, – шепчет Габриэль.

Слишком долго все это продолжается! Решено: завтра же она займется собой, психика – дело нешуточное.

А пока ключ поворачивается в замке. Продавщица стремительно входит, смотрит на светящийся индикатор на стене возле двери: "Сигнализация включена".

Пот струйками течет по ее лицу, она набирает код, надпись меняется: "Сигнализация отключена".

Габриэль опускается на пол, переводит дыхание. Ложная тревога, как всегда. Теперь надо все проделать заново и идти домой.

Проснувшись, Габриэль машинально смотрит на часы.

Половина третьего.

У нее дурное предчувствие, она быстро одевается и выходит из своей неуютной квартиры, где всей обстановки-то – пара стульев, стол да постель на полу.

Габриэль бежит, торопится... Теперь уж она совершенно уверена, что включила сигнализацию, но забыла запереть дверь...

Завтра же к психиатру, завтра же, говорит ей внутренний голос, но она старается не обращать на него внимания.

Длинная узкая улица Мари-Кастель. Квадратные, похожие друг на друга дома. Она будто в плену среди неподвижных декораций.

Вот наконец-то и магазин.

Габриэль взбегает по ступенькам, тянет за ручку.

...И с ужасом обнаруживает, что дверь не заперта.

На индикаторе светится: "Сигнализация отключена".

В помещении темно – неужели магазин ограбили?

Внезапно мощный поток света хлынул с потолка на объятую страхом женщину.

Появляется Киприани. В правой руке у него металлический прут.

– Так это ты! – в ярости кричит он.

В ответ – молчание. Габриэль не в силах вымолвить ни слова.

– Это ты крала! – вопит хозяин. – Я давно подозревал. Даже видеокамеры установил, чтобы тебя застукать! Но на экране так ничего и не увидел. Как я сразу-то не догадался, что ты крала по ночам! Ты мне дорого заплатишь, проклятая воровка!

И Киприани угрожающе надвигается на нее.

Мимо магазинчика идет Франсуа Делармье. Он помнит крупный заголовок в газете: "Хозяин убил продавщицу, уличив ее в кражах".

На двери заржавелая табличка: "Временно закрыто".

"Черт возьми! – вздыхает парень. – Ведь заставил же я эту тетку поверить, что влюблен в нее. И кое-какие денежки имел с того, что удавалось стырить. А теперь чем заняться, ума не приложу".

# Робер Лалонд

# *Исчезающие виды*

*Перевод* Е. Леоновой

Я мчусь во весь дух, точно бизон,
в предвкушении будущего,
навстречу своей судьбе.

Гастон Мирон

До Трех сосен можно добраться на каноэ или вёсельной лодке. Песчаная дорога обрывается на краю болота. Дальше илистая тропинка уходит в заросли колючего кустарника, ежевики, малины, гигантского папоротника. Пройдешь сотню, самое большее две сотни шагов — и повернешь обратно, руки-ноги в царапинах, шея искусана мошкарой. Здесь царство ужей, ос и любителей приключений, обуреваемых желанием ходить нетореными тропами. Находят путешественников не всегда, я имею в виду — не всегда находят живыми. Существуют легенды, основанные на подлинных происшествиях. В них говорится о лесной чаще, о людях, чьи тела уже наполовину съедены, а глаза широко раскрыты и устремлены в голубую небесную бездну.

Я остановился в мотеле на берегу уже вскрывшейся Матапедии. Сегодня вечером — наконец-то — я собираюсь рассказать простую и трагическую историю Бернадетты и Жерара. Сгущаются сумерки. Написал эту короткую фразу, а кажется, будто все сказал о свете, что покидает лес, превращая его в мрачную чащобу, и бросает на реку кроваво-красный отблеск — смотришь на него, и сердце сжимается. Ветер кидает в листву пригоршни звезд.

© Les Éditions du Boréal, Montréal, 2007
© Е. Леонова. Перевод, 2008

Я вышел на улицу — мне хотелось увидеть дрозда. Напрасно: в вечерней тьме я ничего не разглядел, кроме дерева — это была сосна. Птица, разумеется, смолкла.

Я вернулся, зажег лампу и сел перечитывать письма.

2 июля 1958 г.
Мадемуазель Бернадетта,

Вы сочтете меня большим нахалом, но я не в силах лишить себя удовольствия вновь увидеть Вас у Трех сосен, сидящей под зонтиком на песчаной косе. Помните? Я плавал неподалеку. Вы смотрели на меня? Мне хочется думать, что да, и с того дня я с трудом засыпаю по ночам. Эти Три сосны — они будто только что выбились из-под земли и потянулись к небу, раскинув над Вами свои ветви. Такой, как тогда, я видел Вас впервые, хотя до того уже Вас встречал. Однажды — на рождественской мессе, потом — в универмаге в Козапскале, а потом еще в поле, за Вашим домом, три года назад: я тогда приходил к Вашему отцу купить ось для телеги. Но по-настоящему я увидел Вас только у Трех сосен. Простите мне мою бесцеремонность, Бернадетта. Боюсь, тогда, у Трех сосен, солнце напекло мне голову...

Жерару необходимо во что бы то ни стало объясниться. Недавно, распиливая бревна, он поранил руку. Не по рассеянности, просто забыл, совершенно забыл о том, кем был до Бернадетты и Трех сосен. К черту эти двадцать семь лет, к черту годы, когда он, одинокий молчаливый парень, не знал ничего, кроме тяжкого труда. За это время не произошло ни одного памятного события: днем работа, ночью беспробудный сон; он словно врос в землю — так иногда бывает во сне, когда хочешь оторваться от земли и не можешь или хочешь зайти в реку, а ноги ватные, и тяжелая вода выталкивает тебя. Это время ушло, умерло от одного удара, как дерево, в которое попала молния. Она оторвала кору от древесины и оставила большой бледный пень под черным небом. Жерар и есть это сраженное дерево, вот он, весь на виду: жалкий остов, из которого едва сочится сок, скудная, ни на что не годная кровь. Смертельно ранен, расколот пополам.

Напрасно я старался жить привычными для меня повседневными заботами — не получилось. Я никогда ничего не просил ни у Бога, ни у жизни, но теперь, думаю, попрошу. Попрошу, наверное, невозможного. Я попрошу позволения снова увидеть Вас, Бернадетта.

"Я ничего не просил ни у Бога, ни у жизни", — пишет Жерар. Это правда. Мы не просим. Мы принимаем то, что само идет к нам. А если и просим, то сущие пустяки: к концу месяца достроить стену или изгородь, просим погоды, просим чуточку смелости, сил справиться с трудной работой, вынести томительное ожидание. Мы не просим Три сосны, Бернадетту, вечное лето. Невозможно просить то, о чем не имеешь понятия. "Эти Три сосны — они будто только что выбились из-под земли и потянулись к небу..."

Сегодня, 18 мая 2004 года, как и тогда, 24 июня 1958 года, Три сосны только-только оправились от зимы. Ветер не сильный, но промозглый.

Моих скудных средств хватило, чтобы нанять катамаран, на нем я и причалил к песчаной косе, о которой упоминал Жерар в письме к Бернадетте. И вот я сижу под Тремя соснами. Передо мной неспешно течет река. Тихое утро. Там, на горизонте, фермы, дома, риги — в ту пору ничего этого еще не было. Весной после ледохода, когда река разливается, песчаная коса превращается в длинную фиолетового цвета отмель. В тот день небольшая дюна, где сидела Бернадетта, держа обеими руками зонтик, напоминала цветом незрелую сливу. Жерар плавал в реке, метрах в десяти от берега. Возле самой отмели глубоко, ногами до дна не достать, вода, как крепкий чай. Жерара сносит течением. Бернадетта повернула голову к Трем соснам, а сама украдкой следит за ним взглядом. Сосны тянутся верхушками к облакам. У самой тонкой ствол в три обхвата. Бернадетта и Жерар изо всех сил тянут руки, так что даже больно в плечах, и все равно не могут ее обхватить. Я вижу их: прильнув к дереву, раскинули руки, щеками трутся о шероховатую кору. Морщатся, им больно, потом громко смеются и вдруг, отпустив руки, со смехом падают на песок. Сраженные, довольные, тяжело дышат, безудержно смеются.

Они любят друг друга вот уже шесть так быстро пролетевших недель. Сейчас 8 августа 1958 года, и маленькая дюна превратилась в песчаный вал, им нравится лежать в его тени. Лето то обжигает, то приносит прохладу, то ласкает, словно ветерок в Трех соснах. В деревне уже поговаривают о свадьбе.

12 августа 1958 г.
Дорогой Жерар,

я говорила с папой. Мама-то почти с самого начала за тебя. (Не знаю, что такого она в тебе нашла!) А сегодня и папа сказал "да", глядя на ходики в кухне, будто для него это вопрос нескольких часов, а не недель. "Пусть это произойдет как можно скорее!" — торжественно произнес он, точно с амвона. Мне кажется, ему не по себе от одной только мысли, что я покину его дом...

Поднялся ветер, засвистел в Трех соснах. Запахло сочащейся из коры камедью — это словно кровь Жерара и Бернадетты. Они любили друг друга все лето и всю осень 1958 года, это было вчера, было только что, есть теперь. Ведь все бывает только теперь, другого времени не существует, есть только день, когда все неожиданно случается, застав нас врасплох с нашими желаниями и сомнениями.

Мне хочется рассказать о Трех соснах так, как это сделал бы антрополог, землемер, а еще поэт; хочется поведать о бесчисленных видах и подвидах, обитающих здесь, рассказать с чувством и в то же время четко и ясно, не оставив без внимания ни одну веточку, ни одну былинку, ни одну песчинку.

Я плавал неподалеку. Вы смотрели на меня?..

Кусты малины уже усыпаны белыми цветочками, похожими на звездочки. Пора сенокоса: вдоль тропинок просо и тысячелистник уже по плечо. В Сент-Флорансе и Сен-Жак-ле-Мажёр-де-Козапскаль только и разговоров что о предстоящей свадьбе. Пока Жерар плавает, Бернадет-

та откровенно им любуется. Она даже заходит в воду по пояс и кудахчет, точно курица. Травы уже скосили во всем кантоне Маталик. По вечерам Жерар садится за руль грузовика. Но прежде моется в больших ведрах на галерее, мыльные брызги летят на собаку и трех котов. Моясь, напевает какую-то мелодию собственного сочинения — это песня его взыгравшей крови. Он берет с собой Бернадетту, она ждет его здесь же, на галерее, — стоит, обхватив руками столб, на ней светлое хлопчатобумажное платье. Возле реки в зарослях папоротника спрятано каноэ. Они вытаскивают его на песок. Глубокая борозда, остающаяся от каноэ, быстро заполняется водой. Жерар закатывает штанины. Бернадетта разувается. У нее растрепались волосы — в последнее время ей что-то не удается аккуратно свернуть их в пучок; конечно, не грех задержаться перед зеркалом, но она всегда торопится, любовь подгоняет ее. Жерар с нежностью запускает руку в светлый струящийся шелк ее волос. У Бернадетты на лице вспыхивает румянец. Она жаждала этого — этой влаги, этой дрожи, этого наслаждения, оно почти причиняет боль.

Пара сотен гребков — и я у Трех сосен; я жду их там. Они причаливают, дно каноэ врезается в песчаное дно реки. Жерар спрыгивает в воду, Бернадетта остается сидеть, ухватившись руками за борт лодки. Наверное, ей нравится эта отзывающаяся где-то в утробе качка, когда Жерар вытаскивает лодку на отмель. *Это все равно что сидеть на лошади, несущейся галопом...* Бернадетта смеется. Я не слышу ее смеха — мешает ветер. И глаз не вижу — от ветра волосы падают ей на лицо. А его я вижу со спины, его вздыбившаяся черная шевелюра похожа на крыло взъерошенной птицы. Бернадетта выбирается из лодки, он ловит ее, словно она вот-вот упадет. А может, и вправду упадет — от удовольствия, от того, что преодолела страх, от радости, что она снова в Трех соснах, где все начиналось, где все начинается — каждый раз как впервые. Если не считать трех огромных деревьев, миллиардов песчинок на берегу, примерно шестисот булыжников, ветра, воды, трех ржанок, мха, травы — просо, клевер, уже в коконах ваточник, — тридцати покачивающихся на ветру маргариток и сотни стройных ястребинок, то можно сказать, что они одни в этом укромном уголке под открытым небом. Вокруг ни души, ни чужих глаз, ни чужих ушей, никаких свидетелей. Они ложатся рядышком на песок, закрыв глаза, открыв рты, держась за руки. Дальше я их уже не различаю. Сросшиеся, точно сиамские близнецы, они соскальзывают вниз по склону дюны. Соскальзывают сами собой, не прилагая ни малейших усилий, забывая в эту минуту обо всем на свете.

Напрасно, вооружившись биноклем, шарить взглядом по зарослям кустарника позади Трех сосен, никто не скажет мне, что я не заметил их, лежащих у склона дюны. Там никого нет. А есть — теперь и будет всегда — этот уголок, три больших дерева, река, песок, ветер и парящие ржанки.

Там, за горой — скорее за холмом, оставшимся от массива Шикшок, — раскинулось затерянное, всеми забытое Восьмимильное озеро. Я скоро там буду. Мне уже страшно, дрожь пробирает.

Ложусь, свернувшись калачиком, возле самой большой сосны. Хочется согреться. И немного поспать. Солнышко так хорошо пригревает.

Восьмимильное озеро — основное место обитания жалящей мошки и оленьей мухи. Вот оно, это озеро, передо мной. Где-то вверху щебечет завирушка. Но мне не до нее. В легендах индейцев микмак говорится, что от пения завирушки в сердце возникает голубая дыра, она быстро разрастается, становясь бескрайним небом. Я опускаюсь на корточки возле самого болота, на воде плавают желтые кувшинки, в воздухе вьются тучи комаров.



Когда у твоего отца появлялась какая-нибудь идея, его уже ничто не могло остановить. К несчастью, он никого и ничего не боялся...

Бесстрашный, мужественный, недюжинной силы, без памяти влюбленный, а гордости больше, чем у Джека Монолоя[1], здешнего ворона, юркой куницы, оленя, дикой ежевики и торчащего над водой кипарисового корня. Когда немного подтаяло, его стали искать. Пришли с собаками. Рано или поздно тело всегда всплывает. В камышах нашли клочок клетчатой рубашки, кусок от меховой куртки, козырек от картуза. Его достали из воды, положили на берег. Он — и не он.

Завирушка щебечет, сердце мое пронзила голубизна: вместо души у меня бесконечное небо. Еще на мне сотня лиловых пятнышек от укусов жалящей мошки — на ладонях, запястьях, шее, лодыжках. После того как я прошел густые заросли, пихтовый лес, перелезая через поваленные деревья, продираясь сквозь колючий кустарник, ноги от усталости сделались ватными.

Он был один, без своей собаки, вокруг ни души, не было даже завирушки — она давно улетела в Виргинию; он был один — со своим дыханием, от которого изо рта шел пар, с биением своего сердца. Один — с черными ветвями, льдом небесного цвета и безмолвием, пугающим снежным безмолвием. Один со своим ружьем. В тот день он ни разу не выстрелил, даже не открывал коробку с патронами, ее нашли нетронутой в тине. Почему он очутился на самой середине Восьмимильного озера? Что он там увидел, что искал? Тогда сказали — и сейчас еще говорят: "Несчастный случай", а думают: "Какая-то тайна". Страсть моего отца к Бернадетте, моей матери, — тайна. Само появление на свет Жерара, его детство, его смутные желания, ловкость, с которой он орудовал пилой, умение грамотно писать, несмотря на всего-то восемь классов, его волосы, похожие на крыло ворона, когда их вздымал ветер, его отвага — тайна. Тайна Сент-Флоранса, тайна Трех сосен, тайна Бернадетты, тайна Восьмимильного озера. Стой! Лед тонкий, держись, я сейчас! Как всегда, слишком поздно. Тайна остается тайной, мошки вьются, завирушка щебечет, от болота тянет гнилой древесиной; я пишу, сидя на пне, оставляю на бумаге слова, давлю мошек, и сердце у меня щемит.

Маленькая полынья посреди большого замершего озера. Мираж. На ледовом озерном столе — салфеточка из переменчивого неба. А что, если подойти посмотреть? Только посмотреть! Нечего там смотреть! — подсказывает здравый смысл, но какой Жерар прислушивается к голосу рассудка, когда речь идет о мираже. Жерар понимает, что на него нашло

1. Джек Монолой — герой песни современного квебекского поэта Жиля Виньо, в которой поется о трагической любви индейца к белой девушке. (*Прим. перев.*)

безумие. Но он ничего не боится, он презирает опасность. И потом, у него же есть Бернадетта, есть отчий дом под ивами, есть лесопилка, грузовик и шесть лошадей, зимой он запрягает их в сани. Еще, может, будет сын или дочка. У Бернадетты задержка, она недомогает по утрам вот уже неделю. Ему двадцать семь лет, и он ничего не боится. Да и чего бояться-то: лед крепок, и в жизни он тоже крепко стоит на ногах. И вот еще — опять же тайна: он, который и говорить-то складно не умел, с недавнего времени болтает без умолку. Он рассказывает, а Бернадетта слушает. Рассказывает обо всем подряд — о том, к примеру, что запросто может распилить толстый тяжелый кряж на десять частей. А как красива свежая золотисто-желтая стружка! Показывает, как кричит птичка пересмешник: на ее мяуканье отзывается глупый кот, что любит сидеть на балке в лесопильне, прямо у него над головой. Говорит, что его, Жерара, ничто не пугает — ни пила, ни слова, ни время. Говорит без остановки, не дает Бернадетте покоя своими рассказами, выдумками, безумными идеями, грандиозными планами. Он хочет построить парусную лодку, чтобы малютку баюкала река. Напрасно Бернадетта уверяет его, что воды ребенку и сейчас достаточно, у нее в утробе, Жерар слышать ничего не хочет: весной они пойдут под парусами вниз по реке, будут ночевать под звездами. Он будто все видит воочию: вот лодка плавно входит в камышовые заросли, вот мускусная крыса юркнула в какую-то щель, вверху причудливо раскинувшиеся ветви деревьев, с шумом летает скворец, в сетях золотится на солнце рыба, Бернадетта сидит под своим зонтиком на палубе. Он все рассказывает, рассказывает, а потом засыпает. Он ничего не боится. Еще немного — и он пойдет пешком по бурной Матапедии, как теперь идет по льду озера.

Сегодня 26 марта 1959 года, и лед тонок. У него с собой ружье — потом все никак не могли взять в толк, зачем ему понадобилось ружье. Может, из-за оленя, припавшего к самой полынье? Для чего же еще? Самец оленя спокойно, опустившись на колени, пьет воду посреди озера, словно на краю прудика. Красивое животное с большими ветвистыми рогами, которые чуть колышутся на ветру. Издали трудно понять, но, похоже, с ним что-то не так. Он трясет головой, трется шеей о край полыньи. Жерар сдвигает шапку с ушей, прислушивается. Олень стонет. Жерар долго слушает его хрипы. Животное ранено. От него по снегу, припорошившему лед, тянутся темные пятна. Это кровь, олень истекает кровью. "Иди посмотри, лед крепкий!" — это голос самого Жерара, но в то же время и не его: быть может, это олень его зовет или ветер, обманчивый ветер. Жерар движется вперед. Лед под ним трещит, трескается, но он не останавливается. Он считает, что действует осторожно, да и не впервой этому человеку слышать, как лед стонет под его тяжестью. Для него лесопилка мала, а спальня тесна, чтобы вместить все его желания. Он вышел из берегов, словно река во время паводка, у него непреодолимая потребность сообщить всей вселенной о своей радости, о своих грандиозных планах, о своей любви к Бернадетте. Он жаждет кричать на всю округу, что полон сил и ничего не боится, что он могуч, а на льду — легче лисы или куницы. Добравшись до камыша, торчащего, словно колья, будто нарочно выставленные на забаву горностаям и выдрам, он ложится. Припав ухом ко льду, вслушивается в крики и стоны оленя, слышит, как тот скребет по льду копытами. "Будь лед совсем уж тонким, — думает он, — олень в испуге пробил бы его, это точно!" Жерар опять встает на колени и движет-

ся вперед. Скорее даже ползет, накрывая собою ружье. Внезапно раздается резкий всплеск, и ружье исчезает. Жерар, потерев варежкой по льду, вдруг видит, как сквозь прозрачное стекло, что ружье тонет, ложится на песчаную мель. И только тогда — в тот самый единственный миг, ни до ни после, — он испытывает страх, в первый и последний раз за всю свою двадцатисемилетнюю жизнь. Он ощущает страх и не понимает, что за чувство владеет им, ведь он никогда прежде ничего подобного не испытывал: сильный спазм внизу живота, в глазах темно, точно порыв ветра разметал по воздуху золу. А когда мрачное облако рассеялось, когда он вновь смог дышать, он сделал то, чего делать нельзя было никак, он поступил как безумный, как враг самому себе, как глупец: он попытался подняться.

Он так и не смог встать на ноги, даже на четвереньки. Лед разверзся под ним, и мощный водоворот поглотил его. За мгновение до того, как погрузиться в воду, увлекаемый течением, он взглянул на оленя; тот, подняв голову, пристально смотрел на него, и оленьи глаза были недоверчивыми и ласковыми, как у Бернадетты. Это ему, умирающему зверю, словно читая прощальную молитву, он говорил о благословенном крае, где мои отец и мать были совершенно счастливы и совершенно одни в целом мире: "Три сосны, склон дюны, темная вода реки, ковер из мха под самой высокой сосной, маленькая тихая заводь, где каноэ оставляет на воде длинные борозды, пологий берег в виде полумесяца, покрытый фиолетовым песком, — там мы впервые взялись за руки, — огромное небо над Тремя соснами, изрезанное стремительно летающей ржанкой, неутомимый ветер, все лето дующий в Трех соснах, заставляющий плясать просо и тысячелистник, спальня, благоухающая постель, окно, смотрящее на ивы, из него каждую ночь летят мои слова, мои истории, мои бредни, ее смех — купол зонтика, под которым она ждет меня..."

Завирушка все щебечет. Я ее не слушаю, я и без нее знаю, что там, в моем сердце, голубая дыра, полынья, магическая дыра во льду.

Я тороплюсь вернуться в Козапскаль. Оплачиваю ночевку в мотеле и уезжаю в Квебек. Где-то между бухтой Сен-Поль и Гусиным мысом тихий голос моей матери, голос Бернадетты, говорит мне на ухо:

— Зачем тебе все это? Ни за что ни про что причиняешь себе боль...

В первый момент я не знаю, что ответить. А потом слова находятся. У меня всегда находятся слова, как у Жерара.

— Затем, что вы — исчезающий вид.

Я качаю головой, словно почувствовав что-то предательское, нет, не в сказанных мною словах, уловив в выражении лица, отражающегося в зеркале заднего вида, — вопрос, не имеющий ответа, недовольную мину искателя приключений, которого водили за нос, пусть не по всему свету, а вон там, неподалеку, в Трех соснах и на берегу Восьмимильного озера, в зарослях камыша и колючего кустарника.

Редкие, исчезающие виды... Мой отец, моя мать, а также белый американский журавль, филиппинский орел, сокол-кречет, японский ибис, дикий сомалийский осел, северный олень, голубой кит в заливе Святого Лаврентия, австралийский вомбат с волосатыми ноздрями, китайская гигантская панда, аравийский сернобык, шлемоносный казуар в Новой Гвинее, лошадь Пржевальского в Гобийском Алтае и наш сокол-сапсан.

# Жан-Себастьен Трюдель

## Замеры

*Перевод* И. Волевич

В общем-то, окно — это довольно просто, даже когда этих окон много, по одному в каждой комнате; в любом случае все и всегда начинается с первого из них, не важно, с какого именно... ну, предположим, с самого широкого, того, что выходит на улицу, — к нему нужно подобрать готовую, а еще лучше сшить занавеску, и так по одной на каждое окно, притом подходящего цвета, подходящего размера: когда обустраиваешь новый дом, желательно действовать методично даже в отношении занавесок, хотя что такое занавеска — ничего особенного! Однако и тут необходимы некоторые меры, вернее, уж простите за игру слов, замеры, ибо занавеска со слишком мелкими сборками, что выбранная в магазине, что сшитая своими руками, не все может скрыть, особенно в новом доме, где хочется видеть интерьер чистеньким, аккуратным, стилистически выдержанным; итак, следует произвести простые замеры, создающие уверенность в том, что все складывается благополучно, пользуясь при этом портновским сантиметром — желтой металлической лентой с разметкой в сантиметрах и дюймах[1] (точность никогда не помешает, верно?); и вот получается, что окно имеет ровно двести двадцать три сантиметра в ширину, а когда я говорю "ровно", то имею в виду ширину проема, иными словами, только застекленного пространства; разумеется, следует принять в расчет еще и ширину оконной рамы, или, если угодно, окна в целом, от края до края, что в данном случае вполне логично, и тогда цифра будет несколько больше, а именно, ровно двести сорок пять сантиметров; правда, эти данные мало о

© XYZ éditeur, 2007
© И. Волевич. Перевод, 2008
1. Канадский дюйм равен 25,4 мм. (*Прим. перев.*)

чем говорят, но, в конце концов, зачем мне знать точные размеры окна, чтобы купить ткань? Достаточно просто взять с запасом, а потом уж отрезать сколько нужно, в этом и состоит преимущество сшитых занавесок перед готовыми шторами, по крайней мере, когда уже прибиты карнизы... ну, конечно, следовало начать именно с карнизов; в самом деле, если уж мерить, то в первую очередь с учетом длины карниза, и, хотя эта мысль показалась мне вполне разумной, сам не знаю, что на меня нашло, судите сами: стоя в гостиной моего нового дома, посреди всех этих коробок, которые еще следовало разобрать, между диваном и турецким ковром, я снова начинаю — то ли для очистки совести, то ли от усталости, то ли по забывчивости — машинально обмеривать окно, несомненно потому, что отныне убежден в относительной бесполезности этого занятия, вообще-то, сантиметром больше, сантиметром меньше — результат меня уже не волнует, он не имеет никакого значения, раз уж здесь главенствует принцип аппроксимации, да, кстати, так оно и есть: при вторичном обмере ширины проема у меня получается двести двадцать четыре сантиметра, тогда как в первый раз, судя по моей же записи, там было двести двадцать три; что же касается оконной рамы, то я и ее перемериваю, ибо, когда встает вопрос о занавесках и карнизах, эти параметры являются основными; так вот, на сей раз у меня получается двести сорок четыре сантиметра, то есть на один сантиметр меньше, чем при прошлом обмере, и тогда я говорю себе, что, видимо, чересчур легкомысленно отнесся к этой второй попытке, что первый результат наверняка был точней, и начинаю мерить в третий раз, стараясь действовать как можно аккуратнее, крепче прижимая ленту сантиметра к подоконнику, внимательно проверяя, плотно ли она к нему прилегает, ведь стоит чуточку ослабить нажим, как это приводит к разнице в несколько сантиметров, плюс-минус; и что ж вы думаете! — теперь ширина окна равна двумстам двадцати пяти сантиметрам, а вместе с рамой — двумстам сорока шести, и я больше ничего уже не понимаю, ведь мне казалось, что я каждый раз изо всех сил натягивал ленту, я был готов к меньшей цифре, а это проклятое окно словно раздается вширь или, вернее, каждую минуту чуть-чуть меняет свои размеры, как будто такое возможно; подобные колебания в нормальных условиях не должны иметь места, бесполезно даже убеждать себя в этом, перемеривая все окно в четвертый раз и получая... двести двадцать шесть сантиметров для проема и двести сорок три для проема вместе с рамой; стоп, как же я не подумал об этом раньше?! Наверняка все дело в сантиметре, хотя... длина ленты способна меняться не больше, чем ширина окна или его рамы; даже при разбитом стекле размеры остались бы прежними, но оно и не разбито, однако я на всякий случай вытаскиваю другой сантиметр из коробки с инструментами, у меня всегда есть запасной сантиметр в коробке с инструментами, иди знай почему, впрочем, я не задаюсь ненужными вопросами, — ага, вот сейчас, тщательнейшим образом обмерив окно, я наконец-то получаю двести двадцать три сантиметра ширины проема и двести сорок пять для проема с рамой, то есть ровно столько же, сколько в первый раз с другим сантиметром; я так и знал, что первый замер — самый точный; разумеется, обычный человек тут же удовлетворился бы кажущимся сходством результатов, но я любознателен, меня вечно грызет беспокойство, и вот я делаю замеры вторич-

но и получаю двести двадцать четыре сантиметра для проема и двести сорок четыре для проема с рамой — точно как во второй раз первым сантиметром, — однако не поддаюсь панике и, замерив окно в третий раз, получаю те же абсурдные цифры, что при третьих замерах первым сантиметром; казалось бы, это постоянство в разнице должно меня утешить, особенно в четвертый раз, но именно оно побуждает меня начать обмеривать в гостиной все подряд: стол, диван, стены, телевизор — с каждым разом все аккуратней и тщательней, унимая дрожь в руках и с каждым разом приходя к другим, а лучше сказать, к цикличным результатам, применительно к каждому предмету, словно все, что находится вокруг меня, подчинено некоему постоянному циклу, свойственному каждому из этих предметов, — так, например, размеры стола в гостиной варьируются от девяноста пяти до девяноста шести сантиметров, затем от девяноста трех до девяноста двух, чтобы в конечном счете вернуться к девяноста пяти, и так постоянно, как будто сам процесс замеров определяет его параметры — ширину или высоту, в общем, не важно, что именно, — главное, мой портновский сантиметр тут совершенно ни при чем, как и измеряемый предмет, и промежуток времени, разделяющий эти замеры. Когда я обмериваю предмет впервые, я получаю такие-то результаты. Вполне правдоподобные. Я измеряю его вторично, и эти параметры меняются. Но они пока остаются в пределах допустимой погрешности. В третий и четвертый раз обмер еще показывает количество сантиметров, более или менее соответствующее величине данного предмета — по крайней мере я так считаю, — однако при этом всегда имеет место разница в один-два сантиметра, ничуть не больше, и эти изменения перманентны, они — от раза к разу, от предмета к предмету — упорно следуют четырехразовому циклу. Покончив с четвертым обмером, я неизменно перехожу к первому, как будто сам установил эту периодичность. Я не смею выйти из гостиной, ведь в других комнатах повторится то же самое! И еще того больше опасаюсь выйти из дома, где будет гораздо хуже, или, вернее, ровно то же самое, ибо новый дом ничего не меняет в окружающей действительности, где я столкнусь с массой непонятных явлений; в нормальных условиях вещи сохраняют свои размеры, но в то же время у меня возникает подозрение, что если бы я мог обмерить самого себя, то столкнулся бы с теми же вариациями, с тем же четырехразовым циклом, ведь цифирь я старательно выписываю в сантиметрах на стене гостиной черным нестираемым карандашом — ну да бог с ним, по крайней мере черное на белом хорошо видно, — а потом, сняв туфли, прижимаюсь к стене, и в первый раз это дает метр семьдесят семь, во второй — метр семьдесят шесть, в третий — метр семьдесят восемь, как и записано в моих водительских правах, в четвертый — метр семьдесят девять, а вот в пятый — снова метр семьдесят семь, и так до бесконечности; интересно, изменится ли это когда-нибудь? Нет, пока ничего не меняется, и тогда я начинаю спрашивать себя, сколько же мне еще торчать вот так вот, посреди ночи, спиной к стене, с ладонью на макушке, у окна гостиной, в которое на меня глазеют прохожие, поскольку занавесок пока нет; они останавливаются все подряд, заинтригованные моими манипуляциями, тогда как я делаю вид, будто никого не замечаю, а через несколько минут идут своей дорогой, и так оно лучше, не стоит беспокоить их моими переживаниями,

особенно, если ты новосел в данном квартале, ведь этим людям так уютно живется в своем мирке, зачем же их будоражить, хотя, честно говоря, любопытно было бы узнать, менялось ли что-нибудь и для них тоже в окружающей обстановке, пусть лишь по видимости, именно по видимости, потому что на самом-то деле вещи не изменяют своих размеров, или уж если изменяют, то все вместе, скопом, иначе дом просто пошел бы трещинами и обрушился, а уж окна-то разбились бы в первую очередь, да и сам я неизбежно почувствовал бы, как мне жмут или, наоборот, болтаются на ногах туфли, ставшие тесней или шире на несколько миллиметров; короче, было бы весьма утешительно видеть, что и все другое подвержено переменам, но, увы, пока одни лишь мои замеры меняются со своей неизменной периодичностью, как будто решили не иметь никакого отношения ни к самим предметам, ни ко мне, сидящему теперь на диване, угомонившемуся, несмотря на карандашные пометки на стене, несмотря на то, что солнце встанет только через несколько часов, несмотря на все более редких прохожих в этом квартале ночью летом, где включенный свет привлекает взгляды, а потому, как только откроется магазин, я куплю в нем занавеску шириной примерно в два с половиной метра, ни больше ни меньше, дабы никто не увидел с улицы, как я закрашиваю стену гостиной сначала белой краской, а потом белой с голубоватым отливом, гармонирующей с узорами турецкого ковра, мне придется положить несколько слоев ее, чтобы забыть весь этот кошмар, чтобы никогда больше не волноваться по поводу замеров и, в частности, замеров окна в высоту, о которых я по рассеянности совсем забыл, а ведь окно-то как-никак двухмерное, но это ничуть не усложняет ситуацию, ведь для раскроя занавесок достаточно купить ткань и разметить ее мелком, обыкновенным мелком, и уж эти-то штрихи никуда не денутся, даже если вещи снова затеют свистопляску с размерами и четырехфазным циклом; они — что в первый раз, что в последний — останутся на своих местах, по ним можно точно раскроить ткань, и занавески получатся великолепные, и каждый раз будут плавно скользить на кольцах туда-сюда, и я смогу их задвигать, и никто больше не увидит меня в гостиной ночью, сидящим без сна, без всякой надежды лечь в постель и заснуть, или хотя бы погасить свет, или хотя бы попытаться уразуметь, как и почему все это началось.

# Жереми Ледюк-Леблан

## Вальс гусениц[1]

*Перевод* И. Волевич

ГАНСУ двадцать восемь лет, и вместо мыслей и сердца у него черная дыра. Он не знает почему, но знает, что это именно так. Вот потому-то он и пишет. Вечер за вечером. Подыскивая верное слово. То самое слово, которое как раз и позволит ему справиться с сомнениями и колебаниями. Но он не всегда находит его, не каждый день находит. И если нужное слово слишком надолго застревает у Ганса в голове, его начинает мучить нетерпение. И страх никогда не найти такое слово или заплутать в лесу слов, иными словами, сбиться с дороги. Тогда у него начинают дрожать руки, сперва незаметно, потом все сильней и сильней. Но Ганс, как и большинство молодых писателей, не сдается, упорно вымучивает слова и фразы. Он уверен, что умеет писать, потому что умеет сидеть за письменным столом.

В ожидании прихода фразы, с которой начнется очередная история, Ганс пьет, чтобы нарушить "молчание слов". По крайней мере так он говорит. И, за неимением слов, подыскивает себе союзников. Однако все бумаги, все старые заржавленные перья, блеклые камушки и раковины, загромождающие пространство стола, кажутся ему реликтами прошлого. Как, впрочем, и его маленькая настольная лампа с матовым стеклом, как сборники поэзии, которые он давно уже не читает, как его менора – старинный семисвечник, заменяющий ему ныне пресс-папье. Когда он ищет нужные слова, все окружающее утрачивает для него свой смысл. И он пьет – чисто рефлективно. Всегда вино. Всегда красное.

© XYZ éditeur, 2007
© И. Волевич. Перевод, 2008

1. Так называют небольшие снегоуборочные комбайны на гусеничном ходу для очистки тротуаров. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Время для Ганса трудно поддается измерению. Сколько часов прошло? Сколько слов было написано и сколько из них затем вычеркнуто? Он уже не знает. Присосавшись к тексту, он забывает о том, что голоден, и думает лишь о словах, которые, хоть плачь, не желают ложиться на бумагу. Боязливо затаив дыхание, он подстерегает каждое слово, возникающее у него в мозгу, в надежде, что хоть одно из них согласится быть написанным, проложит себе путь к белому листу. Как он мечтает зацепиться за что-нибудь надежное. Все равно за что. Ему нужна совсем крошечная уверенность. Круглая и теплая. Мало-мальски осязаемая. Но нет, ничего у него не остается. Кроме часов, что текут и застывают на бумаге. И кроме вина, что течет в горло, смешивая воедино слова и время.

За окном идет снег, а снег, по уверениям Ганса, возбуждает желание закурить. Он не знает почему. Но с тех пор, как он бросил курить, он курит еще больше, особенно потому, что твердо решил покончить с Кундерой. Он уже расправился с "Бессмертием" и "Жизнью не здесь" и теперь курит "Невыносимую легкость бытия", в галлимаровской серии "Folio". Потому что ее страницы не такие плотные. Вот так вот! Кундера — именно тот автор, который предрасполагает к любым порокам. И потому Ганс вырывает наугад страницу 245 из "Невыносимой легкости бытия", насыпает щепотку табаку в центр листа, смачивает слюной краешек — и самокрутка готова. Даже клея не требуется. Кундеровская проза сама по себе клейкая, страницы так и слипаются, не раздерешь. Курить писателя — значит, вырывать у него слова изо рта, так думает Ганс. А вот чтобы заткнуть рот Кундере, пришлось бы спалить все библиотеки в мире плюс кабинеты дантистов, психиатрические клиники и некоторые факультеты университетов.

Сколько же это часов прошло? Ганс не знает, он говорит себе, что, если бы ему удалось начать писать, можно было бы, наверное, перестать думать. Но даже и в этом он не уверен. В окно он видит, как Борис спускается по ступенькам из своей квартиры, расположенной как раз напротив его собственной, и вальсирующей походкой проходит между тяжело падающими снежными хлопьями. За ним шагает Матье. В свой черед. Вот уже целый год Ганс следит за ними и все о них знает. По крайней мере так ему кажется. Он знает все про обитателей улицы Бордо. А то, чего не знает, — додумывает. Например, ему гораздо интереснее представлять себе, что его ближайший сосед вовсе не торгует марихуаной в своей трехкомнатной квартире, а гадает на кофейной гуще. И так же он фантазирует по поводу другой своей соседки, старой спившейся развалины, воображая, что та некогда была танцовщицей фламенко. А нынче живет в окружении молодых альфонсов и безвкусных тряпок, лишь бы забыть былые времена, когда ею восторгались. Забыть времена, когда молодые парни на улице еще свистели ей вслед.

Ганс хочет понять. Ну отчего он не способен рассказывать истории, даже самые простые?! Он мечтает научиться описывать вещи просто — так же просто, как это получается у писателей, когда они пишут. Но ему это не дается. А ведь он делает все то же, что и они. Наблюдает за стариками, играющими в шары в парке Лафонтен. Следит за ребятишками на школьном дворе. Посещает все коктейли для молодых писателей и много пьет. Цитирует великих авторов между двумя тостами с копчеными устрицами, осетровой икрой или какой-нибудь редкостной рыбой,

которой грозит полное уничтожение. Рассуждает, притом вполне разумно, об авторах, которых следует любить, и презирает других, тех, кого следует презирать. Иногда даже обменивается с кем-нибудь телефоном или электронным адресом. Из вежливости. Молодые авторы недолюбливают друг друга.

Но в ожидании того момента, когда он напишет то, чего не может написать, Ганс пишет о том, что ему хотелось бы делать, если он не будет писать. Например, составляет список покупок, за которыми нужно сходить в центр города. Нескончаемый список. Когда наступает время ничегонеделания, откладывания дел на потом, никаких проблем не возникает, так он думает. Но отчего же, отчего ему удается писать именно тогда, когда он не пишет, когда решительно отказывается писать?! Отчего самые удачные мысли обязательно посещают его именно в тот миг, когда писать совершенно невозможно?! Сколько мыслей приходит в голову, когда стоишь под душем? Он не может ответить на этот вопрос. А что, если это замечательное слово, которое он так безнадежно ищет, можно увидеть лишь издали? К этому слову так просто не подберешься, как кажется. А может, оно подобно пузырьку шампанского? И выскальзывает из пальцев в тот самый миг, когда чудится, что ты его наконец-то ухватил. Может, оно отступает, когда ты делаешь шаг вперед, и приближается, когда ты отступаешь? Может, оно легче воздуха?

Звуки Моцарта по радио медленно тают, умолкая на полутрагической, полукомической ноте. На немецкой ноте, думает Ганс. Исполняли "Реквием". А "Реквием" неизменно напоминает ему прошлое, детство, проведенное в Берлине, а потом в Вене. Ганс помнит, что такую же неуверенность испытывал он в отношении немецкого языка. Он решительно этого не понимал, ведь учить немецкий и разыгрывать гаммы было одинаково бесполезно. Ни его пальцы, ни язык не выдерживали нужного темпа. Пальцы то и дело цеплялись за черные клавиши, язык путался в склонениях. Мужской род. Женский. Средний. Ганс не понимал. Он предпочитал средний. Например, знаменитое *das — это* или *то*, ровно ничего не говорящее. Слово, которое означает неозначаемое. Ганс говорил в среднем роде, как говорят дефективные. Он изобрел свой личный, особый язык. Но это было давно. Еще до того, как он забросил музыку.

Однако для Ганса молчание Моцарта — молчание не настоящее. Даже если на какое-то время он снова обретает способность писать. В свой список Ганс добавляет еще один пункт. Найти в Монреале синагогу. Молитва была и остается для него чем-то мистическим. И он не знает, отчего вдруг синагога кажется ему последним прибежищем, еще способным подарить вдохновение. Он вырывает из "Невыразимой легкости бытия" страницу 247, слегка комкает ее, чтобы сделать мягче, высыпает на середину щепоть табаку и сворачивает. Если вдуматься, слово "синагога" — не то, что он ищет. Хотя от него веет покоем и суровостью, бубликами и потом. Ганс раскуривает страницу 247 романа Кундеры, долго вдыхает слова, лишенные смысла, и фразы, все до одной напыщенные. Слегка откашливается.

Ганс грезит в тишине, зажав самокрутку пальцами и глядя на медленно падающий снег. Он смотрит, как течет время, как оно разжигает его нетерпение. Слышит, как время поскрипывает под ногами Сюзанны, хо-

рошенькой соседки, которую он часто встречает на улице, видит, как покусывает оно щеки Роже, сметающего снег со своего балкона широкими взмахами метлы. И даже если в квартире Матье и Бориса не горит свет, он все равно угадывает их присутствие за непроницаемыми стенами здания. Он знает, что они уже дома. Ганс завидует сплотившей их нежности, доверию. Ну все, последняя затяжка, и со страницей 247 будет покончено. Кундера испускает дух в его белых пальцах, в его белых руках.



А список, лежащий перед ним, все пополняется. Колонка слов для бакалеи. Другая — для оплаты счетов. Еще одна — для всего остального. Полить цветы. Позвонить маме. Насыпать корм золотым рыбкам. Но сначала бакалея. Хлеб, салат латук, сладкий перец — красный, зеленый, оранжевый, только не желтый. Ганс ненавидит желтые перцы. Он и сам не знает почему. По тротуарам ползут гусеницы, все сметая на своем пути. Они отнимают у города его первое зимнее оперение. Тонюсенький снежный флер. Ганс добавляет в список слово "пиво", которое, заметим мимоходом, не является тем словом, которое он ищет. Гусеницы проползают снова, подчиняясь манипуляциям операторов, маньяков и садистов, очищающих тротуары от снега с эдаким бесцеремонным презрением к прохожим и цветочным бордюрам, оправдывая этим садизмом свою роскошную муниципальную зарплату. Ганс добавляет в список лукпорей. Который также не является тем словом, которое он ищет.

Сколько же слов было вычеркнуто? Ганс уже и не знает. Он разглядывает кружочки от рюмки с красным вином на заляпанной бумаге. Сколько нужно таких кружочков, чтобы испачкать целую страницу? Может, восемь или девять, а то и все десять. Гансу чудится, будто он ходит кругами вокруг того, что стремится высказать. Ему хотелось бы думать "сквозь слова", видеть за ними другие слова. Ганс думает, что он слишком много думает и что хорошо бы ему иметь кого-то рядом. Кого-то, кто напоминал бы ему, что он существует. Потому что ему уже тошно двигаться вперед вслепую, искать заветное слово. Ганс глядит на почти уже белую листву. Он глядит на свои руки, такие же белые, как ночь, — в те ночи, когда он подстерегает Матье. Вот уж кому все дается легче легкого. Стоит лишь подсесть к компьютеру и начать писать. В словах у него недостатка нет, они теснятся в голове, просясь на выход, и, вывалившись кучей на бумагу, складываются в фразы, в абзацы, которые образуют под его диктовку романы и новеллы. Для Матье все слова живые, они дышат и излучают тепло, они полны жизни. Им не требуется вино.

Сидя за рабочим столом, Ганс не может вымолвить слова. Да оно и не годится, это слово, даже если это хорошее, звучное слово, которое нынче никто больше не использует. Это не то слово, которое позволило бы ему понять, объяснить пустоту в голове. Ганс смотрит на свой бакалейный список. И думает: на самом деле это не имеет никакого значения. Составлять списки — для чего, зачем? Он уже и сам не знает. Ганс отхлебывает вино. Глотает собственное безумие, не сводя глаз с книжек, разложенных на письменном столе. Вирджиния Вулф. Наварр[1]. Камю. Бронте. Хандке. Кавабата. И Нотомб. И Дюрас. И Кундера тоже здесь. Пойдут на самокрутки.

1. Ив Наварр (1940–1994) — французский писатель и драматург.

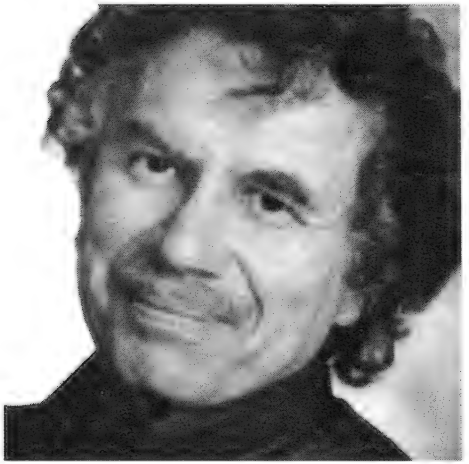
И, конечно, Ганс оттягивает момент начала работы; он встает, делает последний глоток вина, говорит себе, что он будет последним, садится и снова встает. Пропустить, что ли, еще стаканчик? Он колеблется. Раздумывает, с чего бы начать. Но слова ускользают, утекают между пальцев. Ганс грубо выдирает из книжки страницу 249. Другой рукой набирает табаку и скручивает очередную сигарету. Последнюю? Гусеницы уже срывают бетонное покрытие с тротуаров. Попутно заграбастывают зазевавшихся пешеходов и мусорные автоматы. Им на все плевать, этим машинам, они же бездушные. Под управлением злобных и депрессивных операторов. Ничтожных людишек без капли совести. Едут прямо на красный свет, беспардонно, как некоторые лихачи, сбивающие велосипедистов.

Огонек лампы на другой стороне улицы Бордо пронзает ночную темноту. Ганс узнает Матье. Он там один. Перед своим компьютером. Уже 11 часов, констатирует Ганс. И вот этот самый Матье — пока Борис где-то в глубине квартиры спит как младенец — сидит и пишет. Он всегда пишет, даже в самое неподходящее время. Полуголый, как будто за дверями и окнами домов по улице Бордо все вымерло. Ганс замечает также, что он не удосужился даже снять свою кипу. Ганс думает о том, что ему не удается написать, и вдруг понимает, что нынче шаббат. Что-то непреодолимое отделяет его от Матье. Этот Матье, сидящий так близко, что Ганс почти чувствует его запах, Матье с его классическим еврейским ликом — тогда как Ганс никто и звать его никак — внушает ему отвращение.

Ганс перечитывает написанное. Пока что он пишет как-то вокруг да около, словно не способен прозреть собственный замысел. Белые стены комнаты смыкаются над ним. Ганс смотрит на неутомимые руки Матье, но главным образом на его пальцы, изголодавшиеся по словам. Отпивает еще глоток вина. Следит за тем, как слова порхают в холодном прозрачном воздухе, между снежными хлопьями. Маленькие и круглые, словно пузырьки шампанского. Теперь он видит, что они тянутся к окну Матье, и понимает, что сегодня вечером удача ему не светит. В эту минуту Ганс готов убить Матье, вонзить ему кинжал в спину, спалить дотла все дома на улице Бордо. Свечи у него на столе уже оплыли и догорают. Одна за другой. Сколько еще времени осталось Гансу на поиски слов? Сколько часов пролетело? Он уже не знает.

Время, застывшее в тесном пространстве его спальни, походит на бакалейный список. Список, который тянется бесконечно. Потому что всегда найдется что добавить. Последнее слово, в дополнение к предыдущим. Ганс ходит кругами вокруг чего-то, что можно выразить лишь на бумаге. Чего-то, что может существовать, только будучи написанным. И в ту минуту, когда он уже собирается прерваться на ночь, в квартире через улицу гаснет свет. И Матье исчезает во мраке. Прихватив с собой последние дневные слова, Ганс глядит на часы. Поздно. И тогда ему становится ясно, что, обдумывая, как выразить в словах свои мысли, он позабыл, что, собственно, хотел сказать. Снег уже не идет, и чудится, будто город, в свой черед, тоже гаснет. Матье ушел к Борису. Ганс глядит на измаранный лист бумаги и вычеркивает слово. А за окном на улице теперь бодрствуют одни только гусеницы, продолжая вальсировать между бродячими котами и озябшими цветочными клумбами.

# Ив Бошмен





# *Ночлег в гостинице*

*Перевод* И. Волевич

Брат, я желаю тебе синего неба
Много косуль,
Бобровую шубу и надежду.

Шатобриан *Натчезы*

*Посвящается Аре Кермуаян*

Давно уже я не наведывался в родную деревню близ Абитиби[1], где провел такое счастливое детство.

И вот в 1974 году (мне было тогда тридцать три года) я ощутил непреодолимое желание увидеть ее снова.

Я только что женился, совсем недавно опубликовал свой первый роман, весной получил водительские права (да-да!), и мы с Вивиан пытались завести ребенка. Для меня наступала новая эпоха в жизни. Именно этим, без сомнения, и объяснялось желание посетить те места, где я начал познавать мир, словно мне хотелось набраться сил перед тем, как ринуться в неизвестность будущего.

Где-то в середине июля я взял напрокат маленькую темно-синюю "вегу", и в одно прекрасное утро мы взяли курс на Абитиби. Вивиан не терпелось увидеть деревню, о которой я так часто ей рассказывал. Возможно, она надеялась, что там еще обитает призрак ребенка, которым я был некогда, — вдруг он мелькнет перед ней хоть на какую-то долю се-

© Yves Beauchemin, 2008
© И. Волевич. Перевод, 2008

1. Озеро в Канаде, на границе провинций Квебек и Онтарио. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

кунды. День был ясный, погожий, чуточку ветреный, пронзительно-синий купол небосвода вселял в нас чувство беззаботного веселья и звал к приключениям.

В первой половине дня мы прибыли в Гран-Рему. Это была крохотная деревушка на берегу реки Гатино: кучка домов вокруг церкви, бакалейная лавка, открытая круглые сутки, кирпичное здание школы, выстроенной еще при Дюплесси[1]. Вот уже час как наши пустые желудки все настойчивей подавали сигналы тревоги. Мы ехали по мосту через реку, как вдруг завидели вдали ресторан. Несколько минут спустя мы сидели за столом перед тарелками с говядиной и морковным салатом. Просторный зал кафетерия был битком набит посетителями, несмотря на то, что обеденное время давно прошло. Поражали размеры этого заведения, не сравнимые с крошечной соседкой-деревней, — правда, оно находилось на скрещении больших автострад и на периферии огромной необитаемой территории. Последний оплот цивилизации перед долгим путешествием.

За соседним столом сидел, просматривая счета, человек средних лет, в фартуке, явно хозяин ресторана.

Вивиан обратилась к нему:

— Скажите, далеко ли отсюда Валько?

Мужчина поднял голову и удивленно взглянул на нас:

— Вы едете в Валько?

У него были пухлые розовые щеки, бледные губы, густой полуседой чуб, спадавший на лоб, и вид бывалого человека.

Вивиан кивнула.

— Вообще-то дорогу еще с весны совсем развезло. Дорожная служба ее почти совсем забросила. Значит, так: сначала проедете через парк Ла-Верандри, а там свернете на дорогу Пинель. Это километрах в двадцати отсюда.

Он не мог сдержать усмешку, глядя на нас, глупых горожан, жаждущих приключений в захолустье, где царит одна только скука да еще комары.

Мне захотелось объяснить ему, в чем дело, и я сказал:

— Я семь лет прожил в Валько.

— А-а, вон оно как, — отозвался он с вежливым безразличием.

— Скажите, далеко ли от поворота с дороги Пинель до Валько?

— Да километров двести будет. Считайте, не меньше четырех часов езды. Так что не забудьте заправиться. В той глухомани заправок днем с огнем не сыщешь, одни ели да березы.

И он залился смехом.

Мы тронулись в путь в два часа дня. Через двадцать минут мы уже подъезжали к ограде парка. Студент с гладким желтым лицом, преисполненный детской гордости за свою ответственную должность, осведомился о маршруте нашего путешествия и занес в журнал фамилии и номер машины.

— Приятной поездки... и будьте осторожны, — посоветовал он нам с отеческой улыбкой.

1. Морис ле Нобле Дюплесси (1890–1959) — канадский политический деятель, премьер-министр провинции Квебек (1936–1939, 1944–1959).

— Дорога Пинель! — внезапно объявила Вивиан, указав пальцем на щит справа.

Щит... громко сказано! Скорее, просто прибитая к дереву грубо обтесанная дощечка, на которой кто-то вывел название корявыми черными буквами.

Машина сползла с асфальта на грунтовку. Поначалу все шло хорошо. За нами пышным шлейфом стлалась пыль, легкие толчки вызывали у кузова, не привыкшего к таким сюрпризам, разноголосое кряхтение, а кофе вполне безопасно колебалось в пластиковом стаканчике, который Вивиан держала в руке. Дорога шныряла по хвойному лесу между чахлыми, суховатыми деревьями; яркое солнышко, весело игравшее на их иглах, придавало им вид жизнерадостных калек.

Но после того как мы одолели с десяток километров, встречные пригорки и громоздкие обломки скал, каждую минуту вылезавшие из земли, заставили меня слегка сбавить скорость из страха повредить машину. Тогда я был еще новичком в вождении (кое-кто скажет, что так им и остался!) и с чисто детским удовольствием выписывал кренделя по этой раздолбанной тропе, извивавшейся, как змея в конвульсиях, между вязкими, размытыми дождем обочинами.

— Ты не хочешь ехать чуточку правее? — время от времени советовала мне жена, похоже, не разделявшая мою радость.

Я подчинялся, но через несколько минут как-то невольно снова выруливал на середину — единственную проезжую часть дороги, позволявшую сохранять скорость около пятидесяти километров в час.

Однако, несмотря на мой радостный энтузиазм начинающего каскадера, мало-помалу у меня исподволь начинала зарождаться смутная боязнь очутиться вдвоем с Вивиан в беззащитном одиночестве среди этой безлюдной, неприветливой чащобы, и хотелось как можно скорей добраться до той далекой деревни, где мы могли бы рассчитывать хоть на какое-то подобие цивилизации.

Так прошел час. Дорога становилась все хуже и хуже. Теперь нам часто попадались остовы машин, брошенных на обочине. После двух-трех резких толчков, которые заставили меня испугаться за сохранность амортизаторов, я поехал еще медленней. Приходилось то и дело включать "дворники", чтобы очистить лобовое стекло, занесенное пылью и облепленное разбившейся об него мошкарой.

Я притормозил, чтобы аккуратно объехать полусгнивший деревянный желоб для спуска бревен, и вдруг перед нами возник длинный отрезок прямой и гладкой дороги — настоящее чудо, подарок небес, посланный нам в утешение. "Вега" ринулась вперед на полной скорости, и стрелка спидометра поползла к цифре 80. Дорога перешла в плавный, широкий изгиб, гостеприимно зовущий подняться на холм. Я прибавил газу, чтобы не потерять скорость.

Но тут Вивиан издала вопль, и ее ногти впились мне в плечо. Навстречу нам в туче пыли, с ужасающим ревом, словно возвещая конец света, выскочила огромная автоцистерна. Я резко крутанул руль, колеса чудовища задели бок машины и безжалостно сотрясли ее; миг спустя грузовик исчез из вида, оставив за собой скрежет тормозов и лязг передач; потом все стихло, и только горячая, удушливая пыль, забившая но-

здри и горло, свидетельствовала о том, что это была не галлюцинация и что мое лихачество могло стоить нам жизни.

Вивиан в ярости взглянула на меня, но смолчала. Впрочем, думаю, она просто не в силах была подать голос; кроме того, мой пристыженный вид ясно говорил, что любые упреки излишни.

Теперь я благоразумно держался правой стороны и сбавил скорость до минимума.

— Как ты думаешь, скоро мы приедем? — спросила Вивиан через минуту.

— Понятия не имею. Я мечтаю только об одном — не наехать на какой-нибудь каменный торчок, а то, не дай бог, лопнет покрышка...

Лес выглядел все более хилым и жалким. Внезапно он расступился с левой стороны дороги, обнажив гигантскую плешь безжалостной вырубки. Радость от поездки испарялась на глазах.

Я бросил взгляд на стрелку бензобака. Она угрожающе быстро клонилась к нулю. Встречные пригорки, коварные выступы скал, раскисшая дорога и низкая скорость пробудили у двигателя зверский аппетит. При мысли о том, что мы рискуем застрять без капли бензина, ночью, в этой безлюдной дыре с полчищами комаров-кровососов, у меня взмокли руки.

— Ты думаешь, нам придется ехать обратно? — снова спросила Вивиан.

— Почему бы и нет? Похоже, до нас так поступили многие другие.

Она быстро взглянула на меня:

— Откуда ты знаешь?

Тем не менее наша "вега" отважно ползла вперед. Солнце рассыпало огненные блики на ее капоте. До сумерек оставалось еще три-четыре светлых часа. Этого было вполне достаточно.

— Спорю на пять долларов, что в семь вечера мы уже будем ужинать в отеле "Кастобьяк".

Вивиан ответила мне улыбкой — она храбро пыталась поверить моему обещанию.

Мой отец настоятельно рекомендовал мне эту гостиницу (впрочем, другой в деревне и не было); он близко знавал ее хозяина Жозефа Руло в те времена, когда мы жили в Валько.

Теперь я делал не больше тридцати пяти километров в час. Прошло еще какое-то время. Вивиан потянулась вперед, чтобы включить радио. Но оно издавало только слабый хрип. Нам чудилось, будто мы очутились в полной изоляции на какой-то лесистой луне. Моя жена прыснула со смеху:

— Мы же хотели приключений, вот и получили!

И она начала острить по поводу туристических утех в Абитиби. Какая жалость, что мы не провели свадебное путешествие на озере Капитачуан, или на водохранилище Гуэн, или в глубине какой-нибудь заброшенной золотоносной шахты! И как же нам не повезло, что мы не угодили в лапы голодному медведю! Вот были бы незабываемые воспоминания!

— Я уверен, что ты забеременела бы через три дня, не позже. Любовь и бурные эмоции — самое верное средство.

— Ну что ж, тебе остается только попробовать сегодня ночью, дорогой...

Я не успел ей ответить. Буквально в пяти метрах от нас торчала скала высотой с Сен-Бернар. Я резко нажал на тормоз. Машина остановилась аккурат перед скалой. Мы вышли, чтобы обследовать местность.

Обогнуть скалу было нетрудно. Но чуть дальше дорогу пересекала от края до края широченная, почти в полметра, расселина, несомненно образовавшаяся после жестокого ливня, прошедшего несколько дней назад. Через нее было переброшено нечто вроде мостика из древесных стволов с кое-как обрубленными ветвями, но проехавшая автоцистерна здорово продавила его.

Мы растерянно переглянулись. Комариное жужжание звучало все назойливее. Вивиан кусала губы.

— А может... может, нам стоило бы вернуться в Гран-Рему?

— Ты шутишь?! Мы проделали больше половины пути. Если мы сейчас повернем назад, то наверняка засядем с пустым баком где-нибудь на дороге.

Я подошел к машине и открыл багажник. Разумеется, лопаты там не оказалось, а жаль: я мог бы засыпать трещину землей, хотя бы частично.

Сойдя с дороги, я углубился в лес. Меня тотчас атаковали комары. Но через полчаса мы натаскали вполне достаточно сухих стволов, чтобы кое-как укрепить мостик. Только выдержит ли он тяжесть машины?

Я сел за руль — лицо и руки у меня вздулись от комариных укусов — и включил мотор. Вивиан ждала посреди дороги, свирепо расчесывая кожу.

Мостик жутко заскрипел, затрещал, но не рухнул.

— Всё! Ноги моей здесь больше не будет! — пробурчала Вивиан, садясь рядом со мной.

— Да неужели?! А я-то как раз мечтал переселиться в этот тихий уголок... Разве тебе не улыбается провести долгую холодную зиму в бревенчатой хижине со слюдяными окошками, в которые аборигены глазели бы на тебя?!

Но, честно говоря, мне было уже не до шуток.

Следующие двадцать километров мы проехали более или менее сносно. Время шло к шести вечера. Солнце уже клонилось к горизонту. Мы все чаще поглядывали на указатель горючего. Бак был пуст на две трети. Я начинал всерьез опасаться, что нам суждено провести ночь в лесах Нового Света, только она будет гораздо менее поэтической, чем у Шатобриана!

Внезапно слева показался дом, затем, справа, другой, и мы увидели поселок лесорубов — пять-шесть строений довольно унылого вида, окружавших подобие площади.

Вивиан облегченно вздохнула.

— У них наверняка найдется бензин.

— И, может быть, нам удастся перекусить.

Я остановил машину перед самым большим домом — скорее всего, здесь-то и было кафе. На перилах веранды сидели, свесив ноги, человек двенадцать мужчин, ярко освещенных закатным солнцем; они молча разглядывали нас.

Я решил навести мосты:

— Скажите, здесь можно купить бензин? Я еду в Валько, и у меня горючего — кот наплакал.

Мужчины, в большинстве своем лет тридцати на вид, продолжали безмолвно и бесстрастно смотреть на нас с каким-то странным выражением. Оно было одновременно ироническим и суровым и, казалось, таило в себе угрозу. Застывший воздух наполнился почти ощутимым напряжением, как перед взрывом. Внезапно до меня дошло, что все они уставились на Вивиан и что любое слово, любой жест или взгляд, выдающие испуг или вызов, способны спровоцировать непоправимое. Меня охватила странная, гнетущая слабость. Вивиан, бледная как смерть, съежилась на своем сиденье, упорно глядя в пол.

— Скорей! — шепнула она, не поднимая глаз. — Поехали отсюда. Мне дурно.

Высокий тощий блондин спрыгнул с перил и подошел к нам:

— Заправка там, за гаражом. Езжай, я тебя догоню.

Он вытащил из кармана связку ключей и с дерзкой ухмылкой побренчал ими.

Вивиан бросила на меня перепуганный взгляд. Но выбора у нас не было. Я нажал на акселератор и стал дожидаться, когда подойдет хозяин заправки.

— С вас пятнадцать пиастров[1], — сказал он, наполнив бак, и протянул руку за деньгами, все с тем же наглым спокойствием рассматривая Вивиан. — Красивая у тебя женка. Ты приглядывай за ней.

И добавил, похлопав меня по плечу:

— Привет.

— Никогда... никогда больше не приеду сюда! — прорыдала Вивиан, когда мы отправились дальше.

— Да ладно тебе, просто мужики изголодались... ну, подумаешь, ели тебя глазами, ничего страшного.

Но, говоря это, я все еще чувствовал, как у меня пересохло в горле.

Итак, путешествие наше продолжалось, испытания тоже. Небо потемнело, теперь сгущавшуюся тьму разрезали только два луча наших фар, и от этого лес казался еще мрачней, чем прежде. Мне пришлось снизить скорость, так как машина уже дважды натыкалась на скалы — они подстерегали нас за каждым поворотом, заставляя опасаться серьезной аварии. Это и произошло около девяти вечера. Удар был такой сильный, что я решил: все кончено, наверное, сломалась ось.

Я выключил сцепление и, проклиная себя за то, что не прихватил карманный фонарик, пошел осматривать повреждения. Шина была безнадежно спущена, обод искорежен.

— Эх, как же я мечтаю лечь и поспать, старушка! — сказал я, обернувшись к Вивиан, с убитым видом присевшей возле меня.

Замена колеса — поскольку я был новичком в этом деле — отняла у меня массу времени. К счастью, ось выдержала удар.

С наступлением ночи целые полчища бодрствующих комаров поднялись в воздух, заполнив его назойливым ноющим жужжанием; эти мучители истязали меня с каким-то остервенелым восторгом, сотнями впиваясь в кожу, и тщетно я извивался, шлепая себя по щекам, по плечам, по шее, по спине, пытаясь раздавить проклятых извергов, которые вонзали

1. В разговорной речи франкоговорящие канадцы часто называют канадский доллар пиастром.

в меня свои жала, сосали кровь и заносили в жилы малярийную заразу, — мне не удавалось избавиться от них, и все мое тело покрылось такими волдырями, что впору было содрать с себя кожу.

Обливаясь потом, я без сил рухнул на сиденье и включил мотор.

— Давай молиться, чтобы нам повезло. Запаски у меня теперь нет.



Прошло полчаса. После встречи с автоцистерной нам больше не встретилось на дороге ни одной машины, и меня охватило гнетущее впечатление, что мы движемся прямиком в небытие. Вдруг Вивиан испустила радостный вопль:

— Гляди... там, направо! Нет, вон там, чуть дальше...

На щите было написано: ВАЛЬКО, 10 км.

Через двадцать минут мы вырвались из леса на вершину холма. В изменчивом свете луны смутно виднелись несколько домиков, разбросанных там и сям между деревьями; ниже по склону стоял вокзальчик с поблескивающими рельсами, а еще дальше, за холмом, простиралась темная, неразличимая гладь — это было озеро.

— Надеюсь, ресторан "Скорняк" еще существует, — вздохнул я, почесывая спину. — Я готов съесть собственные ботинки. Раньше он находился рядом с вокзалом.

Мы медленно съехали с холма к вокзалу, он был закрыт, все огни потушены. Света не было даже в ресторане. Впрочем, и на улицах деревни царила кромешная тьма, как будто здесь сроду не водилось никаких фонарей.

Мы везли с собой палатку и прочий туристский скарб, но мой отец настоятельно советовал мне, на тот случай, если мы приедем сюда к ночи, остановиться в гостинице "Кастобьяк".

Я уже собрался было отъехать, как вдруг позади машины мелькнула тень человека, который с воинственным ревом начал колотить в дверцу, пытаясь ворваться внутрь; это был молодой, донельзя пьяный индеец с ящиком пива под мышкой. Вивиан в ужасе дернулась на своем сиденье и заблокировала дверцы, а я торопливо рванул через переезд возле ресторана и направился в верхний конец деревни, где стояла гостиница. Вивиан молчала и только испуганно озиралась вокруг.

Я пересек широкую грунтовую дорогу, которая шла параллельно железной дороге и считалась главной деревенской улицей, спустился с холма, затем, свернув налево, въехал на крутой откос, где по правую сторону стояло несколько домов, и остановился перед гостиницей.

— Это... она? — изумленно прошептала жена.

Здание представляло собой нечто вроде большого одноэтажного шале, крытого дранкой, вздувшейся в четырех-пяти местах — там, где с нее слезла краска. Из полуотворенной двери вырывались ковбойские песни, нестройный гомон и крики.

— Да, она, — ответил я. — А что, разве у нас есть выбор?

Мы вошли в темный, прокуренный зал, битком набитый посетителями. Все они тянули пиво из больших бутылок и орали так, что потолок грозил рухнуть; все были в той или иной степени пьяны. Наше появление прошло незамеченным. Половину клиентов составляли американские индейцы. Вдоль правой стены тянулась стойка бара, покрытая оливково-зеленым пластиком; за ней суетился человек лет трид-

цати, в клеенчатом, туго стянутом на поясе фартуке. Похоже, именно к нему и следовало обращаться потенциальным клиентам гостиницы.

Портье поздоровался с нами, смачно хлебнул пива и протянул мне анкетку.

— Я гляжу, нашим комарам ты пришелся по вкусу! — бросил он мне с хохотком.

— Да уж, попили они из меня кровушки! — ответил я, через силу улыбнувшись ему.

Пронырливый вид этого парня, его кривоватый нос и маленькие, ярко блестевшие глазки мне ужасно не понравились.

— Сколько пробудете?

— Одну ночь.

Я спросил у него, по-прежнему ли это заведение принадлежит Жозефу Руло, которому мой отец просил передать сердечный привет.

— Да-да, он все еще хозяин отеля, вот только сейчас уехал на месяц в Монреаль. Развеяться ему захотелось.

Он оглядывал нас с какой-то странной улыбочкой. Я искоса взглянул на зал и с неудовольствием заметил, что многие посетители пожирают глазами Вивиан. Я начал заполнять анкету. Портье, облокотившись на стойку, тоже упорно глядел на Вивиан, не переставая ухмыляться.

— С вас двадцать пять пиастров, — сказал он, взяв у меня анкету. И добавил с издевательской усмешкой, не спуская глаз с Вивиан: — Слышь ты, я нынче сдаю смену в полночь. Так что, если тебе потребуется резвый помощник в постели, я всегда готов... В поездке иной раз до того вымотаешься, что и силенок больше ни на что не хватит.

И он захохотал. Я сделал вид, будто не понял, и спросил, можно ли заказать ужин. Увы, это было невозможно, ресторан закрывался в девять вечера, но портье сказал, что попробует раздобыть для нас яйца под майонезом и печенье.

Крутые яйца под соусом оказались безвкусными и жесткими, как резина, но это был сущий пустяк по сравнению с бурными событиями, заполнившими одну из самых памятных ночей в моей жизни.

Мы уже принялись за еду, как вдруг двое мужчин, подойдя к нам, спросили, нельзя ли им сесть за наш стол — все остальные были заняты.

Я сразу понял, что обстановка не располагает к отказу. Это были парни лет двадцати, чисто одетые, довольно приличного вида.

— Давно вы тут? — спросил меня один из них, белокурый, с детским простодушным лицом.

— Только что приехали.

И я решил пошутить, указав на остальных клиентов:

— Зато эти, похоже, сидят тут уже дня три, не меньше...

Они прыснули со смеху и понимающе переглянулись.

Слева от нас молоденькая индианка препиралась с белым мужчиной; она размахнулась, чтобы влепить ему затрещину, но тот перехватил ее руку и буквально вдавил в стол. Окружающие громко заржали.

Мой сосед наклонился ко мне со словами:

— Это единственное местечко на сто миль вокруг, где можно хоть как-то оттянуться в конце недели. Мы-то сами из Капитачуана. Каждые пять дней нам, хоть умри, надо проветриться, не то мозги из ушей полезут.

— Ну, приятели, что вам подать? — спросил подошедший портье.

К нашему изумлению, парни заказали ящик пива и два больших стакана горячего джина, не забыв распорядиться, "чтоб налили до краев", после чего велели оставить за ними номер.



— Понимаешь, — объяснил белокурый, — к ночи мы так наберемся, что домой нам уже не попасть.

— Жерар, пиво будем пить прямо так, холодным, — бросил второй, курчавый брюнет с тоненькими усиками и резкими чертами лица. — Поставим ящик под стол.

— А то бы я без тебя не догадался!

Вивиан бросила на меня умоляющий взгляд, указав легким кивком на дверь, ведущую в номера. Но перед уходом следовало расплатиться с портье, а тот был занят беседой с рыжеволосым великаном, которого мягко уговаривал выйти из-за стойки бара.

Прошло несколько минут. Молодая женщина, также затянутая в резиновый фартук, принесла ящик пива и джин; ящик она швырнула под стол, стаканы поставила перед парнями и потребовала, чтобы они рассчитались.

— Вы приезжаете сюда каждую неделю? — спросила моя жена у блондина, который уже тянул свой джин.

— Да, каждые выходные, — ответил он, вытирая губы. — Нажираемся, как свиньи, а когда уже начинаем со стульев падать, они тащат нас в номер и сваливают на кровать.

И он залился громким простодушным смехом.

Я собрался было сделать ему внушение на темы гигиены и морали (есть у меня такая неодолимая страсть поучать людей), но тут Вивиан пнула меня под столом в лодыжку и сказала:

— Я жутко устала, Ив! Не пойти ли нам спать?

Я пожелал приятного вечера нашим соседям, уже раскурочившим свой ящик пива, и мы направились к выходу.

Вдруг чья-то здоровенная короткопалая ручища ухватила Вивиан за рукав.

— Эй, детка! Ну-ка, посиди у меня на коленках пару минут!

Вивиан резко вырвалась и бегом догнала меня в коридоре; ее провожали взрывы хохота.

— Ив, я хочу уехать отсюда.

— Ну-ну, успокойся, не стоит нервничать из-за ерунды, — сказал я, быстро шагая вперед. — Жозеф Руло был закадычным папиным другом. Отличный дядька, всегда хотел доставить другим удовольствие. Когда мы с Франсуа были маленькие, он нас катал по озеру на моторке. Так что не бойся, тебе здесь ничто не грозит.

— Может, Жозеф Руло и святой, но сегодня вечером он в Монреале, а вот мы здесь, дорогой, и это место совсем не похоже на рай небесный, уж можешь мне поверить.

Подходя к нашему номеру, я заметил, что двери всех без исключения комнат носят следы взлома, после которого их кое-как залатали. Я вспомнил портье с его гнусным предложением оказать помощь, если мне не хватит сил исполнить супружеский долг. И тут мне пришло в голову, что в этой деревне нет ни мэра, ни полиции. Но делать нечего: бе-

жать отсюда среди ночи, по разбитой дороге, с полупустым баком было бы чистым безумием.

Я отпер дверь. Комната была маленькая, мебель жалкая, раковина уныло свисала со стены, как наполовину отрубленная голова, зеркало большого шкафа из полированного клена, расколотое наискосок, отражало нас по частям, бежевый линолеум сомнительной чистоты испещряли ожоги — следы притушенных об него сигарет. Вивиан выдвинула ящик обшарпанного комода, стоящего у двери. В нем валялись две или три пробки от пивных бутылок, использованный бинт и раскрошенный окурок.

Я откинул одеяло на кровати. Желтоватые пятна на простыне свидетельствовали о том, что постояльцы здесь не скучали.

Мы растерянно переглянулись. Шум в зале долетал до нас с угрожающей четкостью.

Предложение бармена не выходило у меня из головы.

— Слушай, у нас же нет выбора, — сказал я, — придется заночевать тут. Но ты увидишь, все будет нормально. Я прожил в этой деревне семь лет, и ничего плохого со мной не случилось, да и ни с кем другим тоже.

— Похоже, деревня с тех пор сильно переменилась, Ив.

— Ну, конечно, Абитиби — это не Лазурный берег. Местные жители немного грубоваты, но вполне добродушны. Так что расслабься, прошу тебя. Я схожу за вещами, вернусь через минутку.

Честно говоря, я и сам не очень-то верил в свои утешения.

Проходя по коридору, я вспомнил, что взял с собой охотничий нож. Надо будет держать его под рукой, на всякий случай... Однако при этой мысли я невольно улыбнулся: охотничий нож против своры хмельных великанов — да это же смеху подобно! Они за десять секунд изрубят им в лапшу меня самого.

Выйдя на улицу, я решил, безопасности ради, поставить машину под окнами нашего номера. Поскольку мне совершенно не хотелось тащиться обратно по коридору с вещами на глазах всего этого почтенного общества пивохлебов, я постучал в окно. Вивиан вскрикнула, и я услышал, как что-то упало на пол.

— Это я. Открой, я передам тебе багаж.

Прошло несколько секунд прежде, чем раздвинулись занавески; потом оконная рама медленно опустилась, и я увидел разъяренное лицо жены.

— Что это за фокусы? Неужели ты не мог предупредить? Я чуть не умерла от страха — думала, это портье лезет.

— Портье явится только в полночь, — ответил я с улыбкой. — Ну, прости меня, я действительно не подумал.

Передав Вивиан наши вещи, я тем же путем сам шагнул через подоконник. Я не сомневался, что в этой гостинице, где, видимо, все дозволено, и другие постояльцы не раз попадали в номер таким же образом.

Приласкав Вивиан, чтобы хоть немного взбодрить ее, я разобрал вещи и сунул нож под кровать — украдкой, чтобы не напугать жену этой предосторожностью, которую, по правде говоря, считал смехотворной. Я видел, что моя жена мужественно пытается превозмочь страх, и пытался отвлечь ее шутками. Дрожащими руками она разложила на крова-

ти спальный мешок и начала раздеваться. Хотя было совершенно ясно, что этой ночью ни она, ни я ни на минуту не сомкнем глаз.

– Как ты думаешь, не хлебнуть ли нам рому? Может, крепче будем спать?

Вивиан не любила алкоголь, но тут охотно согласилась. Пока я извлекал бутылку из дорожной сумки, она тщательно прополоскала два стакана, и я налил ей щедрую порцию, которую она проглотила лихо, как старый морской волк, закусив таблеткой валиума.

Я осушил свой стакан и направился к двери.

– Ты куда? – испуганно спросила она.

– Позвоню родителям.

– В такое время?

– Ты же знаешь, они ложатся довольно поздно. Я всего на пару минут. Телефонная будка в коридоре, в двух шагах отсюда.

Я убедился, что дверь надежно закрыта, и пошел в бар. Я остерегся сказать Вивиан правду, но мой звонок преследовал лишь одну цель – мне хотелось, чтобы кто-нибудь на нашей планете знал, где мы находимся нынче вечером, на тот случай, если с нами случится беда. Ибо я предчувствовал, что эта ночь готовит нам скверные сюрпризы.

Я поговорил с отцом всего одну-две минуты, стараясь скрыть от него мои опасения. Отца сильно огорчило отсутствие его друга Жозефа Руло, очень уж он хотел его поприветствовать; впрочем, меня оно угнетало куда сильней.

Во время разговора я поглядывал на огнетушитель, висевший на противоположной стене коридора. Судя по глубоким бороздам на штукатурке, этот огнетушитель разделил злосчастную судьбу дверей: его явно вырывали, притом не меньше полудюжины раз, из обхвата, а потом кое-как водворяли на место, в результате чего он был покрыт многочисленными боевыми шрамами.

Попрощавшись с отцом, я пошел в номер. Навстречу по коридору неверной поступью брел здоровенный толстяк с дремучей бородой. Поравнявшись со мной, он положил мне руки на плечи, дыхнул в лицо кислой пивной вонью и осведомился, не могу ли я разменять ему стодолларовую купюру. Я ответил, что не могу.

– Уверен?

– Абсолютно.

Он на минуту ушел в себя (видимо, пытался осмыслить мои слова), потом раззявил рот в широченной улыбке.

– Ну и ладно... Пускай... Все равно, ты мне друг, старина, ты мне друг. Знаешь, зачем оно мне?

– Понятия не имею.

– Да этот бармен... не хочет брать у меня сотню.

И внезапно его лицо гневно исказилось:

– Щас я ему покажу, говнюку этому... он думает, я дерьмо последнее... ну нет, шалишь!..

Мощной рукой он хлопнул меня по спине и удалился, что-то бормоча себе под нос. Я постучал в дверь.

– Кто там? – жалобно спросила Вивиан.

Я назвался.

— Господи, как же долго тебя не было! — воскликнула она, впуская меня. — В соседнем номере кто-то непрерывно барабанил кулаком в стену и вот только что хлопнул дверью.

Несколько минут спустя она уснула, сраженная наповал усталостью, ромом и снотворным.

Часа в три ночи нас внезапно разбудили громкие вопли, долетавшие со стороны бара. Голос принадлежал женщине — молодой, как мне показалось. По одному из ее выкриков я понял, что это индианка. Сидя на кровати, обливаясь холодным потом, я слушал ее душераздирающие стоны, заглушаемые взрывами грубого мужского хохота, глухими ударами и топотом ног, ясно слышными сквозь стены нашей комнаты. Никогда в жизни я не слышал, чтобы женщина кричала так страшно, словно затравленное, истерзанное животное. Я догадывался, какой мерзкой пытке подвергали ее вконец разгулявшиеся, озверелые пьянчуги; от сознания своего бессилия и стыда слезы навернулись мне на глаза. Вивиан, лежавшая рядом, дрожала всем телом.

Это продолжалось минут десять, затем наступила гробовая тишина, и мы услышали, как мимо нашей двери с рыданиями прошла индианка вместе с другой женщиной, которая пыталась ее успокоить.

Я нагнулся, выхватил из-под кровати нож и продолжал сидеть на кровати, глядя на полоску света под дверью и отчаянно сожалея, что не поставил палатку в непроглядной лесной чаще, где звери обращаются друг с другом в тысячу раз милосерднее, чем люди.

Остаток ночи прошел в глубокой тишине, лишь изредка нарушаемой отдаленными возгласами и урчанием моторов. В конце концов я забылся сном. Вивиан растолкала меня около семи утра.

— Давай уедем! — умоляюще попросила она.

Через пару минут мы были одеты, вещи сложены.

В отеле уже подавали завтрак, и в коридоре витал запах жареного бекона. Голод возобладал над стремлением покинуть эту адскую дыру, и мы направились в ресторан. Для этого нужно было пройти через бар, миновав бильярдный стол. Я понял, что именно на этом столе и была устроена гнусная забава, так развеселившая накануне посетителей.

Торопливо проглотив омлет и скверный кофе, мы поспешили на выход. Солнце, чистое, как в первый день творения, врывалось во все окна, затмевая грязь и пыль, пятна и трещины и придавая отелю уютный, домашний вид, отчего ночные ужасы начинали казаться почти нереальными.

Я отворил дверь и вышел на крыльцо, неся дорожные сумки в обеих руках. Вдруг Вивиан тихо охнула и схватила меня за плечо.

Было около половины восьмого. Четыре мальчика-индейца сидели на краю веранды, свесив ноги и весело болтая. Самому старшему было, вероятно, лет шесть, не больше.

И каждый из них держал в руке бутылку пива.

*Лонгёй, 27 марта 1991 г.*

# Габриэль Руа
# *Горечь и очарование*

Фрагменты автобиографии

*Перевод и вступление* Л. Семеновой

Классик франкоканадской литературы Габриэль Руа (1909—1983) известна русскому читателю своим первым — и лучшим — романом "Счастье по случаю" (1945)[1]. Ниже помещены фрагменты последнего произведения Руа — автобиографии "Горечь и очарование" (1984). Из задуманных трех или даже четырех частей писательнице удалось завершить лишь две первых, в которых говорится о ее становлении как литератора — от детства в Манитобе до возвращения в Квебек накануне Второй мировой войны (несколько лет до выхода в свет первого романа Габриэль Руа провела в Европе). Многие произведения писательницы глубоко автобиографичны, но в "Горечи и очаровании" повествуется не только о ее жизненном пути, но и — пусть вскользь, пунктирно — об истоках ее творчества: о семье (ради и вопреки которой создавала она свои книги), о принадлежности к этническому меньшинству, об одиночестве, о бескрайней манитобской равнине...

Габриэль Руа нередко характеризуют как писательницу, далекую от политики и общественно-исторических проблем. Как бы то ни было, родная страна, национальное самосознание, ощущение душевного и кровного родства с французскими переселенцами, с суровыми предками-"целинниками", с изгнанными из Акадии пращурами — важнейшие темы ее автобиографии. Задача, которую ставит перед собой Руа, — воздать должное бедным мечтателям-скитальцам: память о них сохранят не надгробия с английскими надписями, а "истории", услышанные Габриэль от родителей, истории, которые она пересказывает на родном языке — французском.

История, которую Руа рассказывает нам в автобиографии, — это трагедия людей оседлых, которым нужно приспособиться к чуждой им кочевой жизни, к динамичности, ставшей нормой на всем североамериканском континенте: вечный поиск работы, земли, новых возможностей. Их трагедия во многом не от обездоленности, а от неприятия чужого, исторически навязанного Новым временем стиля жизни.

По словам Франсуа Рикара, подготовившего и опубликовавшего "Горечь и очарование" после смерти писательницы, Габриэль Руа настаивала на том, что это не мемуары, а автобиография. Этот термин, казалось ей, лучше соответствует духу произведения, цель которого — не реконструировать ушедшую эпоху, а заново пережить и воссоздать прошлое в настоящем.

## I

КОГДА же я впервые осознала, что отношусь в своей стране к гражданам второго сорта? Видимо, все-таки не тогда, когда мы с матерью, пускаясь в очередной раз по хорошо знакомому маршруту, пересекали мост над Красной рекой и, оставив позади наш французский городок, оказывались в Виннипеге[2], столице провинции, неизменно встречавшей нас как чужаков. В детстве мне скорее нравилось чувствовать себя *иностранкой* в двух шагах от родного дома. Думаю, что

© Fonds Gabrielle Roy et Éditions du Boréal, 1988
© Л. Семенова. Перевод и вступление, 2008

1. Gabrielle Roy. Bonheur d'occasion. – Montreal, 1945. В 1947 году роман был отмечен премией "Фемина" и Премией генерал-губернатора. Русский перевод: Г. Руа Счастье по случаю. – М.: Художественная литература, 1972.

2. Виннипег – столица Манитобы, одной из канадских провинций, по преимуществу англоязычной. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

именно это ощущение новизны открывало мне глаза на мир, подстегивало воображение, стимулировало наблюдательность.

Пока мы шли, мама обычно смеялась, строила радужные планы и даже мечтала, словно ей, чтобы почувствовать себя свободной и открыться счастью, которое способна испытывать романтическая душа, достаточно было ненадолго оставить дом, наш городишко, привычный набор ограничений и обязанностей. Вообще, стоило маме вырваться из повседневной рутины, как она превращалась в путешественника, перед которым распахнут весь мир. Однако в воображении она всегда уносилась гораздо дальше, чем позволяли наши средства. Мама была из тех бедняков, которые представляют себе, будто прекрасное доступно им в гораздо большей степени, чем людям, у которых это прекрасное валяется под ногами, и они его не замечают. Поэтому мост мы пересекали богачами, перебирая в уме все наши пока еще не истраченные возможности.

Но очень скоро в нас совершался непонятный переворот, и мы теснее прижимались друг к другу, словно вместе было легче войти в надвигающийся на нас город. И дело не только в том, что мы вступали в самый, наверное, жалкий квартал Виннипега — мрачную, расположенную неподалеку от железнодорожного депо улицу Уотер с ее вечными пьяницами, ревущими детьми и выхлопами пара, уродливую, назойливо напоминавшую о себе изнанку надменного города, в двух шагах от широких, просторных авеню. Причина нашей неуверенности крылась в нас самих. Ни с того ни с сего мы начинали сомневаться в том, хватит ли денег на покупки, сумма стремительно таяла, желания непомерно росли. Мы, разумеется, продолжали разговаривать по-французски, но уже вполголоса, особенно когда прохожие смотрели нам вслед с любопытством. Унизительно, когда на улицах Виннипега на тебя оборачиваются, услышав, что ты говоришь по-французски... В детстве я так часто испытывала это унижение, что в конце концов привыкла к нему. Ведь я и сама нередко оборачивалась на какого-нибудь эмигранта с певучим славянским говором или северным акцентом! В результате я сочла естественным, что так или иначе все мы друг у друга в гостях, и пришла к следующему выводу: если все вокруг иностранцы, значит иностранцев как таковых и быть не может.

Лишь в "Итоне"[1] становилось понятно, переходить нам к открытой борьбе или нет. Все зависело от маминого настроения. Порой она требовала, чтобы для нас пригласили продавца, говорящего по-французски. Когда обитателей Сен-Бонифаса[2], где мы жили, охватывал патриотический подъем, нам внушали, что это не только право, но и обязанность — требовать, чтобы нас обслуживали на нашем языке. Что тем самым мы обяжем промышленность и большие магазины брать на работу франкоязычных граждан. Если мама была в ударе — в бодром настроении и остра на язык, — то переходила в наступление сразу же: требовала, чтобы позвали кого-нибудь из наших соотечественниц. Чем энергичнее действовала мама, тем любезнее, как я про себя отметила, вел себя на-

1. Большой универсальный магазин, которым владеет англоязычное канадское семейство по фамилии Итон (Eaton).
2. До 1972 года Сен-Бонифас имел статус отдельного города — единственного в Западной Канаде крупного (50 тыс. жителей) франкоязычного города, со своим католическим собором, университетом, франкоязычной газетой ("La Liberté"), радиостанцией. Ныне Сен-Бонифас рассматривается как экзотичный французский квартал Виннипега.

чальник отдела. Он быстро посылал за мадам или мадемуазель такой-то, которая зачастую оказывалась нашей знакомой, если не соседкой. Тогда в магазине среди снующих туда-сюда людей завязывалась самая что ни на есть спокойная и дружеская беседа.

— Ах, мадам Фанёф! — восклицала мама. — Как поживаете? А ваш отец? По-прежнему живет в деревне?

— Мадам Руа! — не отставала от нее продавщица. — Все ли у вас в порядке? Чем могу служить? Всегда рада вам помочь.

Только бедняки, по-моему, при встрече умеют перейти на этакий добродушно-фамильярный тон, который некогда был принят в деревенской среде. В такие дни мы покупали, быть может, больше, чем нужно: говорить в магазине на родном языке было настолько приятно, что деньги утекали сквозь пальцы вдвое быстрее обычного. Но иногда мама, устав от этой бесконечной борьбы, в которой не бывает победителя, сдавалась заранее. Тогда она прибегала к более простому средству — "выуживала из себя", как она выражалась, свой английский.

Из наших походов в Виннипег мы почти всегда возвращались уставшими и расстроенными. Вечная стесненность в средствах то и дело толкала нас на разные сумасбродства, а после приходилось ограничивать себя еще больше.

Чем бы ни кончались наши вылазки в Виннипег, тот же мост, по которому на пути туда мы шли полными смелых замыслов богачами, на обратном пути мы — неизменно — пересекали бедняками, истратившими три четверти имевшегося, причем чаще всего неизвестно на что.

За мостом сначала открывался вид на колокольни собора и купол коллежа иезуитов, затем показывались шпили и колокольни других церквей. Врезанные в раскаленное от зноя небо Манитобы знакомые очертания родного города успокаивали нас. Они напоминали о том, что мы созданы для вечности и за наши мучительные попытки свести концы с концами нас ждут награда и утешение.

Еще несколько шагов — и мы у себя. В благочестивом и усердно постигающем науки Сен-Бонифасе народу жило немного, зато во времена моего детства нас всех объединяло чувство, что мы — одной крови. И вот уже самым естественным образом мы с мамой говорим по-французски, не слишком громко, но и не вполголоса, как в Виннипеге, где мы робели и тут же стыдились собственной робости. Повсюду слышалась, сопровождала нас французская речь. Попав в привычную для нас среду и воспрянув духом, мы принимались здороваться чуть ли не с каждым встречным — но ведь и правда, в нашем городке все друг друга знали, по крайней мере по имени. Чем дальше, тем больше друзей мы встречали, приветствовали, обменивались с ними новостями.

Мама, бывало, поднимала глаза к высокому ясному небу и всматривалась в него, словно зачарованная. В такие минуты усталость, как по волшебству, сходила у нее с лица. "Хорошо нам тут", — делилась она со мной.

Вот мы подходим к нашему дому на улице Дешамбо. Вновь видеть родной дом целым и невредимым, стоящим на страже французских устоев в самом сердце разношерстного и беспорядочного канадского Запада, всякий раз казалось нам каким-то чудом. Как будто мы боялись, что в один прекрасный день он исчезнет. Это был простой и ладный дом, со слуховыми оконцами на чердаке и большими окнами в первом

этаже, с широкой крытой галереей, окружавшей фасад и южное крыло строем белых колонн.

Мы всегда возвращались в этот дом словно после долгого, потрясшего нас до глубины души путешествия. И все же, сколь бы показательны ни были эти походы из Сен-Бонифаса в Виннипег, вовсе не они по-настоящему открыли мне глаза на наше положение, на положение франкоканадцев в Манитобе. Это произошло в другой раз и при других — более тяжелых — обстоятельствах.



## II

<...> (Болезнь Габриэль. Разговор с матерью после визита к врачу.)

— Все началось, — говорила мама, — с кражи наших земель там, в первой нашей отчизне. Земель, которые отняли у нас англичане, поняв, сколь они выгодны. Там, в Акадии, в Еванжелине. Чтобы захватить эти территории, они нас согнали, обманули, посадили на утлые суденышки и высадили вдали от дома, на чужом берегу.

— Так мы — акадийцы?!

Возможно, она уже говорила мне об этом, но я забыла. Или моя душа вплоть до сегодняшнего дня не готова была вместить это прискорбное знание, и я пропускала ее слова мимо ушей.

— С тех давних пор и начались наши несчастья. Всей истории я не знаю, так, обрывки, передаваемые из поколения в поколение.

— А где же поселили наших предков?

— О, в разных местах, практически по всей Америке. Бросили на произвол судьбы, а ведь они даже не знали языка той страны, куда их занесло. Часть сумела с грехом пополам перебраться в Коннектикут и там осесть. Они работали на заводах, лесоповалах, железной дороге — повсюду, где требовалась дешевая рабочая сила. Между собой они дружили и поэтому меньше тосковали по родине.

Вот тогда я начала задаваться вопросом, что же такое родина, что в конце концов означает это слово. И очень удивила маму, в упор спросив: "А у нас есть родина?"

— Конечно, — ответила она, но тут же испугалась своей уверенности и, потрогав мой лоб, забеспокоилась, не поднялась ли у меня температура.

Я запротестовала и потребовала продолжения рассказа о судьбе наших предков в Коннектикуте.

— В те годы, — начала она, — священники-колонисты не щадили, так сказать, своих жизней, чтобы найти заблудших овец и, по возможности, их вернуть. Один из таких священников разыскал нас в Коннектикуте.

Она вдруг стала говорить о наших далеких предках "мы", и почему-то мне это было приятно.

— В нашей тамошней церковке, где служба велась на французском языке, он объявил, что, если мы захотим вернуться в родную страну, Квебек примет нас с распростертыми объятиями и даст нам участки плодородных земель неподалеку от Жольетт.

— Так наша родина — Квебек?

— И да, и нет, — последовал ответ. — Трудно сказать наверняка. — Затем продолжила: — Мы стали обсуждать все за и против. Одни говорили: "Останемся здесь. Мы уже наполовину американцы. Наши дети бу-

дут говорить по-английски. Это самое разумное решение. Если бегать всю жизнь с места на место, в конце концов окажешься у разбитого корыта". Другие считали, что нужно попытать счастья в Квебеке: "Там наши братья. Мы говорим на одном языке. У нас один Бог. Доверимся им!"

– И что же они решили?

– Как тебя вдруг заинтересовала эта старая история! – удивилась мама. – Ну что, одни остались, и теперь у нас есть дальние родственники в Коннектикуте, другие вернулись в Канаду и поселились на прекрасных плодородных землях в приходе Сен-Жак-л'Ашиган.

– Значит, наши предки нашли то, что искали?

– И да, и нет. У них были огромные семьи. Священники говорили, что лишь такой ценой мы отвоюем себе место под солнцем. И скоро нашим предкам стало тесно в Сен-Жак-л'Ашигане. Чуть дальше на север тянулась цепь суровых гор. Земля там бедная, сплошь усеянная камнями, поросшая мрачными елями. Но именно там решили поселиться твои дед Элия и бабушка Эмилия. "Никто никогда не работал на земле столько, сколько эти двое, – говорила мама, и взгляд ее, словно омраченный воспоминанием об их долгом, изнуряющем труде, блуждал где-то далеко. – Они корчевали деревья, расчищали землю от бесконечных камней, делали насыпи, строили заграждения, сеяли овес, гречиху. Лачугу, в которой они ютились, вскоре заменил дом, где я родилась, – ты видела его на фотографиях в альбоме. Твой дед был умелым строителем, и дом получился красивый. В то время мы ели гречневые лепешки чаще, чем белый хлеб, и все же у меня было счастливое детство".

– Если в Сент-Альфонсе-де-Родригесе вы были счастливы, то почему вы оттуда уехали? – спросила я.

– Видно, у нас в жилах течет кровь бродяг, она-то и не дает нам покоя, – предположила мама, – хотя сейчас мне кажется, я больше других хотела бы осесть где-нибудь раз и навсегда. Дед же твой был склонен к авантюрам. Ему стало тесно среди наших бедных холмов – сыновьям его уже негде было поселиться по соседству. Тут прибыл в наши места очередной священник-колонист, стал нахваливать Манитобу, сулил радушный прием, который нам должны были здесь оказать. Он говорил о прекрасных изобильных землях, обо всем этом канадском Западе, куда следует поспешить, чтобы застолбить место раньше шотландцев и ирландцев, прибывавших в Канаду тысячами. Говорил о том, что вся страна, от одного океана до другого, будет вновь принадлежать нам – нам, потомкам французских первооткрывателей, ибо они первыми ступили на канадскую землю. Там будут уважать наши права на свой язык, на свое вероисповедание. Правительство новой провинции обещало пожаловать каждому мужчине, главе семейства, и каждому из его сыновей, достигших восемнадцатилетнего возраста, по четверти надела. Для таких, как мы, это звучало заманчиво. Твой дед загорелся. Это ты в деда такая выдумщица, – сказала она, ласково потрепав меня по щеке. – Одна только бабушка Эмилия воспротивилась этому проекту. Но потом сдалась и она, и мы снова отправились в путь. Окончание истории ты знаешь, я рассказывала тебе ее сотни раз. Они получили землю в местечке под названием Калиновая Гора.

– И там наконец отдохнули?

– Господи, до отдыха было еще далеко! Надо было все начинать сначала. Твой дед построил новый дом, точь-в-точь как в Сент-Альфонсе;

твоя бабушка заново смастерила мебель, шкафы... Еще несколько лет, и все могло бы быть просто прекрасно, — продолжала мама. — Земля принадлежала нам. Вместе с той, что дали братьям, она составляла свыше полутора гектаров! Бабушка сажала в саду те же цветы, что в Квебеке, вокруг себя мы слышали только французскую речь... Как это было похоже на счастье... И вдруг правительство Манитобы пошло против нас, приняв этот несправедливый закон, запрещающий преподавать в школах французский язык. Мы оказались в ловушке: вдали от нашей второй отчизны, без денег на переезд...



Сквозь просвет в листве вдруг показался кусочек чистого неба, и мы обе замерли, глядя на него и невольно улыбаясь. Мама снова принялась рассказывать:

— А твой отец... его гнала вперед нужда. Он начал работать еще ребенком, затем, совсем юным, эмигрировал в Штаты, как и многие другие наши соотечественники, которым Квебек не мог предоставить условий для жизни. Кем только он не работал, но при этом бесконечно читал, учился... Хотел быть полезным своей стране, когда вернется. Он поселился в Манитобе. Когда мы с ним познакомились — это было в Сен-Леоне, — он, как некогда тот колонист-священник, о котором я тебе рассказывала, считал, что весь Запад, разбитый на небольшие колонии от одного океана до другого, будет хотя бы наполовину французским. Затем он встретил Лорье, который готовился стать премьер-министром, и тот предложил ему поработать в предвыборной кампании. Твой отец посвятил жизнь этому человеку, так он в него верил и так ему доверял. Даже когда Лорье, ставший к тому времени премьер-министром Канады, отказался употребить свое влияние, когда решался вопрос о судьбе французского языка в Манитобе, заявив, что это дело провинции, твой отец не отказал ему в поддержке. "У него есть на то причины", — говорил он. Несмотря на глубокие христианские убеждения, ему было невыносимо слышать, как церковники с кафедры посылают проклятия сторонникам Лорье, обвиняя премьер-министра в предательстве французского языка. Из-за безграничной преданности Лорье твой отец на пороге старости лишился поста агента по освоению территорий. Это была наша погибель, и я подозреваю, что тут не обошлось без соплеменников; самое печальное во всей этой истории, что страдания, выпавшие на нашу долю, так нас и не сплотили.

Мне было так горько за нее, за отца, за всех тех людей, о которых мы сегодня говорили, что я не могла выдавить из себя ни слова.

— Твой отец, когда мы познакомились, — сказала она вдруг, — был уже не молод, но энергичен, полон идеалов, очень красив и весел. Он был так горд и счастлив, когда ты появилась на свет... Говорят, поздние дети хрупки и болезненны, зато самые одаренные.

Именно тогда моя душа наполнилась решимостью отомстить за маму. А может, эта решимость возникла из-за моего собственного бессилия и слабости.

"Когда-нибудь я отомщу за нее, — думалось мне. — И за отца отомщу, и за Бомонов, и за жителей Сен-Жак-л'Ашигана, и за жителей Коннектикута". Все глубже и глубже погружалась я в прошлое, в историю наших горестей, из которых теперь рождалась воля, дававшая мне силы идти вперед.

# III

<...> (В больнице, после операции.)

Когда я появилась на свет, отец, судя по рассказам, если и не отличался могучим здоровьем, то, по крайней мере, был уверен в себе, в пользе того, что делает. Мне часто доводилось слышать, как его в то время занимала идея массового переселения франкоканадцев на Запад; так он предполагал растянуть Квебек до другого конца страны и достичь счастливого равновесия между французским языком и английским, к которому мы так стремимся сейчас. Он только что основал тогда одну из самых прекрасных своих колоний в Саскачеване – Доллар, где жили практически одни наши соотечественники, которых он уговорил переехать в Квебек из Дорчестера, где родился и сам, а также те, кто вернулся из Соединенных Штатов. Из всех детей только мне не пришлось видеть его в пору, когда он был человеком великих замыслов, больших свершений, смелых мечтаний, заставлявших светиться его ясные голубые глаза. А может, я была слишком мала, когда он еще соответствовал этому образу, и мои воспоминания об этом времени расплывчаты и неуловимы.

Мне вспоминалось время, когда его неизменно несчастный вид еще не приводил меня в такой ужас. Я была тогда совсем маленькой. И охотно подходила к отцу, не для того, чтобы он брал меня на руки и баюкал, как любят все маленькие дети, а просто чтобы побыть с ним рядом, погрузиться в состояние какой-то странной серьезности и торжественности. Думаю, в такие минуты он был очень счастлив. В семьдесят лет он, видимо, несколько стеснялся расточать мне отцовские ласки. При этом, насколько я помню, он охотно брал на руки своих внуков, детей моей сестры Анны, старший из которых был со мной одного возраста; меня же только гладил по голове. Однако сквозь сон (на меня все еще действовало успокоительное средство, которое мне давали после операции) я вдруг вспомнила, как однажды пришла к нему в сад, где он работал, и, отложив лопату, он посадил меня в тачку и стал катать вокруг дома, меня и моего большого серого кота, которого я прижимала к груди. Эта странная неторопливая прогулка позволила мне по-новому взглянуть на знакомый, казалось бы, до мельчайших подробностей пейзаж. Мне так понравилось, что после третьего круга я попросила: "Еще..." И мой старый отец снова пустился в путь, дыша уже чуточку тяжелее. Должно быть, эта всплывшая в памяти картина отозвалась во мне скорее горечью, чем радостью – настолько выделялась она из череды серых безрадостных дней. <...>

Уже почти проснувшись, я попыталась повернуться к отцу и ободряюще ему улыбнуться. В этот момент я увидела, что он держит в руках три розы. Из тех, что мы называли "кладбищенскими": отец купил несколько кустиков, чтобы украсить ими могилы малышек Аньес на нашем семейном участке кладбища. Цветы так хорошо там прижились, что спустя два или три года отец принес несколько черенков и рассадил их вокруг дома. Маме они не нравились, да и мне тоже. В сущности, у нас в доме они никому не нравились, кроме отца. Что же мы против них имели, если разобраться? Прежде всего, розы эти росли на кладбище, но не только. Просто они не были по-настоящему красивы. Излишне тугие, с плотно прижатыми друг к другу лепестками, они увядали, не успев раскрыться,

боялись дождя и малейшего дуновения ветра. Пожалуй, единственным их достоинством был приторно-сладкий аромат, да и тот наводил на мысли о похоронных венках.

Как ни странно, те розы, что держал в руках отец, показались мне красивыми. Мне стало жаль, что я никогда не помогала отцу ухаживать за цветами, а ведь и просил он немногого — всего лишь выливать оставшуюся после мытья рук мыльную воду под розовые кусты: мыло защищало растения от вредителей. Насколько помню, я так ни разу и не выполнила этой просьбы, то ли по забывчивости, то ли от нежелания делать что бы то ни было ради цветов, которые, на мой взгляд, того не стоили. Теперь же меня настолько поразила их воля к жизни, восторжествовавшая несмотря на полное равнодушие с нашей стороны, что я пообещала отцу впредь не забывать поливать розы мыльной водой.



— Да ведь и труд-то небольшой, — отозвался он, — и можно дважды использовать недешевое мыло.

Мне пришло в голову, что я изо дня в день наблюдала, как отец старается поменьше тратить, никогда не впадая при этом в скаредность, просто пытаясь овладеть навыками, отнюдь не естественными для него, — садоводством, например. У меня промелькнула мысль, что отец продолжает выказывать величие души — теперь едва ли не большее, чем во времена, когда им восхищались. Потеряв все, даже надежду на лучшее, он каждый день предавался скромным занятиям, которые еще могли принести пользу. Почему-то в тот день я особенно остро воспринимала жизнь и всех вокруг. Может быть, из-за горячки? Или же это успокоительное умерило мою обычную душевную тревогу и заставило по-новому взглянуть на мир? Отец с его мозолистыми ладонями, изрезанным морщинами лицом и согбенной спиной показался мне таким мужественным, каким вчера я просто не могла его представить. Мне хотелось ему это сказать, но я не знала как. Поставив розы, головки которых уже начали клониться, в стакан с водой, он медленно пошел прочь, и мне вдруг показалось, что сам он — увядшая роза. Я зарылась лицом в подушку, словно хотела спрятаться от боли, надежно спрятаться — так, чтобы она никогда больше меня не нашла.

## IV

Как нам, таким несчастным, удавалось в то же время быть очень счастливыми? Даже сегодня я не нахожу ответа. Нечаянной радости я удивляюсь в глубине души больше, нежели внезапному несчастью, ведь радость не только редкий гость в этом мире — она еще и абсолютно загадочна по своей природе.

Счастье налетало на нас как ветер, ниоткуда и отовсюду. Лето, обычное лето уже было праздником. В детстве я не знала никого, кто бы извлекал из лета больше пользы и радости, чем мы. Мама, несмотря на все свои заботы и печали, лишь только подходило время, бросала все дела и принималась высаживать в грунт герань и фуксию, зимовавшие в горшках на подоконнике. Чахлые и бесцветные, они вскоре набирались здоровья и сил. Отец, получивший от муниципального совета разрешение, не выкупая, обрабатывать большое пустое поле неподалеку от дома, засевал его много лет подряд: я помню, что эти великолепные уго-

дья всегда были в нашем распоряжении. Лето отвечало нам сторицей. Сначала фруктовые деревья дарили нас своим благоуханным цветом, затем приходило время кислых яблочек, из которых мама варила отменное желе, вишен и маленьких синих слив. На окруженном деревянной изгородью заднем дворе скворцы и зяблики заливались так громко и радостно, что даже в самые безрадостные дни мы невольно заслушивались их пением. Этот небольшой двор выходил в проулок, а тот, в свою очередь, — прямо в чистое поле. Таким образом, позади дома как будто расстилалась бескрайняя зеленая равнина, и отец, настежь распахнув дверь летней кухни, мог бесконечно смотреть на нее. Порой нам казалось, что кусочек неба между домами загадочным образом становился шире, подсвеченный красноватым отблеском солнца, садившегося как раз в конце улицы. В этот час мы приходили поговорить с неизменно дежурившим на своем посту отцом, и нас поражал его голос, в котором слышалось странное умиротворение. Он словно возвращался к нам из далекого прошлого, из юношеских скитаний по диким просторам.

Самая счастливая пора наступала летом. Когда мама со всеми детьми, а позднее — только со мной, отправлялась к Калиновой Горе. Отец оставался присматривать за домом, весьма довольный, как мне помнится, возможностью располагать им по своему усмотрению и свободно выгуливать свои мечты, которые одиночество обычно стимулирует. Должно быть, в такие минуты надежды, дерзнувшие закрасться к нему в сердце, не казались ему столь безоговорочно несбыточными.

Теперь я, кажется, понимаю: в нас самих было нечто такое, что в определенном смысле делало нашу жизнь еще труднее. Мы были не только бедными богачами, но и рожденными для счастья горемыками.

Но лучше всего мне запомнились наши поездки к дяде Эксиду, младшему сыну бабушки и дедушки со стороны Ландри.

Мы садились в поезд на увенчанном куполом вокзале КНЖД, который почему-то называли "депо". Вскоре мы уже мчались по плоской равнине, со всех сторон окружавшей Виннипег, и на фоне бескрайнего неба наш поезд напоминал, должно быть, уползавшую в бесконечность черную гусеницу. Мне нравилась голая степь, она всегда меня очаровывала. Своим величием и скромностью она говорила моему сердцу больше, чем любой другой пейзаж. Но в тех паломничествах к Калиновой Горе только эта гора и занимала все наши мысли. Примерно через час на бледно-голубом небе начинали проступать очертания холмов. Спустя несколько минут поезд шел уже между ними, но подкрадывался к ним так быстро, что мы не успевали заметить, когда это произошло. И только у подножия небольшого кряжа мы вдруг понимали, что едем по пересеченной местности, которая нам — жителям равнины — казалась гористой. Это неприметное местечко называлось Бабкок. Поезд стоял там минуту-другую, и я до сих пор не могу понять почему, помнится, станции там не было, а только заброшенный карьер и какая-то лачуга, но над всем этим возвышалась Гора. Хотя, скорее, не гора, а одинокий холм, вплотную придвинувшийся к железной дороге и окруженный скалистыми выступами. Вершину его можно было увидеть только встав на колени, так, чтобы глаза находились на уровне нижней части окна. От такой высоты дух захватывало! На пути туда мы только о горе и говорили, с нетерпением ожидая, когда она появится. Гора занимала в наших мыслях такое место, что другие воспоми-

нания просто меркли. Несколько лет назад, проезжая через Манитобу, я захотела вновь увидеть то, что впечатлило меня больше, чем — позднее — Скалистые горы и даже, наверное, Альпы. Я оказалась на небольшом участке бескрайней равнины, заваленном беспорядочными грудами вывороченных камней. Горы не было и в помине! В конце концов среди камней мне удалось различить небольшой холмик. Но кто же видел вернее: восторженный ребенок, прижимавшийся носом к оконному стеклу, или видавшая виды путешественница, которой нужна была настоящая гора, чтобы в нее поверить? Почти сразу за Бабкоком начиналась степь. Однако она отличалась от той, к какой привыкли мы: плавно и широко катила она свои зеленые волны, теряясь в бесконечности. Мы подъезжали к деревеньке Сомерсет. <...>

Дядя Эксид расхаживал взад-вперед по деревянной платформе и по обыкновению нервничал. Он приезжал за нами на своем фордике с высоким кузовом и полотняными дверцами. И мы отправлялись на ферму, расположенную в двух с лишним милях от деревни. Но на самом деле, оставив позади все печали, мы отправлялись значительно дальше — в глубь времен и поколений, к истокам нашей семьи. В этой третьей по счету малой родине, которую с начала своих скитаний создали себе наши предки, хранилась наша история.

По правде говоря, наша третья малая родина поначалу располагалась в шести-семи милях от фермы, возле деревушки Сен-Леон. Именно там дед получил от правительства землю и построил дом, состоявший из основного корпуса и двух флигелей — точную копию дома в Сент-Альфонс-де-Родригесе. Удивительные люди были мои бабушка и дедушка: они бросали все ими созданное и выстраивали в точности то же самое на другом конце света. Словно птицы, которые, свободно пересекая бескрайние просторы, повсюду вьют одинаковые гнезда.

Бабушка, управлявшаяся с деревом так же ловко, как с тестом или шерстью, быстро соорудила шкафы, лари для хранения, квашню для замешивания теста по сохранившимся в ее памяти образцам их прежней мебели. Соседи, почти все выходцы из Квебека, говорили исключительно по-французски — сомневаюсь, что за долгие годы, проведенные в Манитобе, бабушка освоила больше дюжины английских слов, да и те переиначивала на свой манер... Соседей звали Лафреньерами, Лабоссьерами, Рондо, Мажорами, Женерё, Люссьерами... Любопытно, что приходским священником был у них выходец из Эльзаса, Теобальд Битше. В чистом поле построили они школу, один в один повторявшую маленькую сельскую школу Квебека; туда в раннем детстве ходила моя старшая сестра Анна, пока родители не перебрались в Сен-Бонифас.

Я же привязалась к этим местам много позже, когда мне было лет четырнадцать-пятнадцать. Дед мой давно умер. С помощью сыновей он разрыхлил и превратил в пахотные угодья целый надел — тысячу шестьсот квадратных метров восхитительного чернозема, где он посеял пшеницу, дававшую прекрасный урожай. Хозяйство у него было великолепное: дом, гумно, красивые пристройки, колодец с высокими бортиками, элеватор. Наверное, он умер счастливым человеком, уверенным в том, что оставляет потомству сложившуюся вотчину. После его смерти бабушка обосновалась в деревушке Сомерсет, в маленьком домике, который выстроили ей сыновья сообразно с ее вкусами. Я его хорошо помню, этот домишко, построен-

ный все в том же канадском стиле. В нем был увековечен образ дорогого ее сердцу дома в Сент-Альфонсе, с которым бабушка с таким сожалением рассталась, хотя, по существу, дважды возродив его в далеких землях, она жила в нем до конца. Домик в Сомерсете, каким я его помню, был увенчан высокой крышей с мансардой и имел флигель. Своей высокой каминной трубой и садом он словно утверждал Квебек в тогдашнем наполовину английском Сомерсете. Железная дорога, проложенная через Сомерсет, а не через Сен-Леон, обусловила его расцвет в ущерб франкоканадской деревушке, закат которой начался именно в те годы.

Бабушка до глубокой старости так и жила одна в своем квебекском домике в Сомерсете. Как только ее не стало, явился покупатель, давно положивший глаз на этот дом. Не желая, смею надеяться, смерти бабушки, он тем не менее пристально следил за развитием событий. Это был пожилой англичанин, которому бабушкино жилище сильно, по всей видимости, напоминало его старую добрую Англию, покинутую много лет назад. Он посадил вокруг дома жимолость, посеял розмарин вместо бабушкиного укропа и, не меняя больше ничего, счастливо зажил в доме, некогда утешавшем бабушку в ее изгнании, а теперь приютившем и его. Все это привело к тому, что и я возжелала стать обладателем этого дома-талисмана. Последний раз, когда я ездила в Манитобу, до меня дошли сведения о смерти бабушкиного преемника — смерти, которой я, тоже не желая в прямом смысле слова, ожидала с некоторым нетерпением: старик англичанин дожил до очень преклонного возраста.

Я направилась в Сомерсет. Мне удалось отыскать дом. Это была старая развалюха, не более того. И все же, каким бы печальным и покинутым ни выглядел он среди зарослей желтеющей осенней травы и давно одичавшей жимолости, мне показалось, что он загадочным образом отвечает моим мечтам, в которых я не смела признаться даже самой себе. Я решила его купить. Но мой кузен справедливо заметил, что, если я действительно хочу обосноваться в Сомерсете, мне придется снести старый дом и построить новый.

— А что ты будешь с ним делать, живя в Квебеке?

Мне пришлось признать очевидное. Покинутый дом еще долго служил мне укором. Хотя, быть может, даже больше, чем этот полуразрушенный дом, мне хотелось купить то, что пробуждало во мне самые дорогие воспоминания, — звук ветра, который я слышала, бродя по улицам Сомерсета, того нежного и печального сентябрьского ветерка, который словно извлекал из руин бабушкиного сада мелодию бесконечного сожаления об отчизне, столь желанной, столь безнадежно утраченной.

Порой мне казалось, что история нашей жизни в Манитобе запечатлена лишь в грезах, уносимых ветром, и если от нее что-то сохранилось, то лишь благодаря силе мечты.

Но в ту эпоху, от которой у меня осталось столько воспоминаний, на ферме дяди Эксида все еще чувствовалось влияние отцов-основателей, старших Ландри. Хотя дядя все же снес дорогой нашему сердцу родительский дом и выстроил другой, по своему вкусу, на новом месте, в нескольких милях от Сомерсета. Так начались наши метания между Сомерсетом, куда мы ездили по делам и где приходилось разговаривать исключительно по-английски, и Сен-Леоном, куда мы ездили для души. В итоге мы предпочли

Сен-Леону Сомерсет, который был расположен удобнее. Дядя мой, очень рано оставшийся вдовцом, всегда радовался приезду мамы. Она тут же брала на себя ведение хозяйства, тем самым значительно облегчая жизнь моей кузине Лее, которой пришлось в четырнадцать лет взвалить на плечи эту тяжкую ношу. Дом был просторным, красивым и очень, по тем временам, комфортабельным, с центральным отоплением и ручным насосом, подававшим воду из колодца под летней кухней. Стоял он в небольшом лесочке, который дядя с трудом выискал, желая непременно поселиться под сенью деревьев, как в Сент-Альфонсе, откуда уехал, правда, совсем маленьким, в возрасте пяти лет. Но с той поры, вероятно, он и тосковал по лесу и стремился во что бы то ни стало окружить дом хотя бы рощицей.

По правде говоря, эта роща вокруг дядиного дома сыграла в моей жизни почти ту же роль, что и гора Бабкок. Редкая, состоявшая главным образом из осин и молодых дубков, она долгое время представлялась мне настоящим лесом со всем тем колдовским и загадочным, что, на мой взгляд, присуще лесу. Стоило нам выбраться из леса на дорогу, ведущую к ферме, и мы словно устремлялись в бесконечность. Перед нами, насколько хватал взгляд, расстилалась степь. Бескрайняя колышущаяся равнина несла прочь свои широкие плавные волны за горизонт. Нигде в мире не видела я столь прекрасных, столь совершенных зеленых волн-колыханий, разве только в низовьях Дорсета, где они переходят в морские.

В этой неподвижности было постоянное движение, в этом величии, безмолвном и зовущем в путь, — красота, которая в молодые годы притягивала меня, как магнит. Вновь и вновь отправлялась я туда, откуда открывался этот вид на равнину, словно, если я слишком долго не буду приезжать, все исчезнет. Дойдя до края дороги, проложенной через ферму, до опушки леса, где сквозь расходящиеся деревья мне открывалось широкое влекущее пространство, я всякий раз заново открывала мир. Да что мир! Теперь-то я знаю, что гораздо больше, чем мир. <...>

На этих высоких граничащих с небом землях мы все еще были в своей епархии, но епархия эта незаметно для нас самих постепенно сжималась, становилась всё у́же. Если мы приезжали во франкоязычный некогда Сомерсет, то всюду встречали отступников, щеголявших своим английским и первыми обращавшихся практически ко всем на этом языке. Молодежь отправлялась в Виннипег, Чикаго, Ванкувер. Почти все мои двоюродные братья остались там жить. Людей притягивал Запад и Соединенные Штаты. Мы возвращались на ферму обескураженными и словно обнищавшими. И тут безмятежный, будто окутанный сном необъятный простор равнины вновь придавал нам уверенности в себе, а жалостливое, баюкающее пение ветра помогало хотя бы на время забыть о крушении великих надежд... В одиночку я часто отправлялась к могилам моих бабушки и дедушки. Я научилась ездить верхом и сама выездила маленькую рыжую кобылку. Во весь опор уносилась я с фермы, пересекала озерцо в нижней части дядиных земель, в мои времена уже пересохшее, затем огибала другие озера, также наполовину высохшие и заросшие старым безобразным камышом — необычный пейзаж в самом сердце богатых плодородных земель, — и вскоре оказывалась в деревушке Сен-Леон, расположенной в шести-семи милях от фермы. Я въезжала в такое сонное и безлюдное селение, что казалось, злой волшебник по-

грузил его в это мрачное забытье. По-настоящему оживленной видела я эту деревушку лишь по воскресеньям, когда ее жители высыпали из церкви после торжественной мессы. А ведь во времена моих бабушки и дедушки, когда в деревню прибывали новые поселенцы, жизнь в ней, должно быть, бурлила. Но прогресс обошел ее стороной, разместив банки, торговые центры, железную дорогу в Сомерсете. В Сен-Леоне не осталось даже гостиницы, даже мало-мальски пристойного магазина. Только три сооружения выделялись на общем фоне: дом священника, построенный с неуместным для такой глуши городским размахом, монастырь и церковь. Пройдя до конца по главной — и единственной — улице города, я упиралась в огромный, недостроенный дом с затянутыми черной промасленной бумагой окнами — так он и стоял все время, что я его помню. Ничто лучше, чем этот дом, не свидетельствовало об унынии, царившем в этой обманутой в своих ожиданиях деревушке, ибо когда-то она была манитобской Виль-Мари[1], которой управляли суровые пастыри, мечтавшие, вероятно, о создании идеального человеческого сообщества.

Но для меня закрытый черной бумагой дом был другом. Именно здесь, в доме Мажоров, родителей покойной жены моего дяди, я встретила кроткую Люзину, чьим именем я, из привязанности к ней, назвала в дальнейшем одну из самых симпатичных своих героинь. Люзина умерла молодой, ее старая мать еще была жива; не церемонясь мы называли ее просто *матушкой*. Чаще всего я заставала ее за приготовлением кровяной колбасы или мыла — и то, и другое она варила в огромном черном котле на костре из веток кустарника. На фоне ярко-голубого неба здесь все казалось черным: котел, колечки дыма, тающие в вышине, дом, старуха в длинной юбке. Что-то в ней было цыганское, хотя, скорее, это жизнь на свежем воздухе, без которой она себя не мыслила, придавала ее облику цыганские черты и еще, возможно, кочевой инстинкт, весьма редкий у наших тогдашних стариков, — испытания, выпавшие им на долю в юности, быстро приучили их искать в жизни максимального комфорта. Лишь матушка, казалось, продолжала получать удовольствие от той жизни, какой жила в течение многих месяцев по прибытии в Сен-Леон и моя бабушка: часть кухонной посуды неизменно размещалась на внешней стене дома, чтоб всегда была под рукой, если вдруг летом ей вздумается заняться стряпней на улице; там же висела лохань для стирки, а вокруг — всевозможная утварь и хозяйственный инвентарь, разбросанные, словно в полевом лагере.

Матушка, с красными от дыма глазами, пристально вглядывалась в меня и спрашивала:

— Кто это является тут верхами, как архангел Михаил на Страшный суд в конце времен?

Только эта ее манера подшучивать свидетельствовала о том, что она меня узнала. Я не произносила ни слова, а она продолжала в том же духе:

— Проклятье! Бьюсь об заклад, это дочь Мелины, дочери Эмилии Жансон, вышедшей замуж за Элию Ландри! Откуда ж скачешь ты сим адским галопом на своей черной зверюге?

Она прекрасно знала и сама, что моя кобылка не чернее извергаемых ею проклятий, поэтому я даже не трудилась протестовать, очаро-

1. Первоначальное название Монреаля.

ванная ее образным языком, от которого у меня почему-то сладко замирало сердце. Впрочем, приезжала я туда совсем за другим. Спешившись, я начинала умасливать старуху:

— Погадайте мне на картах, матушка Мажор, скажите, что меня ждет.



— Что тебя ждет, моя маленькая фея дорог, я и так могу сказать, без всяких карт: ты будешь жить, потом состаришься и умрешь.

От этих слов меня бросало в холодный пот.

— Нет-нет, — не отставала я, — будущее, что ждет меня в будущем, скажите, матушка!

Она закатывалась смехом, напоминавшим кудахтанье.

— Да что же вы, молодежь, так хотите знать будущее, ведь оно у вас есть! И никуда вы от него не денетесь, оно будет, будет, а потом оглянетесь, а это уже прошлое. Счастливчики!

Иногда она снисходила до того, что наклоняла к моей протянутой ладошке свое старое, растрескавшееся, как почва в засуху, лицо, и я подмечала, как все еще блестят ее потускневшие глаза.

— Вижу, вижу, — говорила она, брызгая слюной, — ты будешь путешествовать... заведешь друзей... блондинов... брюнетов...

Почему же, интересно, я так настойчиво добивалась, чтобы эта старая бабка, одной ногой стоявшая в могиле, предсказала мне будущее, а она в ответ лишь насмехалась надо мной? Наверное, потому что люди не переставали утверждать, что она действительно способна видеть будущее... и видит... если пожелает...

Но еще больше, чем о будущем, я хотела поговорить с ней о прошлом. Матушка Мажор, столь не похожая на мою любившую порядок и аккуратность бабушку, была старше ее всего на несколько лет и с ней дружила. Она помнила массу подробностей из того, что было с бабушкой задолго до моего появления на свет, и я неустанно требовала рассказов об этом. Кривившая губы, если я просила предсказать мне будущее, матушка Мажор не заставляла долго себя просить, если речь шла о том, что было до меня. Она рассказывала о путешествии в повозке, запряженной волами, от самого Сен-Норбера, о тучах комаров, вившихся вокруг только что поставленной палатки, о ночной равнине, темноту которой пробивал лишь свет костра, горевшего в лагере путешественников, о первой зиме в Сен-Леоне, проведенной шестью семействами под одной крышей, о ссорах и взаимовыручке, о Божьем промысле и происках дьявола...

Из людей, о которых рассказывала матушка Мажор, немногие оставались в живых. Жалкие дряхлые старики, они напоминали мне уцелевших в кораблекрушении путешественников, которых долго носило по морям и волнам. Эти бедные, дорогие моему сердцу квебекские старики доживали свои дни здесь, на краю света, и по-прежнему говорили между собой на своем языке, но успели увидеть, как их дети перешли на английский, а дети детей больше не могли общаться со своими бабушками и дедушками. Мне казалось, они страшно одиноки, как отшельники Патмоса. Я сочувствовала нашим старикам, хрупким, словно последние, с трудом цепляющиеся за ветку листья, которые того и гляди сдует первым порывом ветра... Теперь я знаю — меня влекло к ним прошлое, готовое вот-вот раствориться, стереться из памяти. Их покорность, их смирение надолго запомнились мне, как запомнились ярко-синее небо

над их головами и плач ветра, пытавшегося, казалось, поведать об их неудавшихся жизнях. Сколько раз отправлялись они на край света и тихо исчезали, не оставив следа. <...>



Несколько лет назад во время краткого пребывания в Манитобе я выкроила минутку и съездила в Сомерсет. Эта деревушка и ее окрестности очаровывают меня, и я совсем забываю, что здесь все уже не так, как в моих воспоминаниях. Моя немногочисленная оставшаяся там родня сетует, что если я туда и выбираюсь, то в первую очередь ради мест и только потом — людей. В тот раз все было именно так. Я начала с фермы дяди Эксида, не то что заброшенной, но опустевшей и осиротевшей. Младший из дядиных сыновей, живущий в деревне в двух с половиной милях от фермы, наведывается туда летом, каждый день в один и тот же час, как служащий — в бюро, чтобы вспахать, взборонить, засеять земли, а затем, когда наступит время, сжать, смолотить, — и все это, разумеется, с помощью техники, в одиночку, за исключением редких случаев, когда ему было не справиться без подмоги. Сельскохозяйственные работы, которые требовали когда-то армии наемных работников, выполняются нынче в странном одиночестве, сопровождаемые только шумом мотора, почти безо всякого уважения к обрабатываемой земле. Непривычно видеть, как человек просто жмет на педали трактора — своего единственного компаньона, — который крутится, вертится, ездит взад-вперед по бескрайним просторам, ничем, так сказать, не обнаруживая своей человеческой сущности. Вечером, завершив рабочий день, мой кузен возвращается домой всегда в одно и то же время — как и утром, когда выезжает из дома.

В ту позднюю осень на безлюдной ферме все было чисто, прибрано: двор в идеальном порядке, сараи и гаражи с техникой крепко заперты. Я бесцельно бродила вокруг дома. С одной стороны в стене были высокие раздвижные ворота. Мне удалось, взобравшись на какой-то пень, заглянуть через окно внутрь, но то, что я увидела, потрясло меня до глубины души: потолок был снят, перегородки разрушены — дом превратился в гигантский ангар, посреди которого стоял огромный трактор "Масси-Харрис". Мне было особенно грустно на него смотреть, потому что он стоял в комнате, где я провела чудесные и счастливые годы. Как-то раз, в один из воскресных вечеров, я неожиданно приехала сюда из соседней деревушки, где в ту пору работала учительницей. Погода стояла дивная. Тихо падал снег — он ложился пластами, и ветру уже не хватало силы поднять снежинки с земли; он падал и падал без устали, погребая под собой последние следы осенней распутицы. В доме, должно быть, что-то праздновали — он сверкал и переливался всеми огнями, а в том окне, куда я заглядывала сегодня, мелькали тени радостно спешивших навстречу друг другу людей. Но самое прекрасное происходило на улице, у крыльца, где в нежном розоватом свете, льющемся из сверкающих окон, стояли в ряд пять или шесть экипажей. Мороза не ощущалось, и лошадей даже не стали заводить в конюшню. Их просто накрыли от снега попонами, а заодно и сиденья саней, в которые они были запряжены. Снег ласково, словно покрывало, теплое и мягкое, ложился на сиденья, на спины опустивших головы лошадей — можно было подумать, что они спят, если бы время от времени они не хлопали ресницами. Как некогда на ведущей в бескрайние просторы грунтовой дорожке я поверила, что в один прекрасный

день буду счастлива, так этот вечер переполнил мое сердце спокойствием, и мне захотелось чего-то еще более прекрасного. А теперь, забравшись на пенек и прижавшись носом к стеклу, я, не веря собственным глазам, заглядывала в окно, наверное, самого любимого моего дома и никак не могла смириться с этим его последним предназначением.

На обратном пути я заехала в деревню к кузену. Он жил в красивом современном доме в стиле ранчо (на Западе таких полно). Я дружески попеняла ему на то, что он переделал наполненный нашими юношескими мечтами дом в сарай для трактора.

— Дерево все прогнило. Пусть хотя бы как сарай послужит, — отшутился он.

Что было делать? Его упреки в непрактичности (наверное, вполне обоснованные) были бы столь же справедливы, как и мои — в том, что он ни о чем, кроме пользы, не думает.

Мы вскоре расстались, и я отправилась наугад отыскивать места, воспоминания о которых неожиданно всплывали в моей памяти. Я долго, например, искала булочную на углу какой-то улицы, куда однажды, когда я была еще совсем маленькой, бабушка послала меня за хлебом. Я описывала ее, как могла, прохожим, которые хотели мне помочь, но они не могли припомнить ни одной булочной, соответствовавшей моим словам. Возможно, за столько лет мои воспоминания исказились. Или булочную успели перестроить. Бог знает, как я была опечалена — совершенно несообразно поводу — тем, что не могу отыскать ее! Под высоким чистым небом лишь ветер поднимал в воздух придорожную пыль совсем как во времена моего детства, с тою только разницей, что тогда сами дороги были грунтовыми и пылили. Словно какой-то невидимый ходок без устали шагал по безлюдному тракту.

Я дошла до кладбища. Оно располагалось неподалеку от деревни, на одиноком холме, и лишь несколько елей оберегали его от ветра. В Манитобе ели не растут, так что их, должно быть, привезли издалека и специально посадили на кладбище, чтобы они хотя бы в смерти служили утешением тем, кто, как моя бабушка Ландри, всю жизнь тосковал по тенистым деревьям своего детства, проведенного на склонах Сент-Альфонс-де-Родригеса. Здесь они снова были вместе — эти мрачные ели и моя бабушка, сдержанная, не склонная к откровенностям, но верная своим привязанностям.

Я без труда отыскала ее могилу рядом с могилой деда, Элии Ландри. А ведь я не навещала их с того далекого дня, когда мама привела меня, маленькую девочку, поклониться их праху. Неожиданно для себя самой я стала читать вслух краткую историю их жизни: Эмилия Жансон, родилась в Сен-Жак-л'Ашигане в 1831 году, скончалась в Сен-Бонифасе 7 марта 1917 года; ее возлюбленный супруг, Элия Ландри, родился в Сен-Жак-л'Ашигане в 1835 году, скончался в Сомерсете 6 августа 1912 года. Тут я впервые обратила внимание на то, что дед был младше своей жены на четыре года, а умер на пять лет раньше ее. Однако сколько всего он успел сделать за такой, в сущности, недолгий срок!

На душе у меня стало спокойнее. Нас, поколения скитальцев, все же связывала пусть тонкая, но протянувшаяся сквозь века невидимая нить. Мне удалось воскресить в памяти два этих старых лица, хотя помогли мне, скорее, фотографии, которые я хорошо помнила.

Я прошла вперед, оставаясь в пределах той части кладбища, что была отведена роду Ландри. Чуть поодаль возвышались два тяжелых надгробия, выполненных по моде сегодняшнего дня: вероятно, тети Люзины и дяди Эксида. Я приблизилась еще на шаг и оторопела: передо мной стояли, один подле другого, два одинаковых по высоте камня, на которых крупными буквами было высечено по-английски *Father* и *Mother*. Я попыталась извлечь из глубин памяти страдальческий образ моей тети Люзины, с впалыми от болезни щеками и ввалившимися уже в пору моего детства глазами, светившимися, однако, такой добротой, что даже неумолимое наступление чахотки не в силах было погасить этот свет. Я вспомнила дядю, то жизнерадостного, то безутешно скорбного, вспомнила его беспокойный взгляд. И вот теперь они, ни для кого не бывшие *Father* и *Mother*, останутся таковыми во веки веков, под этим чистым небом, на этом маленьком кладбище на краю света. Сегодня я лишилась их окончательно и бесповоротно, безвозвратнее, чем в день их смерти.

Я ушла с кладбища. Высоко, в верхушках завезенных елей, зашумел ветер. Его неторопливый речитатив, нашептываемый нездешним голосом, хватал за душу. Словно пытался поведать горестную, запутанную историю человеческих судеб, затерянных во времени и пространстве. <...>

## V

Мне было, наверное, лет четырнадцать, когда я ушла в учебу, как уходят в монастырь. Я держала слово, данное матери в больнице несколько лет назад, принося ей год за годом медали за лучшее знание французского языка, вручаемые Ассоциацией франкоканадцев Манитобы. Затем я получила самую вожделенную награду, какой Министерство народного образования Квебека жаловало ученика, вышедшего по французскому языку на первое место во всей Манитобе, — медаль с изображением почти римского профиля Сирила Делажа[1]. Мой набор медалей, теперь уже довольно внушительный, занимал чуть ли не целый ящик. Мама держала их подальше от пыли, берегла, как могла. Сама она ходила в бедную деревенскую школу и в качестве награды получила только тоненькую книжечку в пятьдесят центов, бережно хранимую ею до сих пор. Поэтому ее приводили в восторг мои увесистые медали, едва вмещавшиеся в ящик, который, подозреваю, она частенько открывала украдкой, чтобы полюбоваться ими в свое удовольствие.

Премии, учрежденные Ассоциацией франкоканадцев Манитобы для одиннадцатого и двенадцатого классов, составляли соответственно пятьдесят и сто долларов. В то время это были немалые деньги, сравнимые со стипендиями, которые дают сегодня Совет по искусству и Министерство культуры и, что особенно приятно, которые не нужно было выпрашивать. Я получила обе премии, покрыв тем самым расходы на поступление в Эколь Нормаль, где готовили школьных учителей, и на покупку необходимых учебников. Так что продолжение моей учебы практически ничего моим родителям не стоило, и слава богу, поскольку они бы не потянули такую ношу.

1. Сирил Фразер Делаж (1869–1957) — юрист, депутат и общественный деятель; с 1916 г. занимал пост министра просвещения провинции Квебек.

Но не в том даже дело, что я успешно закончила школу, — главное мое достижение состояло в том, что, находясь так далеко от нашей естественной среды, от Квебека, я добилась успеха во французском, а не только в дисциплинах, преподаваемых по-английски.



Таким образом, несмотря на закон, согласно которому в государственных школах, посещаемых главным образом франкоговорящими канадцами, на французский язык отводился всего час в день, мы все, как мне кажется, знали родной язык не хуже квебекцев.

Кому, чему приписать этот невероятный успех? Во-первых, коллективному рвению, во-вторых, наличию в нашем городе нескольких видных французских эмигрантов, сильно повлиявших на наших интеллектуалов, но главным образом добросовестности и упорству наших наставниц — монахинь и мирянок, которые бесплатно давали дополнительные уроки французского, несмотря на чудовищную загруженность. Некоторые из них с законом вовсе не церемонились, и тогда Комиссия по школьному образованию вынуждена была отстранять их от преподавания за излишнее рвение и неблагонадежность, поскольку считалось, что это может принести нам больше вреда, чем пользы.

Когда закон нарушали не столь явно, Министерство просвещения закрывало на это глаза. Если во время визита инспектора ученики могли продемонстрировать хорошее знание английского, все более-менее сходило с рук. Конечно, мы все время сталкивались с враждебными выпадами кучки фанатиков, ратовавших за неукоснительное соблюдение закона. Периодически прокатывался слух о том, что проверяющий вышел на тропу войны. На случай, если он или кто-либо из школьной администрации появятся без предупреждения, нам предписывалось быстро убрать в парты учебники по французскому, стереть с доски все, что могло иметь отношение к этому языку, и выложить английские учебники. В других школах, да и с предыдущими поколениями учащихся, без сомнения, тоже случалось подобное, но я, со своей стороны, очень тяжело переживала эти вторжения в наш учебный процесс. Все же опасность действительно существовала, заставляя сильнее биться наши сердца, она словно была растворена в воздухе — возможно, чувство тревоги отчасти поддерживали наши преподавательницы. Как только угроза отступала, мы переходили к партизанской войне, которая изматывала противника, пожалуй, даже сильнее, чем открытый протест. Порой я спрашиваю себя: не пошло́ ли это противостояние нам на пользу? Нас было очень мало, и никто нами, по большому счету, не занимался, поэтому привычка плыть по течению подвела бы нас в дальнейшем вернее всего. Однако привычку эту мы не приобрели, и французский во всей его красоте и совершенстве мы все-таки выучили, сохранили, но сделали это, в конечном счете, из гордости, ради чувства собственного достоинства — в повседневной жизни он не мог служить подспорьем.

Во всяком случае, чтобы сдать экзамены и получить аттестат, нужно было придерживаться программы Министерства просвещения, согласно которой большая часть предметов преподавалась на английском: химия, физика, математика, общая история. Мы были, так сказать, англичанами в алгебре, геометрии, естественных науках, истории Канады и французами — в истории Квебека, французской литературе и, главное, в Священной истории. Это развивало пытливость ума, поскольку все вре-

мя приходилось выверять, дополнять наше видение мира. Мы походили на циркачей, жонглирующих тарелками.

И все же порой знание английского шло на пользу. Помню, как живо заинтересовалась я английской литературой, лишь только получила к ней доступ. И было отчего: из всей французской литературы в наших учебниках приводились разве что Луи Вейо и Монталамбер[1] — десятки, сотни страниц этих двух авторов и ни одной строчки из Золя, Флобера, Мопассана, не говоря уж о Бальзаке! Какое представление могли мы составить о французской поэзии, если вся она сводилась к Франсуа Коппе, Сюлли Прюдому и "Озеру" Ламартина, которое мы так долго мусолили, что сегодня — любопытнейший феномен! — я, должно быть, из чувства противоречия не могу припомнить из него ни единого стиха. Однако на конкурсе, проводимом Ассоциацией франкоканадцев Манитобы, я получила чуть ли не высший балл за сочинение о нем.



Английская же литература открывала неограниченный доступ к величайшим своим гениям. Я прочла Томаса Харди, Джордж Элиот, сестер Бронте, Джейн Остин. Знала Китса, Шелли, Байрона, Озерную школу, которую любила бесконечно. К счастью для французской словесности, у нас в программе все же был блестящий, остроумный Альфонс Доде. В пятнадцать лет я набросилась на "Письма с мельницы" и выучила их наизусть от первой до последней строчки. Порой я спрашиваю себя: не оттого ли я столь беспредельно люблю Прованс и изъездила его вдоль и поперек, что в юности страстно увлеклась этой книгой — первой попавшейся под руку? В противном случае, французская проза показалась бы мне абсолютно пресной по сравнению с английской. А что могло бы из меня выйти, если бы в этом возрасте я прочитала Рембо, Верлена, Бодлера, Радиге?

Первым моим открытием стал Шекспир. У моих одноклассниц он вызывал глубокое отвращение, да и наша учительница литературы была увлечена им не больше их. Что же касается меня, то, не умея еще распознать все величие этого голоса, я была захвачена его жестокой страстностью, сочетавшейся порой с такой кротостью, что таяло сердце, и с той душевной полнотой, что затопляет своей нежностью, своим смятением.

С тех пор наша учительница литературы, с трудом разбиравшая великого Уильяма, стала прибегать к моим познаниям, тоже не слишком обширным, но с лихвой восполняемым энтузиазмом ученицы. Она утверждала, что, если отвечать с энтузиазмом — пусть даже деланым, — можно заставить проверяющего проглотить что угодно. Энтузиазм, таким образом, сводился к заучиванию наизусть. Мы как раз остановились на "Макбете". Не сумев объяснить нам пьесу, учительница умоляла:

— Выучите наизусть какие-нибудь отрывки. Тогда инспектор забудет про вопросы.

Однажды вечером я наткнулась на один такой "отрывок", абсолютно непонятный, но все же пленивший меня своей мрачностью. На следующий день я, войдя в раж, читала наизусть главный монолог Макбета:

— Is this a dagger which I see before mine eyes...[2]

1. Луи Вейо (1813–1883) — французский журналист, ярый католик, резкий критик романтиков, в частности Теофиля Готье. Шарль Форб де Монталамбер (1810–1870) — французский историк и публицист, клерикал, защитник иезуитов.
2. Что вижу я перед собой? Кинжал... Перевод М. Лозинского.

Монахиня не могла поверить собственным ушам и даже пришла в негодование, видя, какая бешеная страсть к этому старинному поэту елизаветинских времен охватила ее питомицу; в то же время она прекрасно понимала, какую выгоду можно извлечь из моих способностей. Впоследствии, действительно, лишь только ожидался визит одной из наших матушек, хорошо владевших английским, или какого-нибудь важного господина из Министерства образования, как она предупреждала:

– Спасай класс, Габриэль. Встань и прочти "Is this a dagger..."

Я уже "спасала" класс по французскому – на годовом конкурсе, организованном Ассоциацией франкоканадцев Манитобы. И мне казалось, что спасать его еще и по английскому – уже слишком. Но у меня была некоторая склонность к паясничанью, кривлянию, вызванная, скорее всего, нашим общим комплексом неполноценности и заставлявшая меня искать одобрения со всех сторон.

Прибыл проверяющий.

– How are you getting along with Shakespeare, sister? "Macbeth"! Oh fine! Fine! Does anyone remember by which names the witches on the heath salute Macbeth?[1]

Одна я изо всех сил тянула руку. Накануне, пролистывая очередной раз томик Шекспира, я, словно нарочно, напала как раз на эти звучные приветствия.

Инспектор посмотрел на меня с улыбкой. А на кого еще ему было глядеть? Все, кроме меня, вжались в парты. Сестра назвала мое имя. Я вскочила и выпалила: "The Thane of Glamis! The Thane of Cawdor!" [2]

То, что я знаю эти странные слова, вызвало у инспектора радость, с трудом поддававшуюся объяснению. В нашем классе он, видимо, чувствовал себя на вражеской территории и боялся нас не меньше, чем мы его. Он спросил меня, не прочту ли я какой-нибудь отрывок из пьесы. Я, не заставив себя долго ждать, придала лицу трагическое выражение и бросилась с места в карьер: "Is this a dagger..."

Любопытно, что много лет спустя в Лондоне, где мне впервые довелось увидеть постановку "Макбета", я обнаружила, что в свое время была не так уж плоха в этой роли по тону, темпу, – словом, по всему, кроме акцента, акцента улицы Дешамбо, который неминуемо должен был производить комический эффект.

Однако наш инспектор и не думал смеяться. Он казался растроганным. Понимал ли он что-нибудь в этой сцене, не менее странной, чем сцена с ведьмами на вересковой пустоши? Понимал ли, каково это быть маленькой франкоканадкой в Манитобе, и сочувствовал ли он нам в ту минуту или, может быть, даже восхищался нами втайне?

– Why do you love Shakespeare so, young lady? – спросил он.

Young lady, названная так впервые в жизни, пришла в восторг от такого обращения. Она ответила наугад, должно быть, подслушанной где-то фразой:

– Because he is the greatest.

– And why is he the greatest?

Тут я немного смешалась и, поразмыслив, выпалила:

1. Как у вас дела с Шекспиром, сестра? "Макбет"! О, прекрасно! Прекрасно! Помнит ли кто-нибудь, как ведьмы на вересковой пустоши приветствуют Макбета? (*англ.*)
2. Гламисский тан! Кавдорский тан! Перевод М. Лозинского.

– Because he knows all about the human soul[1].

Этот ответ, казалось, доставил ему удовольствие в тысячу раз большее, чем правильный ответ о ведьмах. Он поглядел на меня с умилением. Именно тогда я осознала, как нежно наши противники-англоканадцы могут любить нас, если мы выполняем правила игры и ведем себя как хорошие послушные дети.

– Are there any other English poets that you favour?[2] – вновь обратился он ко мне.

Я знала наизусть "The Ancient Mariner"[3], которого открыла для себя в прошлом году благодаря одной сестре, обожавшей звучные аллитерации. Она читала нам Колриджа нараспев, устремив вдаль мечтательный взгляд.

– We were the first that ever burst into that silent sea...[4]

Я читала эту старую балладу так, как он, скорее всего, никогда раньше не слышал (да и вряд ли слышал потом), раскачиваясь в такт стихам и представляя себе парус, затерянный в Саргассовом море.

Инспектор, по-видимому, начисто забыл, что в классе тридцать пять учениц, тридцать четыре из которых немы как рыбы.

Когда он откланялся, а учительница, которую он называл "мадам, дорогая мадам" и горячо поздравлял с успехом, пошла провожать его к выходу, я подумала: "Скоро и мне достанется моя доля комплиментов... сестра должна быть довольна".

В дверях инспектор удвоил свои любезности. Учительница сияла. Мне казалось, я ухватила несколько слов, касавшихся, скорее всего, меня: "...brilliant young lady... will go far..."[5]

О, я была полна решимости пойти далеко. Только где оно, это далёко?

Наконец наша учительница вернулась и села за стол на небольшом возвышении, куда вели две ступеньки, о которые я не раз спотыкалась в школьные годы. Ее глаза сияли от счастья. Оттого ли, что мы не ударили в грязь лицом перед инспектором? Или она решила, что сделалась прекрасной учительницей английской литературы? Откуда нам было знать? Мне не терпелось выведать, о чем учительница говорила с инспектором в дверях:

– Скажите, сестра, инспектор остался мной доволен?

Монахиня смерила меня недобрым взглядом. Гордыня – вот тот монстр, которого наши наставницы всячески пытались из нас вытравить, в то же время убеждая нас, что французские канадки должны высоко держать голову... Когда же в таком случае следовало ее опускать?

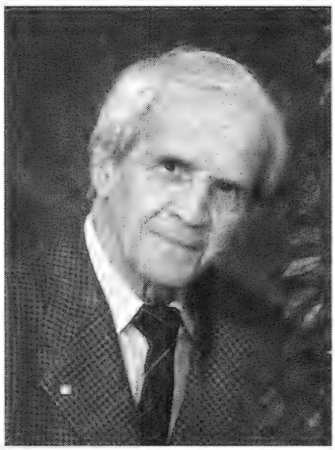
Однако она тут же смягчилась и только сделала мне внушение:

– Смотри у меня, романистка!

Тогда я почувствовала, что в глубине души она гордится мною несмотря ни на что. Пожурив меня, учительница стала первой, кто угадал мое будущее, пусть даже веря в него не больше, чем я.

1. – Почему вы так любите Шекспира, юная леди?.. – Потому что он величайший. – А почему он величайший?.. – Потому что он знает все о человеческой душе (*англ.*).
2. – Нравится ли вам еще кто-нибудь из английских поэтов?
3. С. Т. Колридж. Поэма о старом мореходе. Перевод Н. С. Гумилева.
4. Вошли мы первыми в протор / тех молчаливых вод.
5. "...блестящая юная леди... далеко пойдет..."

# Жан-Клод Дюпон



# *Легенды Новой Франции*

*Перевод и вступление* Александра Садецкого

**Легенды Новой Франции: пространство и время становления**

Манящий бесчисленными возможностями и непрестанно грозящий опасностями мир, который с XVI — когда стали появляться первые города — и до конца XVIII столетия носил гордое имя Новой Франции, колонистам отнюдь не виделся обжитым чужою культурой, тысячелетиями формировавшейся до их прибытия из Европы. Культурой тех, кого они — зная, что это ошибочно, но в своей европейской ошибке упорствуя, — продолжали именовать индейцами. Этот чуждый мир нуждался в новом действенном понимании, в новых формах художественного мышления. Пафос, унаследованный от эпохи Великих географических открытий, умение увидеть, услышать новое (и не внушить себе, что это лишь чуть подновленное и легко узнаваемое старое), готовность "учить темный язык" неведомого, скептицизм по отношению к иерархиям заданных идеологем, претендующих на неизменность и вечность, — все это способствовало распространению устных произведений. Прежде всего быличек, повествующих о встрече с демоническим существом, а также исторических преданий и непосредственно связанных с динамикой религиозного сознания легенд, корни которых уходили в разные правды. В рассказываемых по сей день потомками колонистов историях ценности и смыслы, утверждаемые католической традицией, легко вступают в контакт с глубоко архаическими концептами, а унаследованные от Западной Европы представления взаимодействуют с культурой коренных народов Северной Америки. Чужое отчасти отвергается с недоумением и насмешкой, отчасти же принимается с уважением и интересом (или с сомнением, неохотою и некоторым испугом),

© Éditions GID et Jean-Claude Dupont, 2001
© Александр Садецкий. Перевод, вступление, 2008

осторожно осваивается, делается своим — чуждости своей полностью не теряя, не позволяя о ней забыть. Как имя божества в анаграмме, древность мифа оживает в разносоставной вселенной устного фольклора франкоязычной Америки.

Среди вызывающих ужас и изумление персонажей, что населяют этот мир, почетное место занимают чудовища подводных глубин: к ним принадлежат великий морской змей, безжалостные пилогуйны, чьи многозубчатые хребты рассекают днища кораблей, или могучая марéша (одна из легенд о ней приводится ниже), челюсти которой в опилки и щепу крошат попадающиеся на страшном ее пути суда... В такого рода пугающих тварях оживают древние представления о связи хаоса с морской стихией, о монстрах как порождениях слепой и разрушительной ее игры, ассоциирующейся со слитным, неустойчивым, лишенным собственной формы, с губительным для индивида миром людей. Как и следует хаосу, стихия эта и обитатели ее в пространственном плане соотносятся, по горизонтали, с безграничной периферией и, по вертикали, с бездонной глубиной.

В этих историях сказитель зачастую старается привлечь внимание слушателя к тому, что человек, ночью делавшийся животным, был дедом либо отцом семейства, порою — пришельцем издалека, которого, как в публикуемом ниже рассказе, поспешила избрать в мужья жившая с братьями в пустынном краю девушка, неотступно мечтавшая о спутнике жизни; поспешила избрать, как избирали в архаических мифах "чужого" супруга — из числа тех, кто принадлежал к людям-животным или к частично очеловеченным силам природы, — ради блага "своих": выживания племени, благополучия потомков (избирали, порой совершая ошибку, заключая союз с тем, кто непреодолимо далек...)

Теме тотемного предка, отзвуки которой слышны в такого рода рассказах, близка тема культурного героя, узнаваемая в ряде преданий, где волшебный предмет (получаемый зачастую от носителя древнего знания — старого шамана или вождя племени) обеспечивает победу тому, с кем солидаризуются франкоканадский сказитель и его аудитория (например, со сражающимися против англичан и русских воинами Наполеона — как в легенде "Околдованные матросы").

В другой легенде, тесно связанной с историей войн между французами и англичанами (в ней речь идет о событиях второй половины XVIII века), за рассказом о нехитром обмане, позволившем поселянам-французам обратить в бегство британских солдат, встает тень глубокой древности, для тотального мышления которой характерно слабое различение культуры и природы. К противникам завоевателей принадлежат не только спрятавшиеся в окопе мужчины с мушкетами, но и — наряду с землей, скрывшей их от глаз врага, и с лесом, даровавшим убежище по-своему участвующим в битве женам их и детям, — животные: гуси, из чьих криков соткался образ яростной атаки одного из коренных народов края. Гуси залива Святого Павла, о которых повествуется в ниже приводимой легенде, не так, как в далекие времена их римские сородичи, но тоже сумели спасти родные места и тоже приобрели вечную славу.

Впрочем, мир открывается мифу не только в пространственном или временном далеке — не только в безднах водного хаоса или в той старине, когда нарекались имена местам, добывались волшебные предметы, а люди и звери одного края были соратниками в борьбе с пришельцами, — мир открывается мифу и в народной прозе Новой Франции. Их встреча происходит и в рассказах о чудесах, творимых теми, кто среди своих неизменно остаются чужаками. Как правило, это представители полюсов социальной структуры, ее низа и верха: нищие странники или служители церкви, священники и епископы, которые в исторической дей-

ствительности Новой Франции играли роль просветителей и вождей культурного строительства, а в устном фольклоре нередко выступают в роли могучих тайновидцев и чародеев. Как в легенде "Нищеброд — заклинатель кур", герой которой — грозный и жалкий, пугающий и смехотворный — заставляет вспомнить о непреодолимой двойственности древнего и продолжающего созидаться мира трикстеров. Их мир, мир церковной символики, уверенно используется персонажами легенд в борьбе с демоническими силами: так удалось вполне прозаическому герою публикуемого здесь рассказа о заколдованном баклане подбить чертову птицу пулей из свинца, кусочек которого деловито отколупнул он ножом от статуи Святой Анны. Реальность (героя, рассказчика, слушателей) встречается с мифом, осознает его чуждость и — не пытаясь ее игнорировать или "преодолевать" — постепенно открывается ему, взаимодействует с ним.



Все тексты печатаются по вышедшей в 2001 году в Квебеке книге, в которой собраны произведения коллективного устного творчества франкоговорящих жителей Северной Америки (не только Квебека — некоторые из этих текстов бытуют в других районах Канады; под названием каждого текста такой район указан). Собрание составлено Жан-Клодом Дюпоном, известным канадским этнографом и фольклористом, профессором квебекского университета Лаваля. В "ИЛ" переводы публикуются в новой редакции.

# Гуси *залива*

(Залив Святого Павла)

А с селянами, которые на берегу залива Святого Павла жили, такое, говорят, дело вышло. Как услышали они, что подымаются по реке английские корабли и что солдаты грабят дома да жгут, собрали быстро пожитки, что у кого было (ну, мебель там, одежонку всякую), нагрузили это все на возы — и в лес отвезли, спрятали. А женщины, старики и дети в подлеске затаились. Взяли они с собой еды, понятно, да и скотину с домашней птицей туда пригнали.

Вот подошли, значит, корабли англичан к Иль-о-Кудр, якорь там бросили — и приказал ге-

нерал Вулф солдатам своим в шлюпки садиться да к берегу грести; велел им высадиться там возле жилищ, что стояли ближе к реке. Добрались солдаты до земли, из лодок вылезли — и принялись дома грабить да жечь.

А только не ведали они, что́ их на опушке ждало: вырыли там селяне средь сосен глубокий окоп да в нем и схоронились, у каждого — мушкет, весь ствол зарядами забит.

Ну, подошли, значит, солдаты к рубежу лесному, сквозь кустарник продираться стали, идут себе, в барабаны бьют — а тут вдруг и началось. Только оказались они на середине прогалины, со всех сторон галдеж поднялся, гогот, клики — ну точно индейцы-монтаньи визжат, как на врага мчатся. Перепугались солдаты; невдомек им, что это не воины индейские вопят, а гуси — целая стая гусиная. Женщины, старики да дети, которые за деревьями прятались (солдатам-то их и не видно), принялись гусям шеи сворачивать, вот те и надрывались, орали во всю глотку. Растерялись солдаты, стоят, слушают, как гуси гогочут, в толк ничего взять не могут — а в это время мушкеты загрохотали: стали в них наши из окопа палить. Пустились англичане наутек; к берегу несутся, лишь бы, думают, успеть, лишь бы не окружили французы с индейцами, лишь бы только до шлюпок добраться да на кораблях скорей укрыться...

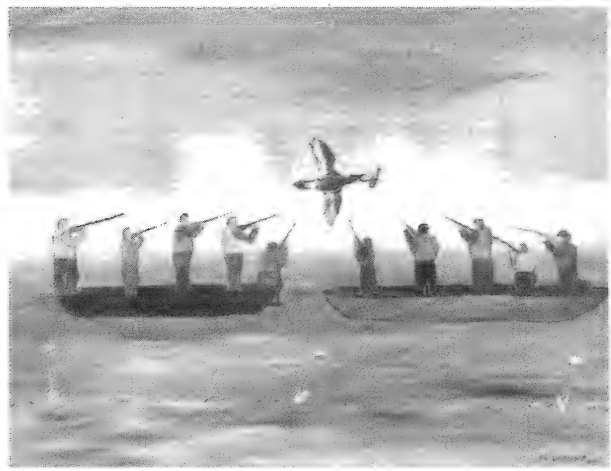
Так-то вот; коли б не гуси — не пришлось бы жителям Залива домой вернуться.

## *Заколдованный баклан*

(Персе)

В прескверном настроении возвращался в тот вечер папаша Бурже от Заревого утеса, возле которого имел он обыкновение ставить сети на треску. Надо сказать, что такое случалось с ним этой весной нередко. “Проклятый баклан, — ворчал старик, — ну погоди, ты у меня дождешься... Это ж надо, весь мой улов пожирает!”

Больше всего старика раздражало, что чертова птица взяла привычку кружиться вокруг его плоскодонки — да с его же сельдями в клюве. “Отчего бы ей самой себе рыбы не наловить — так нет, вишь, привыкла воровать из сетей у тех, кто и так еле-еле концы с концами сводит!” — сердито бормотал рыбак.



В общем, назавтра до места, где стояли его сети, добрался он с твердым намерением покончить к вечеру с баклаком. И потому в лодке у него с собой было ружье, а в стволе ружья — добрый заряд утиной дроби. Ну и как обычно, пролетел у него над

головой баклан, крикнул "уак!" — и скорей к сетям; а через миг уже вынырнул — с сельдью, понятно, в клюве. Старик схватил ружье, приложился и выстрелил: бах! И что же? Да ничего. Ровным счетом ничего не изменилось. Когда дым от выстрела, окутавший птицу, рассеялся, старый рыбак увидел, что она продолжает спокойно доедать его рыбу, будто посмеивается над ним. Папаша Бурже снова прицелился, снова выстрелил — опять ничего. После третьего выстрела старику — а его в Персе считали лучшим охотником на морских птиц — стало как-то не по себе: "Полно, — подумал он, — да уж не заговорен ли этот баклан?"

Только этим дело не кончилось. На другой вечер папашу Бурже сопровождала туда, где расставлены были его сети, добрая дюжина рыбаков с ружьями; всем хотелось попытать счастья. Бах! Бах! Бах! Но лишь отгремят выстрелы, чертов баклан опять, словно издеваясь над охотниками, в воду ныряет — и появляется, чуть спустя, с новою сельдью в клюве.

Говорят, что выручила папашу Бурже статуя Святой Анны, заступницы нашей, высившаяся над деревушкой; хранила она рыбаков от напастей, от бед сберегала. Стояла эта из свинца отлитая статуя на мысу, что прозывался Роландовым столом. Отковырял папаша Бурже от статуи своим карманным ножом кусочек металла — да и наделал из него ружейной дроби. А потом, в тот же вечер, отправился старик туда, где, знал он точно, снова встретит проклятую птицу. Выстрелил рыбак — и так и полетели во все стороны перья. Криво, косо, зигзагом устремился баклан в облака — и пропал в темнеющем небе.

А папаша Бурже до конца своих дней рассказывал о заколдованном баклане и даже подражал во весь голос — а он у старика, надо сказать, был зычный — тому хохоту, которым разразилась бесовская птица, когда попал в нее заряд свяченой дроби; особенно нравилось ему вспоминать, как эхо за ней повторило трижды: ха! ха! ха!

## М*ареша, морское чудище*

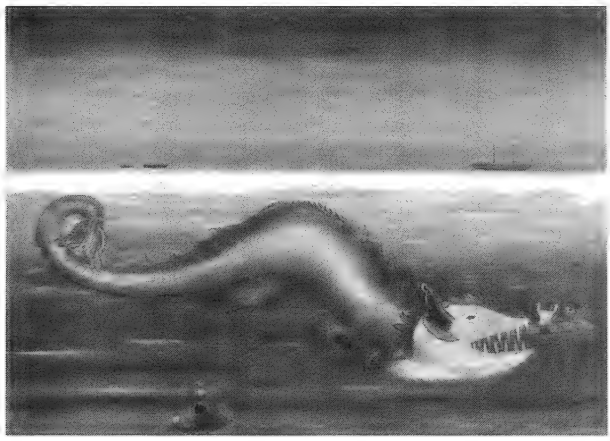
(Бонавантюр)

РЫБОЛОВЫ, которым приходилось слышать про марешу, всегда отговаривали ребят своих рыбачить на "мертвой воде"; только, значит, сыновья немного в возраст войдут, только начнут рыбаки брать их с собой на ловлю, тут же им, бывало, и объяснят: там, где вода глубока да недвижна, будто спит, там, значит, не рыбачат... В таких ведь местах с ней в старину рыбаки и встречались, с марешей этой.

Да только уж больно велик был соблазн. И трески ведь всегда на мертвой воде много, и ловится она — лучше нельзя.

Давно уже чудища этого не видели, что правда, то правда. Но забыть — не забыли. Да и как его позабудешь, когда вот, к примеру, Ивонто старый притащил раз зуб мареши (в сетях он застрял, в грузилах), а зуб этот — в длину добрых семь футов. На него и смотреть-то страшно; а ведь у мареши, говорят, зубов таких в пасти — семь рядов.

А Ришар, последний, кто видел, что мареша с людьми делает, — он уже лет двадцать, как помер; только рассказ-то его до сих пор не забыли. Да нет, что и говорить, был старик, конечно, немножко не в себе; он и тронулся-то, как увидел, что мареша двух его спутников сожрала, — со страху



ума лишился. Его ведь когда нашли, Ришара-то, на берегу, — через несколько дней уже после того, как мареша ему повстречалась, — все же вообще думали, что бредит он, невесть что несет... Никто ж не верил, что такое случиться может...

А рассказал он вот что. В тот день ловили они рыбу — он сам и дядья его, двое, — на мертвой воде; улов был богатый, треска так в сети и шла. Ришар на самом носу в лодке сидел; и вот, поднял он, значит, глаза, смотрит на море — и видит: прямо перед судном их, в нескольких только арпанах[1], плывет им навстречу что-то такое, вроде кита огромного, только не под водою плывет, а скользит прямо по воде, сверху, да извивается так, что пена клокочет, длинным следом за чудищем тянется.

Ришар прямо застыл, шелохнуться не может, — а как пришел он в себя, поздно уж было; ничем не успел он дядьям помочь, оба нашли свой конец в зубах у мареши. Сам-то Ришар на борт вскочил — и как прыгнет в море, да подальше; а потом плыть из всех сил принялся, чтоб у чудища этого на пути не остаться.

А тех-то двоих, что марешу не заметили, — так и проглотила она, да еще вместе с лодкой. Сожрала, а сама дальше плывет, не остановилась даже. А Ришар кое-как до суши добрался; выбросили его волны на берег вместе с обломками судна, за которые он держался, когда к земле плыл. Только мало их, говорят, было, обломков-то этих: все остальное в пыль да труху размололи в марешиной пасти страшные зубы, семь рядов.

## Нищеброд — *заклинатель кур*

(Гаспе)

Да, нищеброды эти... Самое время их было, конечно, лето. За день не меньше двух в дверь стучали: "Подайте..." Зимой, конечно, реже — но все равно приходили. Самые упорные, понятно, да настырные. Дети их побаивались, бродяг-то этих, — да и немудрено; родители ведь чуть что пугали: "Вот не будете слушаться — нищеброд заберет, в мешок засунет".

Да только родители сами тоже странников опасались. Оно и правильно. Были же среди них, нищих этих, такие, что, дело известное, порчу могли навести — если их, к примеру, ночевать не пустить или не накормить как следует. Одни так делали, что у коровы молоко пропадало, другие — что хлеб в печи сгорал; или, бывало, ягнята рождались

1. Арпан — мера длины (58,47 м). (*Прим. перев.*)

трехногие, или там пшеница росла без колоса. Мало ли. Да только самое удивительное приключилось, надо сказать, здесь, у нас, в Гаспе. Уж это было колдовство так колдовство, скоро не забудешь. А случилось-то все как? Постучался, значит, нищеброд один к госпоже Беланже, вдова тут была такая; а дело это было зимой, вечер только начинался. Ну, постучался, подаяния просит. А у нее, как на грех, денег лишних не случилось. Достала она тогда из подпола яйцо — у нее там их полный котелок стоял, — да и протягивает бродяге. А он разозлился! "Ты, говорит, себе его оставь, яйцо твое! Что я, говорит, в мешок его, что ли, суну? Ты меня, говорит, еще попомнишь!" Да и ушел, ругаясь.

Перепугалась вдова; кто его знает, какую он порчу наведет, странник-то этот. Может, теперь несушки яйца класть перестанут или наседки на них не сядут — случалось ведь уже по Гаспе и такое, в других, правда, местах...

Ладно. Погоревала она так-то, вдова, а потом делами занялась — да вроде и забывать потихоньку про бродягу стала... Только вдруг слышит: куры раскудахтались вокруг дома. Удивилась вдова: откуда тут курам взяться, зима ведь, куры-то у всех в курятнике закрыты. Выглянула в окно — и глазам не поверила: видит, бредет странник медленно прочь, а за ним — куры, куры, куры... Со всей деревни собрались да за колдуном бегут. А он идет себе потихоньку, только порой обернется, свистнет негромко — куры к нему из курятников так со всех ног и несутся.

Ну, да недолго так оно длилось; только добрался ход весь этот, нищеброд-то с курами, до дома, где жила семья Маркѝ, вдруг как выскочит оттуда собака, черная, здоровенная, Кофеек ее звали, да как припустит за бродягой — а она давно его там поджидала, — все колдовство враз как ветром сдуло. Бросился странник бежать, а собака за ним, чуть за пятки клыками не хватает. Улепетывал он от нее, улепетывал, весь склон пробежал, только внизу она от него отстала, на самом берегу уже; еле бродяга дух перевел. А куры-то тоже переполошились, ничего в толк не возьмут, — да скорей по курятникам по своим.

Вот так-то. В Гаспе до сих пор говорят: "Это мы себе друзей выбираем; нищий — он сам тебя выберет".

# Ивон Кодер

# *Сказки и тайны леса*

*Перевод* Екатерины Белавиной

*Вступление автора*

До прихода первых европейцев в Америке, как известно, жили изобретательные, находчивые, остроумные народы. Все, о чем вы прочтете в этих сказках, происходило давно, задолго до возникновения письменности, когда знания и воспоминания передавали из уст в уста. В моих сказках, в отличие от исторического романа, нет дат — указаны только времена года, которые сменяют друг друга на протяжении тысячелетий.

Когда воинственные орды скифов проносились по степям России, а жители Месопотамии строили зиккураты, когда египтяне сооружали пирамиды, а писцы тщательно фиксировали количество использованного камня и глиняного раствора, индейцы укрощали стихии, жили охотой и собирали то, что давала скупая северная природа. Однако об этих подвигах — иначе не назовешь — не осталось ни одного письменного свидетельства. К счастью, у нас есть возможность воссоздать, пусть не совсем точно, картину этих забытых времен.

Этнографам и историкам удалось реконструировать многие обычаи этих этнических групп. Один из важнейших источников информации — рассказы первых миссионеров и свидетельства колонистов, которым приходилось выстраивать отношения с коренным населением Америки. Кроме того, мы можем фиксировать фольклор индейцев, но в нем все чаще встречаются элементы, позаимствованные у европейцев.

Важные материальные свидетельства стали доступны благодаря археологам: удалось установить направления миграции племен и натурального обмена. Кам-

© Les éditions du Septentrion, 2006
© Екатерина Белавина. Перевод, 2008

ни, богатые кремнием, ценились при обмене выше всего, из них изготавливали весьма прочные наконечники для стрел: ведь хорошие стрелы сулили удачную охоту, а удачная охота — продление жизни.

Археологические находки доказывают, что индейцы обладали особенным чувством прекрасного. Их эстетические пристрастия проявляются как в создании орнамента для украшения посуды, так и в компоновке различных узоров между собой. Сразу становилось известно, какая деревня славится лучшими горшечными мастерицами. Женщин, занимавшихся изготовлением горшков, бесспорно, можно назвать художницами. К тому же художественные промыслы и собирательство ценились ничуть не меньше, чем охота.

Индейцы были охотниками и собирателями, однако их бытовая культура отличалась бóльшим разнообразием, чем принято представлять. К сожалению, к сокровищам цивилизации этих народов приобщены разве что специалисты. Поэтому я решил представить быт индейцев в доступной широкому читателю форме сказки, которая, на мой взгляд, как нельзя лучше соответствует образному, яркому, богатому миру американских индейцев — ведь волшебство было неотъемлемой частью их повседневной жизни.



## *Ловушка для снов*

### *По мотивам преданий абенаков*

КРУ́ГЛОЛИЦУЮ девочку зовут Медвежка-лакомка, волосы у нее длинные и черные с белыми ракушками в косичках. Родилась она очень слабенькой. Стоило повесить ее люльку на дерево, и, если дул ветер, она всегда заболевала. Она и сейчас часто болеет.

Прошлой ночью Медвежка-лакомка спала очень беспокойно и так вертелась во сне, что скатилась со своей постели из пихтовых веток на сырой земляной пол.

А когда проснулась, вся горела: у нее был сильнейший жар. На еду она и смотреть не стала, а ведь недаром ее прозвали лакомкой: поесть она очень любит. Ей не хочется даже кленового сока, который собрали накануне.

Мать в таких случаях всегда идет за целебными травами и готовит из них отвар. Вот и сегодня Медвежка-лакомка хоть и морщится, но все же пьет его. Однако и через несколько часов ей не становится лучше. Тогда мать зовет деревенского целителя.

Посмотрев на больную, он сразу идет к реке за травой, которая растет только у воды. Читая молитву, он толчет листья и смешивает их с медвежьим жиром. Затем натирает этим зельем Медвежку-лакомку одной рукой, а другой – трясет панцирем черепахи, в котором гремят камешки.

— Теперь должно помочь, — говорит он и поскорей уходит: девочке надо выспаться.

Но жар не спадает и на следующий день. Тогда целитель ведет Медвежку-лакомку в палатку, где лежат горячие камни, и поливает их водой: девочке нужно согреться и пропотеть. Она выходит оттуда вся мокрая, спотыкается на ходу. Целитель сразу же окунает ее в реку, а потом растирает. Но лихорадка не проходит.

Тогда наш целитель прибегает к последнему средству: толчет на камне кусочки древесного угля и, добавив воды, поит смесью Медвежку-лакомку, но она все выплевывает!

— Больше ничего не могу сделать, — вздыхает он.

Вечером жители деревни, собравшись на совет, усаживаются вокруг костра. Каждый встает и говорит свое слово. Скрепя сердце, они решаются позвать знахаря из соседней деревни, хотя он слывет шарлатаном, да и берет дорого. Но делать нечего, придется пожертвовать запасами кукурузы и сушеной рыбы.

Поутру странный лохматый человек заглядывает в вигвам. Кажется, что он кривляется, — это из-за густой раскраски на его лице. Медвежка-лакомка глядит на него и смеется. Знахарь ощупывает ее — надо понять, что за злой дух в нее вселился. Затянув песню, он начинает растирать девочку, а после — скачет в разные стороны, машет руками и корчит страшные рожи, чтобы изгнать духа. Это целый спектакль; вся семья Медвежки-лакомки собралась у входа в вигвам и наблюдает за действом. Но девочке не становится лучше.

Тогда знахарь отправляется в банную палатку. Он проводит там несколько часов, все время что-то выкрикивая. Палатка ходит ходуном. Наконец он выскакивает оттуда и, отчаянно размахивая руками, несется через деревню. Перед Медвежкой-лакомкой он резко останавливается, встряхивает ее и начинает строить рожи, чтобы прогнать злого духа. Но девочка даже не улыбается в ответ. И он уходит восвояси, не взяв платы.

Тут бабушка, которая до сих пор молчала, говорит:

— А куда делась ловушка для снов? Ее нигде нет! Наверное, Медвежка-лакомка потеряла ее, когда мы шли к летней деревне. Вот Медвежка и заболела из-за дурного сна.

Сказано — сделано. Бабушка мастерит новую ловушку, вставляет в серединку длинное совиное перо и вешает ловушку над лежанкой внучки.

Медвежка-лакомка спит глубоким сном и просыпается на следующий вечер, свежая, как цветок. Чтобы отпраздновать ее чудесное исцеление, зажаривают собаку. Ведь на свете нет ничего вкуснее медведя и собаки!

**Абенаки**

До прихода европейцев на территории современного американского штата Мэн проживало около 40 000 абенаков. Они часто охотились на юге Квебека.

Войны с другими местными племенами и болезни, принесенные белыми переселенцами — в частности, грипп, оспа и дифтерия, — сократили их численность до нескольких сотен человек. В XVII столетии абенаки обосновались в Квебеке. В настоящее время в общинах Оданак и Волинак вдоль рек Сен-Франсуа и Беканкур проживает примерно 2000 абенаков.

**Живущие на востоке**

Слово "абенаки" на языке племен монтанье означает "живущие там, где восходит солнце", то есть на востоке. Однако при первом контакте с белыми представители этих племен называли себя по-другому — альнанбалами (мужчинами), а свою территорию — Ндакинна (наша земля).

**Лето на реке**

Летом абенаки селились вдоль рек, строили деревни, где жили большими общинами (до ста человек). Чтобы защитить деревню от врагов, они обносили ее высокой изгородью из кольев. Абенаки выращивали маис, бобы, тыкву, а также, чтобы разнообразить рацион, занимались охотой, рыболовством и собирательством. По осени абенаки селились на охотничьей территории, как правило, доставшейся им по наследству от родителей.

**Доктор Лес**

Аптекой для индейцев был лес! Абенаки умели лечить множество болезней с помощью растений. Так, ель и пихта восполняли недостаток в витаминах в холодное время года. Порошок высушенного корня кувшинки прикладывали к порезам и опухолям. Для облегчения родов использовали отвар лабрадорского чая. А при заложенности носа вдыхали порошок его высушенных листьев. Некоторые прибрежные растения служили жаропонижающим средством. Алгонкины черпали в рябине заряд бодрости. Тысячелистник помогал при рвоте, судорогах и улучшал заживление. А отвар из орляка[1] был чудесным глистогонным средством. Даже растолченный древесный уголь считался средством от некоторых болезней!

**Сбор кленового сока**

Весной абенаки проделывали в коре деревьев отверстия, вставляли туда трубочки из полых костей, через которые сок стекал в берестяные сосуды. Кроме клена они делали зарубки на березах и осинах, которые тоже давали сок, но менее сладкий. По случаю сбора сока устраивали праздник. Другие индейские племена, в частности гуроны-вендаты, тоже собирали сок клена, но менее оригинальным способом.

**Ловушка для снов**

В некоторых индейских племенах, особенно в Онтарио и в Соединенных Штатах, было принято вешать ловушку для снов над головой спящего ребен-

1. Орляк или папоротник обыкновенный Pteridium aquilinum. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ка. Этот предмет в форме паутинки лишал силы злых духов – считалось, что именно они были причиной дурных снов. Перо совы, помещенное в середину паутинки, приносило мудрость молодым девушкам, а орлиное перо придавало храбрости мальчикам. В Квебеке ловушки для снов встречались редко, но некоторые народности, судя по всему, все же мастерили их.

**Малыш всегда со мной**

Матери индейских племен никогда не теряли из виду своих детей. Мать туго пеленала малыша и привязывала его к куску коры или к небольшой дощечке. С помощью ремней женщины делали специальные люльки, чтобы переносить ребенка на спине. Во время работы такую люльку можно было повесить на ветку дерева. Над головой мальчика часто вешали миниатюрные лук и стрелы в надежде, что он станет искусным охотником. Над кроваткой девочки прикрепляли красивые вещи, сделанные деревенскими мастерицами. Умение девушки создавать радующие глаз предметы ценилось столь же высоко, как и умение юноши охотиться.

# Приемная дочь

## По *мотивам преданий ирокуэнов*

Я – приемыш. Родилась я в племени малеситов, но потом стала ирокуэнкой. Вот как это случилось.

Из-за болезни у моей приемной матери не было детей, и она очень горевала. Однажды на рассвете пошла она на реку за водой и видит – навстречу ей идет пожилая пара. Если бы не младенец на руках у старухи, мать непременно подняла бы тревогу.

Незнакомцы посмотрели матери в глаза, будто хотели заглянуть ей прямо в сердце. Потом старуха сказала:

– Несколько лун назад родители этой малышки утонули. А мы слишком старые, чтобы заменить их. Вы кажетесь нам женщиной доброй, пожалуйста, примите ее как дочь. Ее зовут Чистая Вода.

У стариков был такой печальный вид! Повинуясь движению сердца, мать взяла меня. Я была завернута в шкуру виргинского оленя, украшенную узорами малеситов. Это сразу заметили жители деревни: они недолюбливали малеситов. Но все же согласились, чтобы мать оставила меня: я была здоровым и крепким ребенком. Но даже если бы они и вос-

противились, она все равно не отдала бы меня. Да и женщины деревни наверняка встали бы на ее сторону. А вот имя мне дали другое — Утренняя Заря.

Мать ласкала меня, баюкала, пела колыбельные песни, причесывала своим красивым костяным гребнем. А отец мастерил мне кукол из сухих кукурузных листьев. При других мужчинах он не проявлял своих чувств, но на самом деле очень радовался тому, что у него, наконец, появился ребенок.



Я росла, а мать учила меня всему, что требуется от женщины: лепить глиняные горшки, наносить на них узоры в виде побегов маиса, печь лепешки из кукурузной муки, разделывать мясо, красить иглы дикобраза, украшать одежду и многим другим важным вещам. А отец научил меня ловить рыбу, так что с удочкой и гарпуном я управляюсь лучше многих мальчишек!

Благодаря приемным родителям я стала настоящей ирокуэнкой из Стадаконе. Но хотя я все делала, как и другие в нашей деревне, дети смеялись надо мной: ведь я маленькая и коренастая, а они — рослые и худые. Я спрашивала родителей, почему я не такая, как все, но они отмалчивались.

Как-то раз мы отправились ловить макрель и охотиться на тюленей туда, где живут малеситы. Там я и получила ответ на свой вопрос.

Мы набрели на небольшую группу малеситов. Мать быстро толкнула меня в кусты, где прятались женщины и девочки постарше, а мужчины вступили в бой. Мне очень хотелось увидеть, как они дерутся, и я не удержалась и высунула голову. Сердце мое бешено забилось: неподалеку от сражавшихся стояли дети — точно такие, как я: невысокие, плотные! Тогда я бросилась к дерущимся и закричала по-ирокуэнски: "Прекратите!" Одна из матерей их клана кинулась за мной и тоже закричала, чтобы остановили бой.

Увидев ребенка, который выглядит, как их дети, но говорит на языке ирокуэнов, малеситы застыли от изумления. К тому же они не могли ослушаться мать из своего клана. Мои соплеменники тоже уставились на меня: уж очень я их удивила.

А я, такая маленькая, просто стояла среди замерших воинов. Приемные родители подошли и обняли меня. Мать взволнованно рассказала о встрече с моими бабушкой и дедушкой и со слезами на глазах обратилась ко мне:

— Это малеситы. В твоих жилах течет их кровь. Можешь остаться с нами или уйти с ними. Но кого бы ты ни выбрала, ты навсегда будешь жить в наших сердцах. Решай, дочка!

Я посмотрела сначала на жителей нашей деревни, на тех, кто всегда заботился обо мне. Потом на их противников и на детей, так похожих на меня, которые тоже поглядывали на меня с интересом. И ответила, как подсказывало сердце:

— Я выросла ирокуэнкой, ею и останусь.

Одна малеситка, знавшая наш язык, перевела мои слова. Все молча посмотрели друг на друга, на натянутые луки, на готовые к полету стрелы, затем опустили оружие и ушли. А я долго смотрела вслед вроде бы таким же, как я, но уже чужим мне людям.

С тех пор дети из нашей деревни больше не смеялись надо мной.

**Ирокуэны Святого Лаврентия**

Индейцы, встретившиеся Жаку Картье в деревнях Хошелага (расположена вблизи современного города Монреаля) и Стадаконе (неподалеку от сегодняшнего Квебека) в экспедициях 1535 и 1541 годов, были именно ирокуэнами Святого Лаврентия.

В те времена в долине Святого Лаврентия проживало около 10 000 ирокуэнов. Но уже через пятьдесят лет они перестали существовать: те, кому удалось уцелеть в войнах с другими местными племенами, умерли от болезней, принесенных европейцами. В XVII веке по приглашению французов ирокезы из штата Нью-Йорк переселились в монреальские предместья. Более 13 000 их потомков живут в настоящее время в общинах в Кахнаваке, Канесатаке и Аквесасне. Происхождение их различно, но все они переняли традиции мохауков, живших на реке Мохаук.

**Ирокезы или ирокуэны**

Ирокуэнами называют несколько народностей с родственными языками, а именно: гуронов-вендатов, ирокуэнов из долины Святого Лаврентия и ирокезов из штата Нью-Йорк. К приходу европейцев современная территория штата Нью-Йорк была населена ирокезами, а долина Святого Лаврентия была занята ирокуэнскими племенами.

**Земледельцы-путешественники**

Ирокуэны Святого Лаврентия, как и гуроны-вендаты, выращивали маис, тыкву, табак. Обширные поля маиса окружали укрепленную деревню Хошелага. Жители районов, расположенных севернее Стадаконе, кормились в основном рыболовством и охотой. Летом ирокуэны переселялись обычно ближе к воде, в район современного города Тадусака, чтобы охотиться на морских животных. Некоторые добирались до полуострова Гаспе[1]. Другие шли на запад, к Великим озерам. Их путь пролегал по территориям малеситов, микмаков и гуронов-вендатов. Бои с племенами, подвергавшимися таким "нашествиям" ирокуэнов, не были редкостью.

**Деревни и "длинные дома"**

Во времена экспедиций Жака Картье насчитывалось до дюжины довольно крупных ирокуэнских деревень. Жили индейцы в больших деревянных домах, так называемых длинных домах. Дюжина семей занимала жилище площадью 8 на 30 метров. Ирокуэны были прекрасными земледельцами, но они не умели удобрять почву, поэтому их земли истощались за десяток лет. Тогда они были вынуждены искать другое место и всей деревней осваивать новые земли.

**Враг — раб — сын**

Ирокуэны часто воевали с соседями и в этих стычках теряли множество мужчин. Усыновление помогало восстановить численность населения. Так, женщина, потерявшая двадцатилетнего сына, могла взять себе взамен пленника того же возраста. Пленника подвергали испытанию: сначала он должен был пройти сквозь строй детей и женщин, которые били его палками, а потом — служить рабом в течение некоторого времени. Во время обряда усынов-

1. Гаспе — крупный полуостров на востоке провинции Квебек, на восточном побережье Канады. Здесь же расположена одна из самых известных достопримечательностей Квебека — утес Персе.

ления он отрекался от своих корней, перенимал имя усопшего, становился полноправным членом семьи. Случалось даже, что приемные дети, повзрослев, сражались против своего прежнего племени!



**Сила в волосах**

Американские индейцы верили, что жизненная сила человека хранится в волосах. Ирокуэны сравнивали волосы с лучами солнца и поэтому придавали большое значение прическе. У каждого народа выработалась своя особая форма укладки и стрижки волос (косы, конский хвост, бобрик и т. д.) и характерные украшения (головные уборы, перья, ракушки и т. д.). Расположение и количество перьев на голове индейца указывало, к какому племени он принадлежал. Например, мохауки носили три прямых пера на кончике головного убора. К тому, кто снял скальп с головы врага, согласно верованиям, переходила сила оскальпированного. Поэтому кожу головы снимали только с мужчин и подростков в возрасте, когда они могли себя защитить.

**Женщины у власти**

Ни одно индейское племя не наделяло женщин такой властью, как ирокуэны. Женщины у них назначали вождя и могли отстранить его. Они принимали решение о начале войны, а после боя именно женщины решали, какие пленники должны быть усыновлены, а какие подвергнуты пыткам или... съедены!

**Роспись глиняной посуды**

Ирокуэны Святого Лаврентия украшали горшки узорами в виде побегов маиса или лиц с круглыми глазами и треугольным ртом. По виду горшка можно было распознать, в какой деревне он сделан.

## *Мудрая невеста*

### *По мотивам преданий гуронов-вендатов*

ВЕСНА. Снег на полях растаял. Скоро наши друзья алгонкины, те, что живут на другом берегу Реки-текущей-на-север, придут меняться: они нам — шкуры, а мы им — сушеный маис.

Пока мужчины играют в азартные игры, женщины рыхлят землю легкими деревянными лопатами. Вдоль поля стоят большие берестяные корзины, где хранятся собранные прошлой осенью семена и зерна: маис, бобы, тыква и подсолнух.

Одна женщина решила проверить корзины. Подняв крышку первой, она переменилась в лице. Заглянула во вторую — и закусила губу. В третью — залилась слезами.

И вот уже все племя собралось у корзин. Что делать? Семена испортились. Нет семян — нет урожая. Нет урожая — нечего будет есть, не на что выменять у алгонкинов мясо и шкуры.

Вечером вождь созывает нас на совет. Его большой деревянный дом с масками из сплетенных листьев над входом выглядит зловеще. Вся деревня в сборе. Я на совете впервые.

Старейшины по очереди встают и, воздав хвалу мудрости вождя, рассуждают, как лучше поступить. Потом встает сам вождь:

— Быстрый Олень и его невеста Смеющаяся Ласка пойдут просить для нас семена в деревнях нашего племени, которым мы помогали раньше.

— Но почему я? Ведь у других мужчин больше опыта...

— Потому что ты самый быстрый, — объясняют мне.

На следующее утро мы со Смеющейся Лаской смазываем волосы маслом, высоко их подымаем, украшаем костяными бусинками и перьями. Я кладу в кожаную сумку листья табака и трубку, моя невеста тоже берет с собой разные вещи, но я не успеваю разглядеть какие.

Нам выдают самую легкую лодку: обтянутое корой каноэ. Я гребу так быстро, что наша лодка обгоняет птиц — они летят за нами вслед!

В первой деревне Смеющаяся Ласка вынимает из сумки горшок из обожженной глины и дарит его вождю. После танцев нас угощают медвежатиной и квашеным маисом. Но когда мы рассказали, зачем приехали, вождь только печально вздохнул и сказал:

— У нас нет ни одного лишнего зернышка.

На пути к следующей деревне мы останавливаемся ночевать на острове. И под большим камнем находим сушеные маисовые зерна, нарочно припрятанные там прошлой осенью. После еды я проверяю стрелы и поглядываю на невесту — она роется в своей сумке. А я все гадаю, что же она туда положила.

Заря еще не занялась, а мы уже на веслах. Наконец, на горизонте показался тающий в тумане дым костров Деревни-на-сливающихся-реках.

— Хо! хо! хо! Какие гости! — раздается дружный хор голосов. Смеющаяся Ласка достает из сумки прекрасную шкатулку из резной кости и преподносит жене вождя. Вокруг костра начинается праздник.

— Вот и собака готова! — восклицает один из жителей, ударяя кулаком по земле.

Поев, мы идем к вождю.

— Мои бедные друзья, наш урожай был скудным, наша земля истощена. В этом году мы перебираемся на новые земли.

На душе у меня тяжело. "Подарки Смеющейся Ласки не очень-то нам помогли", — подумал я. Остается еще Деревня-у-подножья-горы. Но ее жители недолюбливают нас за то, что однажды мы охотились на их земле.

Не успели мы подойти к деревне, как увидели мальчика и девочку: они бежали нам навстречу с радостным криком. Смеющаяся Ласка подарила им плетеных кукол.

— Что вам нужно? — проворчал карлик-колдун, вышедший встречать нас вместе с вождем.

— Доброго тебе дня, великий колдун! Нам нужны семена...

— У нас для вас ничего нет! Уходите!

Тут дети заверещали:

— Папа, смотри, что нам дали!

Увидев кукол, колдун смягчился:

— Люди, которые любят детей, не могут быть дурными...

Но вождь пристально смотрит на него, и карлик послушно прогоняет нас, размахивая погремушкой из черепашьего панциря.

Ночью Смеющейся Ласке и мне снится один и тот же сон: карлик-колдун, улыбаясь, ведет нас к скалам с рисунками и указывает на один из камней.

На рассвете мы идем на место, привидевшееся нам во сне. Около скал с рисунками лежит плоский камень, а под ним — семена. Их очень много, гораздо больше, чем нужно! Но мы берем ровно столько, сколько требуется для посева.

В деревне устраивают праздник в нашу честь. Я рассказываю о наших приключениях и о подарках Смеющейся Ласки. Я горжусь своей невестой: какая она мудрая!

**Гуроны-вендаты**

Слово "гурон" французского происхождения, оно означает "хулиган" или "грубиян". Индейцы этих племен называли себя вендаты, то есть жители полуострова. До прихода европейцев они жили на полуострове, который вдается в озеро Гурон, на юго-востоке Георгианской бухты (в провинции Онтарио). Их численность варьировалась от 20 до 40 тысяч человек. В середине XVII века некоторые из племен были вытеснены ирокуэнами в окрестности нынешнего Квебека. На сегодняшний день Вендаке — единственная община гуроновендатов в провинции Квебек, недалеко от города с тем же названием. Там живет более 1 000 человек, большинство из них говорят по-французски. Около 1 600 представителей этих племен живут вне общины.

**Искусные земледельцы**

Гуроны-вендаты жили земледелием. Они выращивали маис, бобы, тыкву, подсолнечник, табак, но почву удобрять не умели, и, подобно своим соседям ирокуэнам, вынуждены были переселяться на более плодородные земли.

Чтобы прокормиться, деревня должна была возделывать от 3,5 до 7 гектаров земли. Этим нелегким трудом занимались женщины. Весной они рыхлили почву маленькими деревянными лопатами, летом — выпалывали сорняки и прогоняли птиц, а осенью — убирали урожай. Поскольку эти работы занимали много времени, женщины жили рядом с полем во времянках вместе с детьми.

В жизненном укладе гуронов-вендатов рыболовство занимало второе по значимости место после земледелия, поэтому мужчины охотились и рыбачили, а также участвовали в раскорчевке при освоении новых земель. Гуроны-вендаты занимались разведением собак, которых употребляли в пищу.

**Напиток из перебродившего маиса**

Гуронам-вендатам особенно нравился маис, перебродивший в стоячей воде болота месяца три-четыре. Квашеный маис не пришелся по вкусу первым

миссионерам, они назвали это угощение вонючим маисом и отказывались его есть.



**Натуральный товарообмен**

Гуронов-вендатов и алгонкинов, которые жили в верховьях реки Оттавы, связывали прочные отношения натурального обмена. Мясо и шкуры меняли на маис и, вероятно, на табак. Система торгово-обменных связей охватывала территорию от реки Сагеней на востоке до бухты Гудзон на севере.

**Шаманство и уродцы**

Мифологические герои гуронов-вендатов имеют физические недостатки или увечья. Это связано с тем, что гуроны-вендаты приписывали магическую силу карликам и калекам. Они становились шаманами, на языке индейцев – арендиванами, и пользовались всеобщим уважением и почетом. Им дарили подарки и просили предсказывать будущее, отыскать потерянные вещи или пропавших без вести людей.

**Поделки из маиса**

Из сушеных листьев маиса гуроны-вендаты мастерили кукол для детей и маски, которые подвешивали над окнами и дверьми. Обилие масок указывало на богатый урожай. У ирокуэнов был такой же обычай.

# *Дедушкины сказки*

## *По мотивам преданий наскапи*

МЕНЯ зовут Маленький Олень, я хорошо помню волшебные сказки моего деда. Он начинал всегда так: "Эта правдивая история произошла давным-давно...", и повторял нараспев некоторые фразы.

Вечер у костра подходил к концу, пора было ложиться спать, но мы все никак не могли расстаться со сказочными героями, о которых только что рассказывал дед. Тогда, сославшись на то, что ему нужно выйти, он покидал вигвам и начинал стучать по стенам и изображать хрюканье барсука, крик гагары или кваканье лягушки.

А отец, сидевший с нами, очень удивлялся и восклицал: "Это лягушка убивает оленей!" или "Это людоед Мемините сражается с Миштапе". Хоть я и догадывался, что это дедушкины проделки, но все равно было жутковато. Мы с братьями и сестрами прятались под одеяла из шкур, нам было очень страшно и в то же время весело. А дед возвращался в палатку и долго-долго хохотал.

Однажды вечером, вернувшись с охоты, дед рассказал нам историю Атшена, великана без губ и волос, который питался человеческим мясом. Дед сидел на своем обычном месте в глубине палатки. Отблески огня плясали на его изборожденном морщинами лице, обрамленном седыми волосами. Я навсегда запомнил этот вечер. Дед, видно, очень ус-

тал и, закончив рассказ, сразу заснул. А мне всю ночь снилось его лицо.

Прошли годы, мы с братьями выросли и стали охотниками. А дед одряхлел и перестал ходить на охоту. Но, возвращаясь из походов, мы по-прежнему слушали его рассказы. Правда, они становились все менее оживленными. Он больше не тряс палатку, не пугал детей. И очень быстро уставал. Както раз осенью мы на несколько дней ушли охотиться на оленей карибу. Вернулись мы затемно, но деда нигде не было: ни в вигваме, ни на его любимом утесе. Сестра плакала и не отвечала на вопросы. Мы никак не могли поверить в то, что он умер, — надеялись, что он опять решил пошутить. Но отец сказал нам: "Он ушел к предкам охотиться на карибу".

Тогда около стойбища мы соорудили помост из еловых веток и отнесли туда деда, одетого в великолепную зимнюю одежду, сшитую моей матерью. Его длинные белые волосы были аккуратно причесаны. Казалось, он спит!

Вокруг помоста мы положили вещи, которые он любил, немного мяса, сосуд из коры березы с березовым соком, его лук и стрелы, чтобы он мог охотиться на карибу в другом мире. Потом отец забил в барабан и затянул грустную песню. Я плакал.

Ночью было холодно. Дедушку накрыло снегом. Утром мы ушли, оставив его спать под этим белым одеялом.

Следующей осенью мы вернулись, сняли высохшее тело деда с помоста и похоронили около стойбища. Ногами на восток, чтобы он мог всегда видеть рассвет.

Мне часто снилось, как дедушка охотится на карибу с нашими предками. Меня утешало, что он счастлив. И все же мне казалось, что он не покинул нас, я знал, что он оберегает нашу семью.

Когда дедушка ушел, настал черед моего отца рассказывать сказки. А теперь, спустя много лет, я выхожу из палатки, чтоб нагнать страху на своих внучат, а сын мне подыгрывает.

**Наскапи**

Племена наскапи занимали Лабрадор и западную часть Квебека.

Это край мхов, карликовых деревьев, хвойных лесов, где в изобилии водились олени карибу. Как долго индейцы жили там до прихода европейцев, не-

известно, мы знаем только, что поселения наскапи встречаются и на побережье Арктического океана, где они часто воевали с инуитами. Прежде наскапи назвали себя ненемотами, что означает "самый настоящий человек".



В настоящее время в Квебеке проживает около 600 наскапи, основная часть в деревне Кававашикамаш, близ Шеффервилла. Еще около 500 представителей этого племени живут на Лабрадоре. Между собой они говорят на языке наскапи, а второй их язык — английский.

**Олени карибу**

Все необходимое для своего существования кочевники наскапи получали от оленей карибу, вслед за которыми весной шли на север, а осенью — на юг. Дополнительным источником пищи были тюлени, рыба и перелетные птицы. Поскольку в субарктическом поясе береза не растет, наскапи покрывали палатки шкурами карибу. Мясо карибу и камни с режущими краями, которые нужны для изготовления оружия и бытовых инструментов, они меняли на обтянутые корой лодки каноэ, которые делали их южные соседи, индейцы монтанье.

**Почти арктическая зима**

Чтобы не мерзнуть в суровую субарктическую зиму, наскапи шили одежду, похожую на одежду инуитов: с капюшоном и меховой подкладкой. Они украшали ее геометрическими рисунками, часто в форме усов — такой же узор можно встретить у племен монтанье.

**Быстротечность жизни**

Средняя продолжительность жизни индейца — 40 лет, до 50 лет доживали редко. Много людей гибло в войнах и от несчастных случаев. Болезни тоже уносили немало жизней. Индейцы нередко страдали легочными заболеваниями из-за холода, сырости и дыма, который заполнял палатку при перемене ветра. По исследованиям костей археологи установили другие распространенные недуги: истощение, рахит, ревматизм, анемия (малокровие) и рак.

Болезни, поражавшие индейцев-охотников и индейцев-земледельцев, были неодинаковы. Гуроны-вендаты и ирокуэны, которые выращивали маис, фасоль и тыкву, не испытывали нехватки витамина С. Но из-за сахара, содержащегося в этих продуктах, у них портились зубы и десны. Кочевники наскапи и монтанье ели больше мяса, но меньше фруктов и овощей. У них были крепкие здоровые зубы, но им не хватало витамина С. Отвар из хвои или коры хвойных деревьев, необходимый для профилактики цинги, научились применять не во всех племенах.

**Уроки истории у костра**

Поскольку у наскапи не было письменности, те истории, которые вечерами у костра рассказывали бабушки и дедушки, помогали ребятишкам узнать прошлое и лучше понять жизнь. Эти рассказы не только развлекали детей, но учили истории и прививали нравственные ценности. Индейцы верили, что все, о чем повествовали сказания и древние мифы, произошло на самом деле.

Самые известные герои таких историй — это кровожадный монстр Мемините и Миштапе, добрый великан, который приходит к людям в трудную минуту.

**Смерть как переход в другую жизнь**

Для индейцев смерть была переходом к другой жизни: умерший продолжал вместе с предками делать все то, что и при жизни. Вот почему рядом с усопшим клали его лук, стрелы, утварь, которые окружали его при жизни, любимые предметы и немного еды.



Часто наскапи помещали тело на возвышение, строили помост, как в нашем рассказе. А если земля была промерзшая, обернутое березовой корой тело подвешивали. Это не позволяло животным растащить кости. Хоронить умерших наскапи начали только после прихода миссионеров. Другие племена, в частности, гуроны и ирокуэны, сжигали тела усопших.

# Юбер Акен
# *Элементарное двуязычие*

*Перевод* Елены Богатыренко

*Вступление* Михаила Башкирова

## Разорванное знамя квебекской революции

"Я разорванное знамя квебекской революции", — однажды сказал о себе Юбер Акен (1929—1977), общественный деятель Квебека 60-х годов прошлого столетия. Ему выпала непростая судьба, близкие вспоминали, что за сорок восемь лет он словно прожил несколько жизней одновременно: был писателем и журналистом, продюсером и сценаристом, активно участвовал в политической жизни страны, работал на радио, много путешествовал и вместе с тем страдал от болезненного пристрастия к антидепрессантам, попал в психиатрическую лечебницу и завершил свой путь в монастырском саду, где 15 марта 1977 года застрелился из ружья. В квебекской литературе Юбер Акен стоит особняком — пожалуй, никто из квебекской "интеллигенции" не боролся за права франкофонного меньшинства в Канаде столь яростно: неслучайно другой писатель Гастон Мирон, современник Акена, писал о нем: "В текстах этого писателя запечатлено психическое состояние Квебека в 1965—1970-е годы".

Середина 1960-х стала для Акена самым насыщенным периодом жизни, совпавшим с "тихой революцией" — всплеском национального самосознания в Квебеке. В эти годы он был активным членом радикального движения за национальную независимость (RIN)[1]. Но уже в июле 1964 года его арестовывают за угон автомобиля и незаконное хранение оружия, причем на вопрос о профессиональной деятельности Акен смело отвечает "революционер". Так он попал в тюрьму, а затем — в психиатрическую лечебницу, где написал один из самых известных своих романов "Ближайший эпизод" (1965), в котором размышляет о смерти, национализме и терроре, облекая свои идеи в форму своеобразного детектива. Следующий жизненный эпизод в жизни самого автора — поездка в Швейцарию, там Акен пытался наладить связи с местными франкофонными сепаратистами, но власти горной страны незамедлительно отправили его на родину. Вернувшись, Акен окончательно разочаровался в идеалах революции, отказался от борьбы, но, судя по всему, так и не смог найти себе мирное занятие.

Публикуемое эссе "Элементарное двуязычие" вышло в существующем по сей день литературном журнале "Либерте" в апреле 1964 года, за несколько месяцев до ареста его автора. С начала 1960-х это издание было центром притяжения квебекских интеллектуалов: можно смело предполагать, что голос Акена был услышан. Проблема национального самоопределения все еще не решена в Квебеке, поэтому сочинения Акена не теряют своей актуальности и сегодня.

© Hubert Aquin, 1964
© Елена Богатыренко. Перевод, 2008
© Михаил Башкиров. Вступление, 2008

1. Rassemblement pour l'indépendance national — Объединение за национальную независимость (*франц.*).

Канадцы не изобрели ничего: ни пороха, ни компаса для аэростатов, ни даже двуязычия, которое снова и снова, с чисто бойскаутским энтузиазмом открывают для себя члены комиссии Лорандо[1]. Двуязычие — феномен, хорошо известный всем, кто хоть немного интересовался историей распада великих империй, — лишь сопутствующий признак завоеваний и колонизаторских войн. Историки и лингвисты составили исчерпывающую классификацию случаев его возникновения. Однако все исторические разновидности двуязычия имеют одну общую черту — это всегда переходный период: этап на пути вытеснения одного языка другим. Скорость (вернее, медлительность) этого перехода может быть разной, но конечная точка — приятие другого языка — неизбежна. "Когда миграции или завоевания, — пишет Альберт Доза[2], — сводят на одной территории два разноязыких народа, один из языков в конце концов вытеснит другой. Но борьба может тянуться веками: разные группы людей говорят каждая на своем языке, однако при этом существует то или иное количество двуязычных носителей". В любой ситуации, когда общение происходит на двух языках, один оказывается доминирующим, другой — подавляемым. Столкновение двух языков можно понять только в рамках диалектики конфликта: лишь отставшие от жизни эссенциалисты мечтают о мирном, стабильном двуязычии, в котором реализовались бы все арифметические условия равенства. Однако в самом двуязычии заложен конфликт, и попытки разрешить его приводят к еще большему обострению противоречий — так продолжается до тех пор, пока проблема не решается сама собой. Валлонский лингвист Ремушан[1] для объяснения того обстоятельства, что в Бельгии, где существуют два языка, увеличение числа двуязычных носителей подчиняется циклам, вывел теорию насыщения такими носителями: рост, стабилизация, потом снижение. Крен в сторону валлонцев, замечает он, представляет собой следствие крена в сторону фламандцев, после чего наступает фаза признанного двуязычия. Или наоборот: сначала перевес на стороне французского — затем признанное двуязычие — наконец, агрессивная фламандизация.

Согласно Альберту Доза, "дух империализма и нетерпимости распространяется даже на ведение переписей и статистики... проявляясь в том, как ставятся вопросы и интерпретируются результаты". Тщательно анализируя проблему лингвистических подтасовок, Доза показывает, где находится зона межъязыковых колебаний. "Основная трудность, — заключает он, — состоит в классификации тех, кто владеет двумя и более языками. Во-первых, не так много людей хорошо знают оба языка и говорят на них с одинаковой легкостью; а во-вторых, даже если таковые и есть, одним языком они, как правило, пользуются чаще, чем другим. Как их оценивать, как классифицировать многочисленные промежуточные состояния между идеальным двуязычным носителем и человеком, имеющим лишь самое приблизительное понятие о втором языке?.. Во всех странах велись споры по поводу того, как следует писать в анкете: 'родной язык' или 'язык, которым вы чаще всего пользуетесь'". Конечно, жаль, что Доза написал эти строки

1. Андре Лорандо (1912–1968) — квебекский романист, драматург, журналист и общественно-политический деятель, с 1963 г. возглавлял Королевскую комиссию по двуязычию и двоекультурию. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Альберт Доза (1877–1955) — выдающийся французский лингвист, автор многочисленных трудов по французской ономастике.

1. Жозеф-Морис Ремушан (1877–1939) — бельгийский общественно-политический деятель, сенатор (1921–1925), выступал против дискриминации валлонцев в Бельгии.

до того, как наша Королевская комиссия[1] придумала новую форму двуязычия, которая представляет собой не что иное, как "двустороннее одноязычие" в переходной стадии. Если бы Доза услышал собственными ушами, как эта комиссия "заседает" на двух языках, он, наверное, понял бы, что Канада предлагает миру поистине наглядный пример двуязычия – диалог глухих.

"Самое насущное требование формирующейся национальной группы заключается в освобождении и восстановлении собственного языка", – писал Альбер Мемми[2] в "Портрете угнетенного". Приоритет восстановления языка в случае деколонизации страны или обретения ею независимости не следует понимать как предварительное условие самоопределения этнической группы. Нельзя осуществить лингвистическую революцию, объявив ее лозунгом подлинное овладение французским языком, если прежде не будет упрочен национальный статус франкоканадца; хотя, безусловно, для франкоговорящей нации, сбрасывающей колониальные оковы, новая оценка французского языка следует непосредственно за национальной революцией. Рассуждая в обратном порядке, то есть идя от первичности лингвистической идеи, мы неизбежно придем к мысли о предсуществовании национальной идеи. Во "Введении в сравнительно-историческое изучение индоевропейских языков" Антуан Мейе[3] устанавливает следующую корреляцию между языком и народностью: "Язык, в том числе и тот, который выводят из совпадений между сопоставляемыми языками, предполагает достаточно долго существующую и представляющую собой определенное единство народность. Разные народности могут сохранить один и тот же язык; но для создания языковой единицы нужна народность, ощущающая свое единство... Так, общеупотребительный греческий предполагает, что в период, предшествовавший самым древним историческим сведениям о греках, существовала эллинская народность, обладавшая единством и поэтому создавшая единый язык". Итак, язык неразрывно "связан" с народностью. И если существование языка предполагает существование народности, то освобождение соответствующей народности не может произойти без освобождения общеупотребительного разговорного языка. Следовательно, язык можно рассматривать как отличительный признак нации. Но очень важно отделить национальный язык от шовинистического пуризма; точно так же обретение нацией независимости не значит, что отныне квебекцы непременно должны вариться в собственном котле. "Величайшие языки имеют самое большое количество заимствований", – говорит Антуан Мейе, а Доза вторит ему: "Стоит появиться слову, отвечающему какой-то потребности, как оно облетает весь мир; так случилось с норвежским словом 'ski'[1], немногим позже – с французскими 'autobus' и 'taxi', совсем недавно – с чешским 'robot'. Но ни заимствования, ни неизбежная интернационализация любого национального языка не должны подталкивать лингвистически устоявшиеся и сплоченные нации к разрушению собственного языка в пользу примитивного английского, средиземноморского сабира[2] или эсперанто; так, страна, стремящаяся расширить свои международ-

1. Королевская комиссия по двуязычию и двоекультурию создана в 1963 г. для выработки рекомендаций, какие шаги следует предпринять для развития Канадской федерации на основе равноправного партнерства между двумя основными национальными группами.
2. Альбер Мемми (р. 1920) – франкоязычный философ тунисского происхождения. Его книги "Портрет колонизатора", "Портрет угнетенного", "Расизм" написаны на материале войны в Алжире.
3. Антуан Мейе (1866–1936) – французский лингвист, один из выдающихся лингвистов XX в. Член многих иностранных академий и обществ, в том числе член-корреспондент Петербургской академии наук.

1. Лыжи.
2. Средиземноморский торговый жаргон, состоящий из арабских, французских, итальянских и испанских слов.

# Алексис де Токвиль
# *Дневник*

*Перевод* Веры Мильчиной

25 августа 1831 года

*Внешний вид.* из всех областей Америки, нами увиденных, Канада, вне всякого сомнения, более всего похожа на Европу, и в особенности на Францию. На берегах реки Святого Лаврентия — превосходно возделанные поля и деревни, ничем не отличающиеся от наших. Никаких следов wilderness[1]; на ее месте поля, колокольни, население столь же многочисленное, что и в наших провинциях.

Города, и в частности Монреаль (Квебека мы еще не видели), имеют поразительное сходство с нашими провинциальными городами. Население в большинстве своем везде состоит из французов. Однако нетрудно заметить, что французы здесь потерпели поражение. Почти все богатые люди — выходцы из Англии. Хотя говорят почти все жители по-французски, большая часть газет, афиши и даже вывески французских торговцев — английские. Почти все торговые предприятия принадлежат англичанам. Поистине они составляют в Канаде правящий класс. Сомневаюсь, что такое положение вещей продлится. Духовенство и большинство людей, принадлежащих к сословиям небогатым, но просвещенным, — французы; они начинают роптать против второстепенного положения, ими занимаемого. Французские газеты, которые мне довелось прочесть, атакуют англичан яростно и неустанно. Простой народ, живущий безбедно в отношении материальном и чуждый страстей умственных, пока мало ощущает свою принадлежность к нации побежденной и слабо поддерживает просвещенные классы. Однако с недавних пор Палата общин, состоящая почти полностью из канадцев, приняла свои меры для просвещения жителей. Новое поколение, судя по всему, будет непохоже на нынешнее, так что, если в течение нескольких ближайших лет приток англичан не увеличится в значительной степени и им не удастся *запереть* французов в пределах той территории, какую они занимают сегодня, двум народам грозит неминуемое столкновение. В то, что они когда бы то ни было сольются воедино или заключат союз нерасторжимый, я поверить не в силах. Меня по-прежнему не покидает надежда, что, хотя французы и уступили англичанам, рано или поздно, сделавшись более просвещенными, более нравственными и более счастливыми, нежели их отцы, они создадут в Новом Свете собственную могучую империю. В настоящее же время соперничест-

© В. Мильчина. Перевод, 2008

1. Пустыня (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

во двух наций на руку исключительно англичанам и укрепляет их власть.



27 августа 1831 года

Территория, простирающаяся между Монреалем и Квебеком, имеет вид столь же густонаселенный, что и прекраснейшие области европейские. И вдобавок великолепная река. Положение Квебека очень живописное, вокруг города — плодородные равнины. Оживление, царящее в окрестностях Квебека, несравнимо ни с чем, виденным мною в Европе.

Все рабочие в Квебеке — французы. На улицах слышна только французская речь. Тем не менее все вывески — английские; в городе два театра, и в обоих представления идут на английском. Сам город некрасив, но не имеет ничего общего с американскими городами. Он поразительно напоминает наши провинциальные города.

Окрестные деревни, где мы побывали, имеют удивительное сходство с нашими деревнями из числа самых благоустроенных. Говорят в них только по-французски. Жители имеют вид людей счастливых и зажиточных. Люди здесь гораздо более красивы, чем в Соединенных Штатах. Видна могучая порода, женщины не такие хрупкие и болезненные, как большинство американок.

Католическая религия не прибегает здесь ни к одному из вспомогательных средств, распространенных на юге Европы, где она царит полновластно. Мужских монастырей нет вовсе, а обитательницы женских благотворительными своими трудами вызывают восхищение даже у англичан. При дороге не встретишь изображений *мадонны.* В храмах не видно ни вычурных, смехотворных украшений, ни приношений по обету. Католичество не чуждается просвещения и потому не вызывает ни ненависти, ни насмешек у протестантов. Признаюсь, мне оно больше по душе, нежели американское протестантство. Кюре здесь настоящий пастырь, а не подрядчик религиозной индустрии, какова большая часть пасторов в Соединенных Штатах. Видя канадских священников, начинаешь верить, что духовенство может приносить пользу.

Нынче я побывал в кабинете для чтения. Почти все канадские газеты выходят на английском языке. По размеру они примерно такие же, как и лондонские. Прочесть их я еще не успел. В Квебеке выходит "Газета", наполовину английская, наполовину французская, и еще одна газета целиком французская; называется она "Канадец". Эти газеты по размеру близки к французским. Я внимательно прочел несколько номеров: в них резко критикуют правительство и вообще все английское. Эпиграф "Канадца" гласит: "Наша религия, наш язык, наши законы". Трудно выразиться более откровенно. Содержание вполне соответствует названию. В ход идет все, что может настроить народ против англичан, от мелочей до вещей серьезных. В одной статье говорится, что канадцы не будут счастливы до тех пор, пока ими не начнут править люди, родившиеся в Канаде и разделяющие канадские принципы, канадские идеи, даже канадские предрассудки, и что если однажды Канада обретет независимость от Англии, то не для того, чтобы сделаться английской по духу. В той же газете напечатаны неплохие французские стихи. На ее страницах рассказано о школьниках, представлявших в день раздачи наград

"Тофолию", "Заиру" и "Смерть Цезаря". Слог этой газеты весьма заурядный, с множеством английских оборотов и странных выражений. Она очень похожа на те газеты, какие выходят в швейцарском кантоне Во. Я до сих пор не встретил в Канаде ни человека, наделенного большим талантом, ни сочинения, которое бы о таком таланте свидетельствовало. Тот, кому суждено воодушевить французов на борьбу против англичан, еще не родился на свет.

Англичане и французы так мало смешиваются между собой, что *канадцами* называют только вторых, первые же по-прежнему именуются англичанами.

# Письмо к аббату Лезюэру Олбани

Олбани, 7 сентября 1831 года

<...> Из всего увиденного в Канаде наибольший интерес вызвали у нас ее жители. Странно, что край этот так мало известен во Франции. Еще полгода назад я, как и все французы, думал, что Канада сделалась полностью английской. В 1763 году здесь проживало 60 000 французов; я полагал, что с тех пор мало что изменилось. Однако на самом деле население прирастало так же быстро, как и в Соединенных Штатах, так что сегодня в одной лишь провинции Нижняя Канада насчитывается 600 000 жителей, чьи предки прибыли сюда из Франции. Ручаюсь, что оспорить их происхождение невозможно. Они такие же французы, как вы и я. Они похожи на нас даже гораздо больше, чем американцы — на англичан. Не могу вам передать, какое удовольствие доставило нам пребывание в их обществе. Мы чувствовали себя как дома, и повсюду в нас видели соотечественников, сыновей, как здесь говорят, *старой Франции*. На мой взгляд, выражение это неудачное. Старая Франция — это как раз Канада, а та, в которой живем мы, — новая. Мы нашли здесь, особенно в удаленных деревнях, старинные французские обыкновения, старинные французские нравы. Деревенские дома стоят вокруг церкви, увенчанной петухом и крестом с королевскими лилиями; канадский житель, в отличие от англичанина или американца, не любит жить наособицу. Дома выстроены на совесть, они прочные снаружи, чистые и опрятные внутри. Крестьяне богаты, а налогов не платят вовсе. Четыре раза в день за круглым столом собирается семейство, состоящее из сильных, крепких родителей и упитанных веселых детей. После ужина деревенские жители распевают старинные французские песни или рассказывают о подвигах первых французских переселенцев, о битвах с англичанами во времена Монкальма. По воскресеньям после службы наступает время игр и танцев. Сам кюре принимает участие во всеобщем веселье, если оно не преступает границы приличий. Крестьяне видят в священнике оракула, друга и советчика. Никто не обвиняет его в пособничестве властям, напротив, англичане именуют его *демагогом*. Все дело в том, что он первым восстает против угнетения, и потому народ видит в нем вернейшего своего защитника. Поэтому канадцы набожны по

убеждению и по соображениям политическим. Духовенство составляет здесь сословие привилегированное не волею закона, а силою общественного мнения и нравов. Я видел некоторых из этих священников и полагаю, что они действительно принадлежат к числу самых выдающихся жителей страны. Они имеют много общего с нашими старыми французскими кюре. В большинстве своем это люди веселые, любезные и хорошо воспитанные.

Неужели и впрямь характер народа больше зависит от крови его предков, нежели от политических установлений и природных условий? Вот уже восемь десятков лет, как французы живут бок о бок с англичанами; они повинуются английским законам, они так же далеки от материродины, как если бы находились среди антиподов. И что же! Они попрежнему остаются совершенными французами, причем это касается всех без исключения, от стариков до ребятишек. Как и мы, они люди живые, проворные, сообразительные, насмешливые, вспыльчивые, говорливые и мало склонные к повиновению в тех случаях, когда страсти их накалены до предела. Они прирожденные воины и любят шум больше денег. А рядом с ними живут взросшие на той же самой почве англичане — флегматичные и рассудительные, как на берегах Темзы; исполненные почтения к прецедентам[1] и желающие мыслить логически, переходя от *большей* посылки к *меньшей*; мудрецы, которые убеждены, что война есть величайшее бедствие, но которые, однако же, воюют не хуже других, поскольку логика подсказывает им, что есть вещи пострашнее смерти.



1. Имеется в виду так называемое прецедентное право, особенно характерное для Англии.

# Пьер де Кубертен

# *Британская Канада и Французская Канада*



*Перевод* Нины Кулиш

Монреаль — в известном смысле нейтральная территория, на которой англичане и французы живут бок о бок, однако принадлежат к двум разным общинам. Оба народа наделили город своими национальными чертами, и вдобавок на нем сказалось близкое соседство США: здесь узнаются характерные особенности янки, какая-то незавершенность и торопливость. С горы Руаяль, ныне превращенной в великолепный парк, мы разглядываем обширную панораму, которая открывается внизу. Знаменитый мост Виктория через громадную реку Святого Лаврентия кажется туго натянутой ниткой; а за рекой простирается равнина с разбросанными по ней деревнями. Город выстроился вдоль реки; вереницы деревьев разделяют дома и прочерчивают линии улиц; куда ни глянь, поднимаются бесчисленные колокольни — церкви, монастыри и семинарии, которые богатеют день ото дня и создают серьезную угрозу будущему. Непомерное финансовое могущество, как нетрудно понять, только укрепит их власть над умами. Франкоканадцы — смиренные рабы своего духовенства и своих религиозных конгрегаций, и пусть это духовенство и эти религиозные конгрегации не дают ни малейшего повода упрекнуть их в аморализме и корыстолюбии, нельзя не признать, что они весьма неудачно управляют местной политической жизнью и, вместо того чтобы, как они утверждают, вести за собой людей, лишь порабощают умы. Их владычество превратилось в тяжелое бремя для той части населения, которую уже не прельщает земледелие и которая с радостью включилась бы во всемирную литературную и научную деятельность. А поскольку этот путь для нее закрыт, она обращается к торговле и финансам. В Канаде все кругом — дельцы, или же мечтают ими стать, ибо в делах преуспевают весьма редко. Впрочем, работу для ума канадцы находят только в этой области и в итоге превращаются в охотников за долларами. Их литература еще не вышла из детского возраста, пресса у них бесцветная; но они умеют подсчитывать, прикидывать, выгадывать не хуже нормандских крестьян, от которых унаследовали не только выговор, но и природные наклонности.

В прежние времена главные достоинства франкоканадцев — здравомыслие и упорство — помогли им выстоять против захватчиков, и когда сравниваешь их теперешнюю численность с тем, сколько их было в момент передачи Канады англичанам, когда вспоминаешь, как с ними обращались, какие жестокости им пришлось вынести, какие несправедливости

© Нина Кулиш. Перевод, 2008

над ними чинили, то не можешь не восхищаться результатами их многолетней борьбы за выживание, удивляться их сметливости, терпению и настойчивости. Они замечательно умели использовать к своей выгоде любые, пусть даже минимальные, послабления, любые сколько-нибудь благоприятные обстоятельства, добивались преимуществ всеми доступными средствами. В самые тяжелые дни американцы дважды пытались завоевать их, обещая в дальнейшем дать им независимость; и оба раза они объединялись со своими угнетателями, чтобы не допустить этого — независимость казалась им столь же опасной, сколь и привлекательной. Во всей мировой истории не найти другого примера такой политической прозорливости. В настоящий момент они обрели полную свободу; канадское федеральное правительство, гораздо лучше понимающее свои задачи и гораздо лучше организованное, чем в Соединенных Штатах, оказывает им всемерную поддержку. В их семьях традиционно очень много детей; благодаря этому обстоятельству, а также мудрому руководству человека, возглавившего переселенческое движение, знаменитого кюре Лабеля, они сумели обосноваться на севере и западе страны, на землях, которые считались непригодными для освоения, и вскоре неустанным трудом превратили эти земли в плодородные; и все у них было бы замечательно, если бы не их заметное отставание в области, наиболее важной для развития современных наций, — в области воспитания.

Из сказанного не следует делать вывод, что во французской Канаде плохо поставлено школьное образование; коммерческие училища, например, организованы прекрасно, и особое внимание там уделяется английскому языку — чтобы в будущем у выпускников этих училищ было конкурентное преимущество перед британцами, которые либо не могут, либо не желают выучить хоть несколько слов по-французски. Но с другой стороны, детям здесь внушают неправомерно ограниченные представления о жизни: усвоенные таким образом идеи оказываются бесплодными, ум замыкается в тесном пространстве и уже не может создать ничего великого или неожиданного. Однако прежде всего детям недостает именно воспитания: физические упражнения, забота о личной гигиене, закалка характера, умение понять, где начинается и где кончается твоя свобода, — все это у франкоканадцев считается вздором. А вот юные потомки англичан играют в игры, требующие смелости, они вступают в активную жизнь, уже будучи инициативными и волевыми людьми... и в результате все достается им, они в центре событий, их мнение оказывается решающим, и они успешно отыгрывают то, что в принципе должны были бы проиграть, составляя здесь, в Монреале, национальное меньшинство. Франкоканадец с его могучим здоровьем вспахивает землю, тяжко трудится на ней, прилежно засевает ее. А урожай собирает англичанин. Быть может, никогда еще преимущество английского воспитания не выглядело таким очевидным и несомненным: в самом деле, у франкоканадцев, этого высокоодаренного народа, казалось бы, есть все... кроме инициативы и независимого характера. И в гонке за долларом, которая, как я уже сказал, стала любимым занятием франкоканадцев, не они приходят к финишу первыми.

У подножия горы Руаяль, крутизной и высотой напоминающей громадную неприступную крепость, находится университет Макгилла. Снаружи вам видны широкая подъездная аллея и футбольное поле, на кото-

ром студенческие команды играют в английский вариант этой игры, как известно, сильно отличающийся от американского. Далее можно увидеть комплекс зданий самой разной архитектуры: греческий храм, готическую часовню, длинный приземистый фасад без всяких украшений и несколько изящных колоколенок.



Университет Макгилла ведет свое происхождение от частного фонда; в этом он сходен со многими университетами Европы и Америки и этому, возможно, обязан своим процветанием и своими успехами. Его основатель Джеймс Макгилл, бравый шотландец, родился в Глазго в 1744 году. Он эмигрировал в Канаду и занялся торговлей мехами, которые тогда были главным богатством этого края. Затем он обосновался в Монреале и стал одним из самых уважаемых его граждан. Когда в 1812 году началась война с Соединенными Штатами, он, несмотря на преклонный возраст, принял активное участие в обороне страны, а год спустя умер, завещав 30 000 фунтов (750 000 франков) на устройство коллежа, который должен был стать частью будущего университета провинции.

Проект создания университета пролежал под сукном десять лет; возможно, он был несколько преждевременным, если учесть, что в Монреале тогда насчитывалось всего 15 000 жителей, часть которых еще ютилась в деревянных хижинах, а порт принимал лишь 9 кораблей в год, и его грузооборот не превышал 1 600 тонн. Но Макгилл, понимая, сколь важную роль в XIX веке будет играть образование, хотел как можно скорее обеспечить его развитие в Канаде. Однако проекту не дали хода, "благодаря бдительности и энергии католического духовенства", как выразился позднее монсеньор Ланжевен, по близорукости не разглядевший перспектив, которые открывал перед горожанами этот проект. Католики, со своей стороны, тоже основали бы коллеж, затем в городе стали бы мало-помалу возникать еще и другие, и Монреальский университет превратился бы в храм науки и труда, настоящий колониальный Оксфорд.

Тем не менее пришлось отказаться от идеи университета и просто основать коллеж; королевская хартия на это была получена, однако возникли серьезные финансовые трудности, и новое образовательное учреждение, которое в итоге свелось к одному-единственному, медицинскому, факультету, пребывало на краю гибели до тех пор, пока однажды не появилась группа серьезных людей, решивших оказать ему поддержку и обеспечить его существование в будущем.

Губернатор Канады – visitor[1] университета. Совет директоров, которые сами выдвигают себя на эту должность, вместе с fellows[2] и принципалом составляет корпорацию, определяющую устав и выдающую дипломы. К университету относятся несколько коллежей. У здешнего принципала нет таких широких полномочий, как у президентов Принстона или Гарварда. Что касается студентов, то в 1888 году их было 793 человека, включая 105 женщин, допущенных к посещению лекций. В университете четыре факультета: изящных искусств, прикладных наук, медицинский и юридический.

1. Инспектор (*англ.*). (*Здесь и далее, кроме специально оговоренного случая, – прим. перев.*)
2. Члены совета колледжа (*англ.*).

Вчера в футбол играли в университете Макгилла, а сегодня матч проводится на поле Montreal Amateur Athletic Association[1], но в индейскую игру лакросс, такую красивую и увлекательную, сейчас уже не играют; теперь всем хочется в Snow Shoes Clubs[2], где уже идет спешная подготовка к новому сезону. Скоро на заледеневших склонах, днем — под ярким солнцем, вечером — при свете факелов, появятся веселые компании на широких лыжах, легко скользящих по снегу; с горы на головокружительной скорости будут съезжать тобоганы; а по городским улицам покатят навстречу друг другу бесчисленные сани. Затем начнется чудесный ледяной карнавал с его непрерывными праздниками. Прозрачный дворец, строительным материалом для которого послужат замерзшие воды реки Святого Лаврентия, поднимется на одной из монреальских площадей, и каждый вечер его будут иллюминировать бенгальскими огнями. Как же здешние жители любят зиму! Зима дает им возможность чаще встречаться, дышать целебным, чистым воздухом и по-настоящему, от души веселиться. Летние радости здесь не ценят и довольствуются ими за неимением лучшего. Даже пожилые дамы, которым уже трудно двигаться, с нетерпением ждут снега и мороза: обжигающий холод канадской зимы возвращает им силы и молодость.

Snow shoes, снежные башмаки, — это средство передвижения; катание на тобогане — разновидность русских горок. Английская колония с ее любовью к спорту увлекается и тем и другим. В городе возникли различные объединения зимнего спорта; они помещаются в красивых шале, прилепившихся к склонам горы Руаяль, приютившихся за каменистым выступом или спрятавшихся среди деревьев. В каждом есть раздевалки и непременный танцевальный зал, отделанный панелями из лакированной ели, украшенный знаменами и охотничьими трофеями: танцы здесь рассматривают как обязательное приложение к любому спорту. В "Hunting Club"[3], который расположен внизу, в городе, и который в основном посещают любители псовой охоты, имеются большая псарня, конюшня и манеж, а в доме — не только изящно обставленные комнаты и бассейн, но также и бальный зал с паркетом, уложенным — какая утонченность! — на экипажные рессоры.

Бывает, что франкоканадцы, любящие физические упражнения и свежий воздух, выражают желание вступить в одно из таких объединений; как правило, их принимают очень радушно, однако все разговоры там ведутся на английском языке и вообще преобладает все английское.

Когда наша "карета" остановилась перед фасадом Монреальского коллежа, учащиеся как раз выходили на прогулку. Они были одеты в ужасные поношенные сюртуки с саржевыми поясами. Невозможно передать, какими жалкими и убогими выглядели они в этой форме. Казалось, перед нами проходит процессия неудачников. Внутренний вид коллежа более или менее отвечал облику его питомцев; элементарная гигиена не соблюдается; в спальнях кровати стоят в четыре ряда, почти вплотную друг к другу, а тазики для умывания такие крошечные, словно их поставили там нехотя и с досадой, как вынужденную уступку современным

1. Монреальское объединение атлетов-любителей (*англ.*).
2. Клубы лыжников (*англ.*).
3. "Охотничий клуб" (*англ.*).

требованиям. В этом заведении 350 учеников, и платят они лишь 80 долларов (400 франков) в год. Но ведь конгрегация сульпицианцев так богата! Неужели она не в состоянии хоть что-нибудь сделать для учащихся? И куда деваются доходы от половины Монреаля, которая принадлежит ей и налогов с которой она не платит?.. По ее вине дело может кончиться самой настоящей революцией!

Я посетил еще high schools[1], Политехническую школу, Коммерческую академию, а также английские школы, и повсюду замечал тот же контраст. Здесь — мускулы, активность, смелость, открытые лица; там — развинченные движения, неуклюжие позы, ни намека на независимость, ничего похожего на мужественность. Вопреки всему, суровый климат все же наделяет их здоровьем; но если характер у человека не начнет вырабатываться с детства, откуда взять его впоследствии? Мы зашли по пути в одну гимназию, где ученики во множестве занимались упражнениями, развивающими силу и ловкость... и все они были англичане!

В спальном вагоне поезда, который везет нас в Квебек, мне снится снегопад. Проснувшись, я вижу, что за окном и правда все покрылось снегом: и земля, и высокие северные ели, и низенькие бедные хижины; но вскоре он тает, и Квебек встречает нас лишь ветром и проливным дождем. В первый момент город разочаровывает: река здесь у́же, чем ты себе представлял, гора — ниже, а цитадель — не такая внушительная. У вокзала ваше внимание привлекают знаменитые кареты; по форме они напоминают морские раковины, подвешены на ремнях, причем очень высоко, и забавнейшим образом раскачиваются, когда едут по мостовой. Кажется, что внутри должен находиться один из богов Олимпа, закутанный в облако и с гирляндой роз в руках. Зато вокруг все иначе: ветхие домишки, сырые лестницы, островерхие крыши, а дальше — следы страшного обвала, обломки стен, обрушившиеся кровли. Катастрофа произошла месяц назад: под террасой Дюффрена осыпался склон горы.

Эта терраса — настоящий шедевр. Она выложена паркетом, словно площадка для катания на роликах, и уставлена павильонами, где летом по вечерам играют оркестры; с этой высоты река Святого Лаврентия кажется громадной; старый город простирается у ваших ног, а цитадель нависает над вами; вы замечаете гранитную колонну без всяких украшений, на которой выбита надпись: MORTEM VIRTUS COMMUNEM — FAMAM, HISTORIA — MONUMENTUM POSTERITAS DEDIT. "В смертный час они были равны по доблести, история увенчала славой их обоих, и потомки запечатлели на этом памятнике два имени[2]: Вулф и Монкальм". Наверно, было бы лучше, если бы мы не потеряли Новую Францию, если бы Наполеон не пожертвовал Луизианой и не пренебрег Ла-Платой, если бы Индия осталась за нами. Но разве мы не должны радоваться, что столько французских имен увековечено на дальних берегах, что хроники всех народов полны рассказами о героических деяниях французов, что слава Франции гремит по всему миру?

Кучер уговаривал меня поехать поездом, который "ронит" быстрее других. Этот франкоканадец радостно улыбается, когда говорит о "старой

1. Средние школы (*англ.*).
2. Букв. с латыни: "Доблесть соединила их в смерти, история — в славе, потомки — в памяти".

родине". По пути он показывает мне красивые "плейсы" и останавливается у железнодорожного переезда, чтобы дать дорогу "карам". Ему очень хочется узнать, что мне больше по душе — "Доминион" или "Штаты"; сам он разделяет политические взгляды месье Такого-то, "сквара". Эти английские слова run, place, cars, Dominion, States, esquire, которые не имеют эквивалентов во французском языке и которые франкоканадцы вынуждены заимствовать, в их устах звучат очень забавно.

От Квебека до Монморанси вдоль реки Святого Лаврентия как будто тянется одна сплошная деревня. Справа видна деревянная базилика с двумя островерхими колокольнями. Все здесь из дерева, все возвещает о приближении зимы; люди чинят сани, чинят меховую одежду, заготавливают дрова, вставляют в окна двойные рамы; холод уже стоит за кулисами: как только великий дирижер взмахнет палочкой, он сразу же выйдет на сцену.

Большая квебекская семинария была основана монсиньором де Лавалем в 1663 году, а малая семинария, или коллеж, — в 1668-м. Университет Лаваля, основанный семинарией в 1952 году, взял имя епископа, которому был косвенно обязан своим существованием. Королевскую хартию он получил по рекомендации лорда Элджина, в то время генерал-губернатора. Это учебное заведение, по сути, представляет собой единое целое с большой и малой семинариями: первая поставляет преподавателей для факультета теологии, вторая — для остальных факультетов. Архиепископ — визитор; ректор семинарии, понятно, является также и ректором университета. Здесь выдают дипломы бакалавров, лиценциатов либо магистров и докторов. Факультет искусств имеет два отделения: наук и изящной словесности. Здесь есть своя премия, которую учредил принц Уэльский; число обучающихся весьма значительно. Университет располагается в нескольких зданиях внушительных размеров, но грязных и запущенных. В окно я вижу узкий дворик, где прохаживаются и чинно беседуют студенты; здесь они носят все те же потертые сюртуки с зелеными саржевыми поясами.

Обладая значительными доходами, университет открыл филиал в Монреале, дабы изничтожить недавно открывшийся там филиал университета Виктория из провинции Онтарио. А поскольку противник оказался живучим, решили обратиться к помощи Папы, и тот изничтожил его по долгу службы, что вызвало в Монреале законное недовольство. Здесь есть еще один университет, под названием "Bishop's College", в Ленноксвилле, в Восточных кантонах, который находится под покровительством и под управлением англиканской церкви. Его основал епископ Маунтин в 1843 году.

Некоторые люди, слывущие у нас невеждами, уверены, что отношения между Европой и Канадой оживились благодаря открытию Суэцкого канала. Более просвещенные умы все же знают, в какой части света находится эта страна; но обычно она у нас считается маленькой английской колонией со столицей в нашем старом городе Квебеке. Есть и такие, кому известны этапы политической истории Канады; они знают о существовании "Доминиона", конфедерации, в которую вошли семь провинций: Новая Шотландия, Новый Брауншвейг, Квебек, Онтарио, Манитоба, Британская Колумбия и остров принца Эдуарда, знают, что однажды, быть может, к этому союзу присоединится Ньюфаундленд и что на необъятных

просторах Северо-Западной Канады скоро возникнут новые провинции. Но французы, как правило, не знают, что канадская провинция по своему политическому устройству ничем не отличается от американского штата. Подобно Массачусетсу или штату Нью-Йорк, провинция Квебек имеет губернатора, министров и двухпалатный парламент. Она издает собственные законы и пользуется полной автономией.

Именно благодаря этому сегодня вечером я оказался в гостях у министра образования, а за столом со мной сидят премьер-министр, глава оппозиции и еще несколько видных политиков. Оноре Мерсье, премьер-министр провинции Квебек, — личность примечательная. Он ничем не напоминает главу государства, холодного, чопорного, обремененного заботами и даже во время беседы терзаемого какой-то неотвязной мыслью. Он добродушный, веселый, знает множество забавных историй; он рассказывает их выразительно и сочно своим тягучим, словно бы крестьянским, говором, и первый над ними смеется. А на самом деле это необычайно хитрый человек, который ведет сложную игру с противниками и просчитывает ходы заранее. Возглавляемая им партия легко меняет окраску: сегодня она может быть партией "бобров"[1], завтра — либеральной партией, послезавтра — национальной и так далее, и при этом она не считает нужным отрекаться от прежних принципов. Сидевший напротив глава оппозиции, кипучий, отважный, этакий парламентский Дон Кихот, подпускал премьеру шпильки и с торжеством наблюдал за произведенным эффектом. Какой он цельный и прямодушный человек, этот глава оппозиции. "Месье премьер-министр, — взывал он, — месье премьер-министр, послушайте!" И беседа оживлялась, и все разом принимались говорить. Тогда премьер обводил присутствующих насмешливым взглядом и, вонзив нож в столешницу, произносил: "Видите ли, дети мои..."

Среди его "детей" были два молчуна, которые наверняка отлично понимали по-французски, поскольку занимали в провинции официальные должности, но делали вид, будто не говорят на нашем языке. В речи премьера и других сотрапезников английские фразы чередовались с французскими; не отличаясь чистотой произношения, они все же проявляли глубокое знание английского языка.

За столом не было только одного министра — министра земледелия, знаменитого кюре Лабеля. Папа возвел его в сан епископа, однако на нем это ничуть не отразилось. Его ревностное усердие не ослабло, несокрушимое здравомыслие не пострадало, трубка его не остыла, и он, как прежде, носит алый галстук и черный редингот. Но кто посмел бы сказать, что люди меньше почитают и меньше любят кюре Лабеля из-за его трубки, алого галстука и грубоватых шуток?

От этого ужина в Квебеке у нас осталось очень яркое и очень приятное воспоминание; своеобразное и покоряющее обаяние премьер-министра, необычность местных парламентских нравов, искренняя веселость в таком официальном кругу — все это было неожиданно и привлекательно... и я пытаюсь представить себе, как месье Тирар вонзает нож в столешницу и говорит своим коллегам: "Видите ли, дети мои!.."

1. "Бобрами" в Канаде называют ультрамонтанов. (*Прим. автора*).

# Редьярд Киплинг
# *Письма из путешествий*

Фрагменты книги

*Перевод с английского и послесловие* Светланы Силаковой

## *По дороге в* Квебек

<...> В последний день плавания река Святого Лаврентия великодушно отозвалась на наши ожидания: клены по ее берегам сделались кроваво-алыми и великолепными, точно знамена утраченной молодости. Клен – национальный символ ничуть не в меньшей мере, чем дуб[1], и, увидев, что их приветствует этот почетный караул, пассажиры еще более обрадовались. Теплый ветер принес на палубу неразбавленный запах с их Континента: букет из ароматов свежераспиленных бревен, невозделанной земли и дыма дровяных печей; пассажиры нюхали его, точно табак, и смотрели вокруг ласковее – узнавали одно за другим места вдоль родной любимой Реки; места, где когда-то играли, ловили рыбу, веселились на каникулах. Должно быть, славно, когда у тебя есть целая собственная страна, которой можно пощеголять перед людьми. Сразу подчеркну, что мои попутчики, возвращавшиеся на родину – говорившие размеренно мужчины и женщины, – вовсе не хвалились, не визжали, не восклицали, не ахали. Они были попросту непритворно рады вновь увидеть дом и говорили: "Правда, здесь славно? Красиво, не находите? Мы любим свой край".

В Квебеке есть одно местечко вроде угольного желоба, где вечно шастают локомотивы. Именно там высятся кручи, на которые вскарабкались люди Вулфа, идя маршем на равнины Абрахама[2]. Изо всех уголков мира, где волны людских переселений оставили наиболее отчетливые следы, ни одно не говорит сердцу столь много и столь не притягивает взор, как Квебек. Здесь повстречались все: Франция, завистливая товарка Англии, восемьсот лет тягавшаяся с ее славой на суше и на море; Англия, которая, по своему обыкновению, сама была озадачена оборотом событий, но благодаря удачному стечению обстоятельств не стала открыто перечить Питту, а Питт знал, что делал[3]; и люди совсем иной породы, кому на роду было написано порвать с Англией, едва будет устранена французская угроза; сам Монкальм, обреченный и решительный; Вулф – неизбежный мастеровитый ремесленник, которого отрядили, чтобы нанести последний штрих, а где-то на заднем плане некто

© Светлана Силакова. Перевод, послесловие, 2008

1. Дуб – национальное дерево Англии. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Подразумевается сражение на равнине Абрахама у стен осажденного Квебека в 1759 году. Британская армия Вулфа одержала победу над французскими войсками Монкальма и заняла город Квебек.
3. Уильям Питт-старший (1708–1778) – премьер-министр Великобритании, сторонник колониальной экспансии.

Джеймс Кук, капитан корабля Его Величества "Меркурий", составивший красивые и изящные карты реки Святого Лаврентия.

По вышеозначенным причинам равнины Абрахама увенчаны множеством прекраснейших сооружений — в том числе тюрьмой и фабрикой. Тюрьма обозначает позиции левого фланга Монкальма, а фабрика — дислокацию правого фланга Вулфа. К счастью, ныне ширится кампания за снос этих архитектурных красот и превращение поля брани и его окрестностей в парк, который по своей натуре и благодаря историческим ассоциациям должен стать одним из прекраснейших в мире.



И все же, хотя с одного бока тут тюрьмы, с другого — монастыри, а посреди реки громоздится неширокая гряда черных руин Квебекского железнодорожного моста — ну прямо куча жестянок, свалившихся с опрокинутой телеги, — Восточные ворота Канады выглядят благородно. В них есть достоинство, не выразимое словами. Это мы приметили почти с первой же минуты, когда брюшки облаков над пыльно-лиловым, угрюмым, состоящим из каких-то высоких штабелей городом окрасились в ледяной розовый оттенок. Перед самым рассветом судно, казавшееся личной баркой самого султана Гаруна-аль-Рашида, все усеянное разноцветными огоньками, проскользнуло по серым, как сталь, водам и исчезло во мраке около слипа. Через три минуты оно показалось снова, но день уже полностью вступил в свои права, и барка, освободившись от мачты, штуртроса и электрических ламп в кабинах, обернулась замурзанным белым паромом, на котором было полно продрогших пассажиров. Я заговорил об этом судне с одним канадцем. "А, это старушка NN следует в Порт-Леви[1]", — ответил он удивленно, как удивляется кокни, когда приезжие глазеют на поезда Внутреннего кольца[2]. Для канадца то было его Внутреннее кольцо, его Сион, где он чувствовал себя как рыба в воде. Он привлек мое внимание к величественному городу и величественной реке, высказываясь с той же спокойной гордостью, которую испытывает всякий из нас, когда гость переступает порог нашего собственного дома, что бы ни служило этим порогом: Саутгемптонская гавань в серое ветреное утро, или Сиднейский залив в самом разгаре парусной регаты, или Столовая гора, сияющая, свежеомытая рождественскими муссонами. Мой собеседник вполне законно полагал, что с тех пор, как мы вошли в устье реки, лично отвечает за погоду и за каждую огненную кленовую рощу. (В этих местах нордвест — все равно что юго-восточный ветер в других широтах; у гостя он может создать неблагоприятное впечатление.)

Тут взошло осеннее солнце, и лицо моего собеседника просветлело. Он сказал, что терпеть не может Квебек ввиду некоторых личных и политических обстоятельств, но все равно это его город.

— Что ж, — спросил он наконец, — как вам моя родина? Смотреть не противно?

— О нет. Совсем не противно, — ответил я и лишь намного позднее осознал, что мы обменялись паролем и отзывом, которые звучат по всей Империи.

1. Порт-Леви (Левис) — город на южном берегу реки Святого Лаврентия, напротив города Квебека.
2. Внутреннее кольцо — линия лондонского метрополитена.

# Народ у себя дома

Есть такая народная поговорка: "Звали ее на свадьбу, а как пришла, усадили пшеницу молоть". То же самое, только наоборот, постигло меня в течение моего недолгого визита. Есть одна конфедерация бизнесменов, именуемая "Канадские клубы". Она действует изобретательно: отлавливает людей, которых считает интересными, собирает своих членов в полдень — час перерыва на ланч — и, привязав пленника к отбивной, просит порассуждать о том, в чем он мнит себя сведущим. Их идею стоило бы внедрить повсеместно, ведь "Канадские клубы", не отрывая людей от работы, понуждают их не замыкаться в собственных раковинах и выслушивать рассказы о вещах, с которыми они иначе никак бы не соприкоснулись. Немаловажно, что заседания милосердно кратки. На все мероприятие отводится не больше часа, причем половину времени отнимает собственно ланч. Ежегодно "Клубы" выпускают сборники лекций, и читатель получает срезы множества любопытных тем — от практического лесоводства до устройства Государственного монетного двора — в изложении специалистов.

Поскольку я не специалист, от меня этот опыт потребовал изнурительных усилий. Дотоле мне казалось, что по сравнению с другими видами беседы публичное выступление — нечто вроде виста: игра, в которой всякому позволено тасовать карты. Теперь же я уяснил, что это — Искусство с большой буквы, руководимое условностями, которые не имеют ничего общего со всем, что проистекает из чернильницы, а также интонациями, которыми нелегко овладеть. По-видимому, канадцы любят слушать речи и порой сами блистают на ораторском поприще, хотя витийство никак нельзя назвать их национальным пороком. Известно ли вам старинное поверье, будто на землях желтой, красной или черной расы белый человек по своим манерам и инстинктам возвращается вспять, к коренной людской породе этих мест? Следовательно, речь на африкаансе — это непременно раскатистые "р", откровенное апеллирование к желудку собеседника, повторяющиеся хитроумные аргументы и немногочисленные простые метафоры банту — этого короля ораторов-коммерсантов. Новозеландец, если верить молве, выговаривает слова как бы брюшиной, стиснув кулаки и опустив руки по швам, точно маори былых времен. Судя по тому, что нам известно о первоклассных австралийских ораторах, их речам свойственны легкость на старте, стремительный полет и изящная меткость бумеранга. В речах канадцев я почти ожидал найти какие-то реликты замысловатых воззваний Краснокожего к Солнцам, Лунам и Горам — привкус грандиозности и церемонных заклинаний. Но то, что я услышал в этой стране, было совершенно невозможно возвести к какому-либо дикарскому племени. Речь канадца отличалась достоинством и сдержанностью, а более всего — вескостью, что довольно любопытно в свете влияний, которым подвержены эти края. В ней не было ничего индейского или французского — она являлась столь же самостоятельным, существующим наособицу феноменом, как и сами ораторы.

Таковы скупые жесты канадца и его манера держаться. В войну[1] люди охотно анализировали все особенности иноплеменных воинских контин-

1. Подразумевается англо-бурская война.

гентов и, пожалуй, делали неверные выводы. Тогда-то меня поразило, что канадец, даже выбившись из сил, отлынивает от работы меньше, чем уроженцы жарких стран, а на бивуаке ложится не на спину, не на грудь, чаще — на бок, подогнув ногу под себя, всегда готовый вскочить.

Теперь же, наблюдая за сидящими в залах собраний, за постояльцами в гостиницах, за прохожими, я вообразил себе, что эту привычку оставаться почти что в боевой готовности канадец сохраняет и на родине, среди своих, и привычка эта — неразрывное дополнение к его спокойному лицу и ровному, негромкому голосу. Когда смотришь на следы подошв канадцев, складывается впечатление, что эти люди протаптывают почти прямую тропу, не расставляя ноги широко, но и не выворачивая их мысками внутрь: они опускают ступню на землю, слегка проскальзывая вперед, — похожим образом, крадучись, ходят австралийцы. Беседуя между собой или ожидая друзей, канадцы не барабанили пальцами по стеклу, не переминались с ноги на ногу, не теребили свои усы и бороды. Казалось бы, это сущие мелочи, но, когда формируется людская порода, все достойно внимания. Я как-то услышал от одного человека — но так и не попробовал проверить его слова на практике, — что каждая из наших Четырех Рас по-своему разжигает и поддерживает огонь.

Что удивляться различиям! Вот народ, которому не дышат в спину другие, народ, идущий за великим плугом, который обеспечивает хлебом весь мир, народ, забирающийся все выше и выше на плечи планеты, — зрелище, вполне уместное в какой-нибудь грандиозной скандинавской легенде. К северу от канадцев лежит вечный холод Нифльхейма, и мерцает и потрескивает северное сияние — радужный мост Биврёст, по которому ходили О́дин и асы[1]. Канадский народ тоже год от года продвигается на север и тащит с собой отважные железные дороги. Иногда канадцы натыкаются на плодородные почвы или богатые древесиной леса, а иногда — на рудники с сокровищами, и весь Север — как когда-то Южная Африка — полнится голосами, сообщающими об открытиях и произносящими пророчества.

Когда наступает канадская зима, люди почти по всей стране, за исключением больших городов, поневоле сидят сложа руки и только едят да пьют, как когда-то асы. Зато летом они втискивают в шесть месяцев работу, рассчитанную на двенадцать, поскольку с такого-то по такое-то число определенные реки станут несудоходными, а там покроются льдом и другие, пока наконец не захлопнутся даже великие Восточные ворота, что в Квебеке, и людям придется входить и выходить через боковые калитки — Галифакс и Сент-Джон. Подобные условия располагают к бесконечной отваге, но только не к безудержной похвальбе.

Клены дают знак к окончанию работы, и с этим предостережением сообразуются все незавершенные труды. Что-то удается доделать до зимы, другое приходится отложить, но так, чтобы весной приступить, не теряя ни минуты. И вот от Квебека до Калгари в недвижном осеннем воздухе загудела, точно паровые молотилки, нота целеустремленности — не суетливости, но целенаправленных стараний подвести последнюю черту.

1. Нифльхейм — в скандинавской мифологии мир мрака; О́дин — верховное божество в скандинавской мифологии, предводитель богов-асов.

С Севера возвращались охотники и рыболовы; а вместе с ними и старатели, чьи лица были исполнены таинственности, а карманы набиты образцами; таковы старатели по всему миру. Старатели уже надели шубы из волчьего меха или шкурок скунса. В больших городах, трудящихся круглый год, торговцы экипажами выставили напоказ соблазнительные сани, обитые никелированными пластинами — это недвусмысленный намек: "Зри: прямо под рукою — Любви колесница"[1]. В сельской местности на фермах укладывали поленницы так, чтобы дрова можно было доставать, едва высунувшись из кухонной двери, и снимали с окон рамы, затянутые москитными сетками. (Как правило, сетки убирают лишь после того, как приносят из подвала вторые рамы. Тогда приходится перерывать весь дом, охотясь за недостающими болтами.) Иногда видишь где-нибудь на заднем дворе несколько сверкающих отрезков новой дымовой трубы и проникаешься сочувствием к владельцу. В бородатых, горестно-правдивых шутках о забытых дымовых трубах — такое попадается иногда в юмористических журналах — нет ничего смешного.

Но с наибольшим жаром о зиме повествовали железные дороги — железные дороги, подобные чуду. По линии протяженностью в три тысячи миль курсировали тридцатитонные вагоны. Они то жалобно скрипели, пихая друг друга на запасных путях, то величественно проносились в полночь мимо наблюдателя, спеша в города прерий, к запасливым домохозяйкам. Им вовсе не давали "зеленую улицу", ибо грудинка, сало, яблоки, сливочное масло и сыр в красивых березовых бочках катились на восток к пароходам, торопясь опередить лавину пшеницы, которая вот-вот обрушится на гавани. Таков пятый акт грандиозной годовой мистерии, для которого следует расчистить сцену. На десятках переполненных грузовых дворов лежали громадные горячекатаные балки, швеллеры и ящики с заклепками, когда-то предназначенные для Квебекского моста, почившего в бозе, а ныне лишь путающиеся под ногами, — и провизии приходилось пробираться между этими препятствиями; а вслед за провизией подтягивался лес — чистенькая древесина с гор: бревна, брус, стенные панели и рейки, — приобретаемая нами в Англии по совершенно безбожным ценам, — все, все искало дорогу к морю. Кров, пища и топливо для миллионов людей — все вместе катилось по рельсам. А между тем еще не перевезено ни зернышка продукта первейшей необходимости, который люди в радиусе пяти сотен миль сейчас обмолачивают, сложив грудами высотой с виллу.

Добавьте к этому, что железные дороги хлопотали о собственном развитии: вторых колеях, поворотных кругах, боковых ветках, водокачках и запасных путях и о новых магистралях, устремляющихся в глубь нетронутых земель — краев, которые вскоре заполнятся людьми. Итак, составы со строителями, балластом и материалами, выправочно-трамбовочные машины, аварийно-ремонтные поезда с надменными, похожими на верблюдов кранами — все эти сеятели новой цивилизации должны были как-то протиснуться сквозь всеобщую толчею до того, как Природа вскричит: "Кончай работу!"

Помнит ли кто-нибудь эту радостную деятельную уверенность в себе, обуявшую нас после войны? Тогда казалось, что Южная Африка наконец-

1. Первая строка стихотворения "Триумф" Бена Джонсона.

то будет освоена, и люди прокладывали железные дороги, и заказывали локомотивы и новый подвижной состав, и нанимали рабочих, и упоенно верили в будущее. Правда, впоследствии эти надежды были растоптаны, но умножьте этот счастливый миг на тысячу, и вы получите отдаленное представление о том, как ощущаешь себя в Канаде — стране, с которой не в силах расправиться даже "имперское" правительство. По счастью, мне кое-что показали изнутри — я выслушивал подробные рассказы о планах на будущее и воспоминания об уже воплощенных. Более того, я увидел, чего люди действительно достигли за пятнадцать лет, пока я здесь не бывал. Новоосвоенная земля хороша еще и тем, что на ней чувствуешь себя старше самого Времени. Я обнаруживал крупные города там, где прежде не было ничего — буквально ничего, совсем ничего, кроме чистого поля, где, как пишут в сказках, "лишь птицы кричат, да трава на ветру колышется". Деревни и выселки разрослись до огромных городов, а огромные города, в свою очередь, утроились и учетверились в размере. А железные дороги потирали руки и вопрошали, точно ифриты былых веков: "А не возвести ли нам новый город там, где ничего подобного и в помине нет, или лучше даровать процветание давно отстроенному городу, прозябающему в нищете?" И они совершают это, между тем как за океаном джентльмены, которым во всю жизнь не приходилось ни дня мириться с физическими неудобствами, пискляво причитают: "Какой ужасный утилитаризм!"

Иногда я гадаю, сталкивается ли кто-либо из видных романистов, философов, драматургов или богословов нашего времени с необходимостью применить хотя бы половинную долю чистого воображения, не говоря уж о дальновидности, выносливости и самообладании, которые считаются чем-то обыденным при так называемом освоении материальных ресурсов новой страны. Взять хотя бы вопрос о создании нового города на пересечении двух железнодорожных линий, когда и город, и линии существуют лишь в уме. Одной только драмы этого строительства — настоящей мистерии о добродетелях человеческих — хватило бы на целую книгу. А когда дело сделано, когда город высится, когда только что проложенные колеи окаймлены чередой новехоньких ферм и волна Пшеницы неожиданно продвинулась к северу еще на один градус географической широты, люди, сотворившие все это, заканчивают работу, не услышав ни единой похвалы, и отправляются на другое место, чтобы повторить свой фокус.

Я немного поговорил с довольно молодым еще мужчиной, занятие которого — дрессировать снежные лавины, дабы они скатывались, не задевая вверенный ему железнодорожный перегон. Тор ходил в Ётунхейм[1] всего один или два раза, имея при себе свой верный молот Мьёльнир. А Тор, с которым я познакомился, жил прямо в Ётунхейме, среди Селкиркских гор, увенчанных шапками из зеленоватого льда, — в местах, где, если в определенные времена года потревожишь великанов своим шумом, они с размаху сядут на тебя и все твои утонченные чувства. Итак, Тор наблюдает, как великаны злобно пялятся на весь мир под майским солнцем или блекнут, становясь вдвойне опасными, под напором весенних дождей. Атаки великанов он отражает громадными дере-

1. Тор — бог грома и молний в скандинавской мифологии, непрестанно боровшийся с великанами; Ётунхейм — родина великанов.

вянными перемычками, открылками из свинченных вместе бревен и другими подобными приспособлениями, которые учится изготавливать методом проб и ошибок. На великанов он не в обиде: у них своя работа, у него — своя. Вот только слегка досадно, что ветер, поднимающийся при их натиске, иногда вырывает с корнем сосны на склонах напротив — потрошит целые долины. Однако мой знакомец полагает, что сможет устранить это, расщепляя крупные лавины на мелкие.

В моей памяти запечатлен еще один человек, с которым я так и не поговорил. Он много лет осматривает вагоны в начале крутого подъема в горах — правда, не такого крутого, как на южноафриканской реке Хекс, — где все тормоза состава приводятся в действие и на протяжении десяти миль поезд не столько идет, сколько с опаской балансирует на рельсах. Неполадки колесных пар на этом участке были бы не очень уместны, и потому человеку, о котором я говорю, знающему свое дело назубок, поручают самую тяжелую работу — сочетающую монотонность с ответственностью. Он оказал мне честь, пожелав со мной побеседовать, но вначале принялся осматривать поезд — стоя на карачках, простукивая колеса молотком. Ко времени, когда он удостоверился в целости и сохранности ходовой части, пробил час отправления; и этот человек лишь приветливо помахал мне рукой — рискну сказать, подал знак подлинного мастера.

Пожалуй, в Канаде предостаточно "грубых утилитаристов" такого сорта.

Кстати, на днях я увидел саму Канаду в обличье высокой женщины лет двадцати пяти-двадцати шести, ожидавшей трамвая на углу. Ее завитые волосы соломенного, отливающего золотом, оттенка, расчесанные на прямой пробор, падали на лоб из-под черной каракулевой токи, сбоку украшенной красной эмалевой брошью в виде кленового листа. Брошка была единственным цветным пятном, если не считать мерцающей пряжки на ее туфле. Темное, сшитое на заказ платье, ничем не отделанное, без каких-либо украшений, сидело на ней идеально. С минуту, наверное, она простояла в полной неподвижности. Ее руки — левая в перчатке, правая без — с полной естественностью застыли, опущенные по бокам. Даже пальцы не шевелились. Тяжесть ее великолепного тела поровну распределялась на обе ноги, а профиль — профиль Гудрун или Аслауги[1] — выделялся на фоне черной каменной колонны. Более всего наряду с ее суровым, спокойным взглядом меня поразило, как размеренно и неспешно дышит она посреди суеты. Очевидно, по этому маршруту она ездила постоянно, так как, когда подошел ее трамвай, улыбнулась счастливчику кондуктору, и напоследок я успел рассмотреть солнечный блик на красном кленовом листе, широкое лицо, все еще озаренное улыбкой, и волосы, сияющие на фоне мертвенно-черного меха. Но властность губ, мудрость лба, сердечная человечность взгляда и поразительная жизненная сила всего ее существа остались со мной. Будь я канадцем, я заказал бы художникам изобразить в таком обличье мою страну и повесил бы эту картину в здании парламента в Оттаве как наглядное предостережение изменникам.

1. В скандинавской мифологии Гудрун — жена героя Сигурда, Аслауг — его дочь. Киплинг употребляет вариант имени Аслауга, возможно, отсылающий к новелле Фридриха де ля Мотт-Фуке "Рыцарь Аслауги".

Что бы вы сделали, если бы вам одолжили ковер-самолет? Я спрашиваю не просто так, ведь мы на месяц получили в свое распоряжение личный вагон, тридцатитонную игрушку почти семидесяти футов в длину. "Авось сгодится, чтобы поболтаться по стране, — небрежно сказал наш благодетель. — Прицепляйте его к любому поезду по своему выбору, делайте остановки по своему выбору".

Итак, вагон провез нас по Канадской тихоокеанской железной дороге от Атлантики до Тихого океана и обратно, а когда мы перестали в нем нуждаться, исчез, словно дерево манго после фокуса[1].

Личный вагон, хотя в нем написано много книг, отнюдь не лучший наблюдательный пункт для изучения какой-либо страны, если только вам уже не доводилось на том же континенте и в нормальных условиях вести свое хозяйство и повидать смену времен года. В последнем случае вам известно, как выглядят вагоны, когда смотришь на них из окна дома — а выглядят они совсем не так, как дома́ за окном вагона. Тогда даже щетка проводника на никелированной подставке, и длинный, как в соборе, проход между знакомыми зелеными креслами, и звон колокольчика, и басовитый органный голос паровоза — все пробуждает в вас воспоминания, а каждая картина, запах и звук снаружи — точно старые друзья, вместе припоминающие былое. Коляска — вылитый рояль на грязной улице, где тротуары деревянные, а проезжая часть искромсана узкими колесами; кровельная дранка, сложенная в углу на веранде новенького дома; поломанный штакетник, которым обнесено заброшенное пастбище (коровяк да голые черепа валунов); оборванный побег девичьего винограда, эффектно агонизирующий на краю маленького кукурузного поля; полдюжины снегозащитных щитов на холме над железнодорожной выемкой или даже бесстыжая реклама патентованного лекарства — желтая на черной стене табачного сарая... Если в прошлом наблюдатель хотя бы слегка соприкасался с миром, частью которого все это является, то его сердце забьется быстрее, а глаза прослезятся. Что же тогда должны значить эти картины для местных уроженцев? С нами в поезде ехала девушка, дитя прерий, возвращавшаяся домой после года на европейском континенте; ей ничего не говорили ни опушенные соснами холмы, ни настоящие горы позади них, ни чинные излучины реки, ни приветливая, как близкий друг, ферма.

— В Италии такие пейзажи как-то легче, — пояснила девушка и с непередаваемым жестом равнинных жителей, которым душно в холмистой местности, добавила: — Так и растолкала бы эти холмы, чтобы снова вырваться в чистое поле! Я — виннипегская.

Она нашла бы общий язык с одной учительницей из школы на лондонской Хановер-роуд, которая, возвращаясь из поездки в Кейптаун, как-то — я сам это наблюдал — ускакала в мираж, тянувшийся на тридцать миль, с криком: "Слава тебе Господи, хоть что-то, как у нас".

Другие пассажиры метались от одной стороны вагона к другой, воскрешая в памяти одно, вновь открывая для себя другое, предвкушая тре-

1. Подразумевается индийский фокус: факир выращивает за полчаса из косточки манго взрослое дерево, которое дает листья и плоды.

тье, и оно действительно выплывало им навстречу из-за следующего поворота. Они ничуть не стеснялись: пусть все знают, что они снова дома; а для недавно прибывшего англичанина, чей багаж составляли деревянные ящики с надписями "Имущество переселенцев", в этом спектакле не находилось роли, точно для новичка в первый день учебного года. Но два года в Канаде и одна вылазка на родину освободят этого человека от уз Кровного родства точно так же, как освободили бы в любом месте. Пусть он ворчит из-за некоторых особенностей быта и сокрушается о некоторых сокровищах, которых не найдешь за пределами Англии, но, точно так же, как он не может не ворчать, он не сможет не вернуться в страну бескрайних небес и бескрайних возможностей. Неудачники — те, кто жалуется, что в этих краях "не узнаю́т джентльмена в джентльмене". Абсолютно верно: этот край старается не судить о людях, пока не увидит их за работой. Тогда он оценивает их по своей мерке, но работать люди обязаны — дел здесь невпроворот.

К сожалению, железные дороги, создавшие страну, теперь привозят людей, которые привередливо относятся к работе и трудиться стараются в наиболее комфортных условиях; если же, по воле судьбы, они не находят именно того, на что рассчитывали, то изливают свое недовольство в печати — а печать создает видимость всеобщего равенства.

Особая прелесть нашего путешествия состояла в том, что мы проехали по линии, когда она была нова и, как и вся Канада в те дни, не вызывала особого доверия к себе, когда все солидные и высокопоставленные чиновники, отцеплявшие вагоны своими крохотными пальчиками, одновременно были мелкой сошкой, с которой никто не считался. Сегодня вещи, люди и города стали иными, и история этой железнодорожной линии переплелась с историей страны, а вагонные колеса тем временем выстукивали: "Джон Кайно-Джон Кайно! Нагасаки, Йокогама, Хакодате, эх!", ибо мы следовали по пятам за "Империал лимитед", который был битком набит людьми из Гонконга и "договорных портов"[1]. Мы были обязаны посмотреть старые, знакомые и чудесно разросшиеся города, прежде чем улизнуть к новостройкам на западе. "Что вы думаете об этом здании и об этом предместье? — повелительно расспрашивали нас. — Взгляните-ка, сколько всего сделано при жизни нынешнего поколения".

Влияние Континента глубоко поражает, пока не напомнишь себе, что это всего лишь чувства, которые ты питаешь к собственному палисаднику: те же ничем не омраченные любовь и гордость, только выраженные в несколько большем масштабе на нескольких добавочных акрах. И вновь, как повсюду, остаешься под глубоким впечатлением от спокойного достоинства городов — аскетического северного достоинства силуэтов зданий, их группировки, перспективы улиц, — которое существует как бы в отдельной плоскости, не затрагиваемое суетливым дорожным движением. Таким достоинством наделен Монреаль, город священников в черных сутанах и вывесок на французском языке, и От-

1. "Джон Кайно" — вероятно, название некоего японского танца, принятое среди иностранцев. Хакодате — город и порт на острове Хоккайдо. "Империал лимитед" — в 1899–1933 гг. основной пассажирский поезд класса люкс на маршруте "Монреаль–Ванкувер" Канадской тихоокеанской железной дороги. "Договорные порты" — порты Китая, Японии и Кореи, которые были открыты для иностранной торговли по условиям неравноправных договоров, навязанных западными державами странам Азии.

тава, город серых каменных дворцов и блистательных, в санкт-петербургском роде, набережных, да и Торонто, этот рьяный коммерсант, таит такую же мощь за тем же спокойствием. Люди всегда строят лучше, чем способны это сами осознать, и, возможно, эта степенная архитектура дожидается прихода какой-то новой расы, когда выдохнется первоначальная тяга к экспансии и с улиц уберут нынешние хаотичные переплетения телефонных проводов. Имеются убедительные аргументы против существования внутри государства любой нерастворимой двуязычной общины, но сколько бы французов ни принуждали отставать от прогресса, их самодостаточные и беспечальные соборы, школы и монастыри, а также настроение, которое они излучают, — вполне достаточная компенсация. Правда, молодая Канада сетует: "Церковного имущества в городах — на миллионы долларов в общей сложности, а налогами его облагать не позволено". Но, с другой стороны, католические школы и университеты — хотя, по слухам, они и сохраняют стародавнее средневековое недоверие к греческому языку — преподают классические дисциплины так любовно, нежно и глубоко, как всегда преподавала их старая добрая Церковь. Во всяком случае, возносить молитвы на диалекте того же языка, которым изъяснялся Вергилий, — это, пожалуй, кое-чего стоит; а определенная толика дерзости, превосходящей по великолепию и древности всю дерзость нынешнего утилитаризма, на новоосвоенной земле создает хороший сплав.

Мне посчастливилось взглянуть на города глазами одного англичанина, впервые приехавшего в Канаду. "Были ли вы в банке? — вскричал он. — Я в жизни такого не видывал!" — "Что случилось с банком?" — спросил я, ибо финансовое положение по ту сторону Границы в тот момент отличалось большей, чем обычно, живописностью. "Банк чудесен! — сказал англичанин. — Мраморные колонны, акры и акры мозаик, стальные решетки — можно перепутать с собором. Мне никто даже не говорил, что здесь так..." — "Я не стал бы тревожиться из-за банка, который платит своим вкладчикам, — ответил я, стараясь его успокоить. — В Оттаве и Торонто есть несколько совершенно таких же, как этот".

Затем англичанин обнаружил в ряде дворцов множество картин и всерьез возмутился, что никто ему не рассказывал, что в одном только городе есть пять бесценных частных галерей. "Сами посудите! — пояснил он. — Я видел холсты Коро, Грёза и Гейнсборо и одну вещь Гольбейна и еще сотни воистину прекрасных!" — "А что тут необычного? — спросил я. — Здесь уже перестали красить вигвамы киноварью". — "Да, но я, собственно, вот о чем: вы видели, как оснащены их школы и колледжи? Видели ли вы, какие у них парты, библиотеки, уборные? Они оторвались от нас на много миль и... а мне даже никто не говорил". — "Что прок говорить? Вы бы не поверили. В одном из городов есть здание в стиле театра Шелдона[1], но еще лучше; а если вы доберетесь до Виннипега, то увидите прекраснейший отель на всем свете". — "Абсурд! — воскликнул он. — Вы мне очки втираете! Виннипег затерян в прериях".

Когда я с ним распрощался, он все еще плакался — на сей раз из-за клуба и гимнастического зала, о которых ему никто даже слова не ска-

1. Театр Шелдона — здание в Оксфорде, построенное Кристофером Реном в 1699 году.

зал, — и все еще сомневался во всех сообщениях о Чудесах, которые пока не повидал собственными глазами.

Если бы мы могли сковать кандалами четыреста депутатов, точно китайцев на карикатурах, изображающих выборы, и провести их из конца в конец Империи, какой всесторонне развитой маленькой Империей мы стали бы после их возвращения (если, конечно, не все парламентарии перемрут по дороге)!

*1907 г.*

**От переводчика**

Путевые заметки Редьярда Киплинга о его третьей по счету поездке в Канаду, состоявшейся осенью 1907 года, взяты из сборника "Письма из путешествий", а именно из цикла статей "Письма к семье", первоначально опубликованного весной 1908 года в английской газете "Морнинг пост".

Под "семьей" Киплинг тут подразумевал не собственных родных и близких, но Британскую империю. Как ему представлялось, Канада была в этом семействе "Старшей сестрой". "Воистину странная у нас семейка! Австралия и Новая Зеландия получили все задаром. Южная Африка отдала все, а получила меньше чем ничего. Канада уже триста лет как отдает, так и получает; в чем-то она самая мудрая из нас и, по-видимому, должна быть самой счастливой".

По сути, "Письма к семье" — это политический памфлет с пропагандистским прицелом. Киплинг незамедлительно сообщает, что в Канаде искал передышки от "гибрида грибка с фитофторой[1]" — бедствия, которое, по его мнению, поразило общественно-политическую жизнь Англии в 1906—1908 годах. "Последствия ощущаются по всей Империи, но мы в штабе чувствуем привкус фитофторы даже в воздухе: так чувствуешь йод в чае и бутербродах с маслом, которые подают в больнице". Киплингу не нравился новый кабинет министров, ратовавший, по его словам, за "максимально быстрое уничтожение Империи — этого запятнанного кровью фетиша".

В Канаде Киплинг — по крайней мере если верить его статьям — отдохнул душой и нашел практическое решение удручавших его проблем. Он рисует картину изобильной страны с трудолюбивым народом — причем изобилие настолько велико, что рабочих рук не хватает. Воспевая обычных людей, которые точно по волшебству созидают города на месте девственных земель, Киплинг невольно предвосхищает стилистику соцреалистических гимнов труду — "через-четыре-года-здесь-будет-город-сад". Так он подспудно подготавливает читателя к своим практическим предложениям, которые содержатся в финальном эссе, где он призывает создать благоприятные условия для того, что сам назвал "белой иммиграцией", — для переселения в Канаду англичан. В этом ему виделась панацея от всех зол — как внутренних проблем Англии, так и потенциального засилья в Канаде заезжих "бессарабов" и "бохариотов" (вероятно, бухарцев), наводивших на Киплинга почти мистический ужас. Канада, по мнению Киплинга, должна была исправить англичанина, вновь приучить его работать, а тот, при всем его несовершенстве, "по крайней мере, не станет молиться старым византийским святым".

1. Фитофтора (фитофтороз) — заболевание растений семейства пасленовых (картофель, томат, перец).

# Андре Мажор
# *Улыбка Чехова*

Фрагменты книг "Улыбка Антона, или Прощание с романом" и "Переменчивое сознание"

*Перевод и вступление* Людмилы Пружанской

Книга известного квебекского писателя Андре Мажора "Улыбка Антона, или Прощание с романом" (2001) представляет собой собрание его дневников за 1975—1992 годы. В 2001 году за "Улыбку Антона" Мажор был удостоен премии "Этюд франсез", учрежденной одноименным журналом за вклад квебекских и иностранных писателей в франкоязычную литературу. В 2007 году Мажор опубликовал продолжение своих дневников под названием "Переменчивое сознание".

Мы выбрали из обеих книг авторские размышления о А. П. Чехове, имя которого вошло в название первой части этой дилогии.

Откуда во мне эта страсть к русским писателям — не только первой, но и второй величины? Сколько раз, погружаясь в мягкое тепло, а то и в обжигающий огонь экзистенциальной прозы Бунина, Толстого, Гоголя, Бабеля, Мандельштама, Достоевского и конечно же Чехова, я едва ли не кожей ощущал близость с ними, как будто нас объединяло физическое родство! Впервые это случилось со мной при чтении "Страстной жизни Достоевского", написанной Тасосом Атанассиадисом[1], — вскоре после того, как вместе с Мишелем Строговым я мысленно пересек российские просторы, которые так потрясли мое воображение, что я навсегда заболел ими.

Я нашел название своим "Дневникам": "Улыбка Антона". Трудно представить себе Чехова покатывающимся со смеху. Скорее всего, на его устах — грустная и усталая улыбка, полная сострадания. В ней нет и тени презрения, ничего общего с усмешкой циника и зазнайки. Глядя на фото, где он запечатлен вместе с Ольгой [Книппер. — *Прим. ред.*], я всматриваюсь в его полудетскую улыбку. В ней — осознание неизбежности своего конца, но и готовность насладиться волнующим осенним светом, струящимся сквозь березовую листву.

Загадочная сила Чехова состоит в его уникальной чистоте, в свободе от всякой назидательности. Кажется, что в момент сочинительства он воспарял мечтой, вовсе не заботясь о том, как просветить читателя или от-

© Les Presses de l'Université de Montréal, 2001
© Les Éditions du Boréal, Montréal, 2007
© Людмила Пружанская. Перевод и вступление, 2008

1. Тасос Атанассиадис (р. 1913) — греческий литературовед; биография Ф. М. Достоевского вышла в 1957 г. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

крыть ему ту или иную истину. Но кто лучше Чехова приобщает нас к правде жизни? Порой кажется, что по сравнению с Толстым ему не хватает воздуха. Однажды ради того, чтобы испытать себя, он пускается в путь через степи, но долгие путешествия не для него. Самым длинным из его повествований будет рассказ о поездке на остров Сахалин, которая станет его вкладом в общественную жизнь России. В то время как Толстой видит в искусстве обман, Чехов не расстается с надеждой найти в нем правду, оно — как таинство причащения. При этом Чехов никак не демонстрирует своего нравственного превосходства. Прорицатель из Ясной Поляны хмурит брови, глядя на мир, картина которого явно не совпадает с его представлениями, в то время как скромный уездный лекарь, страстно желающий видеть своих сограждан более счастливыми, ограничивается лишь улыбкой. В своем дневнике великий учитель выходит из себя: подчас его угнетает собственная неспособность жить по им же заданным нравственным правилам. А его ученик в конце концов все больше удаляется от Гиганта, художественный гений которого, однако, не перестает его восхищать. Эта дистанция позволит Чехову свободно воспринимать жизнь и видеть ее такой, как есть. Он никому не будет навязывать свою мораль. Он оставит ее для спора о лучшей доле и не примкнет ни к одному из идеологических вымыслов. Вместо того чтобы воспевать светлое будущее, он примет участие в строительстве школы, поедет на Сахалин и затем расскажет о судьбе каторжан, создаст "Палату № 6", "Дядю Ваню" и будет писать остроумные письма, поражающие мудростью, обычно не свойственной человеку столь молодого возраста. Ему уже известно, что он не доживет до старости. Он займется разведением цветов и влюбится в актрису, когда обострившаяся болезнь выгонит его из Москвы. Но ни при каких обстоятельствах — даже когда он будет посмеиваться над своими собратьями, — не впадет в морализаторство, не станет указывать путь, по которому до́лжно идти. В этом кое-кто усмотрел безразличие — философ Лев Шестов даже обвинил Чехова в том, что он всю жизнь убивал в людях надежду. И действительно, Чехов не утешал себя метафизикой — возможно потому, что чувствовал себя счастливым от одного вида природы, вечеров в Ялте, цветов в своем саду и оставался верен собственной строгой эстетике. А может быть, стоит искать объяснение в том, что наравне с пессимизмом писателю была свойственна врожденная деликатность, не позволявшая ему употреблять свой авторитет во имя того или иного общественного дела. И именно этот кажущийся кому-то эгоистичным уход в себя делает Чехова столь близким и родным. Он сумел выразить отчаяние старости и порывы юношества, чувство внутреннего опустошения и полноту ощущений, никогда не делая при этом окончательных выводов. В его письмах, как и в рассказах, я слышу голос старшего брата, а не наставника. Я знавал в своей жизни наставников. Между ними и мною всегда вырастала стена. Ныне мне всего дороже тихий голос друга, спасающий от уныния и тоски. Чтение Чехова позволило мне лучше понять, в чем состоит тяжкий "труд жить", с котором так и не справился Павезе[1], не переживший личного поражения. Однако мне все же кажется,

1. Чезаре Павезе (1908–1950) — итальянский писатель-антифашист, литературный переводчик; покончил с собой, не выдержав крушения иллюзий в политике и неурядиц в личной жизни.

что и у поражения есть своя обратная сторона: оно придает стилю выразительность, блеск, присущий всякому по-настоящему глубокому произведению. Нужно только, чтобы свет от него мог хоть немного рассеять тьму. В минуты, когда меня охватывает отчаяние, улыбка Чехова спасает меня больше, чем громкие голоса великих мастеров.



Помнится, поначалу рассказы Чехова показались мне довольно трудными. Это было в шестидесятых годах. Я купил тогда сборник его лучших рассказов, опубликованных издательством "Марабу", среди которых, в частности, были "Спать хочется" и "Дама с собачкой". Не знаю, что было тому виной — плохой перевод или ограниченность моего восприятия. Но только вновь я обратился к Чехову лишь в Тулузе в 1970 году, когда погрузился в русскую (и советскую) литературу, открыв для себя Бабеля, Тынянова, Паустовского, Белого, Солженицына и Платонова. Именно тогда я приобрел сборники рассказов Чехова в переводах Эдуарда Парейра (издательство "Эдитёр франсэ реюни") и Дени Роша (издательство "Плон"). Вероятно, к тому времени я стал старше, да и обстановка была располагающей, но только "Палата № 6", "Огни", "Скучная история", "Моя жизнь" и "Дама с собачкой" произвели на меня такое впечатление, что я бросился читать все его пьесы и потрясающую переписку (увы, урезанную советской цензурой, к тому же пострадавшую от чрезмерного усердия его сестры Марии, в результате чего из писем Чехова были изъяты все упоминания о его любовных похождениях). То, что впоследствии назвали чеховским скептицизмом, было на самом деле, вопреки принятым идеологическим канонам, потребностью в ясном, верном и, главное, собственном взгляде. И вся его эстетика объясняется тем, что он решился изобразить мир таким, как он его видел. Но для того, что в наши дни кажется очевидным, на рубеже XIX–XX веков нужно было обладать большой верой в себя и независимым умом. И удивительное дело! Нравственный пафос отличает даже самые казалось бы мрачные его произведения — в них жажда увидеть другие берега, трепет иной жизни, в них обещание: непременно что-то произойдет. И это не мистика, а проблеск надежды в сумерках банальной обыденности. Он рискнул сказать всю правду и о посредственности рода людского, и о его несбыточной мечте измениться к лучшему. Читая Чехова, я не только расстался со своим собственным прекраснодушием, напоминавшим поношенную одежду, которую, однако, никак не решаешься выбросить, но и стал освобождаться от стереотипов, убеждений и сомнительных истин, царивших в мое время. В минуту отчаяния именно у Чехова я нахожу спасительное братское слово. Он остается для меня примером того, как в одиночку держать удар и не сдаваться.

*26 декабря.* Леденящий ветер и солнце на следующий день после Рождества. Освободившись от домашних обязанностей, я прочитал чеховские "Устрицы". Короткий, но до чего пронзительный рассказ! Как это бывает с самыми удачными его текстами, все выражено с завидной ясностью: достаточно автору описать галлюцинации, возникающие в сознании голодного ребенка, вынужденного вместе с отцом просить милостыню, и маленький эпизод превращается в рассказ, лишенный какой-либо патетики. Это очень серьезное произведение, авторский замысел которого по-настоящему глубок.

*27 сентября.* Если бы Чехов ограничился сдержанным реализмом — цель которого, как он сам говорил, в изображении вещей такими, как есть, — он создал бы лишь драматургию видимостей. Держу пари, что его проза наверняка бы состарилась, подобно миру, который он наблюдал. Но он рискнул обнажить то, что скрывалось за кулисами. И в то же время воспроизвел глухой ропот человечества, погрязшего в скуке, сменявшейся временами приступами неизъяснимой грусти. Чехову не было нужды говорить громче: его голос и без того таил множество оттенков скрытого смысла, открывавшегося читателям.

У каждого свой Чехов, и кто знает, какой из них подлинный? Осмелюсь предположить следующее: чтобы создать правдоподобный и неупрощенный образ, нужно сложить все его существующие портреты. Поставим ли мы во главу угла присущее ему сострадание или же, наоборот, отметим тему крушения судьбы — благодаря удивительной проницательности писателя крах ожидает почти всех его героев, — мы все равно не выразим главного. Ведь в любом случае мы ограничимся суждением нравственного порядка, которое всегда можно опровергнуть при следующем прочтении.

Достаточно сослаться на трактовку А. Зиновьева или В. Гроссмана в романе "Жизнь и судьба". Для Гроссмана главным в жизни и творчестве Чехова было весьма редкое для тогдашнего времени врожденное стремление к равенству и справедливости. И это в ту пору, когда не переносившая царского тоталитаризма интеллигенция усваивала весьма сомнительную концепцию коллективного действия. Скорее всего, глубокий философский скепсис мешал Чехову "живя с волками, по-волчьи выть". Однако прививкой против модных революционных идей, а также против мистического национализма Достоевского или обращенных к народу нравоучений Толстого, стало то, что Чехов очень рано — лишь только осознал значение и смысл литературного творчества, — вступил на единственный открывавшийся ему путь: тот, что ведет к трудно постижимой истине. И он инстинктивно чувствовал, что никакая мысль или философская доктрина не может эту истину с точностью отразить. Тогда он довел свою собственную концепцию до совершенства, ни разу не отклонившись от демократических убеждений, которые формировались с тех пор, как в детстве он испытал ужас отцовского гнета. Кроме того, Чехов никогда не стремился внушить своим читателям мысль, что из этого низменного мира существует достойный выход. И не подсказывал им украдкой, где искать спасение.

Посмотрел "Иванова". В целом играли хорошо, за исключением Жиля Рено, который был вяловат для исполнителя главной роли: выходило, что его герой был человек не страдающий, а просто малодушный. Сценография и музыкальное оформление — безупречны, однако постановке не достает изобретательности. И все же надо всем царило слово. Совершенно особенный реализм Чехова освобождается от натуралистических рамок благодаря поразительной авторской прозорливости. И как это всегда бывает в его творчестве, у автора болит душа за героев, страдающих от собственного несовершенства. Вернувшись домой, я погрузился в чтение избранной переписки Чехова, в которой нашел следующий ответ философу Шестову, упрекавшему его в нравственном равнодушии:

Только равнодушные люди способны ясно смотреть на вещи, быть справедливыми и работать – конечно, это относится только к умным и благородным людям; эгоисты же и пустые люди и без того достаточно равнодушны[1].



Десятки лет спустя Жорж Перро[2] написал по этому поводу: "Чехов льет жалость, как масло в огонь. И, однако, никого не стремится спасти из ада. Эта особая форма чеховского равнодушия обладает исцеляющей силой. Но какова ему цена?" Критик и переводчик Жорж Нива отмечает, что творчество Чехова "ставит нас в весьма трудное положение экзистенциального неудобства". Виктор Ерофеев, писатель, появившийся на волне гласности, – человек принципиально иной судьбы, нежели те, кто родились до него, в разгар сталинской эры, – утверждает: величие Чехова прежде всего в том, что он говорит правду, не пытаясь подсластить пилюлю. То же и в его переписке. Когда Чехов напоминает, что кровать лучше дивана, поскольку на ней удобнее заниматься любовью, – он, конечно же, не открывает Америку, однако "одно дело с этим согласиться, а другое заметить и написать". Чехов не боится описывать обыденность, в то время как писатель честолюбивый или осторожничающий никогда не стал бы интересоваться повседневностью, убежденный в том, что великому пристало говорить лишь о великом. В. Гомбрович усвоил урок Чехова и принялся исследовать жизнь низов, сделав ставку на маленького человека и проверяя свою мысль самой тривиальной конкретикой.

1. Письмо А. Суворину, 4 мая 1889 г., Сумы.
2. Жорж Перро (1923–1978) – французский писатель и переводчик А. П. Чехова.

# *На вопросы "ИЛ" отвечают квебекские писатели*

**1.** Как Вы стали писателем?

**2.** Назовите свои любимые книги и любимых писателей.

**3.** Российский читатель всегда высоко ценил французскую литературу. Не будучи хорошо осведомлен в квебекской литературе, он склонен отождествлять ее с французской. С вашей точки зрения, чего больше между французским и квебекским мироощущением: сходства или различий?

**4.** Что значит быть писателем в Квебеке в 2008 году? Каковы место и функция писателя в современном обществе?

## Андре Мажор

**1.** Я очень рано ощутил потребность писать. Побудило меня к этому чтение и наблюдение за окружающим миром. А еще — неосознанное желание ответить на многовековое молчание моих предков.

**2.** Их много: начиная с Кафки и "Путешествия на край ночи" Селина до великих прозаиков XIX века — Толстого и Флобера. А еще — А. Чехов, Ф. Ницше, Т. Манн, У. Фолкнер, К. Гамсун, В. Гомбрович, Р. Вальзер, М. Кундера, В. С. Найпол и В. Г. Зебальд. И конечно же мои любимые писатели Латинской Америки: Х. Л. Борхес, Х. К. Онетти, Х. Рульфо и Х. Х. Саер[1]. Среди наших, квебекских: Г. Руа, Ж. Феррон и великий ученый-ботаник Мари-Викторен.

**3.** Квебекское мироощущение довольно быстро обособилось от французского, чего не могли не заметить иностранные путешественники, посетившие нашу провинцию. Достаточно сказать, что квебекский характер формировался под влиянием сурового климата и смены колониальных режимов. Сказалось и смешение с ирландцами, шотландцами и теми, кого называли дикими аборигенами (последние и поныне остаются париями в нашем так называемом прогрессивном обществе).

**4.** В Квебеке, как и повсюду, литература стала маргинальной, а от писателя ждут, чтобы он играл роль королевского шута, которую ему отвели средства массовой информации. Есть писатели, которые вполне с этим согласны. Чтобы выжить, литература должна уйти в подполье, как во времена, когда свободная мысль считалась преступлением против власти. В наше время ее величество Власть — это демократически-меркантильное государство. Уже нет речи о том, чтобы "искать правду и ис-

1. Хуан Рульфо (1917–1986) — мексиканский прозаик, представитель "магического реализма". Хуан Хосе Саер (1937–2005) — аргентинский писатель и поэт. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

тину", как предлагал Найпол. Важно хотя бы спасти то, что может ими стать. Иными словами, душу нам подобных, если слово "душа" еще имеет смысл для них и для нас.



## Кароль Фрешетт

**1.** По окончании в 70-х актерского отделения Канадской национальной театральной школы я стала работать в труппе, в которой мы занимались коллективным творчеством. Мы сообща создавали сюжетную канву, а затем каждому полагалось написать мизансцену. Так я сделала первые шаги в драматургии. Когда наш коллективный проект себя исчерпал, мне уже было ясно: я хочу, чтобы делом моей жизни стало литературное творчество.

**2.** Среди драматургов я особенно люблю Чехова за его внимательный и точный взгляд, мудрость и отсутствие пафоса. Среди других любимых автров назову Беккета (особенно "О, прекрасные дни") и Бото Штрауса ("Большой и маленький"), Бернара-Мари Кольтеса[1] – за красоту и свободу его творческого почерка. Совсем недавно я открыла, что мне близок Метерлинк, которого до этого я мало читала. Среди прозаиков меня больше привлекают англосаксы: Фолкнер, Дос Пассос, Дорис Лессинг, Пол Остер, Джойс Кэрол Оутс, Дж. М. Кутзее, Нэнси Хьюстон (которая пишет по-французски и по-английски) и многие другие.

**3.** В области драматургии, как и во многом другом, квебекцы испытывают влияние нескольких литератур: будучи наследниками французской культуры, они тем не менее живут в англосаксонском окружении и принадлежат к общности, которая создала североамериканскую культуру. Ради упрощения я бы сказала, что французская драматургия стремится обновить театр, пересматривая ее основные элементы – персонажей, идею, действие – и превращая язык и поэзию в важнейший строительный материал своих пьес. Англосаксонская драматургия сохраняет свою приверженность этим базовым элементам, стремясь при этом подать их по-новому. В целом квебекские авторы ближе к англосаксонской традиции. В идеале они находятся на пересечении этих двух тенденций, соединяя поэтический порыв французов с точностью драматургической характеристики, свойственной англичанам.

**4.** Писатель рассказывает истории. В этом его основное предназначение. Он участвует, в меру своих скромных способностей, в создании единого общечеловеческого текста. Выделяя в хаотическом течении жизни конструкции с четко очерченными формами, он создает некий смысл. Писатель может также играть важную роль в обществе, используя свое мастерство, чтобы пробуждать мысли, вызывать споры, чтобы позволить людям увидеть свое отражение. При этом он не должен забывать: самое полезное из того, что он может сделать – это сочинять такие истории, от которых у читателя или зрителя захватывает дух, истории, в которых современники смогут узнать самих себя.

1. Бото Штраус (р. 1944) – немецкий прозаик и драматург, лауреат премии Бюхнера (1989). Бернар-Мари Кольтес (1948–1989) – французский драматург и режиссер.

# Дэвид Хоумел

**1.** В молодости я искал способ выразить себя, который в то же время не требовал бы саморазрушения. Мне повезло, поскольку я обладал определенными способностями и был дисциплинированным. С тех пор как я написал свою первую книгу, сочинительство стало моим основным делом.

**2.** Романы, в которых человек сталкивается с политикой. Грэм Грин, Кутзее (за исключением последних книг), Надин Гордимер, Джим Харрисон. В молодости я зачитывался Хемингуэем, Альгреном, Гвендолин Брукс[1] и писателями моего родного Чикаго.

**3.** Во Франции быть писателем — значит обладать неким социальным статусом, это факт классовой принадлежности. В Квебеке, как и на всем американском континенте, сочинять имеет право каждый. Однако мы здесь тоже немного зациклены на себе, как и французы. При этом наш рынок в сравнении с Францией просто крохотный. Литературная мода имеет меньшее значение, чем во Франции: мы можем спокойно работать, оставаясь в тени средств массовой информации.

**4.** Быть писателем — значит быть маргиналом. Но это везде и повсюду. В Квебеке писатель должен тщательно оберегать собственную личную свободу, иначе он окажется заложником местной политики.

# Жиль Аршамбо

**1.** Я стал писателем из-за неудовлетворенности жизнью. Мне хотелось мечтать.

**2.** Стендаль, Дидро, Чоран, Буццати, Жорж Перрос, Анри Кале[2]. Я отдаю предпочтение авторам, которые рассказывают о себе самих, но не через описание своих поступков, а исследуя свое сознание.

**3.** Чтобы ответить на этот вопрос адекватным образом, нужно было бы уточнить, каких писателей мы имеем в виду. Мне лично ближе французский дух. Если говорить о русской литературе, то я — на стороне Чехова. Должен признаться, что я все больше предпочитаю Толстого (но не того, что впадает в религию) Достоевскому, которого мне становится труднее и труднее читать.

**4.** Я считаю себя писателем, живущим в Квебеке. Мне трудно сказать что-либо помимо этого. Несмотря на то, что в течение нескольких лет я вел рубрику в одной газете, где излагал свою точку зрения на общественные проблемы, я слишком дорожу своей индивидуальностью, чтобы представить себе, будто играю какую-то особую социальную роль в стране, в которой мне суждено было родиться и предстоит умереть. На мой взгляд, истинный вклад писателя в жизнь общества состоит в литературном труде. В остальном же я — рядовой гражданин, не умнее и не глупее прочих.

1. Нельсон Альгрен (1909–1981) — американский писатель, автор романа "Человек с золотой рукой" (1949). Гвендолин Брукс (1917–2000) — афроамериканская поэтесса, лауреат Пулицеровской премии (1950).
2. Анри Кале (наст. имя Реймон-Теодор Бартельмес; 1904–1956) — французский писатель и журналист.

# Наим Каттан

**1.** Я с детства любил слушать рассказы и сам с удовольствием их сочинял. Мой первый рассказ, написанный на арабском языке, был опубликован, когда мне было 13 лет. Затем я перешел на французский, и моя первая книга, написанная по-французски, была издана, когда мне было уже 36. На этом языке я написал затем 40 других книг. Среди них — романы, новеллы, очерки, пьесы.

**2.** Меня поразила Библия. Писателей, повлиявших на меня, много. Назову Мольера, Пруста, Мальро, Шекспира, Достоевского, Сола Беллоу.

**3.** Квебекские писатели пишут на том же французском, что и писатели Франции.

Они читают французских классиков и — все больше — своих квебекских предшественников. Различие состоит в окружающей среде и истории. Несмотря на тесную связь с Францией, Квебек является частью североамериканского континента, он находится в окружении англоканадцев и соседствует с США. Очень существенно и то, что Канада — страна северная, страна снегов и лесов. Города здесь развиваются по модели северного полушария. Таким образом, родство с Францией реально, но в той же мере необходимо учитывать абсолютно иные условия.

**4.** У квебекского писателя, даже если он и иммигрант, как я, — важная роль. Во-первых, описывать реальность (так называется моя последняя книга), но также находить выражение самым разнообразным взглядам, возможным и необходимым в квебекском обществе. Верность языку, истории и традициям не мешает, а даже наоборот, проторяет путь к открытиям, всему новому — тому, о чем и должны громко заявлять писатели.

# Николя Дикнер

**1.** Случайно. Поскольку в Квебеке мало шансов заработать на жизнь писательским трудом, желающих сделать это профессией находится немного. Но часто бывает так, что выбор за вас делают обстоятельства и события: успехи, поражения и так далее.

**2.** Когда мне было 17 лет, я открыл литературу благодаря роману "Моби Дик", который до сих пор остается одной их моих самых любимых книг. Затем я с большим удовольствием стал читать Мишеля Турнье, Жоржа Перека и Итало Кальвино. В последние годы я увлекся Куртом Воннегутом и Харуки Мураками.

**3.** Французы всегда казались мне более интеллектуальными, более "концептуальными", чем квебекцы, однако я остерегаюсь обобщений. Не только потому, что не смею претендовать на полное знание французской литературы, но еще и потому, что мне кажется неверным делить литературу по национальному признаку. На мой взгляд, важнее межлитературные связи, общность тем и подходов.

**4.** В наши дни роль писателя становится заметнее, чем раньше, ведь от него все чаще требуется фигурировать в СМИ, нужно выступать перед публикой, ездить по школам — словом, быть на виду. Парадоксальным образом, само творчество начинает занимать все более скромное

ные связи, не старается ведь "испариться" ради того, чтобы получше интегрироваться в международное сообщество.

Проблемы языка тесно связаны с политикой: когда речь заходит о государственном регулировании языка, политические деятели действуют на редкость прагматично и эффективно. Язык неотделим от жизни нации, благодаря ему она объединяется, облекая свои мысли в слова. Если предстоит выбор между национальной независимостью и колонизацией по принципу федерализма, именно политическая мотивация одерживает верх над заботами лингвистов о сохранении языка. В нашем мире лингвистические границы постоянно смещаются, порой бывает нелегко сказать, где именно они пролегают — они переменчивы, как линии водораздела, но одно можно заявить с уверенностью: двуязычие — существовавшее в III веке в восточном бассейне Средиземноморья, или в присоединенной к Франции области Франшконте (официальное наречие патуа), или в обретшей независимость Бельгии, или в Канаде с ее Королевской комиссией, — такое двуязычие всего лишь очередной этап, который предшествует лингвистической унификации, часто сопровождающейся распадом больших многоязычных групп. Но не нужно ждать, пока нечто подобное произойдет и с нами: чтобы быстро что-то изменить, мы можем воспользоваться политическими инструментами. Группы, удерживающие в своих руках инициативу, имеют больше шансов войти в историю, чем те, которые и в сфере лингвистики, и в сфере политики проявляют пассивность по религиозно-этическим соображениям или исповедуют пацифизм и нейтралитет, избегая всяческих рисков. Политические акции всегда сопряжены с риском, но они во всяком случае вызывают движение, тогда как сглаживающий нейтралитет — наших федералистов, например, — лишь ведет к пустым разговорам. Нельзя отделить языковую политику от национальной — этот процесс не бывает безболезненным. Поэтому некоторые защитники французского языка в конечном счете становятся переводчиками или депутатами и ведут двойную игру — под видом лингвистики говорят о политике, создавая проблему в высшей степени политическую.

# Гастон Мирон
# *За деколонизацию языка!*

*Перевод* Елены Богатыренко

## *Как обстоит дело с языком в Квебеке?*

Сразу хочу сказать, что я не лингвист. Если я говорю о языке — своем, нашем языке, — то лишь как писатель, имеющий дело со словом. Мои доводы основаны скорее на размышлениях и на социолингвистических наблюдениях, чем на изучении языка как такового. Общаясь с другими людьми и пытаясь выразить свои мысли, я столкнулся с некой недостаточностью — языковыми трудностями, провоцирующими болезненные конфликты. Именно тогда я задумался о себе не как о писателе, но как о человеке говорящем. И провел своего рода суд над собственной речью, вернее, над языком как ее неотъемлемой частью. Ведь именно речь является инструментом общения и, как говорит Андре Мартине[1], "взаимопонимания" людей. Я попытался понять, как функционирует мой язык и какова роль бытового языка, если рассматривать его в масштабах моего окружения и всего общества. Тогда я решил, что в значительной степени превратился в иностранца, что незаметно для меня мой язык подвергся вторжению чужого языка, в данном случае — английского. Я не владел английским, но его влияния мне не удалось избежать: я знал около сотни устоявшихся выражений, вроде "Where is Peel Street?"[2], что позволяло мне функционировать в обществе. Увидев предупреждение "Glissant si humide"[1], я думал, что оно написано по-французски, но смысл его был ясен только потому, что одновременно я читал: "Slippery when wet"[2], ведь на самом деле это был французский на английский манер. В течение десяти лет сотни раз, выезжая на автострады, я не вздрагивал при виде надписей: "Automobiles avec monnaie exacte seulement / Automobiles with exact change only — Partez au vert / Go on green[3]". И тысячи других людей вели себя так же. В один прекрасный день я испугался, что лишаюсь разума: в этом колониальном, мгновенно устанавливающемся двуязычии я перестал распознавать знаки моего родного языка — ведь французский таковым больше не являлся. Когда, сам того не замечая, ты забываешь родной язык и становишься ему чужим — это особая форма лингвистической неполноценности, в которой отражается неполноценность более общего порядка — социальная. Речь идет о том, как франкоканадцы, точнее — квебекцы, относятся к собственной культуре и реализуют себя в политике и экономике.

## *Всегда ли было так?*

Все больше людей осознают неблагоприятность языковой ситуации в Квебеке и даже пытаются ее исправить, однако до окончательного решения проблемы еще далеко. Что бы мы ни предпринимали, мы упираемся в реальное положение вещей. Наш язык как средство общения и

© 1998 Éditions Typo et succession Gaston Miron (Marie-Andrée Beaudet et Emmanuelle Miron), 1998
© Елена Богатыренко. Перевод, 2008

1. Андре Мартине (1908–1999) — французский лингвист, один из последних крупных теоретиков структурализма. (*Здесь и далее, кроме специально оговоренного случая, – прим. перев.*)
2. "Где находится Пил-стрит?" (*англ.*)

1. "Скользко, если мокро" (*франц.*).
2. "Скользко, когда мокро" (*англ.*).
3. "Автомобили — только без сдачи / Автомобили — только без сдачи — Трогайтесь на зеленый / Трогайтесь на зеленый" (*франц. / англ.*).

даже как средство мышления попрежнему вынужден существовать в условиях диглоссии. Этот термин означает, что в том или ином сообществе используется либо родной, привычный, но менее престижный язык (в данном случае французский), либо язык, считающийся более "ученым", более изысканным и престижным (в Квебеке это английский). Впрочем, ситуация осложняется еще и тем, что мы не просто боремся с языком, который принято считать престижным (то есть с английским), но даже среди говорящих на квебекском и французском отыщутся люди, которые добиваются, чтобы мы пользовались международным французским также и в силу престижности. И здесь необходимо опять задуматься о статусе говорящего: с одной стороны, о положении квебекца в обществе, которое по-английски называют canadian society[1], и с другой — среди себе подобных. А ведь квебекский язык не сулит продвижения по социальной лестнице. Носителям этого языка довольно удобно и легко общаться, лишь когда это связано с их собственной культурой, будь то церковь, школа, семья, сфера обслуживания, просветительские мероприятия. Кстати, именно в этих областях квебекец хотя бы частично наделен полномочиями, за которые его отцы ожесточенно сражались во время многочисленных парламентских войн и на которые он опирается, чтобы сохранить себя как культурную и языковую единицу. Только отчаянная борьба за права франкоязычного населения Канады помогла хоть в какой-то мере сохранить квебекские разговорные диалекты до наших дней, иначе они уже давно превратились бы в фольклорные анклавы. Однако за пределами культурной и общественной жизни коммуникативные возможности квебекца на три четверти сужаются, он ни на что не влияет, его вновь и вновь загоняют в "естественные" границы. Вследствие чего он начинает воспринимать свою культуру и ее продукт — то есть язык — как нечто обесценившееся, годное лишь для домашнего употребления. Подобное восприятие возникает и тогда, когда доступ к доминирующим ценностям обеспечивается лишь чужим языком. Сколько раз мне приходилось слышать: "Ну, это человек образованный (или культурный): он владеет английским". В такой ситуации становится уже неприличным называть лошадь французским словом *cheval* или его квебекскими вариантами *joual, ouéoual*... А если вспомнить о кампаниях, проводимых под флагом борьбы за правильный язык и за то, чтобы "уважающие себя люди говорили грамотно"... единственно допустимым, единственно уместным окажется слово *horse*. К тому же после 1969 года[1] можно ожидать чего угодно! Квебекец не повинен в этой ситуации, ему нечего краснеть за свой язык, складывающийся из разных диалектов, за язык, который — вопреки всему — существует.

1. Канадское общество (*англ.*).



## *Какое влияние ситуация двуязычия оказывает на местный язык?*

Обычно под двуязычием понимают способность человека общаться на двух языках с одинаковой легкостью. Если распространить это понятие на два языковых сообщества, то в идеале следовало бы говорить о двух языках, которые не конкурируют и не конфликтуют между собой, имеют одинаковый статус, равную степень престижности и не отличаются сферами использования. Однако в данном случае картина иная. Речь идет о двух языках, имеющих идентичный статус и совершенно полноценных, но один их них — английский — воспринимается в canadian society как более престижный, и, следовательно, мы не можем сказать, что оба языка

1. В 1969 г. в Канаде был принят закон об официальных языках, который провозглашал равенство английского и французского во всех звеньях федерального государственного аппарата, и разрешал применение двуязычия в районах, где число говорящих на втором языке превышает 10 %, как и изучение французского языка чиновниками.

существуют в равных условиях. Изначально речь идет о структурном двуязычии, обязательном только для Квебека, распространяющемся лишь на квебекцев. Но в canadian society двуязычными официально признаны только федеральные организации и службы; во всех остальных структурах двуязычие — личное дело кадровых работников, а также отдельных лиц, озабоченных проблемами культуры. Во всяком случае сегодня. Однако колониальная элита поддерживает миф об идеальном двуязычном коллективе, в идеальности которого сомневаются только квебекцы, для чего она прибегает к бесконечным запугиваниям и аргументам прямо-таки террористического характера — дескать, "нас окружают двести пятьдесят миллионов англоговорящих", ну и так далее. Давно пора развеять эти страхи... В конце концов положение языка ничем не лучше положения квебекца. Контекст, в котором вынужден существовать язык, создан колониальной системой и сменившими ее полуколониальными структурами. Язык, как и квебекец, ставший жертвой колонизации, превратился в язык подавляемый. Я имею в виду, что с социальной точки зрения в большинстве жизненно важных сфер общения язык колонизатора либо вытесняет наш родной, либо подминает его под себя. Мало-помалу в нашем языке появляются самые невероятные лингвистические гибриды. Возьмем в качестве примера фразу, которую я уже приводил: "Automobiles avec monnaie exacte seulement / Automobiles with exact change only". Стоит убрать английский текст, и "французские" слова потеряют всякий смысл: чтобы они обрели значение, необходим английский контекст. Французский тут не самостоятелен — он использует не свою, а чужую систему знаков, не свои, а чужие правила. Не свои, а чужие ориентиры (жизненные реалии, к которым отсылает язык); мерилом для него служит другой язык, который и устанавливает связь с реальностью. Оторванный от реалий язык находится в состоянии угнетения. В любом случае, в canadian society нам приходится прибегать к переводу, потому что так мы, по крайней мере, избегаем опасности окончательно перейти на язык партнера. Но это значит, что в подобных условиях квебекский язык рискует превратиться в переводной; впрочем, в некоторых сферах это уже произошло. Итак, мы вынуждены иметь дело с языком пассивным, подчиняющимся чужим ограничениям, языком, который уже не изобретает и не создает ничего нового, не приспосабливается к появившимся нуждам и требованиям. Он уже не развивается по законам внутренней динамики. Было бы странно, если бы в ситуации двуязычия и массового повседневного перевода язык не деформировался. Впрочем, не следует недооценивать сопротивление, отторжение ассимиляции. Человек, произносящий: "Mon dome light est locké", или "Y a eu un storm hier", или "Le dispatcher m'a donné ma slip pour aller gaser"[1], говорит по-квебекски, строит фразы в соответствии с языковой системой французского языка, и жаловаться остается лишь на недостаток словарного запаса, обусловленный причинами социологическими, а не лингвистическими. Такого рода языковые соприкосновения достаточно поверхностны. Они не идут дальше лексических заимствований, которые часто носят временный характер или быстро усваиваются. Гораздо важнее языковые влияния, следствием которых является трудно уловимый и всесторонний симбиоз, воздействующий на синтаксическую систему языка. Мне кажется, что разговорный язык страдает в меньшей степени, чем письменный. Приведем примеры: "Ne dépassez pas quand arrêté"[2] или "Pharmacie à prix coupés"[3]. Это вовсе не новый язык, как утверждают некоторые, а передача сообщений другого языка посред-

1. "У меня перегорел плафон", "Вчера была гроза", "Диспетчер дал мне талон на заправку" (смесь французских и "офранцуженных" английских слов).
2. "Не пересекайте, когда останавливаетесь" (То есть останавливаясь перед стоплинией) (*франц.*).
3. "Аптека с урезанными ценами" (То есть лекарства по доступным ценам) (*франц.*).

ством нашей языковой системы: чужой язык наполняет наш своими кальками. Те, кто пытается изгнать лексические англицизмы из нашей речи, не найдут в вышеприведенных примерах ни одного предательского английского слова – и тем не менее это английский французский. Средства нашего языка сдают позиции под напором чужого кода. В результате возникает бессмыслица или какой-то другой смысл, не тот, который говорящие пытались вложить в слова. И такая тарабарщина (пора называть вещи своими именами!) встречается на каждом шагу – на работе, в учреждениях, в рекламе, в торговле, на вывесках, в юридических текстах. Недавно я читал контракт, составленный одной кинокомпанией, – совершенно невразумительный; чтобы не попасть впросак, пришлось обратиться к английскому тексту. А что уж говорить о знакомых каждому "инструкциях" на этикетках товаров – повсюду тарабарщина! То обстоятельство, что очень многие ученые, специалисты, технические сотрудники и дети получают в Квебеке образование только на английском языке, лишь способствует распространению этого "языка заимствований". Сегодня в Квебеке к проблемам языка относятся более сознательно. Положение, конечно, серьезное, но главная, гибельная угроза состоит в том, что наш язык постепенно перестает быть нужным. В огромном canadian society соотношение сил все чаще меняется не в нашу пользу. К тому же мы по-прежнему играем слишком незначительную роль в политической жизни, тогда как англоязычные властные структуры приобретают все больший вес, ограничивая наш суверенитет.

## *Как изменить сложившуюся ситуацию?*

Одним-единственным способом. Нам необходимо срочно покончить с колониальным существованием. Тогда деколонизация языка произойдет сама собой. В сложившейся ситуации воздействовать на язык непосредственно нельзя; можно только, как мы и делаем, апеллировать к отдельному человеку, к мотивам его поведения. Если изменятся общие условия функционирования языка, через какое-то время (обозначим его как *X*) сам собой восстановится и язык. Восстановится – через обучение и практику. И начнет функционировать на основе собственной знаковой системы, собственных законов. В естественных условиях взаимовлияния и обмена он сможет использовать элементы чужого языка как собственные, не ломая структуры. Совершенно очевидно, что язык легитимен, когда люди используют его для общения, но, если этот язык хочет получить статус национального, общение должно происходить только на нем. Создать условия для той или иной культуры и для языка как средства коммуникации может только политика...

## *Речь идет о квебекском языке. Существует ли он на самом деле?*

Если существует квебекский народ и квебекская культура, если, как я надеюсь, в ближайшем будущем этой культуре будет придано некое политическое измерение и мы получим возможность не просто быть, но и ощущать себя частью мира, значит, существует и квебекский язык. И он играет важнейшую роль в утверждении нашей идентичности, нашего отличия от остального мира. Чем же он характеризуется? По большому счету, квебекский язык не является отдельным языком в той его части, которая касается денотации (буквального значения), не считая некоторых ограниченных сфер лексики. С этой точки зрения, наш язык остается членом французской семьи, разновидностью французского языка. Некоторые утверждают и даже пытаются внушить остальным, что мы говорим уже не на французском, а на каком-то другом языке, или, может быть, создаем какой-то новый язык! Такие утверждения противоречат выводам лингвистов. Могу подтвердить, сославшись на личный опыт, что между французами и

квебекцами нет непонимания, разве что иногда требуется то или иное уточнение, которое не представляет трудности ни для одной, ни для другой стороны. Не надо искажать суть дела. Если бы мы действительно говорили на другом языке и квебекские диалекты не были основаны на общей французской языковой системе, мы не могли бы читать французские книги, французские журналы, смотреть французские фильмы и тому подобное. Однако это не так. На мой взгляд, если квебекский язык в чем-то и специфичен, то лишь в коннотациях (измененных, смещенных или дополнительных значениях слов, в их смысловых вариантах, эмоциональных и экспрессивных выражениях).

## А *жуаль?* На *нем написано что-либо существенное?*

С этим термином связано много путаницы, никто толком не знает, что он означает. Но проблема не в этом: жуаль не входит в число квебекских диалектов. Можно сказать, что он находится на стыке между квебекским языком бытового общения и английским, что обеспечивает их слияние, то есть чужая языковая система и ее кальки включаются в мой родной язык. В результате мой язык оказывается "пораженным" в правах – в своей самостоятельности, своей суверенности! Of horse![1] С политической точки зрения споры по поводу того, как следует произносить слово "лошадь" – cheval или joual – не более чем попытка отвлечь внимание от сути: пока мы ломаем копья, в двухголовом canadian society слово *horse* получает все более широкое распространение. На самом деле вопрос в следующем: говорить horse или же употреблять все прочие варианты: cheval, joual, ouéoual? Иначе в долгосрочной перспективе мы рискуем потерять это слово вообще. Какая разница, как мы будем называть дерево – arbre, âbe, arbe? Пока мы не произносим tree, мы говорим по-квебекски. Иными словами, создавая некое произведение, автор волен использовать все уровни языка. Но ни книга – даже самая гениальная, – ни собрание книг, отвечающее определенным эстетическим критериям и выстроенное по законам литературного языка, не могут считаться языком повседневного общения. Сейчас существует общественно-культурное движение, которое стремится представить язык как совокупность литературных текстов – и ничего больше. Из чего следует, что говорить нужно, используя словарь этих текстов. С точки зрения лингвистики такая позиция совершенно абсурдна. Продолжая в том же духе, я хотел бы оспорить очень распространенный постулат: язык, на котором мы говорим, это и есть наш язык. Это совершенно ложное утверждение. Андре Мартине пишет: "Ни одно лингвистическое сообщество нельзя рассматривать как состоящее из индивидуумов, говорящих на абсолютно идентичном языке". А на территории Квебека люди говорят на множестве диалектов. Не верен оспариваемый постулат и для колоний. Возьмем, к примеру, десятки тысяч алжирцев, которые не знали арабского, а говорили только по-французски: разве французский стал их родным языком? Сегодня, освобождаясь от ига колониализма, они заново учат арабский. Так будем же и впредь говорить по-квебекски или выучим квебекский вновь![1]

1. Игра слов: Of course! – конечно! (*англ.*) Of horse – лошадиный. При этом, слово "cheval" (лошадь) в монреальском произношении звучит как joual, и в то же время жуалем называют жаргон французского языка, сформировавшийся среди франко-канадского рабочего класса в Монреале в конце XIX – начале XX века.

1. Разумеется, квебекский – это французский. (*Прим. автора.*)

# Мордехай Рихлер
# *Что заставляет меня писать*

*Перевод с английского* Светланы Силаковой

Эти строки я пишу в октябре 1970 года, только что закончив устрашающе длинный роман — побасенку, начатую пять лет назад и на обратной стороне Луны, — а потому, само собой, очень переживаю за состояние романа в целом. А не умер ли роман? Умер-умер, и не в первый раз — совсем как Бог и киностудия "Метро-Голдвин-Майер". Так глаголет святой отец Маклюэн — он написал: "Эпоха Письма миновала", — а дочка Дилана Томаса только что ехидно возвестила из Рима: "Романов больше никто не читает".

Мне скоро исполнится сорок. Переучиваться на учителя — возраст уже не тот. На гитариста — тоже староват. Я, точно кузнец, нахожусь в рабстве у единственного известного мне ремесла. Но, когда я угрюмо размышляю о судьбах романа и о том, что мода на него миновала, душа у меня болит не за мастеров, уже набивших руку, а за новичков — за восторженных юношей, зараженных изнурительной болезнью, самый ранний симптом которой — сочинение первого романа. Для неоперившихся прозаиков сейчас не самые благодатные времена.

Взглянем на дело так. Большинство издателей, выявив в прямой кишке полип, не отчаиваются, а соблазняют хирурга повышенным авансом. Они знают, велики ли шансы на благополучный исход. Знают толк в неизлечимых болезнях. Когда им предлагают первый роман или, боже сохрани, книгу рассказов — какое бесстыдство! — они велят принести гроссбухи, эти мартирологи трагедий минувшего сезона. Списки блистательных новых гениев, которых никто не захотел читать. Гениев, чье место теперь скорее в макулатуре, чем в культуре, как заметил однажды журнал "Тайм".

Поверьте моему опыту. Катя перед собой тачку со своей тяжеленной рукописью — с нее требовалось сделать ксерокопию, — я невольно вспоминал об "Акробатах", своем первом романе, увидевшем свет в 1954-м, когда мне было двадцать три. Тогда я жил в Монреале, и мой британский издатель Андре Дейч настоял, чтобы перед отплытием в Англию я повидался с канадским распространителем его книг. Я сел в ночной автобус компании "Грейхаунд" и в семь утра оказался в Торонто, где у меня вообще не было знакомых. До девяти тридцати — начала рабочего дня в офисах — я шатался по душным летним улицам.

Канадский распространитель мыслил отрезвляюще-реалистично. Он не стал занимать меня светскими разговорами о стилистике, тематике или повлиявших на меня авторах.

— Вы какую книгу написали — толстую или тонкую? — требовательно спросил он.

— Тонкую, — признался я.

— Толстые здесь идут лучше.

До меня все доходит, как до жирафа. Я выпустил еще пять тонких книг, а потом все-таки выдал на-гора первую толстую — "Всадника с Сент-Урбен-стрит"[1], целых сто восемьдесят тысяч слов. И теперь, забирая семь экземпляров, я не преминул подсчи-

1. Сент-Урбен-стрит (рю Сен-Урбен) — улица в Монреале, где проживали преимущественно евреи. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

© Mordecai Richler Productions Inc., 1973
© Светлана Силакова. Перевод, 2008

тать, что восемьдесят фунтов стерлингов, потраченные сейчас на ксерокс, немногим меньше аванса в счет авторских, который мне выдали в британском издательстве шестнадцать лет назад за первый роман. Американское, "Г. П. Патнэмс санс", было щедрее — перевело мне семьсот пятьдесят долларов. Но, получив каталог, я упал духом. В то время "Патнэмс" экспериментировало с новой формой книготорговли. Если книга вам не нравилась, вы могли сдать ее обратно в магазин и без объяснений получить назад деньги. Мне бросилось в глаза, что эта гарантия не распространялась только на два названия в осеннем каталоге: на мою книгу и вещицу другого молодого писателя.

В итоге "Акробаты" разошлись в Англии примерно двухтысячным тиражом, а в Штатах объем продаж не дотянул и до тысячи, зато — как я подчеркнул в разговоре с моей тетушкой, приехав погостить в Монреаль, — роман перевели на пять иностранных языков.

— Наверно, — предположила тетя, разглаживая на коленях юбку, — книги нынче в дефиците.

Мой дядя, тоже критик, изумился, подсчитав, сколько я заработал в пересчете на затраченное время. Подстригая его газон, я выручил бы больше, а заодно поправил бы здоровье на свежем воздухе.

Ох, роман, роман...

Напишите монографию о бабочках доколумбовой эпохи, составьте хронику колониальной администрации в королевстве Тонга, и, может статься, Найджел Деннис[1], самый остроумный и проницательный из британских рецензентов, иронично возвеличит вашу книгу в эссе на тысячу слов в "Санди телеграф". Или Малкольм Маггеридж[2] возьмет ее за отправную точку для пространной проповеди, в очередной раз осудив молодое поколение гадюк, которое еще много лет будет радоваться жизни после того, как Маггеридж уйдет на блаженный покой, о котором уже всем уши прожужжал. Но романы, еженедельно вылупляющиеся выводками штук по двадцать, в Англии редко удостаиваются отдельных статей. Шестнадцать терпят неудачу на старте. Или, если взглянуть в иной плоскости, становятся мздой для литературного обозревателя. Неофициальной прибавкой к гонорару голодного рецензента. Критик даже не обязан их читать: по негласной договоренности он имеет право сбыть эти книги за полцены торговцу с Флит-стрит[1]. Четыре уцелевших попадают в стандартный обзор новинок художественной прозы. Один из этих романов появился на свет исключительно для того, чтобы его потопили в финальном беспощадном абзаце, а два ложатся на весы объективности критика: эти вещицы подают кое-какие надежды, но, увы, скучны. И лишь единственный роман из шестнадцати занимает особое место. Но он должен стать лидером в четырех из пяти авторитетных газетах — например, в "Санди таймс", "Обсервер", "Таймс" и "Гардиан", — прежде чем его вообще заметят, а не то что купят.

— В сущности, — сказал мне один нью-йоркский редактор, знакомый с проблемой не понаслышке, — мы пытаемся продавать товар, который никто покупать не хочет. Никому не нужный. В том-то и загвоздка.

Нас уверяют: роман свое отжил, и в эру Водолея кино, старик, кино — вот что оправдает пути Творца перед тварью убедительнее, чем какая-то там художественная проза[2]. Если

1. Найджел Деннис (1912–1989) — английский прозаик, критик, драматург и редактор.
2. Малкольм Маггеридж (1903–1990) — британский журналист, писатель, сатирик и телеведущий.

1. Улица в Лондоне, где много лет размещались редакции газет и издательства.
2. Здесь Рихлер перефразирует строки Альфреда Хаусмена: "Солод [т. е. спиртное, приготовленное с использованием солода. — *С. С.*] делает для оправдания путей Творца перед тварью больше, чем способен сделать Мильтон". Фраза Хаусмена, в свою очередь, отсылает к строкам из поэмы Мильтона "Потерянный рай": "Исполни светом тьму мою, возвысь / Все бренное во мне, дабы я смог / Решающие доводы найти / И благость Провиденья доказать, / Пути Творца пред тварью оправдав". Перевод Аркадия Штейнберга.

надо скоротать дождливый день, кто захочет выложить сорок шиллингов за чтение полностью одетой Дорис Лессинг, если за десять можно лицезреть, как Джейн Фонда нагишом старается для твоего удовольствия и во имя высокого искусства, а на сдачу взять себе джина?

Буду справедлив: издатели и писатели продолжают искать выход. Чего они только не перепробовали. Романы по типу колоды карт: перетасуй и читай в любом порядке. Романы наподобие анекдотов или касс взаимопомощи: чтобы побыстрее управиться, собираешь сослуживцев и предлагаешь всем накатать по главе — "Нагим пришел незнакомец", "Я знал Дэзи Сматтен"[1]. Или романы, заменяющие секс. Зачем утруждаться, зачем переживать: "А вдруг не получится"? Просто погрузись в "Искателей приключений", где Дакс, этот жеребец, самым распрекрасным образом кончит вместо тебя[2]. А рано или поздно кто-нибудь додумается издавать кассеты. Зачем надрываться, переворачивая страницы? Вставьте эту штучку в магнитофон и послушайте. "Новинка! Текст Эмиса! Исполняет Ракел Уэлч![3]"

Совершив недавно тур по канадским университетам, я обнаружил, что вызываю жалость — несчастный, до сих пор пишет романы в эпоху, когда всякий скажет, что литература больше "не котируется". Что ж, я пробовал вступить на альтернативное поприще, подсказываемое логикой, — писать сценарии. Но это не совсем по мне, хотя я и теперь иногда работаю для кино.

1. "Нагим пришел незнакомец" — литературная мистификация, осуществленная группой известных американских журналистов в 1969 году. Авторы ради эксперимента сочинили пародию на бульварный роман и издали под псевдонимом. Книга имела большой успех у читателей: ее пародийность не была осознана. "Я знал Дэзи Сматтен" — роман, написанный группой британских журналистов (1970) под руководством Хантера Дэвиса.
2. "Искатели приключений" — роман Гарольда Роббинса.
3. Ракел (Рейчел) Уэлч — американская киноактриса. В 60–70-е годы считалась секс-символом.

Беда в следующем: я, как и почти все прозаики, от природы склонен годами корпеть над текстами, которые ни с кем не обсуждаю. После этого сценарии кажутся чем-то вроде того, что Трумэн Капоте именовал "групповым спортом". Однако же, когда пять лет сидишь в четырех стенах наедине с незаконченной книгой, выматываешься невероятно. Иногда садиться поутру за письменный стол — одно удовольствие, но порой (и не реже) — сплошное наказание. Причем это ты сам себя наказываешь, а не чужой дядя. Случаются фальстарты, случается ошибиться поворотом. Случается, после нескольких недель нечего продемонстрировать, кроме заточенных карандашей и переставленных по-новому книг на полках. Я раз десять переделывал главы, которые в итоге совершенно никуда не вписывались и целиком летели в корзину. По иронии судьбы — я бы даже сказал, по закону подлости, — обычно именно те пассажи, с которыми я больше всего вожусь, выращиваю их в теплице, так по-настоящему и не оживают, зато страницы, состряпанные наспех, с крайне подозрительной легкостью, впоследствии оказываются бесподобными.

Когда "Всадник с Сент-Урбен-стрит" погарцевал на мне год с лишним, я, удрученный тем, что расходы на учебу детей растут, сбережения тают, а работа продвигается в лучшем случае рывками, вконец забуксовал, и оставалось лишь отложить рукопись в сторону. Я начал второй роман и, охваченный какой-то горячкой, написал его за год, — то был "Нахал". Энтони Бёрджесс в журнале "Лайф" зааплодировал, "Тайм" высказался одобрительно, "Ньюсуик" ликовал, а британские рецензии почти сплошь состояли из славословий. Польщенный и слегка оздоровивший свое финансовое положение, я решил вернуться к работе над "Всадником". Мне как раз предстояло после двенадцати лет, прожитых в Лондоне, вместе с женой и пятью детьми на год переселиться обратно в Монре-

аль — занять вакансию "writer in residence"[1] в моей альма-матер, университете сэра Джорджа Уильямса. Если называть вещи своими именами, то это была возможность взамен на руководство семинаром по "литературному творчеству" (академический час раз в неделю) продолжать работу над романом, не особо беспокоясь о деньгах.

Теоретически то были идеальные условия — ветер дул самый что ни на есть попутный, — и потому я в девятый раз приступил к первой странице "Всадника с Сент-Урбен-стрит". Но не успел я особенно продвинуться, как под ложечкой у меня засосало — донимало ощущение, будто где-то, невесть где, я потерял сам не знаю что.

Работа не клеилась. Каждый день я прямо с утра переключался на какую-нибудь статью или рецензию — все равно их давно пора сдавать. Или писал друзьям письма, жалуясь на судьбу. Или просто рисовал на бумаге каляки-маляки до одиннадцати утра, когда все равно становилось поздно и было уже не зазорно выйти из дому и прогуляться по центру. О Сент-Кэтрин-стрит, "истинный стержень Монреаля", как зовет ее дуайен наших светских хроникеров! Прикидываешься, будто перелистываешь всяких третьеразрядных писателей, а сам потихоньку любуешься стопками "Нахала", переизданного в бумажной обложке[2].

Или можно сходить в кино — тоже вариант. Стричь нематериальные купоны со своего статуса: захочу — посмотрю фильм, сценарий которого писать отказался. Собственно, в какой фильм ни ткни, я наверняка обнаружу своих — очень может статься, что я знаком с режиссером или со сценаристом, или даже с кем-то из исполнителей главных ролей.

Вот я и проболтался. Тайное стало явным. В Лондоне я ошиваюсь на периферии высших кругов, много о ком знаю всю подноготную. Мне известна взрывоопасная информация. Например, кто среди нынешних министров — ненасытный педераст. Который из бестселлеров в действительности склеен ловкачом-редактором с миру по нитке. Какая иссохшая голливудская дива охоча до групповухи с волосатыми неаполитанцами, официантами из "Мирабель". Не стану лукавить. После восемнадцати лет на писательском поприще я не совсем безвестен: кое-какими знакомствами обзавелся, о чем свидетельствует статья в "Оксфордской энциклопедии канадской литературы" — справочнике, без которого как без рук.

"Рихлер, Мордехай (р. 1931). Родился в Монреале, учился в колледже сэра Джорджа Уильямса [ныне — одноименный университет], два года прожил за границей. В 1952 году вернулся в Канаду и поступил на работу в телерадиокомпанию "Си-би-си". Ныне живет в Англии, где пишет киносценарии, романы и рассказы. Ключевая тема романов Рихлера..."

Спустя восемнадцать лет и шесть романов я все равно больше всех дорожу своей первой, самой беззащитной книгой: "Акробатами" — и не только потому, что обязан ей первым упоминанием своего имени в канадских газетах (проницательный колумнист некоего издания в Торонто сообщил из Лондона: "Вы еще не слыхали имени Мордехай Рихлер, но постарайтесь его запомнить: эта Рихлер достойна внимания"). Есть еще одна причина: это единственная вещь, которую я мог писать просто для самого себя, в абсолютной, глубоко затаенной уверенности, что ее даже дурак не издаст. Писать, не сомневаясь, что все редакторы отфутболят рукопись, приложив снисходительный письменный отказ, и я смогу, добросовестно провалившись, вернуться из Парижа в Монреаль и взяться за дело — приступить к поискам работы. Настоящей работы.

1. "Проживающий писатель" (*дословно, англ.*). В англоамериканской практике — литератор, получающий от высшего учебного заведения или другого учреждения стипендию и, возможно, жилье в обмен на преподавание и литературные чтения.
2. Издание книг, относящихся к категории "серьезная проза", в бумажной обложке — признак успеха: значит, книга востребована читателями и удостоилась переиздания. Первое издание обычно выпускается в твердом переплете.

Я действительно вернулся в Монреаль без гроша в кармане, пока моя рукопись колесила по издательствам. Отец — мы с ним не виделись два года — сказал: "Пойдем-ка на машине покатаемся".

— Я слышал, ты в Европе роман написал, — сказал он мне.

— Написал.

— А как называется?

— "Акробаты".

— Да что ты понимаешь в цирке?

Я пояснил, что название метафорическое.

— А он про обычных людей или про евреев? — спросил отец.

К моему изумлению, Андре Дейч вызвался напечатать роман. Теперь, когда меня спрашивали, чем я занимаюсь, я мог ответить: "Я писатель", не показавшись сам себе лжецом. Правда, после возвращения в Хампстед, предаваясь полуночным размышлениям, я иногда переставал в это верить, но мог указать себе на вещественное доказательство — "Акробатов", тут и там попадавшихся в витринах. Мой роман выставлен на продажу бок о бок с всамделишными! Ни одна публикация так не мучит и так не окрыляет, как первая в жизни.

Постепенно проникаешься уверенностью, что все, тобой написанное, будет издано. После первой книги сочинение романов — уже не признак чрезмерного самомнения. Писательство становится еще и заработком. Правда, рецензии и сегодня то радуют, то уязвляют меня, но время на написание следующего романа покупается только за счет продаж предыдущего. Подчеркну: есть несколько критиков, чьи похвалы я ценю, чей суровый укор причиняет мне боль, но в основном я, как и другие писатели, уже привык относиться к рецензиям, как к биржевой сводке. Читаешь и прикидываешь: вот эта поможет продвинуть роман, а та — ни на дюйм.

Как подметил Джордж Оруэлл, работа над романом — это ужасная, изматывающая борьба. "Никто не взялся бы за такое дело, если бы его не побуждал какой-то демон, демон, которого нельзя ни понять, ни оказать ему сопротивление"[1]. И вот еще что. Каждый роман — это неудача: иначе писателя ничто бы не заставляло начинать с нуля новый. И никакая литературная критика его не переубедит. Иногда я сам выступаю в роли критика, а потому могу со всей ответственностью заявить: для рецензента главное — достучаться до читателя, а не до писателя. Долг критика — прославлять хорошие книги, а плохие, лживые отсекать.

В 1954 году, когда я напечатался впервые, считалось самоочевидным, что заключить контракт на киносценарий — значит, продаться (Дэниэл Фукс, Кристофер Ишервуд, Ирвин Шоу), а добродетельные, верные призванию литераторы идут преподавать в университеты. Теперь в Канаде и, рискну предположить, в Штатах все, кажется, наоборот. Творческая молодежь рвется в кино, а литературные поденщики удаляются в университеты; я употребляю слово "кажется", так как, к счастью, есть исключения.

Все мы склонны романтизировать стезю, на которую едва не вступили. В моем случае — это профессорская кафедра, где, вместо того, чтобы — хочешь не хочешь — добывать для семьи мясо, мне оставалось бы просто ставить на нем штампы, отвергая данную говяжью лопатку как эрзац Хэнка Джеймса, а тот свиной бок как Джимми Джойса второй свежести. В мечтах я видел себя уже не задерганным фрилансером, который не в силах предвидеть свой доход наперед и вечно прикидывает, стоит ли овчинка выделки, много ли свободного времени купишь на гонорар от журнала N или кинокомпании X... Увольте. Прихлебывая "Тио Пепе" в профессорском клубе, уютно устроившись в своем кожаном кресле с высокой спинкой, окруженный другими учеными-бессребрени-

1. Здесь и далее цитаты из Дж. Оруэлла даны в переводе В. Ф. Мисюченко. См. Джордж Оруэлл. Почему я пишу. — В кн.: Джордж Оруэлл. Эссе. Статьи. Рецензии. — Пермь: КАПИК, 1992. Том II, с. 7–14.

ками, я не стал бы – раз уж мне гарантирован ежемесячный оклад – беседовать о столь низменных вещах, как деньги.

– Профессор Рихлер, а почему бы вам... эгм-м... на летних каникулах самому не написать... э-э-э... роман?

– Видите ли, доктор Лемминг, я, как и вы, слишком уважительно отношусь к традициям, чтобы извращать их в моих беспомощных опусах.

– Метко сказано.

– Да-да.

Увы, университетская кафедра, точно так же, как девушки, виски и литература, сулит больше, чем дает. Теперь, один сезон покрутившись у преподавательской кормушки, я знаю: жанр варьете не вымер и не был истреблен телевидением, а лишь мигрировал в узкие круги, в том числе в университеты. Взять, например, канадских поэтов. Сегодня, подавая заявки на гранты Канадского совета по делам искусств, они перечисляют уже не свои публикации (печататься стремятся лишь косные, стереотипно мыслящие люди) – нет, подобно телевизионным комикам, жаждущим раскрутиться, они перечисляют свои выступления "живьем", университеты, где читали свои стихи вслух. В университете Саймона Фрэзера все затащились, в Карлтоне обцеловали. Программа отшлифовывается в гастролях по захолустью, чтобы потом претендовать на место хедлайнера на престижнейшей площадке канадских кампусов – университете Торонто.

Теперь, чтобы не повторяться в телеэфире общенациональных каналов, эстрадные юмористы нанимают батальоны авторов. Зато профессора, каждый сезон выступающие перед новой публикой, могут год за годом повторять старые хохмы, оттачивая лишь ритм и манеру подачи. Публикации для этих поэтов – аналог аудиозаписей комиков. Они издают журналы, которые не нужны ни одному читателю, зато крайне ценны для карьеры редакторов.

В общем, нынче любой бизнес – это шоу-бизнес, и любая профессия предполагает служебную неприкосновенность.

Итак, после приятнейшего года в университете (и на окладе) – этакого академического отпуска наоборот – я вернулся к неопределенному статусу писателя-фрилансера, в мир, где, как по выражению Джеймса Тэрбера, никто не сидит у чьих бы то ни было ног, если только его не повалили на пол. Я перевез семейство назад в Лондон, продвинувшись со "Всадником" не дальше, чем до отъезда в Монреаль.

Что заставляет вас писать?

Врачей редко спрашивают, что заставляет их врачевать, сапожников – чего это они сапожничают, а бейсболистов – почему они, например, не развозят уголь. Только писателей и воров-домушников снова и снова допрашивают об их мотивах.

Честнее всех отвечает, как и следовало ожидать, Оруэлл в своем эссе "Почему я пишу": "1. Чистый эгоизм. Жажда выглядеть умнее, желание, чтобы о тебе говорили, помнили после смерти, стремление превзойти тех взрослых, которые унижали тебя в детстве, и т. д. и т. п." Я бы добавил, что этот эгоизм дополняется воображением, чувством стиля и жаждой прославиться исключительно на своих собственных условиях.

Нет никого озлобленнее, чем писатель, обойденный вниманием. Естественно, стоит мне добиться хоть какого-то признания, как я становлюсь жизнерадостнее и великодушнее, чем в других обстоятельствах. Но ничто из того, что я совершил ради этого признания, не вызывает у меня гадливости, не входит в противоречие с моей натурой. Я всей душой верю, что писатель не должен выставлять на суд потребителя ничего, кроме своих творений; остальное должно оставаться его личным делом, приватной информацией. Ненавижу, когда звание писателя даже у бесспорно талантливых людей перерождается в черту характера – например, у Нормана Мейлера... Я также не верю, что так называемая душа художника дает тебе право требовать поблажек. В конце концов у меня – теперь, когда я

неохотно приближаюсь к скользкому порогу среднего возраста, — ровно те же проблемы, как и у всех. Возможно, мне даже легче. Свои неврозы я могу применять в извращенных целях. Переплавлять их в сюжеты. Когда я не пишу, я муж своей жены и отец пятерых детей. Меня беспокоит загрязнение окружающей среды. Перенаселенность планеты. Школьные оценки моих мальчишек.

"2. Эстетический экстаз. Восприятие красоты мира или, с другой стороны, красоты слов, их точной организации". Мучения, сопряженные с сотворением романа, неудовлетворенность черновиками, сцены, над которыми бьешься без толку, — все это искупается теми редкими, памятными днями, когда все выстраивается словно бы само собой. Дни-бонусы. Блаженные дни, когда черпая из ресурсов, о которых ты и не подозревал, извлекаешь из собственной черепной коробки идеи и фразы, которые, казалось, вообще тебе не по силам.

Вот они — подлинные радости.

К сожалению, мне, наверно, ни разу не удавалось написать в таком парении целый роман. И потому пассажи, сами слетающие с пера, уравновешиваются плодами искусственной выгонки в теплице. Из всех моих романов к изначальному замыслу ближе всего "Ученичество Дадди Кравица" и "Нахал", а поэтому ими я доволен максимально. Следует добавить, что я до сих пор влачусь под бременем персонажей, идей и социальной проблематики, к которым впервые попытался подобраться в "Акробатах". Думаю, у каждого настоящего писателя есть своя единственная тема, но он исполняет ее в разнообразных вариациях.

Как и всякий серьезный писатель, я хочу написать один роман, который останется надолго, вещь, благодаря которой меня будут помнить после смерти. А значит, не прекращу усилий.

"3. Исторический импульс. Желание видеть вещи и события такими, каковы они есть, искать правдивые факты и сохранять их для потомства".

Я уверен: сколько бы я ни жил за границей, мои корни все равно уходят в почву Сент-Урбен-стрит в Монреале. То было мое время и мое место, и я поручил себе рассказать о нем правдиво.

"4. Политическая цель (мы используем слово 'политическая' в самом широком смысле из всех возможных). Желание подтолкнуть мир в определенном направлении, изменить мысли людей относительно того общества, к какому они должны стремиться". В моем творчестве это соображение — не самое главное, но, по-моему, любой серьезный писатель — моралист, а людей развлекает лишь попутно.

В августе 1969 года, прожив год на университетских хлебах, я вернулся в Лондон в безысходном отчаянии, так как за четыре года "Всадник с Сент-Урбен-стрит" ничуть не приблизился к завершению, а сбережения опять начали иссякать. Каждое утро я уходил к себе — якобы поработать, а сам сидел и составлял дерзкие графики. Со следующего понедельника буду как штык писать по три страницы в день. А тем временем подготовлюсь к этой встряске, после обеда устраивая себе сиесту, а потом отправляясь в кино на фильмы, которые просто нельзя пропустить. То есть наперед накоплю иммунитет от переутомления и желания развеяться. Однако в следующий понедельник в голову не пришло ни строчки. Вместо работы я, опираясь на спортивные полосы "Интернэшнл геральд трибюн", рассчитал по текущим рейтингам и соотношению побед и поражений, на какой строчке турнирной таблицы закончит сезон каждая бейсбольная команда обеих высших лиг. В любом случае понедельник пришелся на неудачное число — восьмое. Некруглая дата. Я решил, что всерьез засяду за работу пятнадцатого и буду каждый день писать по шесть страниц. Да, по шесть. В конце концов, Сименон строчил по роману в неделю... Когда пятнадцатого мне не удалось написать ни абзаца, я не приуныл. До ме-

ня наконец-то дошло, в чем штука. Пишущая машинка не годится. И лента не того цвета. И бумага не той фактуры. Я обменял свою машинку на другую, с новым шрифтом, купил шесть синих лент и три пачки особо плотной тряпичной бумаги, но все равно дело не сдвинулось. Я увяз.

И вдруг в сентябре я втянулся в работу: писал в своей комнате по много часов, без усилий, с ощущением, что занимаюсь благодарным делом, и через год роман был готов: все пятьсот пятьдесят машинописных страниц.

Первой живой душой, которая прочла рукопись, стала моя жена. Как и все писательские жены, она находится в незавидном положении. На вкус и честность моей супруги я полагаюсь. Это она — тягостная обязанность! — должна предупреждать меня о том, что я напортачил. Если жена не одобряет текст даже в самой дипломатичной форме, я вспылю и, более не сдерживаясь, начну давать оценку ее собственным недостаткам — например, ее вкусам, качеству стряпни и неумению воспитывать наших детей. Я также поставлю ей на вид, что с ее стороны верх бессердечия — смеяться в голос, читая перед сном "Случай Портного", когда я так мучаюсь над собственным романом. Но все же не понесу рукопись в издательство. Если жена найдет произведение несовершенным, я на полгодика отложу рукопись в сторону, чтобы потом изучить свежим взглядом. Еще один год, еще один вариант. Но если — но если! — даже жена, восторженно зардевшись, объявит рукопись шедевром, я немедленно перестану верить ее похвалам: в конце концов, она мне жена, преданная и любящая супруга, а значит, проявляет опасную предвзятость. Или вообще врет. К рецензированию ее определенно нельзя подпускать на пушечный выстрел.

После того, как жена сказала свое слово, опрометчиво объявив "Всадника с Сент-Урбен-стрит" лучшим из доселе написанных мной романов (обидно слышать — значит, мое раннее творчество ей нравилось меньше, чем она уверяла), я отослал рукопись в издательства своим постоянным редакторам. Еще один барьер. Еще один образчик непростых взаимоотношений. Я имею дело с редакторами, которые, по общему мнению, принадлежат к числу самых проницательных работников издательского мира — с Робертом Готлибом из "Кнопф", а в Англии с Тони Годуином из "Уэйденфелд энд Николсон", — но как только я выслал им рукопись, а они, очевидно, не побросали все дела, чтобы прочесть ее за ночь, и не разбудили меня подобострастными телеграммами, междугородными звонками, шампанским и икрой, я начал копить в себе надуманные обиды и аргументы, опровергающие миф об их сильно (но, как я имел основания подозревать, попусту) разрекламированном чутье. Когда наступало утро и почтовый ящик опять оказывался пуст, а телефон не звонил, я валялся в гостиной на диване, медленно закипая, мысленно вычеркивая из издательских каталогов всех третьестепенных романистов — тех, перед которыми редакторы пресмыкаются, ублажая их более броской рекламой, более крупными тиражами первых изданий, более высокими авансами и более дорогостоящими обедами, чем перепадавшие от их щедрот мне. Фактически я почти решил, что пора переходить в другое издательство, где меня оценят по достоинству... но тут, всего через неделю после отсылки рукописи, оба редактора прислали мне письма с комплиментами. Ну да, это сначала кажется, что с комплиментами, пока не проанализируешь письмо в девятый раз, читая между строк, пока не смекнешь, что похвалы какие-то вымученные, восторг наигранный, а между клише спрятана горькая истина: на самом деле роман им не понравился. А если, допустим, и понравился, что ж — вкус у них явно неразвит, а также извращен тем обстоятельством, что оба — мои близкие приятели и обожают мою жену.

В общем, куда ни кинь — все клин.

место. Книжная индустрия со всей очевидностью равняется на телевидение, которое стало главным образом для подражания.



## Сюзан Жакоб

**1.** Благодаря чтению, музыке и театру.

**2.** С. Беккет, А. Эбер[1], Г. Брох, П. Целан, Б. Брехт, И. Бахман, Т. Бернхард и М. Дюрас — вот писатели, которые на меня повлияли.

**3.** Молодежь конца 50 — начала 60-х зачитывалась Достоевским, Толстым, Гоголем, Тургеневым, словно это были квебекские авторы. Затем перешли к Камю, который родом из Алжира, Беккету, родившемуся в Ирландии, Дюрас, родившейся в Индокитае, поэту кинематографа Годару, родившемуся в Швейцарии. С тех пор национальная идея перешла в собственность транснациональных корпораций, которые пользуются ею, чтобы рекламировать свой товар. Сегодня Монреальским "национальным" оркестром[2] руководит японец. В составе "национальной" хоккейной команды[3] лишь несколько квебекцев. Пирамиду (sic!) в Лувре создал японский архитектор в то самое время, когда французы восторгались телесериалом "Даллас" и слушали пение Селин Дион. Трудно сказать, куда делся французский или квебекский дух, если те же американцы убеждены, что получивший австрийское гражданство Рудольф Нуриев (как, впрочем, и иммигрировавший в Штаты Баланчин) был коренным нью-йоркцем!

**4.** Роль литературы всегда состояла в том, чтобы сохранить в человеке человечность, а также развивать в нем мышление, которое не дает скатиться к варварству. Вот почему литература всегда была и остается под угрозой, исходящей от тех сил в обществе, которым возврат к варварству был бы на руку. Писатель в мире экономической выгоды сродни полярному медведю, пытающемуся отыскать мостик, чтобы прыгнуть на льдину. И тому, и другому угрожает исчезновение.

## Ив Бошмен

**1.** Вследствие того, что читал в детстве романы.

**2.** Бальзак, Стейнбек, Чехов, Толстой, Диккенс, Жюль Ромен, Альфонс Алле, "Мертвые души" Гоголя, "Война? Да, сэр!" Рока Карье[4].

**3.** Родственное — в языке и большой части культуры. Отличие — это "американский характер" квебекцев и абсолютно иная, нежели у французов, историческая судьба.

**4.** Быть писателем в Квебеке — значит вольно или невольно играть роль глашатая культуры народа, который до сих пор находится под политической опекой и подвергается гигантскому давлению со стороны англосаксонского североамериканского общества.

1. Анн Эбер (1916–2000) — канадская писательница, автор ряда романов, новелл, поэм и пьес.
2. Монреальский симфонический оркестр; главный дирижер — Кент Нагано, американец с японскими корнями.
3. Имеется в виду хоккейная команда НХЛ "Монреаль канадиенс".
4. Рок Карье (р. 1937) — канадский романист, известный также своими новеллами.

Есть ли у писателя социальное предназначение? За редким исключением квебекские писатели практически не представлены в средствах массовой информации, и большинство из них не стремится выполнять какую-либо иную функцию в обществе, помимо литературного творчества.

Почему так происходит?

Во-первых, радио и телевидение проявляют к нам слабый интерес, чего не скажешь об их внимании к артистам шоу-бизнеса, ведь мало кто из нас способен на "перформанс". Во-вторых, сочинительство требует тишины: как можно создать художественный образ среди шума и гама? Писатель зачастую интроверт. Я и сам таков до некоторой степени. В-третьих, книги все более уступают место электронике, люди меньше читают. В результате писатель делается менее заметной фигурой. Сама писательская профессия, в отличие от Европы, у нас не является престижной с точки зрения и масс, и элиты. Да и вообще квебекский писатель, как правило, "не высовывается". Увы! Мало кто участвует в общественных дебатах, что, в свою очередь, отражается на социальном статусе писателя.



## Мишель Трамбле

**1.** Это произошло из-за трудностей, которые я переживал в молодости. Юноша становится художником и особенно писателем, когда он обнаруживает, что не может поделиться своим мироощущением с самыми близкими ему людьми — семьей и друзьями. Тогда он берет чистый лист и пытается, излагая на нем самое сокровенное, разобраться в себе и происходящем. Во всяком случае так было со мной.

**2.** Софокл, Еврипид, Вийон, Елизавета Пфальцская, мадам де Севинье, Расин, Гольдони. Великие писатели XIX века: Гюго-романист, Бальзак, Мюссе, Рембо, Бодлер, Золя, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой. В XX веке — Хосе Доносо, Мисима, Жене, Габриэль Руа, Дюшарм, Сомоса, Маркес, Беккет, Майкл Коннели и недавно — Стиг Ларссон и Хеннинг Манкелль[1], которым удалось поднять детектив на уровень большого искусства. Я люблю драматургию и романы, в которых повествование позволяет увидеть человеческую душу.

"Сто лет одиночества" стали самым большим литературным открытием моей жизни. Я узнал, что можно переплести два начала — реалистическое и фантастическое, которые до этого существовали для меня отдельно друг от друга. С 70-х годов я нахожусь под сильным влиянием литературы стран Латинской Америки.

**3.** Между французским и квебекским мироощущением существует большая разница. Своим происхождением квебекцы обязаны Европе, но по образу жизни и образу мысли это сугубо североамериканский народ. Я часто в шутку говорю, что мои корни уходят в Европу, но плоды я приношу в Северной Америке.

**4.** У писателя всегда есть общественное предназначение, сознает ли он его или нет, отказывается выполнять или нет. Культура существует,

1. Елизавета Пфальцская (1652–1722) — супруга герцога Филиппа Орлеанского, знаменитая мемуаристка XVII в. Хосе Доносо (1924–1996) — чилийский прозаик, представитель "магического реализма". Режан Дюшарм (р. 1942) — квебекский прозаик и драматург. Майкл Коннели (р. 1956) — американский писатель, автор популярных детективов. Стиг Ларссон (1954–2004) — шведский журналист и прозаик, автор остросюжетных романов. Хеннинг Манкелль (р. 1948) — шведский писатель, автор детективов и детских книг.

чтобы придать смысл тому, что его не имеет и что называется жизнью. Великие художники перенастраивают наши нервные клетки, задают "проклятые" вопросы, объясняют нам бытие, воссоздают его, воспевают. Иными словами, обществу они необходимы.



## Антонин Майе

По правде сказать, ничто не предвещало, что я стану писателем. Я родилась в разгар Великой депрессии в 1929 году в бывшей французской колонии Акадия, в которой и по прошествии двухсот лет продолжали чувствоваться последствия массовой депортации моего народа, жителей атлантического побережья, в Америку. Квебек всегда оставался французским по своим языку и культуре, но Акадия, вплоть до самого названия, оказалась вычеркнутой из истории. Все было стерто с лица земли, осталась лишь коллективная память, по-прежнему сохранявшая традиции, культуру, язык Франсуа Вийона, Франсуа Рабле, Франциска I. Акадийцы никогда не переставали ассоциировать себя с наследниками всех Франсуа, которые были родом из Франции! Но без французских школ, колледжей и университетов, без издательств и книжных магазинов в моем поколении никак не мог бы появиться свой писатель. Во всяком случае так тогда казалось. Являюсь ли я живым доказательством тому, что видимое на поверхности порой скрывает истину и что подобно спокойному морю, в глубинах которого таятся омуты и водовороты, молчание народа скрывает мощную энергию? Акадийцы вернулись из ссылки всем смертям назло, потому что не желали забыть прошлое, перевернуть страницу истории — иными словами, они отказались умирать. По тем же самым причинам я стала писателем.

Но не только. В конце концов я всего лишь акадийка, родившаяся в переломное для истории франкоязычной Америки время. Я происхожу от обезьяны, от растения, от камня, который достали откуда-то из глубин. И я убеждена, что приходя в этот мир, писатель уже несет в себе более глубокую травму, нежели та, что возникает в данном конкретном времени и месте. Что он тянет за собой нечто более древнее и общечеловеческое, чем история его собственных предков. Я осознала это, читая Шекспира, Джойса и Фолкнера, Толстого, Достоевского и Чехова, Ибсена и Лагерлёф, Сервантеса, Борхеса и Маркеса, а еще раньше — на моем родном языке — Рютбёфа[1], Вийона, Рабле, Монтеня, Мольера, Лафонтена, Стендаля, Пруста и всех тех, кто не только открыл для меня вселенную, но и позволил заглянуть внутрь разлома, отделяющего время от бесконечности. Все они были заняты поиском тайны, спрятанной за тем, что видно на первый взгляд, но никто не пришел ко мне посмотреть на мир моими глазами, вдохнуть запах моря моими ноздрями, услышать на моем языке, имеющем четырехсотлетнюю историю, остатки моих воспоминаний, которым уже тысяча лет.

Я пишу потому, что увиденную мною жизнь могу рассказать только я.

*Подготовила и перевела* Людмила Пружанская

1. Рютбёф (ок. 1230–1285) — французский поэт-трувер, автор лирических стихотворений и пьесы "Миракль о Теофиле".

# *"Открыть для себя изучаемый мир, добиться взаимного понимания..."*

Беседа с Татьяной Могилевской, директором Международного учебно-научного центра "Москва–Квебек"

**"Иностранная литература".** Будьте любезны, расскажите читателям нашего специального номера о вашем центре. Когда и по чьей инициативе был создан центр "Москва–Квебек"?

**Татьяна Могилевская.** Наш центр существует более десяти лет. Он был создан московским Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ) и канадским университетом Лаваля, где я работаю. "Колыбель" этого университета, одного из старейших высших учебных заведений Северной Америки и первого франкоязычного университета на континенте, – семинария Квебека, основанная в 1663 году Франсуа де Лавалем, первым епископом Новой Франции. Сейчас этот вуз принадлежит к основным центрам научной мысли Канады, среди выпускников университета немало известных ученых, его окончили (или в нем преподавали) многие представители политической элиты страны. В настоящее время на семнадцати факультетах университета обучается около сорока тысяч студентов и аспирантов, из них более трех тысяч – иностранцы. Договоры о сотрудничестве и обмене студентами связывают наш университет с восемьюдесятью странами. Основным партнером университета Лаваля в России является РГГУ.

Жители Квебека неизменно проявляют интерес к России – к ее литературе, театру, музыке, живописи, кино, к ее общественной жизни, истории и революциям. Потомки обитателей Новой Франции часто ассоциируют Россию (как, впрочем, и родной край) с огромными пространствами, холодным ветром, заснеженными полями – и с французским языком, который в Москву, в Санкт-Петербург и на берега Атлантического океана был завезен из одних и тех же краев и который играл столь важную роль (канадские интеллектуалы об этом знают) в золотой век русской культуры. Квебекские издательства с удовольствием публикуют переводы с русского, к тому же российских авторов нередко избирают почетными гостями ежегодного Книжного салона, который проводится в огромном здании Дворца конгрессов Квебека. Такое стремление к постижению российской культуры, как и непреходящий интерес многих россиян к той части Нового Света, где вот уже четыре с лишним столетия говорят по-французски, стали основой для создания нашего центра.

Русский язык преподается в квебекском университете несколько десятилетий. В 40–80-е годы студенты, изучавшие его, и не мечтали о том, чтобы продолжать занятия в России. Но уже в 1992 году, когда стало воз-

можно установить связи с российскими вузами, в университете Лаваля открыли "Русскую программу", куда, наряду с языковыми, вошли курсы по литературе, географии, истории, театру, кино, политике. Студенческий обмен, совместные научные проекты, чтение лекций в стенах университета-партнера казались нам лучшими способами открыть для себя изучаемый мир, добиться взаимного понимания, установить культурные контакты.

Тогда же в Российском государственном гуманитарном университете был создан Институт высших гуманитарных исследований (ИВГИ), который возглавил Е. М. Мелетинский, выдающийся филолог, специалист в области мифологии и истории словесного творчества, чьи труды не раз переводились в Квебеке (кстати, в университете Лаваля он в течение нескольких месяцев читал лекции студентам отделений антропологии и литературы). Работы многих сотрудников ИВГИ хорошо известны ученым всех континентов — в частности, гуманитариям франкоязычной Канады. В то же время труды ряда ученых университета Лаваля (среди них следует прежде всего упомянуть специалистов по мифу и по истории словесного творчества) вызвали немалый интерес у российских исследователей, многие из которых работают в РГГУ. Можно сказать, что именно из взаимного интереса и родилось сотрудничество, позволившее организовать несколько международных научных конференций, подготовить ряд изданий на русском и французском языках (среди них: "Семиология культуры", "Бахтинский тезаурус", "Городской универсум: эволюция культуры и социальные метаморфозы"). Собственно, совместная научная работа и межуниверситетский студенческий обмен и стали той основой, на которой сформировался учебно-научный центр "Москва–Квебек". Хочу подчеркнуть, что ректоры обоих университетов с энтузиазмом поддержали преподавателей, исследователей и студентов, которые стремились установить тесные связи между гуманитариями России и франкоговорящей Северной Америки. Теперь, благодаря центру и соответствующим специализированным программам, каждый год десятки учащихся университета Лаваля проходят стажировку в Москве, а те, кто учатся в РГГУ, — в Квебеке.

**"ИЛ".** Какие задачи решает ваш центр? В чем суть вашей деятельности, какова миссия центра?

**Т. М.** Наша основная цель — преодолеть несколько "овеществленное" представление о Квебеке в России и о России в Квебеке, помочь понять каждую из этих культур во всей ее сложности. Готовя публикации исследований, переводя художественную литературу и фольклор, устраивая выставки и концерты, мы стремимся к тому, чтобы мир, говорящий по-русски, и франкоязычная Америка были увидены представителями той или иной цивилизации не только извне, но и изнутри. Мы глубоко убеждены в диалогической природе познания и потому, в частности, стараемся дать студентам возможность изучить чужой мир через активное взаимодействие с ним: на протяжении многих лет студенты Квебека, проходящие стажировку в Москве, помогают российским студентам овладевать французским и знакомят их с различными областями цивилизации франкоязычной Америки, а многие студенты РГГУ, приезжающие по программе обмена в Квебек, готовят, вместе с квебекскими магистрантами и докторантами, научные проекты, которые уже

нескольким таким коллективам позволили получить правительственные стипендии Квебека. Коллоквиумы и конференции, организуемые центром, позволяют ученым Канады и России устанавливать связи, открывающие путь к совместным исследованиям, а лекции иностранных преподавателей дают аудитории возможность знакомиться с новыми, зачастую непривычными научными методами.

Впрочем, стремимся мы и к тому, чтобы профессиональный интерес был не единственной силой, влекущей Квебек и Россию друг к другу. Мы делаем все, чтобы студенты полюбили город и страну, их принимающие. Нам приятно, что российским студентам нравится Квебек (один из немногих североамериканских городов, признанный ЮНЕСКО частью мирового культурного наследия), его великолепные парки, величественная река Святого Лаврентия, Лаврентийские горы, которыми можно любоваться из окон общежития, водопад Монморанси (он выше Ниагарского на несколько десятков метров и кажется еще более яростным и неукротимым), барочная архитектура его соборов, знаменитый замок Фронтенак (считающийся самым фотографируемым отелем мира), крепостная стена и домики старого города во французском средневековом стиле, на каждом из которых — табличка с именем первых владельцев, приплывших из Европы в XVII веке.

Мы рады и тому, что в декабре студенты из Москвы распевают вместе с новыми друзьями французские рождественские песни, в феврале с головой окунаются в бесшабашное веселье знаменитого Квебекского карнавала, привлекающего тысячи людей со всех концов света, а ночь 24 июня проводят в танцах, отмечая праздник святого Иоанна, которого квебекцы считают своим покровителем.

Но, не скрою, особенно нам приятно, что студенты из Квебека влюбляются в Москву, в ее театры и музеи, ее консерваторию, ее бульвары, в интенсивную культурную жизнь. Кстати, их пребывание в России знакомством с Москвой не ограничивается. Многие из тех, что учились в РГГУ, побывали в Санкт-Петербурге, в Иркутске, в Казани, в Самаре, в Архангельске и даже в Улан-Удэ (где были поражены тем, насколько глубоко и многосторонне изучен франкоязычный мир исследователями Бурятского государственного университета, насколько велик и серьезен интерес к нему в среде преподавателей и студентов). Вернувшись в Квебек, они продолжают, в определенной мере, ощущать себя российскими студентами. Во всяком случае, именно так объясняют они решение вновь отправиться в РГГУ и продолжить научную работу. Многие из студентов, прошедших стажировку в центре, работают в области международной политики. И мы убеждены в том, что именно такие молодые и талантливые специалисты помогут укрепить отношения между двумя странами и углубить взаимное понимание.

**"ИЛ".** Организуете ли вы специальные мероприятия, посвященные квебекской культуре? Кто из самых ярких деятелей этой культуры приезжал в Россию?

**Т. М.** Центр регулярно организует встречи с приезжающими в Россию выдающимися квебекскими музыкантами, композиторами, актерами, поэтами, драматургами. Очень важными представляются нам связи в области художественной и музыкальной культуры: ведь благодаря им люди часто начинают интересоваться другим народом. Поэтому центр

уделяет много внимания организации выставок и концертов. В частности, в РГГУ была организована выставка фотографий известного квебекского фотографа Пьера Лауда, неизменно снимающего горы, реки, озера и леса Новой Франции с высоты птичьего полета. По приглашению центра в Москве выступала альтистка Шанталь Масон-Бурк, дала концерт знаменитая канадская певица Моник Паже. Центр участвовал в организации концертов известных канадских композиторов Дени Гужона, Брюса Матера и Алена Ганьона. Отмечу, что в работе по проведению выставок неоценимую помощь оказывало нам Генеральное консульство России в Монреале, а при поддержке посольства Канады центру довелось организовать в Москве и в Петербурге концерты выдающегося квебекского певца Мишеля Дюшарма. Канадский музыкант исполнил, в частности, вокальные произведения Ивана Вышнеградского на слова Ницше; в России они прозвучали, кажется, в первый раз.

Мы хотим, чтобы россиянам стали больше известны замечательные кинематографисты Квебека. Например, несколько лет назад центр помогал посольству Канады организовать фестиваль гениального канадского мультипликатора Фредерика Бака. Я очень рада и тому, что российские зрители смогли увидеть многие фильмы Дени Аркана — в РГГУ центр не раз устраивал встречи, посвященные его творчеству.

**"ИЛ".** В этом году в центре, в рамках ежегодных Дней Квебека, демонстрировался фильм "Обратная сторона Луны" квебекского режиссера и драматурга Робера Лепажа (монолог из одноименной пьесы читатели найдут в этом номере). А в прошлом году сам Лепаж приезжал в Россию. Как встречали Лепажа в Москве?

**Т. М.** Прошлым летом зрители, пришедшие во МХАТ на спектакль Лепажа "Обратная сторона Луны" — среди них в тот вечер было много российских и квебекских студентов центра, — с радостным изумлением узнали сидящего в зале космонавта Леонова, о встрече с которым мечтает главный герой пьесы. После спектакля космонавт (а его в Квебеке, как, впрочем, и везде, очень многие глубоко чтят не только за его профессиональные достижения, но и за благородную, мужественно отстаиваемую гражданскую позицию) вручил букет цветов квебекскому режиссеру, который был чрезвычайно растроган таким вниманием — ведь сбылась его собственная детская мечта. На наших студентов эта символическая встреча произвела сильнейшее впечатление. Сейчас Робер Лепаж ставит в Квебеке две оперы: "Замок Синей Бороды" Бартока и "Ожидание" Шёнберга. Кроме того, он один из главных организаторов праздничных мероприятий в честь четырехсотлетия Квебека (Лепаж задумал некое грандиозное действо под названием "Мельница образов"). У него огромное количество проектов, публикаций и очень мало свободного времени, но Москва, Россия в его жизни занимают, судя по всему, немалое место. Великолепный прием московских театралов не оставил его равнодушным, и я нисколько не сомневаюсь, что вскоре он вновь удивит российского зрителя своим искусством.

**"ИЛ".** В центре "Москва—Квебек" богатая библиотека, расскажите о ней. Как часто пополняются ее фонды?

**Т. М.** В первый же год своего основания центр получил бесценный дар от Международной ассоциации по изучению Квебека — сотни книг по истории франкоязычной Канады, а также произведения наиболее

значительных квебекских прозаиков, драматургов и поэтов, что позволило создать в РГГУ одну из лучших в России библиотек, посвященных Новой Франции и современному Квебеку. Библиотека постоянно пополняется, в основном благодаря щедрости Международной ассоциации по изучению Квебека и университета Лаваля. Совсем недавно центр также получил великолепный дар от издательства, специализирующегося на публикациях произведений современной квебекской поэзии. Кроме книг в собрание центра входит немало видео- и аудиодисков. Студенты Университета Лаваля, которые проходят стажировку в РГГУ, являются одновременно сотрудниками центра, его библиотекарями и библиографами. Часто в этой библиотеке работают аспиранты, которые могут оказать читателям квалифицированную помощь.



**"ИЛ".** В центр "Москва–Квебек" могут обратиться только студенты РГГУ или его ресурсы доступны и для заинтересованной общественности?

**Т. М.** Наш центр[1] открыт для всех желающих. Среди тех, кто пользуется книгами нашей библиотеки, – специалисты по Квебеку не только из РГГУ и других московских вузов и научных институтов Москвы, но также из Петербурга и Ярославля, из Улан-Удэ и Саратова.

**"ИЛ".** Насколько нам известно, вы занимаетесь художественным переводом. Какие авторы вам особенно интересны и почему?

**Т. М.** Я немало перевожу с французского, но, пожалуй, самое важное место в моей жизни занимает квебекская поэзия. Меня завораживают стихи Неллигана. Читателям вашего журнала стихи этого квебекского автора известны в замечательных переводах Р. Дубровкина. Но и другими голосами, у меня нет сомнения, зазвучат по-русски творения этого необычайно музыкального поэта. Памятник Неллигану есть теперь в Санкт-Петербурге, городе-побратиме Квебека. А в Квебеке, на Аллее Поэтов, стоит памятник Пушкину. Другой канадский автор, творчество которого не перестает волновать любителей поэзии говорящего по-французски мира, – это Гектор Сен-Дени Гарно; он почти неизвестен российским читателям. Его сборник "Взгляды и игры в пространстве" вышел в начале 30-х годов. Теперь поэзию Квебека невозможно представить без Сен-Дени Гарно, стихи его необычайно современны.

1. Страничка центра на сайте РГГУ: http://www.rsuh.ru/section.html?id=292

# Александр Ливергант

# *С кем вы, мастера культуры, или Трудно быть писателем в Канаде*

"Трудно быть писателем в Канаде", — так начиналась рецензия, написанная в далекие советские времена про одну давно забывшуюся канадскую книжку. Канада — страна капиталистическая, а потому и живется в ней писателям нелегко — о чем тут было спорить? Побывав в конце апреля этого года вместе с переводчицей Ириной Кузнецовой на юбилейном — десятом — монреальском книжном фестивале "Блю Метрополис", я бы этот трюизм разве что сузил: в Канаде — высказал бы я неполиткорректную мысль — трудно быть не писателем вообще, а писателем *франкоканадским*. И сразу же оговорюсь: не издателем (в Квебеке все издательства на госсубсидиях), а именно писателем.

В том числе и приглашенным на книжный форум "Блю Метрополис", организатор и вдохновитель которого Линда Лит внесла свою — и немалую — лепту в символику синего цвета, трактуя английское blue не так, как вы подумали, а как "истинный", "постоянный", "высококлассный". Участвовали в книжном фестивале и франкоканадцы (на правах хозяев), и англоканадцы, и "неканадцы" — вроде нас. Ежегодная премия фестиваля, которой и в прежние годы часто удостаивались такие зарубежные знаменитости, как Норман Мейлер (2001), Пол Остер (2004), Карлос Фуэнтес (2005), досталась "неканадцу" и на этот раз: Большой литературный приз фестиваля обрел лауреат престижной парижской премии "Ренодо", автор романов на детективно-молодежную тему француз Даниэль Пеннак.

В фестивале традиционно участвуют представители самых разных и не только литературных профессий: журналисты, политологи, философы, переводчики, критики, издатели, университетские профессора самых разных национальностей и возрастов. Пленарным было только первое, торжественное заседание, после чего фестиваль рассыпался на многочисленные секции по вкусам, интересам и языкам; спектр фестивальных программ был очень широким, вот лишь некоторые названия секций, заседаний, круглых столов: "Пути эмиграции", "Роман и история", "Венгерский Холокост", "Писатели в опасности", "Как стать писателем", "От рукописи до печати", "Как устроить сцену" (это про театр, а не про семейную жизнь), "Женщиной не рождаются" (а это, как вы догадались, панель гендерная), "Оборотная сторона глобализации", "Писатели путешествуют", "Путешествие по электронным книгам", "От рассказа до экрана: кино и литература", "Писатели и самоцензура".

Посетители фестивальных программ имели в эти дни самый широкий выбор интеллектуальных развлечений. Билеты продавались на вечера поэзии, презентации журналов и книг — даже такой, например, экзотической, как "Carpe diem: канадская антология хайку". Не были обойдены и ценители публичных чтений: "инженеры квебекских душ" в забитых до предела аудиториях рассказывали о себе, читали отрывки из своих сочинений, отвечали на

© Александр Ливергант, 2008

вопросы читателей, после чего — дежурное блюдо — без устали подписывали любителям автографов свои труды. Обсуждались на фестивале и проблемы сугубо профессиональные. На одной из таких цеховых "панелей", посвященных литературному переводу, побывали и мы; перевод для Квебека имеет по понятным причинам значение принципиальное — здесь все написанное регулярно и споро переводится с одного "канадского" на другой, и обратно. Не брезговал литературный фестиваль и политикой: "Наследство Кастро", "Что будет после коммунизма?". На "коммунистической" секции с настораживающим вопросом в названии выступали литераторы и журналисты из бывших стран "советского блока", в зале же сидели наши перебравшиеся в Канаду соотечественники, которых, судя по вопросам, до сих пор живо волнуют перипетии московских путчей 1991 и 1993 годов...

Словом, говорилось на "голубом" монреальском фестивале о многом, и только франкоканадская литература, та самая, которой трудно, осталась в стороне. Возможно потому, что это во многом привилегия другого форума — Международного фестиваля литературы, проводимого в Монреале осенью, весенний же "Блю Метрополис" тяготеет, скорее, к англоязычной традиции. А ведь тема эта, особенно для Монреаля, самая, казалось бы, насущная, животрепещущая. О любопытной ситуации в Квебеке — и языковой, и литературной — узнаешь не из семинаров, встреч "Лицом к лицу" (были на фестивале и такие) и круглых столов, а "наблюдая реализм", как говаривал Коля Красоткин.

Особенно запомнились после недельного пребывания в Монреале два наблюдения из квебекской жизни и одно правило, выполнять которое, оказавшись во франкоязычной канадской провинции, следует неукоснительно.

Наблюдение первое. Вместо знака STOP, к которому давно привык глаз, в какой бы стране, даже самой экзотической, вы ни находились, — в Монреале вы обнаружите его французский и многим приезжим мало понятный аналог — ARRET.

Наблюдение второе, и тоже автолюбительское. На заднем номере всех без исключения квебекских машин под привычными цифрами значатся три французских слова из другого, не имеющего отношения к автоиндустрии измерения: "Je me souviens" — "Я помню".

Неукоснительное правило: находясь в Квебеке ни под каким видом нельзя говорить, что вы в *Канаде*, называть Монреаль или Квебек *канадским* городом, а квебекца, пишущего по-французски романы, стихи, репортажи, картины или монографии, — *канадским* писателем, поэтом, журналистом, художником или ученым. "Мы — не канадцы", — скажут вам квебекские любители литературы, живописи, науки и хоккея. Англоканадца неполиткорректно путать с американцами; квебекца — с англоканадцами. Канада не хочет быть похожей на Соединенные Штаты; Квебек — на Канаду.

"Кто же вы тогда, если не канадцы?" — возникает естественный вопрос. И где находится Монреаль, второй по величине город Канады? В какой стране и за кого играет знаменитая хоккейная команда, в названии которой — "Montreal Canadiens", то есть "Канадцы из Монреаля" — заложен, получается, такой же вопиющий оксюморон, как "живой труп" или "горячий снег"?

Верно, ответят вам, скрепя сердце, монреальцы: Монреаль и в самом деле находится в Канаде, однако, хоть и есть в нем все, что полагается иметь городу Нового Света, — небоскребы, "моллы", даунтаун, — город этот не канадский. А вернее, не англоканадский. А еще вернее — город, стремящийся найти компромисс между Старым и Новым Светом. И в архитектуре, и в литературе, и в живописи дает о себе знать этот компромисс между североамериканской, англосаксонской культурной традицией и европейской, французской. Жители Монреаля, да и всей провинции Квебек, упорно "дистанцируются", как теперь принято выражаться, от

остальной Канады и тем более от ее южного соседа, с которым, по глубокому убеждению квебекцев, англоканадцы давно уже слились, живут общей — американской — жизнью. (Канадец из Торонто или Виннипега, понятное дело, никогда с этим не согласится и наверняка обидится.) Франкоговорящие жители Квебека, как правило, хорошо знают английский, однако в большинстве своем и культурно и житейски мало соприкасаются со своими англоязычными соотечественниками; тяготеют франкоканадцы не к Соединенным Штатам, до которых от Монреаля через реку Святого Лаврентия рукой подать, а к далекой, но вечно прекрасной Франции, ее истории и культуре, ни на минуту не забывая, откуда "есть пошла квебекская земля". Вот откуда "Я помню" на заднем номере квебекских автомобилей. Помню, дескать, что предки мои не англичане, а французы.

А что еще помнят франкоканадцы?

Помнят, что вышли из основанной французами в 1608 году, ровно 400 лет назад, Новой Франции с ее столицей городом Квебеком. Помнят, хотя воспоминание это и не слишком приятное, что в результате унизительного (решающее сражение за Квебек между англичанами и французами, состоявшееся в 1759 году, длилось всего несколько минут) поражения от Британии они с 1760 года стали владением уже не французской короны, хотя французские королевские лилии на флаге Квебека сохранились до сих пор, а английской. Помнят и чтят квебекцев, павших вместе с англоканадцами в двух мировых войнах.

Помнят послевоенные десятилетия, когда властителем дум в Квебеке была католическая церковь, о чем свидетельствуют монреальские "сорок сороков", сегодня, впрочем, большей частью пустующие. В 40—50-е годы священники и в самом деле были отцами нации, пользовались безраздельным авторитетом. Церковь давала ответы на все вопросы жизни и смерти: на ком жениться и куда идти работать, когда рожать детей и где их учить, как строить отношения с родными и близкими и чем в жизни руководствоваться, дабы в следующей жизни не угодить в преисподнюю.

Помнят "тихую революцию" начала 60-х, когда просыпается надолго уснувшее национальное сознание Квебека и Квебек постепенно (отсюда слово "тихая" — теперь бы сказали "бархатная") освобождается от засилья Церкви, от насаждавшихся ею ксенофобии, доктринерства и сектантства, открывается для остальной Канады и всего мира.

Помнят слова, опрометчиво (а возможно, и умышленно) произнесенные де Голлем, выступавшим в 1967 году с речью с балкона здания монреальской мэрии. "Да здравствует свободный Квебек!" — воскликнул, завершая свое выступление, президент Франции, и с этих слов, собственно, и началась до сих пор не стихающая борьба за отделение Квебека от англоязычной Канады.

Помнят ставший историческим референдум 30 октября 1995 года, когда лишь считаные голоса помешали Квебеку отделиться от Канады и стать независимым государством.

Все эти "помню" неумолимо выливаются на вас, стоит вам ступить на землю французской Канады, поговорить с людьми, просмотреть местные газеты, раскрыть книги местных писателей и поэтов — главных, как и повсюду в мире, хранителей исторической и культурной памяти.

Литературный Монреаль стоит на границе двух принципиально разных культур, вот почему литература Квебека, с которой наш читатель знакомится на страницах этого номера, а мы с Ириной Кузнецовой познакомились, что называется, на месте, словно бы распадается на две части. Одни квебекские авторы тяготеют к Франции, часто навещают культурно-историческую родину, постоянно печатаются в парижских издательствах, получают, как, скажем, монреальский литературный мэтр Жак Годбу, престижные французские премии. Другие, хоть и пишут по-французски,

являются, скорее, частью общеканадского литературного процесса, они больше известны в Торонто или Нью-Йорке, чем в Париже, их регулярно переводят на английский и печатают в англоканадских и американских журналах и издательствах.

А между тем своей оригинальностью литература Квебека обязана не только франкофонам, но и англофонам (чего стоит хотя бы Мордехай Рихлер[1]), а ведь есть еще и аллофоны, то есть авторы, для которых ни английский, ни французский языки не являются родными — например, пишущий по-французски бразилец Серджио Кокис. При всем желании франкофонов держать англофонов "на дистанции", получается это далеко не всегда: английский язык всеми правдами и неправдами проникает во французский (чего, к слову, никогда не допустила бы Французская академия), в результате чего рождаются такие забавные англофранцузские симбиозы, как глаголы forwarder — идти впереди, возглавлять, canceler — отменять, checker — проверять и т. д. Одним словом, сохранить чистоту языка франкоканадцам, увы (или к счастью) не удается. Подобный компромисс, как уже говорилось, ощущается в Монреале не только в языке, но и в архитектуре (сочетание небоскребов и зданий, построенных в традиции французского классицизма и псевдоготики), и в литературе.

Так отчего же все-таки трудно жить франкоканадскому писателю в Канаде? Вроде бы и спрос на их книги в провинции велик, да и переводят — по крайней мере лучших из них — на другие языки немало. А оттого, что, сколько бы квебекцы ни тяготели к Франции, к французской литературной традиции, они все равно остаются где-то посередине между Новым Светом и Старым. Англоязычная литературная традиция, равно как и мобильный modus vivendi жителей Нового Света, квебекцам по-прежнему чужды, французская же традиция — далека и во времени, и в пространстве. Читатель этого номера увидит, что переведенные с французского романы, рассказы, стихи, пьесы, статьи квебекских писателей не слишком близки к Франции по образу мыслей, по отношению к жизни, по кругу литературных интересов. В свое время Оскар Уайльд остроумно заметил, что у англичан с американцами все общее, кроме языка. Перефразируя это парадоксальное замечание, понимать которое, как это часто бывает с афоризмами, следует с точностью "до наоборот", можно было бы сказать, что и у Квебека с Францией сегодня общим является, пожалуй, лишь язык, да и тот совпадает далеко не всегда. Местный, просторечный жуаль, на котором изъясняются герои пьес одного из самых известных квебекских писателей и драматургов Мишеля Трамбле, французскому читателю немногим более понятен, чем торонтскому или нью-йоркскому. Квебек, хоть во многом и усвоил стиль жизни Нового Света, хорошо помнит про свои французские корни, к Франции он в определенном смысле ближе, чем к своим англоязычным соотечественникам или к Соединенным Штатам. При этом Новой Францией франкоязычная провинция Канады давно быть перестала, да и Франция "старая" едва ли сегодня считает Квебек своим. Прочитайте публикуемый в этом номере роман Жака Годбу "Консьержка Пантеона", и вы увидите, что в Париже франкоканадец смотрится не меньшим, если не большим чужеземцем (чтобы не сказать посмешищем), чем американец, вьетнамец или скандинав. Годбу, да и некоторые другие современные квебекские авторы, такое свое межеумочное положение вполне сознают, и это для будущего квебекской литературы хороший знак. Лучшие писатели Квебека не цепляются любой ценой за французскую литературную традицию, а пытаются совмещать традиции двух величайших и, увы, мало совместимых культур.

"С кем вы, мастера квебекской культуры?" Вопрос — в чем читатель убедится, читая этот номер журнала, — для Квебека далеко не праздный.

1. "ИЛ", 2007, № 8–10.

# Портрет писателя в юности

Жак Годбу *Привет, Галарно!* / Пер. Л. Г. Пружанской. — М.: Текст, 2008

В книге рассказывается старая как мир и вечно новая история возмужания юноши и выбора судьбы. Повествование ведется от первого лица: Франсуа Галарно, парень из Квебека, рассказывает о себе, о своей семье, о своей девушке, о своих планах, надеждах и разочарованиях. Он хочет стать писателем и записывает в тетрадку все, что придет ему в голову. Из фрагментов складывается биография — незамысловатая и уникальная, как любая человеческая жизнь. По жанру это "роман воспитания". Если бы русскоязычный читатель получил перевод на сорок лет раньше (книга вышла в 1967 году), ему было бы легко опознать стиль повествования: речь идет о так называемой исповедальной прозе, расцвет которой пришелся на 60-е годы. Очевидно и влияние литературы "рассерженных молодых людей", отвергающих конформизм и бросающих вызов обществу. Не случайно Жак Годбу сказал в одном из интервью: "Когда мне было двадцать лет, большинству квебекцев было меньше двадцати. Мы могли говорить: "Вы — банда старых козлов, вас скоро прогонят".

Авторы подобного рода историй обычно опираются на собственный опыт, и данная книга не является исключением. Порой писатели пытаются это скрыть, но чаще декларируют открыто, как Жак Годбу, который заявил: "Галарно — это во многом я сам". Правда, его путь в литературу был куда более гладким, чем у заглавного персонажа романа: в двадцать три года выпускник Монреальского университета издал свой первый поэтический сборник "Картон-тесто" ("Carton-pâte", 1956), тогда как Франсуа Галарно — недоучка, бросивший коллеж после нелепой смерти отца, — в двадцать пять лет может похвастаться лишь тем, что никто не продает лучших хот-догов, чем он. Видимо, писателю хотелось показать препятствия, в преодолении которых формируется характер молодого человека. Используется для этого и прием контраста: так, вполне благополучные старшие братья Франсуа воспринимаются на его фоне людьми заурядными. Любопытен иронический взгляд на профессию: один из братьев — уже состоявшийся литератор и в некотором роде наставник младшего — торгует своим пером, поэтому настоящим творцом быть не может.

В "романе воспитания" особое значение имеют время и место: в судьбе героя отражается эпоха. Квебек 60-х — это страна на перепутье. Достаточно сказать, что тогдашние молодые писатели (в критике поколение, к которому принадлежит Жак Годбу, назовут гениальными детьми) считали своей миссией ни больше ни меньше как создание национальной словесности. Строго говоря, франкоканадская литература к тому времени уже существовала и даже имела почтенную историю — некоторые квебекские литературоведы относят ее начало к реляциям знаменитых путешественников-первопроходцев первой половины XVI века. Но развивалась она му-

чительно, в отрыве от больших культурных достижений, остро чувствуя свою неполноценность и пытаясь нащупать точку опоры. В прозе долгое время господствовал "роман почвы" с характерной для него антитезой: "добродетельная крестьянская жизнь — порочный развратный город". В Квебеке традиционное для этого жанра противостояние дополнялось местными особенностями: "франкофоны—англофоны", "католики—протестанты", "исконные жители—пришельцы". Все, что выходило за рамки триады "крест, меч, плуг", вызывало подозрение и могло иметь печальные последствия для тех, кто посягал на устои.

Жак Годбу хорошо помнит эти времена. Предисловие к русскому изданию он начинает фразой: "Я родился в стране, где цензура была вездесущей". Положение изменилось именно в 60-е годы, в результате так называемой тихой революции, немалую роль в которой сыграли писатели. Они не были, разумеется, зачинателями национальной литературы, но сумели придать ей неповторимое своеобразие и освободить ее от изживших себя штампов. Что осталось от пресловутой триады в романе Жака Годбу? Разве что смешной "обряд инициации" (дед заставляет внука голым проплыть милю в ледяной воде) да ненависть к англичанам (про местного аптекаря говорится, что он "типичная жертва колонизации: одно яйцо у него выкрашено в цвета британского флага, на другом — папский герб").

Когда роман "Привет, Галарно!" вышел в свет, Квебек ощущал себя очень молодым. Общий оптимистический настрой отразился в повествовании: "неудачник" Франсуа, конечно же, все преодолеет, воспрянет духом и разрушит стену, которой пытался отгородиться от мира. С надеждой глядел вперед и автор книги, получившей самые восторженные отклики как в Канаде, так и за рубежом. Ныне маститый и увенчанный всевозможными премиями Жак Годбу, живой классик квебекской литературы, настроен куда менее радужно. Он ностальгически вспоминает "волнующий призыв" генерала де Голля, посетившего Монреаль по случаю Всемирной выставки 1967 года и провозгласившего: "Да здравствует свободный Квебек!" Однако в будущность своей страны писатель уже не верит и даже сомневается, сохранит ли она свою аутентичность. Главной опасностью ему видится иммиграция, подрывающая изнутри самоощущение канадских "французов". Впрочем, это уже совсем другая история.

Елена Мурашкинцева

Жак Годбу
Jacques Godbout
[р. 1933]. Прозаик, поэт, публицист, кинодокументалист. Основатель Союза писателей Квебека. Лауреат Премии генерал-губернатора [1967, 1997], премии *Атанас-Давид* [1985].

Автор романов *Привет, Галарно!* [*Salut Galarneau!* 1967; рус. перев. 2008], *Американская история* [*Une histoire américaine*, 1986] и др., нескольких сборников стихов, собраний эссе, книг для детей. Режиссер нескольких десятков документальных и игровых фильмов.
Статья *Ainsi naquit une littérature* написана специально для *ИЛ*. Роман *Консьержка Пантеона* печатается по изданию *La concierge du Panthéon* [Éditions du Seuil, 2006].

Сержио Кокис
Sergio Kokis
[р. 1944]. Романист и живописец. Лауреат премии *Париж–Квебек* [1994], Большой книжной премии Монреаля [1994], премии *Франция–Квебек* [2006].

Автор романов *Павильон зеркал* [*Le pavillon des miroirs*, 1994], *Искусство макияжа* [*L'art du maquillage*, 1997], *Данс-макабр Квебека* [*La danse macabre du Québec*, 1999], *Волшебник* [*Le magicien*, 2002], *Любовь издалека* [*L'amour du lointain*, 2004] и др.
Роман публикуется по изданию *La Gare* [Montréal: XYZ éditeur, 2005].

Кароль Фрешетт
Carol Fréchette
Актриса, искусствовед, драматург. Лауреат Премии генерал-губернатора [1995], премии Флойда С. Чалмерса [1998], премии Элинор и Лу Симинович [2002] — самой престижной канадской награды в области драматургии.

Автор пьес *Бэби блюз* [*Baby Blues*, 1991], *Четыре смерти Марии* [*Quatres Mortes de Marie*, 1995], *Жан и Беатрис* [*Jean et Béatrice*, 2002] и др.
Пьеса публикуется по изданию *La Peau d'Élisa* [Montréal: Leméac Éditeur, 1998].

Робер Лепаж
Robert Lepage
[р. 1957]. Драматург, артист театра и кино, режиссер. Лауреат Театральной премии Еврокомиссии [2007].

Автор пьес *Тектонические плиты* [*Les Plaques tectoniques*, 1988–1990], *Эльсинор* [*Elseneur*, 1995] и др. Режиссерская работа включает кино- и театральные версии собственных произведений, постановки пьес У. Шекспира, опер Г. Берлиоза, А. Шёнберга, Б. Бартока и др.
Фрагмент пьесы публикуется по изданию *La face cachée de la Lune* [Québec: L'instant même, 2007].

Александра Юрьевна Лешневская
Переводчик с французского и английского языков. Аспирант ИВГИ РГГУ.

В *ИЛ* опубликована ее статья *Три "Гранде"* [2008, № 4].

Эмиль Неллиган
Émile Nelligan
[1879–1941]. Поэт, представитель символизма.

До двадцати лет опубликовал 23 стихотворения в различных периодических изданиях. В 1899 г. заболел и был помещен в психиатрическую больницу, где провел остаток жизни. Автор 107 стихотворений, объединенных его другом, поэтом Луи Дантеном, в сборник *Эмиль Неллиган и его произведения* [*Émile Nelligan et son œuvre*, 1904]. Все последующие публикации, включая полное собрание сочинений, вышли после смерти поэта.
Стихи печатаются по изданию *Полное собрание стихотворений* [*Poésies complètes*. Montréal: Fides, 1991].

**Жан-Ги Пилон**
Jean-Guy Pilon
[р. 1930]. Поэт, основатель журнала *Либерте*. Лауреат Премии генерал-губернатора [1969] и *Ананас-Давид* [1984].

Автор ряда стихотворных сборников, в том числе *Монастыри лета* [*Les Cloîtres de l'été*, 1954].
Стихи печатаются по изданию *Как пойманная вода. Стихи 1954–1963* [*Comme eau retenue. Poèmes 1954–1963*. Ottawa: Les Éditions de l'Hexagone, 1968].

**Норман де Бельфёй**
Normand de Bellefeuille
[р. 1949]. Прозаик, поэт и эссеист.

Автор многих сборников стихов и сборников эссе, двух сборников рассказов, первый из которых *Что говорила Алиса* [*Ce que disait Alice*, 1989] получил две премии — имени Адриенны Шокетт и *Радио Канада*.
Стихи публикуются по изданию *Шествие слепого без собаки* [*La Marche de l'aveugle sans son chien*. Éditions Québec Amérique inc., 1999], новеллы *Tic-Tac-Toe* и *L'homme qui dit non* взяты из сборника *Ваш звонок важен для нас* [*Votre appel est important*. Éditions Québec Amérique inc., 2006].

**Жан Прованше**
Jean Provencher
[р. 1951]. Поэт, преподаватель литературы в колледже Гарно в Квебеке.

Автор поэтических сборников *Ремни* [*Les Sangles*, 1974], *Боль осколка* [*Douleur du fragment*, 1975] и др. Стихи публикуются по изданию *Спутанный человек* [*L'homme enchevêtré*. Québec: Écrits des Forges, 1996].

**Серж Патрис Тибодо**
Serge Patrice Thibodeau
[р. 1959]. Поэт.

Автор поэтических сборников *Седьмая охота* [*La septième chute*, 1990], *Пражский цикл* [*Le cycle de Prague*, 1992] и др.
Стихи публикуются по изданию *Перемещение льдов* [*Le passage des glaces*. Québec: Écrits des Forges, 1999].

**Элен Дорион**
Hélène Dorion
Поэт.

Автор поэтических сборников *Затянувшийся перерыв* [*L'intervalle prolongé*, 1983], *За полем* [*Hors champ*, 1985], *Поправки близкого* [*Les retouches de l'intime*, 1987] и др.
Стихи публикуются по изданию *Коридоры времени* [*Les corridors du temps*. Ottawa: Écrits des Forges, 1991].

**Жан-Эрик Риопель**
Jean-Éric Riopel
[р. 1971]. Поэт, редактор журнала *Эстуар*. Лауреат премии Неллигана [1999].

Автор поэтических сборников *В белом* [*Dans le blanc*, 2001], *Танцор на такси* [*Taxi Dancer*, 2003].
Стихи печатаются по изданию *Строптивые бабочки* [*Les papillons réfractaires*. Trois-Rivières: Écrits des Forges, 1999].

**Мишель Трамбле**
Michel Tremblay
[р. 1942]. Драматург и прозаик. Лауреат Премии генерал-губернатора [1990].

Автор пьес *Невестки* [*Les Belles-sœurs*, 1965], *Еще раз, если позволите* [*Encore une fois, si vous le permettez*, 2000] и др., романов *Герцогиня и простолюдин* [*La duchesse et le roturier*, 1982], *Тетради* [*Cahiers*, 2005] и др., а также малой прозы. Его произведения переведены на многие языки Европы.
Новеллы *Victor Hugo* и *Antoine de Saint-Exupéry* публикуются по изданию *Рогатый ангел с жестяными крыльями* [*Un ange cornu avec les ailes de tôle*. Montréal: Leméac Éditeur, 1994].

**Моник Пру**
Monique Proulx
Писатель.

Автор романов *Какого пола звезды* [*Le Sexe des étoiles*, 1987], *Человек, невидимый в окне* [*Homme invisible à la fenêtre*, 1993], рассказов и киносценариев.
Публикуемые новеллы *Gris et Blanc* и *Jouer avec le chat* взяты из сборника *Монреальские рассветы* [*Les Aurores montréales*. Montréal: Éditions du Boréal, 1996, 1997].

**Фредерик Дюран**
**Frédérick Durand**
[р. 1973]. Писатель и литературовед.

Автор романов *Пурпурная карусель* [*Le Carrousel pourpre*, 2001], *На перекрестке трех затмений* [*Au Carrefour des trois éclipses*, 2006], *Я вою на луну, точно пес бродячий* [*Je hurle à la Lune comme un chien sauvage*, 2008] и др., поэтического сборника *Ты можешь причинить мне боль* [*Tu peux me déchirer*, 2005], рассказов и статей в периодической печати.
Публикуемая новелла *Compulsion* взята из журнала XYZ. *La Revue de la nouvelle* [Été 2007, no. 90].

**Робер Лалонд**
**Robert Lalonde**
[р. 1947]. Писатель и актер, обладатель многих литературных премий, в том числе премии *Квебек–Париж* [1985], Большой книжной премии Монреаля [1988], Премии генерал-губернатора [1994].

Автор романов *Последнее лето индейцев* [*Le Dernier Été des Indiens*, 1982], *Орленок с белой головой* [*Le Petit Aigle à tête blanche*, 1994], *Что станет со мной до смерти* [*Que vais-je devenir jusqu' à ce que je meure*, 2005] и др., сборников рассказов, дневников.
Публикуемая новелла *Espèces en voie de disparition* взята из одноименного сборника *Исчезающие виды* [Montréal: Éditions du Boréal, 2007].

**Жан-Себастьен Трюдель**
**Jean-Sebastien Trudel**
[р. 1978]. Прозаик и поэт. Преподаватель университета Лаваля в Квебеке.

Автор сборников стихов и рассказов, много печатался в разных журналах.
Новелла *La mesure* публикуется по журналу XYZ. *La Revue de la nouvelle* [Automne 2007, no. 91].

**Жереми Ледюк-Леблан**
**Jeremie Leduc-Leblanc**
[р. 1973]. Прозаик и поэт. Лауреат премии *Радио Канада* [2003] и премии журнала *Brèves Litteraires* [2006].

Его стихи и новеллы публиковались во многих журналах.
Новелла *La valse des chenillettes* взята из журнала XYZ. *La Revue de la nouvelle* [Automne 2007, no. 91].

**Ив Бошмен**
**Yves Beauchemin**
[р. 1941]. Писатель.

Автор нескольких романов, самый значительный из которых *Кот* [*Le Matou*, 1981], и сборников новелл.
Публикуемая новелла *Une nuit a l'hôtel* взята из одноименного сборника *Ночлег в гостинице* [Éditions Québec Amérique, 2000].

**Габриэль Руа**
**Gabrielle Roy**
[1909–1983]. Романистка. Лауреат Премии генерал-губернатора [1947].

Автор романов *Счастье по случаю* [*Bonheur d'occasion*, 1945], *Улица Дешамбо* [*Rue Deschambault*, 1955], *Дорога на Альтамон* [*La Route d'Altamont*, 1966] и др.
Фрагменты автобиографии печатаются по изданию *Горечь и очарование* [*La détresse et l'enchantement*. Montréal: Éditions du Boréal, 1988].

**Жан-Клод Дюпон**
**Jean-Claude Dupont**
[р. 1934]. Антрополог, профессор этнологии университета Лаваля, художник.

Составитель сборников фольклора *Легенды провинции Бос* [*Le Legendaire de la Beauce*, 1978], *Деревенские легенды* [*Légendes des villages*, 1995] и др. Автор ряда исследований по фольклористике.
Текст печатается по русскоязычному изданию *Легенды Новой Франции* [Sainte-Foy: Les Éditions du GID, 2001].

**Ивон Кодер**
Yvon Codère
[р. 1956]. Антрополог, археолог.

Сборник *Сказки и тайны леса* – первая книга автора.
Текст печатается по изданию *Сказки и тайны леса* [*Contes et mystères de la forêt*. Quebéc: Septentrion, 2006].

**Юбер Акен**
Hubert Aquin
[1929–1977]. Прозаик, эссеист, активист движения за независимость Квебека.

Автор романов *Ближайший эпизод* [*Prochain épisode*, 1965], *Черный снег* [*Neige noire*, 1974] и др.
Статья *Le basic bilingue* впервые опубликована в журнале *Liberté* [vol. 6, no. 2, 1964].

**Михаил Башкиров**
[р. 1984]. Историк, выпускник Международного учебно-научного центра *Москва–Квебек* [РГГУ].

Специалист по творчеству Юбера Акена.
В *ИЛ* публикуется впервые.

**Гастон Мирон**
Gaston Miron
[1928–1996]. Поэт, эссеист, издатель. Лауреат премии *Атанас-Давид* [1983] и ряда других канадских и международных премий.

Автор широко известного на родине стихотворного цикла *Марш к любви* [*La marche à l'amour*, первая версия 1962]. Большинство произведений вошло в состав сборника стихов и малой прозы [*L'homme rapaillé*, первая версия 1970], который автор неоднократно переиздавал, включая в него новые сочинения.
Статья *Décoloniser la langue* печатается по изданию *Склеенный человек* [*L'homme rapaillé*. Éditions Typo, 1998].

**Мордехай Рихлер**
Mordecai Richler
[1931–2001]. Англоязычный писатель, сценарист, эссеист, лауреат многих престижных литературных премий, кавалер ордена Канады.

Автор десяти романов, в том числе *Акробаты* [*The Acrobats*, 1954], *Ученичество Дадди Кравица* [*The Apprenticeship of Duddy Kravitz*, 1959], *Йошуа тогда и сейчас* [*Joshua Then and Now*, 1980], *Здесь был Соломон Гурски* [*Solomon Gursky Was Here*, 1989], *Версия Барни* [*Barney's Version*, 1997; рус. перев. *ИЛ*, 2007, № 8–10], автобиографической книги *Улица* [*The Street*, 1969; рус. перев. 2005], сборников эссе, книг для детей и др.
Эссе *Why I Write* печатается по изданию *Копаясь в проблемах* [*Shovelling Trouble*. Toronto: McClelland & Stewart Ltd., 1973].

**Алексис де Токвиль**
Alexis de Tocqueville
[1805–1859]. Французский историк, публицист, политик.

Автор книги *Демократия в Америке* [*De la démocratie en Amérique*, 1835], книги воспоминаний [*Souvenirs*, 1850], а также ряда трудов по социологии и истории.
Тексты печатаются по изданию *Придуманная провинция. Квебек глазами зарубежных писателей и мыслителей* [*Pays et mensonges. Le Québec sous la plume d'écrivains et des penseurs étrangers*. Montréal: Éditions du Bor éal, 1999].

**Пьер де Кубертен**
Pierre de Coubertin
[1863–1937]. Педагог, просветитель, основатель международного олимпийского движения.

Автор монографий и статей по педагогике и истории спорта. Впервые статья *Британская Канада и Французская Канада* была опубликована в 1890 г.
Печатается по изданию *Придуманная провинция. Квебек глазами зарубежных писателей и мыслителей* [*Pays et mensonges. Le Québec sous la plume d'écrivains et de penseurs étrangers*. Montréal: Éditions du Bor éal, 1999].

**Джозеф Редьярд Киплинг**
Joseph Rudyard Kipling
[1865–1936]. Английский поэт и прозаик, лауреат Нобелевской премии [1907].

Автор романа *Ким* [*Kim*, 1901], книг рассказов и стихов *Книга джунглей* [*Jungle Book*, 1894] и *Вторая книга джунглей* [*The Second Jungle Book*, 1895], а также ряда сборников стихотворений, новелл и сказок.
Текст печатается по изданию *Letters of Travel (1892–1913)* [London: Macmillan and co ., 1920].

Андре Мажор
André Major
[р. 1942]. Прозаик, эссеист, лауреат Премии генерал-губернатора [1997], премии журнала *Этюд франсез* [2001] и др.

Автор шести романов, в том числе трилогии *Истории дезертиров* [*Histoires de déserteurs*, 1970–1976], нескольких сборников новелл и двух литературных дневников. Текст публикуется по изданиям *Le sourire d'Anton ou l'adieu au roman* [Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal, 2001] и *L'esprit vagabond* [Montréal: Éditions du Boréal, 2007].

Дэвид Хоумел
David Homel
[р. 1952]. Англоязычный писатель, переводчик, журналист.

Автор романов, в том числе *Аналитик* [*The Analyst*, 2003], а также многих книг для детей и нескольких сборников эссе и статей.

Жиль Аршамбо
Gilles Archambault
[р. 1933]. Писатель, радиоведущий, журналист, музыкальный критик. Лауреат премии *Атанас-Давид* [1981] и Премии генерал-губернатора [1987].

Автор 29 книг, большинство из которых романы, в том числе *Ступор* [*Stupeurs*, 1979], *Человек, исполненный детства* [*Un homme plein d'enfance*, 1996].

Наим Каттан
Naïm Kattan
[р. 1928]. Квебекский писатель и критик иракского происхождения. Лауреат премии *Атанас-Давид* [2004].

Ему принадлежит автобиографический роман *Прощай, Вавилон* [*Adieu, Babylone*, 1975] и другие прозаические произведения, а также несколько сборников эссе, в том числе *Желание и возможность* [*Le Désir et le pouvoir*, 1983]. Также он автор трехтомной монографии *Писатели обеих Америк* [*Écrivains des Amériques*, 1972, 1976, 1980].

Николя Дикнер
Nicolas Dickner
[р. 1972]. Писатель и критик. Лауреат ряда квебекских премий.

Автор романа *Никольский* [*Nikolski*, 2005], а также многих новелл.

Сюзан Жакоб
Suzanne Jacob
Прозаик, поэт, публицист. Лауреат Премии генерал-губернатора [1984, 1998].

Автор романов *Лора Лор* [*Laura Laur*, 1983] *Послушание* [*L'obéissance*, 1991] и др., а также ряда сборников новелл, в том числе *Поговорите со мной о любви* [*Parlez-moi d'amour*, 1998], нескольких сборников стихов и книг эссе.

Антонин Майе
Antonine Maillet
Романистка, драматург, литературовед. Лауреат Гонкуровской премии [1979].

Автор романов *Пелажи-ла-Шаретт* [*Pélagie-la-Charette*, 1979], *Восьмой день* [*Le Huitième Jour*, 1986], *Безумная Марго* [*Margot la folle*, 1987], *Летопись заклинательницы ветра* [*Chronique d'une sorcière de vent*, 2002] и др., а также монографий о французской литературе Возрождения.

Татьяна Могилевская
Филолог, доктор философии, преподаватель университета Лаваля в Квебеке, директор Международного учебно-научного центра *Москва–Квебек*, переводчик с французского на русский и с русского на французский

В *ИЛ* публикуется впервые.

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премии *Литературная мысль* [1997], обладатель диплома *зоИЛ* [2002].

В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, И. Б. Зингера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, О. Голдсмита, У. Хэзлитта, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна, Т. Дж. Смоллетта и Д. Китса, дневники С. Пипса, В. Вулф, путевые очерки Т. Дж. Смоллетта, Г. Грина и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Елена Давыдовна Мурашкинцева
Филолог-романист, доцент ИФИ РГГУ, переводчик с французского и английского языков.

Автор статей в *Католической энциклопедии* [издание продолжается], в энциклопедии *Кирилл и Мефодий*. В ее переводе вышла книга П. Брюкнера *Горькая луна* [2008] и ряд других книг.

## Переводчики

Людмила Генриховна Пружанская
Преподаватель, журналист, переводчик с французского, кандидат филологических наук. С 1993 г. живет в Монреале.

Автор многих публикаций об общественной и культурной жизни Квебека и России в канадской, французской и российской прессе. В ее переводе издан роман Ж. Годбу *Привет, Галарно!* [2008]. В *ИЛ* публикуется впервые.

Марианна Юрьевна Кожевникова
Переводчик с французского.

В ее переводе выходили произведения Э. Ионеско, Ж. Жироду, П. Валери, А. де Сент-Экзюпери, Ф. Саган, А. Арагона и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Екатерина Львовна Кожевникова
Переводчик с французского.

В ее переводе были опубликованы произведения П. Феваля, М. Эме, М. Юрсенар, С. Брюссоло, Ж. Барбе и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатан роман П. Рамбо *Деревенский дурачок* [2007, № 2].

Нина Осиповна Хотинская
Переводчик с французского.

В ее переводе выходили романы П. Брюкнера *Похитители красоты*, П. Модиано *Дора Брюдер*, М. Дюрас *Летний вечер, половина одиннадцатого*, П. Констан *Банановый парадиз* и *Откровенность за откровенность*, А. Вяземски *Горстка людей*, Ф. Аррабаля *Красная мадонна и Необычайный крестовый поход влюбленного кастрата*, рассказы М. Эме, Ф. Саган и др. В *ИЛ* в ее переводе опубликована повесть М. Дюрас *Любовник* [1990, № 6], фрагменты книги П. Брюкнера *Искушение невинностью* [2003, № 6], роман Н. Бисмют *Scrapbook* [совместно с Е. Клоковой; 2006, № 11—12] и роман Т. Гунцига *Куру* [2008, № 4].

Роман Михайлович Дубровкин
[р. 1953]. Литературный критик, переводчик поэзии с французского, английского, немецкого, итальянского и новогреческого языков.

Автор книги *Стефан Малларме и Россия* [1998], составитель *Итальянской поэзии в русских переводах* [1992] и *Сочинений в стихах и прозе* Стефана Малларме [1995]. В его переводе выходили стихи Ф. Петрарки, Т. Тассо, Микеланджело, Г. Гейне, К. Брентано, Э. По, Г. Лонгфелло, Р. Киплинга, У. Б. Йейтса, Р. Фроста, П. Ронсара, В. Гюго, П. Валери, А. Рембо, Э. Верхарна, К. Кавафиса, Й. Сефериса, Я. Рицоса и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

**Ирина Исаевна Кузнецова**
Переводчик с французского. Лауреат премий *Инолитл* [1997] и имени Мориса Ваксмахера [1999]. Награждена французским орденом Академической пальмовой ветви.

Переводила стихи Г. Аполлинера, А. Рембо, Ш. Кро, Б. Ноэля, А. Боске, прозу А. де Виньи, М. Пруста, Н. Саррот, Колетт, А. Камю, Х. Семпруна и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны повесть *Ни завтра, ни потом* В. Денона [1997, № 5], *Письма Симоны де Бовуар к Нельсону Олгрену* [1998, № 7], стихи и эссе М. Уэльбека [2001, № 5; 2005, № 3], романы *Повинная голова* Р. Гари [2001, № 12], *Маленькое чудо* П. Модиано [2003, № 7], *Как я стал идиотом* М. Пажа [2005, № 7] и др.

**Михаил Давидович Яснов**
[р. 1946]. Поэт, переводчик классической и современной французской поэзии. Обладатель многих литературных премий, в том числе премии имени Мориса Ваксмахера [2003], Почетного диплома Международного совета по детской и юношеской книге [2002].

Автор шести книг лирики, сборников стихов для детей, а также статей о русской и французской поэзии. Составитель и комментатор сборников произведений Сирано де Бержерака, П. Верлена, Г. Аполлинера, П. Валери, Ж. Превера, Ж. Кокто, Э. Ионеско, А. Рембо, книги *Проклятые поэты: Тристан Корбьер, Шарль Кро, Жермен Нуво, Жюль Лафорг* и др. В *ИЛ* в его переводах печатались стихи Ж. Шарпантро [1994, № 12], Г. Аполлинера [1998, № 4], Ж. Рубо [1999, № 8], М. Уэльбека [2003, № 3], стихи французских сюрреалистов [2002, № 5], поэма В. Равалека *Апельсин на автостоянке* [2006, № 9], *Поэтические тексты* П. Пикассо [2007, № 10].

**Елена Юрьевна Леонова**
Переводчик с французского.

В ее переводе публиковались произведения Ж. Верна, П. Лоти, Ж. Кесселя, Э. Тевено, С. де Бовуар, М. Юрсенар и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны фрагменты книги Д. де Вильпена *Европеец* [2006, № 9], интервью с Марион Мазорик [2006, № 9] и эссе из книги *Я пространствовал немало...* М. Деона [2007, № 12].

**Ирина Яковлевна Волевич**
Переводчик с французского, лауреат премии *Инолит* [1997].

В ее переводе изданы новеллы писателей эпохи Возрождения, произведения Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Ж. Верна, А. Камю, М. Турнье, Р. Кено, Веркора, А. Кристоф, Ф. Бегбедера и др. Переводы И. Волевич неоднократно публиковались в *ИЛ*.

**Лидия Глебовна Семенова**
Филолог-классик, переводчик с английского и французского языков.

В ее переводах выходили произведения Ж. Женетта, А. Нафизи, интервью с англоязычными поэтами об Иосифе Бродском для книги В. Полухиной *Иосиф Бродский глазами современников*, исследования западных славистов. В *ИЛ* публикуется впервые.

**Александр Садецкий**
[р. 1953]. Филолог, доктор философии, член Академии словесности и гуманитарных наук Канадского королевского общества, профессор университета Лаваля в Квебеке.

Автор книги *Открытое слово. Высказывание М. М. Бахтина в свете его металингвистической теории* и других исследований, переводчик монографии *Поэтика мифа* Е. М. Мелетинского на английский язык [в соавторстве с Ги Лану], сборника *Легенды Новой Франции* с французского на русский и др.

**Екатерина Михайловна Белавина**
Поэт, переводчик, литературовед, преподаватель филологического факультета МГУ, кандидат филологических наук, член МО Союза писателей России. Исследователь творчества П. Верлена и современной французской поэзии.

Автор книг стихотворений, научных статей, составитель и переводчик сборника *Подруги* П. Верлена [Христианское издательство, 2003], составитель комментариев к изданию *Три сборника стихов* П. Верлена [в соавторстве с И. Булатовским; М.: Радуга, 2005]. В *ИЛ* публикуется впервые.

**Елена Даниловна Богатыренко**
Переводчик с английского и французского языков.

В ее переводе выходили произведения Н. Лебрехта, А. Моруа, М. Маккарти и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

**Светлана Владимировна Силакова**
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург, 1996] и премии имени А. М. Зверева [2007].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Э. Энрайт, М. Фигераса и др. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Издательские планы*. В *ИЛ* печатались ее переводы романов П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4], Д. Деллило *Мао II* [2003, № 11—12], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7] и Д. Эггерса [2007, № 12], эссе Т. Пинчона [1996, № 3], путевых очерков П. Теру [2007, № 12] и Л. Даррелла [2007, № 12], автобиографических заметок М. Спарк *Curriculum vitae* [2007, № 4] и др.

**Вера Аркадьевна Мильчина**
Переводчик с французского, литературовед, кандидат филологических наук, историк русско-французских литературных и культурных связей первой половины XIX века. Лауреат премий имени А. Леруа-Больё [1995, в составе редакционного коллектива журнала *Новое литературное обозрение*, и 1997], имени Мориса Ваксмахера [2000]. Награждена медалью Французской академии и французским орденом Академической пальмовой ветви.

В ее переводе изданы книги О. де Бальзака, Ж. де Сталь, Ш. Нодье, М. Блока, Б. Констана, Жорж Санд и др. Соавтор перевода книг *Замогильные записки* Ф. де Шатобриана и *Россия в 1839 году* А. де Кюстина. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны *Записки Жирафы* [1999, № 8] и *Рассказы здравомыслящего насмешника* Ш. Нодье [2003, № 4], *Амелия и Жермена* Б. Констана [2002, № 4] и др.

**Нина Федоровна Кулиш**
Переводчик с французского и итальянского языков.

В ее переводе публиковались романы *Изнанка мюзик-холла* и *Дуэт* Г. С. Колетт, *Из волшебного леса* Дж. Бонавири, повести *Антимоний* Л. Шаши, *Осеннее равноденствие* Дж. Конте, сборник эссе П. Клоделя *Глаз слушает* и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы фрагментов книги Ц. Тодорова *Человек, потерявший родину* [1998, № 6], эссе Д. Буццати *Осколки невозможного* [1999, № 6], романа Ж. М. Леклезио *Диего и Фрида* [2000, № 9], фрагментов книги Ф. Мюрэ *После Истории* [2001, № 4], эссе М. Уэльбека *На пороге растерянности* [2002, № 3], романа Ж.-Ф. Арру-Виньо *Урок непослушания* [2002, № 6].

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использована картина канадского художника Жана Далера [1916-1965] *Забавная голова.*
© Estate of Jean Dallaire / SODRAC [2008].

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Надежда Родина.

Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва, Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести: в редакции или в киоске "Новой газеты", расположенном по адресу: Страстной бульвар, дом 4; в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино по адресу: Николоямская ул., д. 1.

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.

Можно оформить льготную подписку в редакции по адресу: ул. Пятницкая, 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") Подписка оформляется в понедельник, вторник, среду, четверг с 12.00 до 17.30.

(Справки по тел. 953-51-47).

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23..1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.10.2008
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2451.
Тираж 9900 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

**Информационная поддержка**

Редакция *ИЛ* благодарит
за помощь и финансовую поддержку

Министерство культуры и коммуникации
Квебека,
Канадский совет по искусству,
Посольство Канады в России,
Литературное агентство *Претекст* [Монреаль].

# [12] 2008

РОМАН КОРМАКА МАККАРТИ "ДОРОГА" / СТИХИ КЛОДА ЭСТЕБАНА / РАССКАЗ ИТАЛО КАЛЬВИНО "ЗЕРКАЛО-МИШЕНЬ" / ЖОРЖ НИВА И СЕРГЕЙ ЗЕНКИН В РУБРИКЕ "№" / СТАТЬЯ ЭЛИСОН ЛУРИ "ПОТТЕРИАНА" / ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВО: "ФАБРИКА ФАЛЬШИВОГО ЗОЛОТА" АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА / ИГОРЬ ПОМЕРАНЦЕВ В РУБРИКЕ "ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА"

ISSN 0130-6545 08011
9 770130 654770

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

# 2009

"Марш" — роман автора знаменитого "Рэгтайма", американца **ЭДГАРА ДОКТОРОУ**, художественно-документальная хроника кровавых эпизодов Гражданской войны в США.

Роман крупнейшего (и совершенно неизвестного у нас) современного английского прозаика **АДАМА ТОРПА** "Правила перспективы" о последних месяцах Второй мировой войны, об искусстве и о том, как трудно оставаться человеком в бесчеловечные времена.

"Долой Гёте! Объяснение в любви" — телевизионное ток-шоу с участием публики, на которое приглашены и современники Гёте. Автор увлекательного историко-филологического эксперимента — известный немецкий поэт, живой классик современной немецкой поэзии **ХАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР**.

Роман американского прозаика **ДОНА ДЕЛЛИЛО** "Падающий" о событиях 11 сентября 2001 года и их последствиях; надолго поселившиеся в американском обществе страх и смятение представлены в сюрреалистических, запоминающихся образах.

Произведения великого австрийца **ТОМАСА БЕРНХАРДА** — поздний роман "Конченый", отрывки из книги малой прозы "Имитатор голосов", экспериментальная пьеса "Знаменитые" — позволят читателю открыть для себя новые грани его творчества.

"Собственная смерть" — повесть известного венгерского писателя **ПЕТЕРА НАДАША** о пережитом инфаркте и клинической смерти. Это и отчет о "путешествии в мир иной", и философское сочинение, и своеобразная поэма в прозе.

Увидевшие свет во Франции лишь в 2007 году и сразу ставшие сенсацией тексты **АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ** — рассказ "Манон, танцовщица" и любовные письма к Натали Палей, княгине из рода Романовых, манекенщице и актрисе.

Не публиковавшиеся в России прозаические тексты **ГЕОРГА ГЕЙМА** и **ЭЛЬЗЫ ЛАСКЕР-ШЮЛЕР**, "Тубуч" **АЛЬБЕРТА ЭРЕНШТЕЙНА** и "Кокаин" **ВАЛЬТЕРА РАЙНЕРА**, стихи **АЛЬФРЕДА ЛИХТЕНШТЕЙНА** и **ХАНСА АРПА**, а также многое другое — в Литературном гиде "Поэзия и проза немецкого экспрессионизма".

"Ничего страшного" - книга воспоминаний и философских размышлений замечательного английского писателя **ДЖУЛИАНА БАРНСА**, в которой с тонким юмором, но не без грусти рассказывается о семейных событиях — давних и недавних; писатель размышляет о силе искусства, страхе смерти, вере и безверии, самых важных для него книгах и многом другом.

---

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи России.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.

Адрес редакции: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 41

Электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2008, №11, 1-320